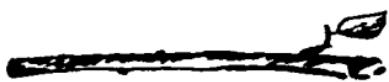


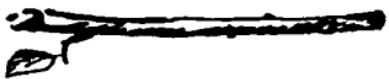
БОГАТЫРИ НЕ МЫ

УСТАРЕЛЫ

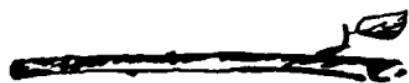




Новый Жихарь



Роман Злотников, Майк Гелприн,
Вук Задунайский, Вера Камша,
Сергей и Элеонора Раткевич
и другие



БОГАТЫРИ НЕ МЫ



УСТАРЕЛЫ



МОСКВА
2016

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б73

Составители сборника
В. Бакулин, Л. Демина, И. Минаков

Разработка серийного оформления *С. Курбатова*

В оформлении переплета использована работа
художника *А. Мозгалевского*

Б73 Богатыри не мы. Устареллы / Роман Злотников, Майк Гелприн, Вук Задунайский и другие. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 448 с. — (Новый Жихарь).

ISBN 978-5-699-91209-4

Мелкий бес Недотыкомка, писарь тайного приказа в Кащеевом царстве, сделал ставку на богатыря Ивана-Дурака и едва не поплатился вострой своей головенкой. В те далекие трудные времена, когда коты еще ходили босыми, принцесса Перепетя отправилась в Разбойничий Лес, совершенно не задумавшись о последствиях. А природного таланта, коим обладал начинаящий поэт Элам, оказалось явно недостаточно, чтобы обратить на себя внимание могущественного главы Ордена Виршетворцев...

Впрочем, что мы вам рассказываем. Читайте сами!

Роман Злотников, Вера Камша, Сергей и Элеонора Раткевичи, Майк Гелприн и другие друзья, коллеги и ученики замечательного русского писателя Михаила Успенского в сборнике фантастических произведений, посвященных его памяти!

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Батхен Н., Венгловский В., Габриэль А.,
Гелприн М., Голдин И., Ера М.,
Задунайский В., Злотников Р.,
Камша В., О'Коннор, Минаков И.,
Провоторов А., Раткевич С., Раткевич Э.,
Романова Т., О'Рэйн, Сафин Э.,
Язева М., 2016

© Оформление.
ООО «Издательство «Э», 2016

ISBN 978-5-699-91209-4

*Светлой памяти замечательного
русского писателя Михаила Успенского
посвящается*

Роман Злотников

Я ржал!

Первую книжку Миши Успенского я прочитал довольно поздно. Ну, по моим меркам. Где-то в начале нулевых. Если учесть, что активно интересоваться фантастикой я начал еще с середины семидесятых, а Миша более-менее активно издаваться — с конца восьмидесятых, то однозначно поздно.

Что это была за книжка, я сейчас и не вспомню. Помоему, «Белый хрен в конопляном поле». Во всяком случае, Коган-варвар там присутствовал. Точно... Так вот, читая эту книжку, — я ржал. Нет, не так — я РЖАЛ!!! И вообще вел себя неадекватно. Катался по дивану и чуть не дрыгал ногами. Кашлял, подавившись от хохота. Вскакивал и бежал на кухню, чтобы зачитать жene какой-нибудь особенно зацепивший меня оборот или эпизод. Короче, вел себя непотребно. Уж такое она на меня произвела впечатление.

Книжку я, естественно, проглотил одним махом. И тут же помчался на поиски следующей. Которую, к моему удивлению, отыскал не сразу. Отчего удивился? Ну как можно издавать такого писателя столь маленьким тиражом? Как?! А еще у меня просто засвербело познакомиться с автором... В те уже далекие времена меня только-только просветили насчет того, что в фантастике существует такой феномен, как конвенты. И я даже успел съездить на парочку из них. Как пусты и не очень «молодой», но по всем меркам «начинающий» автор. Правда, всего на парочку. Но ведь конвенты — это места, где можно встретить любого писателя, ведь так? Абсолютно любого! Я вон даже с Борисом Стругацким умудрился познакомиться... Так что

я был совершенно уверен, что на каком-нибудь из почти десятка конвентов, проходящих на территории бывшего СССР, я с ним встречусь.

Я представлял его как человека с юмором и легким характером. Душу компании. Весельчака. Всеобщего любимца. И даже где-то немножко завидовал его непременной популярности. Искрометности. Ну и так далее... И вот — встреча! Она произошла на «Страннике», это один из Санкт-Петербургских конвентов. Причем наиболее солидный и, я бы даже сказал, лощеный из них.

Миша был... монументален. И суров. Никаких шуток. Никакой искрометности. Я поначалу даже оробел. Не так чтобы сильно, но все же... И очень долго не мог понять, как этот человек умудряется писать подобные книжки. Поэтому, вежливо пообщавшись, несколько того... так сказать, отодвинулся в сторону и принялся наблюдать, как оно все происходит.

Потом было еще много встреч. И новые книги. Я оценил уже не только юмор, но и блестящий язык Миши. Мы подружились. Да что там говорить — я у Успенского даже «банком» как-то поработал! Серьезно. Это произошло в Киеве. На «Портале». Уже перед самым окончанием конвента он подошел ко мне и сурово спросил (ну не скажешь иначе ☺):

— Злотников, у тебя деньги есть?

Я ответил:

— Есть.

— Дай взаймы.

А я то ли в этот год, то ли годом раньше обзавелся в Киеве очень приятным знакомством с любителем моего творчества. Его звали Олег. И он готов был в лепешку расшибиться, чтобы сделать мое пребывание в Киеве максимально комфортным и запоминающимся. За что ему огромное спасибо. Ну да не об этом речь... А упомянул я о нем потому, что благодаря этому знакомству у меня к тому моменту сохранились почти все деньги, которые я взял в поездку на этот конвент. Поэтому я просто достал из кармана пять тысяч одной купюрой и отдал Мише. Он аж охнул:

— А помельче ничего нет?

Я мотнул головой. Помельче действительно не было. Да и не особенно мне деньги в тот момент были нужны. Билет у меня был взят в СВ, то есть белье уже проплачено, а Олег, от широты душевной, накупил мне столько всяких вкусностей, что мы их не то что на конвенте, мы их и до Москвы бы не съели. Так что я вполне мог себе позволить такой «широкий» жест.

Миша с тоской пошелестел купюрой и, вздохнув, произнес:

— И ведь не разменяешь...

Но взял.

Следующий раз мы встретились ровно через год. Опять на «Портале». Уж не помню почему, но весь тот год у меня как-то не складывалось с конвентами. Все какие-то дела были. Так что свиделись мы только через год.

Миша стоял у дверей. Все такой же монументальный и суровый. Когда я выдернул из багажника такси свой чемодан, он ринулся ко мне, сердито рыча:

— Ты где был?

— В смысле? — удивился я.

— На «Страннике» тебя не было, на «Интерпрессе» тоже, на «Роскон» снова не приехал. Я твои деньги год по конвентам вожу, столько денег на эти поездки угрохал — ужас! А тебя нет и нет! — после чего сердито сунул мне пять тысяч, буркнул: — Спасибо! — и все так же величественно двинулся к входу в гостиницу. Вот такие у нас с ним состоялись кредитно-денежные отношения...

Миши нет уже год. Но остались его книги. И я страшно завидую тем читателям, которым еще только предстоит их прочитать.

УСТАРЕЛЛЫ

Эйлин О'Коннор

У Лукоморья дуб зеленый

Кот молчал вторые сутки. Не умаслила ни щедрая плошка сметаны, ни подобострастное «хорошая киса, умная киса!», с осторожностью заявленное из угла боярами. Плошку Кот обошел по дуге, брезгливо дрогнув над ней кончиком хвоста, а на царевых слуг при слове «киса» многообещающе сузил глаз. Правый. Выражения лица при этом не менял, угрожающих звуков не издавал, вострым когтем стены не полосовал. Однако же бояре с удивительным единодушием попятались. Откатились бояре волной, да так резво, что придавили пару-тройку своих.

В ответ на сдавленные крики Кот и ухом не шевельнул. Вытянулся вдоль стены, громыхнув цепью, и принял свирепо вылизывать косматый черный живот.

- Молчит? — нахмурился царь.
- Молчит, — вздохнул боярин Морозов. — Ни одной сказочки не рассказал.
- Может, он того? — усомнился царь. — Не ученый?
- Дуб был. Цепь наличествовала, — уныло перечислил боярин. — Очки имелись. Треснули при задержании.
- Починили?
- Первым делом!
- Кота напоили, накормили?

Морозов только руками всплеснул. Обожрался уже, от сметаны морду воротит, тварь мохнатая!

— Чего же ему, собаке, еще надобно? — Царь почесал лысину. — Не дуб же высаживать посередь палат!

Боярин тактично промолчал. На именины царевна Несмеяна потребовала в подарок Ученого Кота, чтобы усаждал ее слух сказками и песнями. Уж если царь ради любимой дочери пошел на то, чтобы поссориться с самим Черномором (тоже большим любителем небылиц), с него станется и дуб пересадить.

А ведь Морозов предупреждал: не надо! Всякий кот есть тварь глумливая и непредсказуемая. А от повышенной образованности еще ни у кого характер не улучшался. Ткни пальцем в любого ученого или, прости господи, сочинителя: ну дрянь на дряни.

Из соседней залы донеслись безутешные женские рыдания. Царя перекосило.

— Придумай что-нибудь! — яростным шепотом закричал он на Морозова. — Мышей ему подгони! Загривок почеши золотой вилочкой! Только пусть плетет свои сказки! А иначе — голову с плеч!

Боярин, человек многоопытный, не стал уточнять, чья именно шея ляжет на плаху. Долгая служба приучила его, что любопытство такого рода не бывает безвредным.

Кот сидел, привалившись спиной к лавке, в позе расслабленной и непристойной: ни дать ни взять перебравший пьяничужка.

— Батюшка Кот, — начал Морозов, косясь на нетронутую сметану. — Уважь нас сказкой, будь так любезен!

Кот лениво зевнул. Обнажилась ребристая, точно щучьи жабры, розовая пасть.

— А мы тебе кошечку! — умильно пообещал боярин.

Кот перекатился на бок, вскинул заднюю ногу и вызывающе облизал коленку.

— Не выходит у вас беседа, Петр Симеонович, — ехидно заметили сзади.

Морозов начал багроветь. Не чужие доведут, так свои подсуропят. Ниоткуда помохи не жди.

— Юрдствуешь, значит! — с горечью воскликнул он, глядя на Кота. — Что уж только не предлагали тебе, извергу!

И кошечку, и курочку! И по шерстке, и против шерстки!
А ты ни в какую!

Призрак плахи блеснул перед внутренним взором закручинившегося боярина.

— Что ж с тобой делать! — Он схватился за голову и вдруг шмякнулся по-турецки прямо перед Котом.

Сзади охнули и загомонили:

- Петя! Куда?
- Окстись!
- Порвет!

Кот уставился на опрометчивого боярина янтарными глазищами. Эх и страшная тварюга! С пса сторожевого ростом. Шерсть гуще коврового ворса. Усы длинны, как стебли лука-порея. Зрачки черней ужиной шкуры.

Из растопыренной лапы беззвучно выдвинулся кинжалной остроты коготь.

Морозов сглотнул. Но отступать было поздно.

— Эх, пропадать, так со сказочкой! — с бесстрашием отчаяния заявил он. — Раз ты, батюшка, молчишь, слушай мои побасенки!

Он хрипло откашлялся и начал, зажмурившись, чтобы не видеть гнутого орлиного когтя:

— Жил старик со своею старухой у самого синего моря! Они жили в ветхой землянке тридцать лет и три года. Раз вышел старик на берег и закинул в море свой невод...

— Не вышел на берег, а сел в лодку, — хрипловато поправил кто-то. — И не невод забросил, а удочку.

Морозов осторожно приоткрыл глаза.

Позади боярина встало ошеломленное молчание: казалось, попятившись — и врежешься в его упругую стену.

— В лодку? — переспросил Морозов, таращась на Кота.

Зверь солидно кивнул.

— Сам врать люблю, грешен, — певуче сказал он. — А другим не дозволяю. Уж берешься рассказывать, так говори правду.

И он пронзительно глянул на Морозова. В зрачках его бедный боярин узрел обещание лютой смерти, по сравнению с которой плаха показалась бы милостью.

— П-пустил раз Иван-Царевич к-каленую стрелу, — начал он, заикаясь, — и прилетела она к лягушке на б-болото...

Кот издал короткое рассерженное шипение. Рассказчик поперхнулся на полуслове.

— Не стрелу, а топор, — хмуро буркнул Кот. — Не к лягушке, а к старушке. И не Иван-Царевич, а юный студиозус, помрачившийся духом от крайней нужды и чрезмерной рефлексии. Все вранье! Давай другую!

В круглых глазах сверкнула молния.

— В третий раз пришел невод с золотою рыбкой! — пролепетал боярин, позабыв от страха все сказки, кроме «Рыбака и рыбки». — Отпусти, говорит, меня, старче! Исполню любое твое желание!

— Чушь собачья! — Кот повысил голос.

Морозов дрогнул и вжал голову в плечи.

Зверь встал на четыре лапы, выгнул спину и прошелся перед боярином туда-сюда, охаживая себя по бокам пушистым хвостом. Видно было, что он сильно недоволен.

— По-твоему, вот такая малюсенькая рыбешка может любое желание выполнить?

Он устремил на Морозова негодующий взгляд.

Как ни был перепуган боярин, онглядел, в чем его спасение. Кота явно раздирали противоречивые чувства. Сам он сказок рассказывать не желал. Однако не мог вытерпеть, когда их перевирал кто-то другой.

— Не знаю я правды, батюшка, — виновато признался Морозов. — Что, не может?

Негодующее фырканье было ему ответом. Кот подтащил одной лапой цепь поближе, чтобы не стесняла движений, и принял размечено ходить вдоль нее.

Краем глаза Морозов заметил в дверях изумленного царя, а за его спиной — Несмеляну.

— В общем, дело было так, — с видимым отвращением прощедил Кот. — Жили-были старик со старухой. В землянке. Тридцать лет и три года. Здесь ты правильно начал. Вот только невод старик с берега не забрасывал! У берега одни морские огурцы и прочая шелупонь водится. Толкуто от них! Нет, он сел в лодочонку и поплыл, а удочка у него уже наготове лежала.

Кот хмуро зыркнул на столпившихся в углу бояр.

— Плыл он, плыл неведомо куда, и вдруг клюнуло! Вытаскивает старик удочку, а на крючке золотая рыбка болтается. Малек, с палец. Ни на жареху ее, ни на засолку. «Ладно, — думает старик, — пущу тебя на уху». А рыбка ему молвил человеческим голосом: отпусти, мол, меня, старче, а я тогда исполню твое желание.

— Вот! — не выдержал Морозов. — Я же говорил!

— А теперь помолчи! — огрызнулся Кот. — Старик ей сразу: хочу быть богатым, здоровым и красивым! А рыбка ржет.

— Что делает? — переспросила из-за спины батюшки-царя изумленная Несмеяна.

— Посмеивается, — не стал сгущать краски Кот. — Я, говорит, рыбешка мелкая, и желания исполняю небольшие. А чтобы тебе стать здоровым, богатым и красивым, рыбакит нужна, не меньше.

Все присутствующие отчего-то дружно вздохнули.

— «Раз такое дело, — отвечает ей старик, — хочу новое корыто! Корыто-то можешь справить, мелюзга?»

«Корыто могу!» — обрадовалась рыбка. Плавниками дернула, хвостом махнула, губами шлеп-шлеп. «Готово!»

Отпустил ее старик и домой возвратился. Глядь — и точно: новое корыто!

Кот пружинисто перешагнул через цепь и некоторое время ходил туда-сюда в задумчивом молчании.

— А старуха давай требовать большего! — не выдержав, подсказал царь.

— Не такая уж и старуха, — возразил Кот. — Сорок шесть лет всего. Могла бы цвети и предаваться легкомысленным женским удовольствиям. А вместо этого руки портила стиркой!

Он сморщил нос.

— Конечно, ей хотелось радостей жизни. Вот старик и отправился рыбачить, только заплыл еще дальше. И что бы вы думали? Поймал!

Кот удивленно качнул головой, будто сам себе не верил.

— На этот раз клюнула золотая рыбка побольше. С ладонь! И попросил у нее старик не новое корыто, а целый

дом. Подплывает к берегу, а на пригорке терем стоит, в окошко старуха довольная смотрит, прихорашивается.

Тут-то старик и смекнул, в чем дело. Одна рыбка — одно желание. Чем крупнее рыбешка, тем больше у нее сил. А возле местных берегов, получается, целые косяки их бродят!

Как представил рыбак, сколько всего можно получить, если выловить золотую рыбину величиной с сома, у него даже волосы несуществующие на лысине зашевелились. Фантомные боли, так сказать. А старуха подзуживает. Иди, мол, лови, не ленись!

Кот сел и по-собачьи почесал лапой за черным бархатным ухом.

— Все зло от баб, — понимающе вздохнул кто-то и тут же ойкнул, покосившись на Несмеяну.

Но увлекшаяся сказкой царская дочь пропустила дерзость мимо ушей.

— А дальше, дальше-то что было?

Кот тяжело вздохнул:

— Это только сказка быстро сказывается, да и то не всякая. Скажем, один английский сказочник затеял такую сагу, что целых двести лет хоббитам икается...

Кот мигнул и замолчал, словно утратив начисто нить разговора.

— А третья золотая рыбка, — осторожно подсказал Морозов, когда тишина затянулась.

— А третья золотая рыба клюнула у старика через два месяца, когда он уже и надежду потерял, — проснулся Кот. — Здоровенная — с локоть, и толстая, что твоя амбарная мышь! — Он непроизвольно облизнулся. — Старик до того боялся не удержать ее в руках, что выпалил первое желание, которое в голову пришло. Уж как его дома старуха потом чихвостила! Какая, кричит, из меня столбовая дворянка! Ты посмотри на мое рязанское рыло! Но уж деваться некуда. Захотел мечту — будь добр соответствовать.

Кот отчего-то пригорюнился и некоторое время молчал. На этот раз Морозов не решился подгонять его.

— А вот когда год спустя очередная золотая рыбина сделала старуху царицей, тут уж баба во вкус вошла. А ста-

рик еще больше! Только ему не почет и уважение требовались, а власть совсем другого рода. «Вот каков я! Свою волею цариц возвожу на трон! А захочу — скину! И никто мне не указ». Оттого и жить он ушел на конюшню, чтобы через принижение острее чувствовать силу свою и могущество.

Кот снова отправился в путь вдоль цепи. В блеске черной шерсти Морозову вдруг пригрезились морские волны, по которым перекатывается легкое суденышко.

— Старуха правила, а стариk тем временем вынашивал новую мечту. Самую огромную золотую рыбу возжелал он поймать. Рыбину! Рыбищу! Чтобы стать владыкой подводного мира. С надводным-то любой дурак справится, дай ему только время, терпение и небольшую армию. А вот с подводным сложнее. А еще страх стал одолевать старика, что опередит его кто-нибудь и первым вытащит Царь-рыбу! У маленьких людей и страхи мелкие, с гальку. А чем выше на гору лезешь, тем тяжелее камни сыплются тебе на голову.

Морозов шире раскрыл глаза, чтобы ничего не пропустить. Море сияет тускло, глотает солнце и катает в глубине, как горошину. Обвис тряпкой белый парус. Ладони рыбака ободраны, из горла вырывается хрюп, плечи сожжены солнцем, и кожа вздувается на них пузырями, словно яичница на сковороде. Но измочаленными своими ладонями он все выбирает и выбирает леску.

— Долго они боролись, — донеслось издалека до боярина, — рыбак и его рыба. Самая большая золотая рыба в мире! Он и не думал, что такие бывают. Но стариk победил.

В глазах боярина помутилось от сверкания тысяч чешуек. Бока рыбьи вздываются, жабры судорожно распахиваются. Со скользкого рыбьего носа шумно стекает вода.

— Но этого старику оказалось мало! Не отпустил он Царь-рыбу, как собирался, а двинулся с нею к берегу. Тщеславие победителя острее даже ярости побежденного. Решил стариk показать всему миру, кого он поработил. Пусть знают, кто отныне служит ему! «Да будет моя старуха владычицей морскою!» — изречет он на глазах у народа.

да, и Царь-рыба покорно махнет хвостом. Склоняется перед ним и люди, и звери и признают, что он величайший рыбак во все времена, ибо никому не удавалось еще поймать такую добычу.

Над скорлупой лодки солнечной печатью проштампован небесный лист. Слабеет человек, закрывает глаза. Он стар, и он устал. Обессиленная рыба качается на волнах, глаза ее стекленеют, а тем временем мнувшуюся от ветра морскую ткань взрезают серебряные острия плавников. Старик не видит их. Он крепко спит, сжимая окровавленной рукой провисшую леску.

— Когда прибой вынес старика к берегу, тот очнулся. И увидел, что за ним плывет не золотая сияющая Царь-рыба, которую намеревался он доставить для всеобщего обозрения, а один только рыбий скелет. Сдохла его добыча во время пути, а водяные твари, коих без числа в море-океане, объели ее добела.

Кот глянул на Морозова, ошеломленно трущего глаза. Где море? Где лодка? И что со стариком?

— Стоило старику открыть глаза, — сообщил Кот, словно отвечая на невысказанный вопрос, — как из воды высунулись острые морды четырех золотых рыбок. И внимательно посмотрели на покойного своего собрата, от которого остались одни косточки. Тотчас сказочный дворец растаял, а с ним и все новообретенное царство. Брякнулась старуха на крыльце своей ветхой землянки, а с ближнего пригорка к ней, откуда ни возьмись, покатилось корыто. Докатилось до лачуги, ударилось об стену — да и треснуло.

Кот дернулся усом.

— А старику ума лишился. Ходил по берегу, похвалялся, какую сказочную рыбу вытащил. Да никто ему не верил. А кости рыбы во время первой же бури в море смыло.

Наступила долгая тишина.

— А мораль? — осмелился шепнуть Морозов.

— А мораль здесь простая, — прищурился Кот. — Где жертва, там и труп. А труп надо прятать так, чтобы следов не оставалось. Глядишь, и по сей день старик бы царствовал.

Он удовлетворенно замолчал. Молчали бояре. Молчал и царь.

— Странная какая-то сказка, — решила, наконец, Несмеяна. — Хочу другую!

Ученый Кот чихнул и протёр лапой усатую щеку. Однако ж на требование царевны не отозвался.

— Сказку! — возвысила голос царевна.

Кот сел на попу и с большим прилежанием вылизал себя под хвостом.

Несмеяна побагровела. Царь прикусил щеку.

«Ну, сейчас начнется!» — понял Морозов. И брякнул в полный голос, торопясь опередить необдуманный приказ царя:

— Позвольте мне, ваше величество!

Не дожидаясь разрешения, быстро затараторил:

— Жила-была сестрица Аленушка, и был у ней братец маленький, Иванушка. Родители их умерли, жили они сиротами.

Он покосился на Кота. Кот безмолвствовал.

— Пошла однажды Аленушка в соседнюю деревню и брата с собой взяла. Идут они через поле. Иванушка жалуется: «Пить хочу!» А Аленушка его просит: подожди, мол, дойдем до колодца. Но солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Снова просит Иванушка пить! Хлебну я, говорит, из телячьего копытца! А Аленушка ему: «Не смей, теленочком станешь!»

Морозов перевел дыхание и метнул на Кота испытующий взгляд. Кот невозмутимо драил языком хвост и видимел умиротворенный. В отличие от царя с Несмеяной, которые никак не могли взять в толк, отчего это боярин разливается соловьем.

«Ах ты ж скотина упрямая!» — выругался про себя Морозов.

— Идут они дальше! — с фальшивой бодростью доложил он. — Глядь — лошадиное копыто! Иванушка опять начал ныть, а сестрица Аленушка ему: «Не пей, братец, жеребеночком станешь!»

На этом месте Кот начал проявлять признаки беспокойства. Вылизываться перестал. Усы его нервно задергались, но он лишь плотнее сжал пасть и слегка выкатил глаза.

— Жарко! Тяжко! Солнце палит! — приободренный этим зрелищем боярин усилил накал испытаний. — И вдруг на дороге след от козлиного копытца! «Аленушка! Можно мне напиться?» — «Нельзя! Терпи, дурак».

Кот сморщился и, кажется, прикусил себе язык, но смолчал.

— Однако Иванушка не удержался! — с торжеством сообщил Морозов, чувствуя, что победа близка. — Налакался воды из копытца и тотчас обернулся козленочком! Ме-е-е!

Увлекшись, боярин пал на колени и вдохновенно изобразил обновленного Иванушку.

— Вранье! — взвизгнул Кот. — Не было такого!

Морозов про себя перекрестился. Но внешне ликования не выдал. Лишь обернул удивленное лицо к Коту и поинтересовался, что на этот раз не так.

— Дьяволово копытце! — прошипел Кот, плюясь и роняя ус на половицу. — Дьяволово, а не козлиное! Что за детские суеверия насчет отпечатков парнокопытного скота! Разумеется, дурень Иванушка напился самогонки из следа, оставленного бесом.

— Самогонки?! — хором переспросили царь и боярин Морозов.

— А вы полагали, сливок? — ощерился Кот. — В бесовских следах всегда самогон плещется. Напился наш Иван, как последняя скотина. И моментально — бац! — алкогольная зависимость. Бесовский самогон, как вам прекрасно известно, обладает убойной силой. Один глоток — и ты в лапах у чертей.

Кот с нескрываемым удовлетворением развел передними лапами.

— И с тех пор пошло-поехало: лишь открывается придорожный трактир, малолетний Иван уже внутри, выпрашивает чарочку. Сестра его уж и козлом кляла, и бараном малолетним. Все впустую! Притчей во языцах стал Иванушка. А уж когда с пьяных глаз дом подпалил, пришлось ему из деревни бежать, чтобы не забили. Подался он туда, куда все пьянчужки тянутся: в Москву. И взял себе новую фамилию: Бездомный. Дома-то у него не осталось.

Кот почесал когтем нос.

— В Москве жизнь его была несладкая. Опустился до того, что стихи писать начал! У-у, прохвост!

Он осуждающе покачал головой.

— Потом, правда, малость исправился: попал в дом для душевнобольных. А под старость пригрела его добрая женщина. Но дьяволов след ему с тех пор повсюду мерещился. Ни лекарства не помогали, ни самовнушение.

Кот хмыкнул и замолчал.

— А мораль? — вторично пискнул Морозов, и половины не понявший из повествования.

— А мораль проста: употреблять нужно вдумчиво, из правильной посуды и под годную закуску! — поведал Кот. — Иначе покатишься по наклонной. А там и до стихоплетства дойти можно!

Всей мордой он выразил омерзение и брезгливость. И даже шкурой передернулся от отвращения.

В повисшей тишине бессильно прожужжала муха. Боярин Морозов обернулся на Несмейну. Царева дочка вопреки обыкновению не рыдала, но выражение лица у нее было странное.

— А вот еще есть сказка про спящую царевну и царевича Елисея, — осмелился напомнить боярин.

Кот недобро оскалился:

— Не спящую, а мертвую. И не Елисея, а Дракулу. И не царевича, а известного упыря, который мертвых дев поднимал из могил самым противоестественным и гнусным образом, а именно кусая их в...

Возмущенный девичий крик оборвал рассказ Кота.

— Хватит! Не сметь! — бушевала Несмейна. — Не хочу слушать! Это все неправда!

— Это — как раз правда! — усмехнулся Кот. — И ее я вам буду рассказывать всякий раз, как пожелаете, чтобы я говорил. А правду у меня в запасе много! Я же Ученый.

— Хочу сказку! — топала ногами Несмейна. — Выдумку утешительную!

— Сеансы психоанализа за другой дверью! — отрезал Кот. — А у меня либо горькая истина, либо неприглядная правда, либо душераздирающие факты. Выбирайте!

— А ну как выберу я тебе, батюшка, голову отрубить? — вступил царь.

Кот на мгновение задумался.

— Это будет душераздирающий факт, — наконец классифицировал он. — А горькая истина состоит в том, что вы даже сказку обо мне сложить не сможете!

— Это почему же? — подбоченился царь.

— Потому что вы правды не любите, — невозмутимо отозвался Кот. — А самая лучшая выдумка на девятьдесятых состоит из чистой правды.

«У Лукоморья дуб зеленый. Златая цепь на дубе том. И днем и ночью Кот ученый...»

— И не дуб вовсе, а амбар, — гнусаво поправил Кот. — И не златая цепь, а крученая веревка. И не кот, а кобель кавказской овчарки по кличке Верный.

Он снисходительно глянул с ветки на кучерявого юношу и тяжело вздохнул:

— Писаки! Все переврут!

Алексей Проворотов

Ларец

— Вор! Вор! — кричал ворон в высоком и дымном небе, но я не слушал его, погоняя черного, ворону в цвет, коня, пока конь не упал, с тяжелым дыханием выплёвывая розовую пену.

Тогда я бросил коня и зашагал пешком. Парило, с далекого еще моря медленными рыбами наплывали тучи, но железный ларец на груди был холоден, как будто в нём лежал кусок льда.

На самом деле я не знал, что там внутри, и ключа не имел. Но берег маленький, с кулак, ларец пуще зеницы.

— Воррр... — скрипели деревья, сплетаясь над заросшей тропой, но я не слушал их, шел, почти не оглядываясь, иногда только припадая ухом к земле — не бежит ли за мной Засекин конь, не дрожит ли сырая, черная земля от ударов пудовых копыт. Засека был немал, и конь его носил тяжелый.

Я уже чувствовал близость реки. Значит, и до Марьина леса оставалось совсем немного, а уж там никто не сможет поднять на меня вооружённую руку.

Я надеялся срезать через чащу и тем оторваться от погони. Что бы ни водилось в глухи Марьина леса, у него нет ко мне счётов. А у Засеки — есть, и он не преминет взять плату моей грязной, лохматой головой.

Я посмотрел вперёд, где за недалёким уже лесом, знал, увижу море. А там, в туманной дали, за островами, голыми, каменными, или заросшими мхом и буреломом, за белыми бурунами волн, за безднами до горечи солёной воды, в толще которой плавали и рыбы, и змеи морские, и про-

чие дива; там, где-то далеко лежала земля, откуда родом была Марья, колдунья, приведшая однажды из шквальной дождевой стены свой флот и осевшая на скалистом берегу между древним лесом и извечным морем.

Марьины сети всегда были полны — говорили, привезла она с собой рог, оранжевую с чёрным кручёную морскую раковину, пастущий рожок для рыб. Крепость и торговля её стояли на берегу, при устье реки, а сама она жила в каменном тереме на острове, к которому ни один корабль пристать не мог, только водяной конь мог между скалами проплыть. Рассказывали, что у неё на родине это обычный зверь, как наши простые сухопутные лошади, и ничего колдовского в нём нет.

Говорили ещё, два раза хотели её войной воевать. Один раз с земли, когда дружины вошли в лес, не сложив оружия. Из лесу никто больше не вышел, ни в ту сторону, ни в эту, и люди скоро даже забыли — а чья то была дружина?..

С тех пор оборуженным никто в лес не заходил, а кто заходил, того больше не видели.

Другой раз — с моря. Тогда поднялся шторм и корабли все в щепки разбил. Говорили, когда моряки падали в воду, рыбы набрасывались на них и ели живьём, все — и беззубая мелочь, и огромные, со дна поднявшиеся, никем ни до, ни после не виданные чёрные твари в светящихся полосах.

Разное, в общем, говорили.

В ту сторону я и спешил. Я не любил ни колдовства, ни колдунов, зато с Засекой Марья не ладила — как-то ездил он к ней свататься, вернулся чёрный от злости, весь свадебный поезд разогнал и пил горько, пока молодой месяц не дополнился до круга.

А грибников или просто запутавших колдунья не трогала, живьём не ела и в печь не сажала, чай не Яга. Я надеялся если не ей продать этот загадочный ларец, то уйти с первым кораблём в море, а там уже разобраться, что такое забрал я у спящего Засеки. Ему при мне такие деньги давали за эту вещицу, что мне б и четверти хватило, пусть даже б я прожил ещё три раза по столько же, по три десятка лет.

— Вор—вор—вор—вор—вор, — кричали лягушки на реке, над бурунами у корней старых вётелей. Я знал, что этот

окрик, который я слышал постоянно, в любом звуке, — Засекино колдовство. Всё ж таки умел разбойник молвить какие-то слова, водились в его крепкой башке тёмные тайны, как угри в иле: скользко, мерзко и не ухватишь.

Я оставил его ватагу — ссобачился ватажок. Оставил и расчет взял, чем захотел.

На том берегу я заметил проблеск огня и переплыл реку выше по течению, привязав узел с вещами к голове. Нож я держал в зубах.

Вода была холодной, жёлтые и серебряные палые листья липли к телу. На том берегу я не стал тратить время на то, чтобы снять их.

Я прокрался к огню, не пряча ножа.

У костра никого не оказалось, а на огне кипел котелок с ухой. Рядом валялись рыбакские снасти, мокрая сеть, почему-то с проблеском медной проволоки; стояло полное воды деревянное ведро.

Я подцепил ножом из котла большой кусок рыбы, похожей на щуку, и, обжигаясь, стал есть с лезвия.

Рыба на вкус оказалась как будто настоящее мясо, пахла сладко, и я с подозрением посмотрел на кусок. На вид щука и щука, только кожа другая, румяно-розовая, бархатистая.

Будто человеческая.

Я перестал жевать. Медленно сплюнул. Жуть тронула шею костлявым пальцем.

Тут плеснуло в ведро, я обернулся, и увидел, что из ведра выглянула рыбья харя, легла на обод и смотрит. Головой как щука, только в узорчатой, светло-охристой шкуре. В ухмылке морды было что-то презрительное, злой глаз полыхал умом, крутился, отсвечивая оранжевым.

Меня как-то затошнило, затылок заледенел, по мокрой коже под рубахой пошли, казалось, морозные узоры. Что-то было не так в этой рыбине. Я как будто на василиска смотрел.

Я вдруг понял, что не хочу встречаться с человеком, который развёл этот костёр. Который сварил и собирался есть такое вот создание.

Я осторожно взял ведро, тяжёлое, будто камнями набитое, и, держа на отлёте, понёс к реке.

Рыба спрятала было морду, но над самой водой молниеносно тяпнула меня за палец до кровища, выскочила из ведра, плеснула и канула, как камень, словно и не было её.

Я выругался в полный голос и тут же пожалел: в такой глухи отголоска лучше было не накликать, мало ли кто — или что — услышит да ответит.

Прежде чем уйти, я выплеснул вслед рыбе и котёл с варевом. Людей-то в земле хоронят, а рыбу, рассудил я, в воде. Я не мог отделаться от мысли о том, что эта рыбина всё понимала, только сказать не могла. Правда, если б она что-нибудь сказала, я бы, наверное, примёрз к земле.

Я поспешил покинуть это место.

Я спешил по лугу, уже не тратя время на оглядки. Но вскоре обнаружил, что зашёл куда-то не туда.

Трава на сырому заливном лугу поднялась выше колен, под ногами стало мягко, в следы натекала вода.

— Воррррр, — ворчал гром, то ли обвиняя, то ли пытаясь просто выговорить моё имя. Я уже не слушал, пытаясь решить — срезать мне дальше через внезапное болото или возвращаться.

Где-то далеко что-то ныло — то ли зудели комары, то ли скрипело дерево о дерево, то ли пищала какая-то птица. Я устал, хотелось есть, и со смесью тошноты и голода вспоминал уху. Голова кружилась, в ней крутились какие-то странные песенки, которых я вроде никогда и не слышал.

Потом я понял, что слышу песню не в голове, а впереди.

Песенка была протяжная, струилась, как волна, неспешно, монотонно усыпляя. Я сам не заметил, как вышел к заросшей старице. Я тряхнул головой, плеснул в заросшую морду холодной воды из следа. Обернулся — сзади совсем всё водой затекло. Я сделал шаг назад и провалился по срез голенища.

Вот те на. Как же я сюда-то добрёл, подумал я. Была поляна, а стала елань.

Впереди вроде посуще было, стояли вётлы с мощными, широкими корнями. Я махнул рукой и двинул вперёд.

В конце концов, если поёт живой человек — значит, хорошо, а если нелюдь какая-то — значит, заманивает, а раз

заманивает, значит, иногда тут люди ходят, а раз ходят — значит, может, и брод есть.

Рассуждения эти мне самому не нравились, глухие это были места, на этих землях за рекой и вовсе люди никогда не жили. Тут лежали иные кости.

Да как речка сколыхалася,
Раскачалася на двенадцать вёрст,
Как ударила в ровный бережок
Да двенадцать костей выплеснула,
А тринадцату — живую голову...

Не нравилась мне эта песня. Но звучала она уже в двух шагах, а голос был такой красивый, низкий, бархатный...

Сейчас дойду до берега, подумал я, и суну башку в воду. Что за морок?

Берег становился влажным, илистым, и я перепрыгивал с корня на корень. Меня будто вели по одной какой-то дорожке, и я не мог с неё свернуть — по бокам была то грязь по колено, с пузырями, то стоячая вода, то опять же елани. Попробовал ещё раз свернуть назад — поскользнулся на корне, чуть ногу не вывихнул.

Загнала меня нечистая, подумал я и вытащил нож. Толку от него в таких делах я не ожидал, но всё ж таки железо.

Ни тоски, ни страха я не чувствовал, хоть и понимал, что дело нечисто. Это всё песня виновата, думал я; это всё песня.

А тринадцатую голову,
Без крови живу-живёхоньку
Клали на плаху дубовую,
Раскололи всю дубиною
И огнём пожгли со плахою.
И тогда река успокоилась,
Отступила, уравнялась,
В берега вошла.

— Да где ж твои берега-то, — пробормотал я, разводя руками заплетённые жимолостью плети трухлявых, едва живых вётел, и очутился над самой водой.

Пасмурный свет рассыпало отражался в мутном, тёмно-зелёном зеркале заводи, затянутой ряской и заросшей глянцевыми листьями кувшинок.

На горбыле старого-старого поваленного дерева, затонувшего недалеко от берега, сидела девушка. По замшелому гребню коряги цепочкой росли грибы, отсвечивавшие в тенях зеленью. Таких я ещё не видал.

Девица, нагая, долговолосая, плечи покатые, сидела во мхах, как на подушках, опустив белые-белые ноги в зелёную воду. Длинные, ровные ноги. Зелёные же блики гуляли по телу, подсвечивали её кругло. Тёмные волосы были такой непомерной длины, что уходили в воду, но не колыхались в ней, а тонули, словно были тяжелы, как проволока.

Сотня лягушек прыгнула в воду с листьев, с колоды, с прибрежных корней, и после единого всплеска воцарилась тишина. Приоткрыв рот, девица посмотрела на меня во все зеленовато-голубые, под цвет грибам, глазища.

— Мoooолодец! — сказала она бархатно, низко, у меня по спине аж мурашки прошлись.

— Девица, — кивнул я как мог безразлично.

— Да не бойся ты, не русалка я, — сказала девушка. — Хоть и похожа, говорят.

— А чего тогда у тебя одёжи нет?

— А без одёжи я тебе не люба?

Я хотел ответить что-нибудь грубое и не смог. Нравилась мне эта линия плеч, тени в ямках ключиц, блеск волос. Глаза прилипли.

— А от меня чего надо?

— Вынеси меня, я ногу свихнула.

— Покажи ногу-то, — сказал я.

— Ты, что ли, знахарь?

— Ногу покажи.

— А ещё тебе чего показать? — улыбнулась девушка. Рот у неё оказался широковат, но улыбка вышла милая. Нож я спрятал, а то стоял, как дурак, с ножом. Но подходить к ней ближе я не собирался.

— Дорогу отсель.

— Дорогу знаю. Ты меня на берег вытащи, дальше покажу. — Она откинула голову, волосы соскользнули за плечи, и она осталась ничем не прикрыта.

Я сделал шаг вперёд, просто чтоб набрать воды и плеснуть себе в лицо — как только девушка перестала петь свою дремотную песню, в голове прояснилось, а может, просто над водой было свежее, чем на парком лугу.

И ушёл по колено в ил. Что-то больно распороло штанину, разодрало ногу.

Только тогда я увидел, что в воде полно костей, торчащих из грязного дна. Рёбра, руки, осклизлые зелёные черепа и, совсем недавнее, лицо утопленника с открытым в крике ртом. Отражения на воде больше не скрывали этот подводный лес костей.

А ещё я увидел наконец её ноги, огромные чёрные ступни с перепонками.

Я поднял голову, рванувшись рукой к ножу, но, конечно, не успел.

Болотница вскочила мне на плечи, надавила, вжимая в мутную воду, ряска налипла на лицо, в носу жгло, грудь разрывало от ужаса и невозможности вдохнуть.

Я нашарил нож, махнул куда-то, но речная трава обвила мне руки, нож запутался, завяз в зелёном месиве.

Я тонул. Воздуха в груди не оставалось. Сполз с плеча ларец, протянулась по руке цепь; я схватил его свободной рукой и из последних сил, как мог, выпростав руку над водой, ударил ледяной угловатой железкой наугад.

Внезапно отпустило. Я разогнулся пружиной, не глядя взмахнул цепью, ларец с глухим шлепком врезался во что-то, я выдернул наконец руку с ножом и сипло заорал, извергая грязную воду изо рта и носа. По шее текла и скапывала в воду кровь. Достала меня, стерва.

Болотница огромной жабой перебросилась через корягу, вытаращила на меня отсвечивающие зенки, раскрыла от уха до уха рот, полный плоских, острых зубов.

Я отпрянул, ломанулся к берегу, раздирая ноги о старые кости, и одним отчаянным рывком, зацепив цепь ларца за сук и обжигаясь холодом, вытащил себя на берег, на прочные корни.

— Не, молодец, проваливай-ка ты отсюда, себе на погибель позвала, — сказала болотница, взбираваясь на корягу. Голос её стал совсем низким, глухим. Когти жутких ног впились в мох. Но она всё ещё походила на человека, только на мёртвого, давно утопшего, разбухшего, побелевшего от долгого лежания в воде.

— Раз ты такую смерть с собой носишь, то, может, и на меня чего найдёшь. Я уже сегодня сыта, проваливай подобру. Чтоб тебя дождь намочил, — добавила она ни к селу ни к городу.

Я не понял, о чём она, о какой смерти, не понял, почему оставила меня, и ответить ничего не успел.

Словно закипела вода, плеснуло, огромная, как конь, рыбина смела болотницу с бревна, хрюплю охнуло, брызнула тёмная кровь и заклубилась в воде, как пролитые чернила. Тяжёлый, затхлый дух болота и мертвечины потянулся над водой.

И из этой воды высунулась подозрительно знакомая рыбья морда, только огромная, именно что с конскую башку размером. Из плоского затылка торчали, закручиваясь назад, мелово-белые трубчатые рога; с одного свисал колокольчик. По охристой чешуе шли золотые и серебряные ромбы.

Рыба вращала глазом, медленно открывая кроваво-алые жабры. Отвратный дух болота ушёл, запахло странно, сладкой какой-то травой и морской солью.

— Эй, молодец? Как тебя звать-то? — раздался голос, хрюповатый, со звенящей-воющей нотой, будто кто играл на пиле.

Рыбина, громадная, словно бревно, разевала рот, показывала алое нёбо и белые острые зубы. Она действительно говорила.

— Явор, — ответил я со стоном.

— А по батюшке? У вас, людей, так положено, если со всем уважением?

У меня не было сил возражать против рыбьего уважения. Я замёрз, перетрусил и терял кровь.

Сжимая в бессильных от страха руках цепь с ларцом и нож, я выдохнул хрюплю и ответил:

— Никитич.

— Спасибо тебе, Явор Никитич, что ты мою дочь выпустил. Она всё мне рассказала — как Марьин пастух её в сеть поймал, как сестрицу разделял да в костёр кинул, — тут рыба пустила маслянистую слезу, а воющая нота в голосе сделалась почти невыносимой, — и как ты, добрый молодец, её освободил. Каплю твоей крови дочка мне принесла, чтоб я могла тебя найти да помочь, если с тобой на любой воде беда случится. Я как твою кровь почуяла — сразу и пришла.

— Благодарствую, — ответил я. — Только вот я вроде и сам справился.

— Не гневи, Явор Никитич! — скрежетнула рогатая рыбина.

— Я, знаешь ли, тебя не звал, кто ты такая — знать не знаю, — ответил я. Страх отпускал, приходила запоздалая злость.

— Я Морская Коза, Ясконтия внучка.

Ясконтий. Я слышал про гигантскую, с остров, животину, на спине которой рос целый еловый лес, но спрашивать не стал. Ясконтий — создание морское, а до моря прежде надо живым добраться. А побег мой как-то не задался.

— А ты, значит, у Марыи, царицы моря, в подчинении ходишь?

— Нет, Явор Никитич, Марья многое чем владеет, конь у неё с островов, что за тысячу вёрст дальше от Буяна, и всё море дотудова её слушает, а всё ж океан велик, и чуда в нём живут великие. Отец мой Ясконтий, сам себе хозяин, рыба-остров, и я сама себе хозяйка. Я её рожка не слушаюсь и на волос её не ловлюсь, а вот детушки мои в сетке с её волосом запутались.

Так вот оно что за проволока была, сообразил я. На базаре в Синь-городе когда-то мужик торговал волос, длинный-длинный, рыже-золотой; Засека тогда ещё купить хотел — мужик божился, что это Марыи, морской колдуньи, волос и на него рыба сама идёт.

— Ну бывай, Ясконтьевна, — сказал я.

— Ну лаааадно, — с воем проскрежетала рыба. — Не принимаешь мою отплату. Лады: если ещё раз меня по-

зовёшь — приду помогу. Станет тебе худо на реке или на море, капни в воду кровью.

Плыви уже, век бы тебя не видеть и твоей помощи не знать, подумал я.

— Только много, смотри, не лей, я до крови охоча, одурею — тебе же хуже будет.

— Ты мне не грозись, — в сердцах ответил я, пряча наконец нож и надевая цепь на шею. — Надеюсь, не свидимся!

— Как знаешь, а я пообещала. Береги себя, Явор Никитич. Погибель ты на шее носишь, хоть и не свою.

Морская Коза звякнула колокольчиком, нырнула — меня брызгами обдало, а по старице аж вертун пошёл, — и пропала, как не было её.

Пора было уходить. Я не знал, какой такой у Марьи пастух, но зато знал, что коров да овец она не разводила, а вот коней — да. А где пастух, там и стадо.

Болотницы не стало, морок рассеялся, и я легко обогнул старицу и выбрался на высокий луг.

Я думал о том, не стоит ли мне и вправду встретиться с Марьей.

Говорили, что на островах, где она родилась, кликали её не Марья, а Марте, а Марьей она уже на этом берегу называлась, когда выучила первые нужные для торговли слова и стала заплетать волосы в косу, на местный лад.

Сказывали, что в бою она удачлива, что кольчугу её и железную шапку заговорили семь особых старух ещё на том краю моря. И что с тех пор свой шлем на людях она никогда не снимала и лица её за железной личиной никто не видел. Считалось, что заговор защищать-то защищает, да только увечье недалеко вертится, копится да случая ждёт.

Марья владела берегом, почитай, полсотни лет, но не старела. Сватались к ней и воины, и князья, и колдуны, да только никого она не приняла. Говорят, сам Бессмертный к ней подъезжал, как колдун к колдунье, да и ему она отказалась. Говорили, что он осерчал и дрались они чуть ли не три дня и три ночи, а после Марья победила его и в цепи заковала. Так он где-то у неё в плenу и маялся.

Но то, полагал я, сказки. Если в Марьин рог я вполне верил, и в див земных, морских и небесных, и в колдовские

диковины, то в бессмертие — нет. Смерть — она такая, от неё можно на время склониться на тёплой печи или даже в заговорённой броне, но если размозжить любой подлунной твари голову — тут никак жив не будешь. Я в этом был уверен. Мне случалось такое и видеть, и учинять.

— Ворррр!.. — зарычал на меня злющий пёс, рябой, как соль с углём, когда я подошёл к стаду коней, что паслось на диком лугу. Я не ответил, дунул в костяной свисток. Пёс прижался к земле, пряча брюхо, и отполз.

Свисток я тоже забрал из Засекиных вещей, тогда же, когда и ларец. Засека всегда любил диковины, а я — нет. Но если представился случай, отчего не взять?

Я выбрал ближайшую кобылу, белую, только словно грязью забрызганную, с чёрными кругами ниже вишнёвых глаз. На моей родине, что осталась далеко отсюда на восход и на подень, таких кликали четырёхглазыми. У нас считалось, что животина с пятнами под глазами может видеть мёртвых.

Я забрал лошадь себе, как украл или отнял большинство того, чем владел в этой жизни.

Правил я по старинке, локтями и коленями. Лошадь слушалась.

Луг — зелёная чаша, усыпанная белыми и лиловыми цветами, — остался позади, как и ржание коней, и лай поздно набежавших кобелей.

Я вытащил нож, выбросил. Он шурхнул в листья, воткнулся в землю и пропал из виду. В Марьином лесу нельзя было обретаться с оружием, и я не собирался это правило, кровью писанное, нарушать. У меня и без того хватало забот — я украл лошадь у владелицы этих земель, а до того унёс сокровище главаря своей бывшей разбойничьей ватаги.

Я не знал, откуда Засека вернулся однажды, чёрный, мрачный, в неотмытой крови на доспехах, что такое с собой привёз, что хранил на шее, в небольшом, простом железном ларце размером с кулак. Куда ездил несколько раз без ватаги и возвращался угрюмей прежнего.

Приезжали люди какие-то к Засеке, сулили барыши, однажды видел я, как Засека с кем-то рубился, и убил, и закопал под елью за дорогой, ни камня, ни вешки не поставил.

Торопился Засека, дни отмечал в книге, иногда в горизонт смотрел, словно ждал, что за ним рать приедет.

Жадный стал, злой, связался с волшбой, а для меня это, считай, пропал. И однажды, когда обделил он меня долей, я, первостатейный вор, забрал у него, спящего, ларец и уехал в ночь.

Я отбросил мысли про Засеку и просто смотрел на лес.

Деревья тут росли так, будто их кто нарочно рассадил, постепенно, ряд за рядом, становясь всё выше и толще: от опушки — с запястье толщиной, дальше — уже с крепкую руку. Потом с бедро, ровные-ровные стволы, из земли да в небо. Дневной свет путался где-то в просторных шатрах крон, таял, не долетая до земли.

Раз я увидел старый, чёрный меч с истлевшей уже оплёткой рукояти, воткнутый в пень; другой раз — засаженный в дерево топор, считай, новый — кто-то здесь ехал или шёл совсем недавно. Оставалось гадать, какой дорогой выбрались из леса те, кто здесь своё железо оставил; да и выбрались ли. Впрочем, я и сам не собирался возвращаться этим путём.

Деревья вокруг стали попадаться ровно с моё тулово, немалое такое тулово рослого мужика. Потом пошли в обхват. Дальше в два. В три.

И тут лошадь встала, закрутила шеей и начала сдавать назад, крутясь и брыкаясь.

— Да что ж ты, волчья сыть, мэмёртвого увидела, что ли?

Я заругался сквозь сжатые зубы.

В первый раз я подумал, что не надо было в эту сторону ехать, далось мне это море, будто больше склониться негде.

— Воронье мясо, куда, куд-да!

Я пытался удержаться, вцепившись в белую гриву. И хлестнуть ведь нечем, подумал я, — ни батога, ни поводьев.

Я ёщё раз глянул вперёд. Ничего такого, ну темнота, как и везде, листва да корни, ёлки голые посохшие.

Я на ходу сломил ветку с сухой липы и ударил лошадь по крупу. Щёлкнуло, мёртвая сухая ветка разлетелась, кобыла взвилась, и я полетел-таки на землю, приложившись спиной. Дух вышибло.

Лошадь же тряхнула головой и ускакала прочь во все лопатки, взрывая истлевшие до кружева седые и чёрные листья.

Я встал кое-как, вдыхая горький лесной воздух примятый нутром, сплюнул и выругался от души, в голос.

Потом махнул на всё рукой и снова пошёл пешим ходом, стараясь не загребать палую листву и сухую хвою, чтоб шуршать поменьше. Тишина давила немного, словно прикладывала невидимый палец к губам. Тссс, Явор, молчи, не шуми, тут все молчат, под листьями молчат, на деревьях молчат, в норах молчат. Молчат да смотрят. И ты помалкивай.

Лес и впрямь диковинный начался, как будто я перешёл какую-то границу, которую кобыла углядела сразу. Ровно, как за проведённой чертой, начинались седые пятиобхватные гиганты с дуплами с хорошую комору, с ведьмиными кольцами поганок меж корней.

Лес же, казалось, сам надвигается на меня, идёт навстречу. Вроде шаг шагнул, обернулся — а будто два раза ступил. Дюжину шагов прошёл, глядишь, а дерево, по которому путь примечал, уж в четверти сотни шагов позади. Полверсты прошагал — уже и места не признать.

Мимо моря не пройду, решил я и пошёл ровно, как мне казалось, вперёд, уже не выбирая дороги.

Но лес не кончался, а деревья иногда попадались такой уж оголтелой толщины, что я подумал — если они ещё больше станут, то я просто упаду на колени, свернусь калачиком и буду лежать, пока меня смерть не приберёт.

Но наконец уклон пошёл вниз, бурелом стал редеть, и всё чаще попадалась под ноги не земля, а твёрдый камень. Иные валуны были мне по пояс, и чудились в них замшелые великаны головы: того и гляди, увидишь провалы глазниц, или блеснёт железом сквозь мох огромный шелом.

Дерева попадались диковинные, серые, закутанные личайником, безлистые, и, что странно, я не мог на вид их породу распознать. Не бывало таких деревьев.

Я остановился, тронул одно. Камень. Лес был каменный. Когда-то, видно, затопила его солёная вода да стояла долго, что он не сгнил, а в камень превратился. Может, сотню лет, может, сто сотен.

Потянул ветер, запахло морем, солью, холодной и хмурой большой водой. Меня всегда от этого запаха похорошему в дрожь бросало.

Скоро настоящие, живые деревья измельчали совсем и остались позади, вокруг высились только каменные стволы, настолько, видно, древние, что ветви на них покрошились, остались, считай, одни столбы. Потом послышался грохот, тугой, мерный грохот прибоя в скалы. Ветер усилился, и я понял, что почти дошёл.

Я вышел на край и забыл дышать. Холодное, серо-зелёное под пасмурным небом, всё в бесконечном узоре волн, море простипалось до горизонта, в дымке парили, словно подвешенные над водой, далёкие тёмные острова, ветер гонял белую-белую пену клочьями.

До воды было не так уж и много, сажени четыре, не больше. Каменный лес выходил прямо к обрыву, а кой-где спускался по склону в море.

Промахнулся я, вышел в стороне от устья.

Я решил забраться повыше, огляделся и присмотрел вдали совсем уж высоченный каменный дуб. Или не дуб.

А когда я подошёл, я увидел, что дерево пустое и в нутро ствола ведёт проход.

Дубовая, уже из настоящего дерева, обитая железом дверь была распахнута. Я заглянул.

Внутри эта дубовая башня оказалась невелика, сажени две поперёк, кругла. В полу была ещё дверь, тоже дубовая, на петлях, створка откинута, семь железных засовов на полу лежат, дюжина замков разбитых, ещё два — на лестнице. Кто-то сильно потрудился. Из подвала тянуло холдом, словно вровень с полом стояла ледяная тёмная вода.

Я хотел было уходить, как что-то звякнуло в яме и шевельнулось.

Я попятился. С меня на сегодня хватило и тварей, и приключений.

— Добрый человек... Не уходи... — раздался голос из непроглядной черноты. Скрипучий, как железная петля, правда, с погромыхивающе низким отголоском. Был в этом голосе металл, старый, ослабший, но металл.

— Не бойся, воин, я на цепях вишу, тридцать лет уже ни жить, ни сдохнуть, только пить очень хочется. Избавь от пытки, мил человек, принеси ведро напиться да ступай куда шёл.

Бессмертный, подумал я. Мать моя, Бессмертный. Я, заплутав, вышел к месту, где Марья держала в плену Бессмертного.

Ну раз он на цепях, подумал я, то взгляну одним глазком. Такое не каждый день увидишь. Тем более, подумал я, тем более...

Он ведь владел несметными богатствами. И, если не выдал их, конечно, пленившей его Марье, за ведро воды я мог попросить его о малой услуге. Небольшой такой.

Сказать мне, где какая-нибудь часть запрятана.

Я спустился в подвал, но после дневного света ничего разглядеть не мог.

Споткнулся обо что-то, перепугался, нащупал рукой — ведро.

— Тут за камнем родник бьёт, — сказал голос в темнотице. — Будь добр, принеси напиться. Иссох я уже за тридцать лет, а Марья раз в год только сжаливается и пить приносит. А мне маааало.

Я разглядел его очертания. И содрогнулся. Огромный, саженного роста, в полных железных доспехах, настолько покрытый пылью, что сам он выглядел камнем, резьбой по скале.

Он и вправду висел на цепях. Две поддерживали под плечи, по две — локти и запястья, две охватывали пояс, и снова же по две — колени и лодыжки. По пыли и патине, увидел я, полосками тянутся дорожки ржавчины.

Под пыльным капюшоном я так и не смог рассмотреть его лицо. Кожа металлически отблёскивала, обтягивая скелеты. Глубокие глаза чуть отсвечивали во тьме. Пахло в пещере не то медью, не то железом.

— Дай напиться, добрый молодец, — попросил он ещё раз.

— Я бы и дал, да мне-то что за это будет?

Он понял и вздохнул.

— Могу сказать, где золото лежит, а коль два ведра принесёшь — с ног до головы одарю. Мне оно незачем, за триста лет не помогло, ни одна монетка не прикатилась мне солнцем блеснуть. Что золото, что пыль, что грязь, добрый молодец.

— Откуда мне знать, что ты не врёшь.

— Чем же я тебе поклянусь, коли я Бессмертный? Напои, молодец, не обману. С тебя ж не убудет.

Я подумал. И согласился.

Я принёс ему ведро и держал его на весу, пока Бессмертный жадно пил. Это заняло у него несколько мгновений.

И да, я принёс ему второе. И третье. Запоминая те пути и тропы, которые он мне поведал. Я знал, что не стоит приносить ему много воды — он мог набрать силы и попробовать сорвать цепи, но пока он оставался сух, ровно скелет, болтался внутри доспеха, и я слышал, как стучат его кости.

В пещере его оказалось пусто — когда глаза привыкли, я увидел лишь гору тряпок в углу и несколько глиняных черепков на каменном, заросшем грязью полу.

И я таскал воду, в которой отражалось пасмурное холодное небо, забыв про Засеку и про ларец. Всего четыре ведра.

— Довольно, — сказал я. — Оставайся теперь, жди Марью, когда она тебе ещё ведро поднесёт, а я пошёл.

— Ну, ещё ведёрко! — взмолился гигант.

— Нет уж. Довольно я сегодня со всякой нечистью дела имел, с меня достаточно. Помог, как договаривались.

— Не уходи! А хочешь, я за последнее ведро расскажу тебе, где моя смерть лежит? Никто не знает, а ты знать будешь. Хочешь — продашь секрет кому пожелаешь, хочешь сам меня убьёшь, мне жизнь такая, сам видишь, не мила, а Марья меня вовек не отпустит.

Вот это штука, подумал я. Богатыри искали, колдуны искали, Марья искала, а никто не нашёл. А вдруг и вправду скажет?..

— Одно последнее, — сказал я, проклиная себя сам. Я сам пил ледяную сладкую воду из утекавшего в море

родника, сгорая от голода, и пытался понять — как оно, тридцать лет не иметь ни капли, ни крошки во рту, ни возможности умереть.

Я принёс пятое ведро. Снаружи собирался дождь, видно, настигло меня последнее проклятие болотницы, подумал я, усмехнувшись.

Пятое Бессмертный пил медленно. Допил, усмехнулся, хитро блеснул глаз, словно серебром выстланный изнутри. Он уже не казался каменным, вырезанным прямо в стене, ушла бледность, уступила какому-то булатному, едва ли не узорчатому проблеску по коже, и словно бы осыпалась многолетняя пыль.

Теперь он выглядел живее.

А мне вдруг стало как-то совсем тесно в этом широком подвале, будто бы стены навалились, так что места мало сделалось, а вот свет за спиной померк и отдалился.

Я взглянул на узника пристальнее. А ну как дёрнется сейчас, подумал я вдруг, успею я выскочить?..

Ладони взмокли. Я вдруг сообразил, что за запах такой. Не медь, не железо — кровь. Тут кровь проливали. Я глянул на грязные тряпки и сделал ещё шаг назад.

— Что задумался, воин, или нынешние молодцы каждой тени боятся? — спросил пленник, немного покачивая цепями. Так, чуть-чуть. Я разглядел, что к каждой цепи подвешен колокольчик. — Тень-то у меня велика да тяжела, да огня нет — оттенить нечем.

Мне вдруг показалось, что я вижу не ржавчину, а кровь, текущую из-под доспеха. Что кости торчат из-за ворота и из рукавов, голые обглоданные кости. Что там, в углу, в темнотице самой, валяются сапоги, а черепки на полу не глиняные — костяные.

А что, если до меня тут кто-то уже был, подумал я. Кто-то проезжал передо мной по лесу, оставил свой новенький топор в Марьином лесу на той же тропе. Не сюда ли он в итоге пришёл?

— Пойду я, пожалуй, — сказал я. Хотел поклониться, потом почувствовал, что это как-то глупо. Взгляд узника шарил по лицу, как холодный жук, от которого никак не отмахнёшься.

— Ну уходи, уходи, молодец, старого испугался, — сказал Кощей, как будто был не богатырём саженного росту, защитным в железо. — Только одно тебе скажу напоследок.

Грохнул снаружи гром, и зашумел ливень. Я отступил к лестнице. Поставил ведро, которое, как оказалось, всё ещё держал.

— Что?

— Это было не пятое ведро, — сказал Кощей. — Одиннадцатое.

Он тряхнул цепями, и цепи лопнули, как верёвки.

Только одна, последняя цепь удержала его за левое плечо, так что его аж развернуло. Каменный свод дрогнул.

Я всхлипнул и побежал по лестнице, поскользнулся, свёз колено, прыгнул каким-то нелюдским прыжком, словно из змеевой пасти, сразу на дюжину ступеней вверх.

— Был тут один такой, до золота охочий, — пророкотало из подвала. — А ты думал, кто засовы снял да двери сломал? Я, знаешь ли, как он мне шесть вёдер принёс и попрощался, одну руку-то высвободил, хватило силы. А больше как ни маялся — извернуться не мог, правда, кольцо одно подвыкрутил, а тут и тебя ветром с дождиком принесло. Дождь... болотом пахнет. Болотницу прогневил, не мила показалась?

Я в ужасе осознал, что ливень, косо врываясь через распахнутые двери, ручьём течёт вниз, по ступеням — на этой каменной земле ему некуда было впитываться.

Вода. И последняя цепь.

Я выскоцил под дождь, обернулся и увидел, как Бессмертный выломился из пещеры на свет. Обрывки цепей оплелись о каменные пни и просоленные ветви, как змеи, колокольчики на цепях мелкоibriровали, но не звенели, словно язычки у них поприлипали к чашам. Зелёно-голубую, дымную патину, которая здесь делала хозяина похожим на призрак, порезали яркие серебряные царапины. Чёрный капюшон он натянул на безволосую голову, так что ткань прикрывала отвыкшие от света глаза. Мне показалось, что ростом он уже куда больше сажени. Восторненные железные башмаки продавливали камень — в шаге

он наступил на гальку, и та раскрошилась пылью. Я молча и медленно отступал. Я был бы рад орать и бежать, да не бежалось и не оралось. Серебристые с холодной могильной зеленцой глаза отсвечивали из-под капюшона, чуть отблёскивали железные зубы да виднелся из чёрной тени подбородок, острый, как клин.

— Освободил ты меня, теперь проси что хочешь, — сказал Бессмертный. — Всё одно я тебе ничего не дам.

— Отпусти, — сказал я. — Я ж тебе ничего не сделаю.

— А ты теперь знаешь, где мои сокровища лежат, — ответил он, надвигаясь. Каменные крошки задетых веток брызгали в стороны. Казалось, даже мёртвое вокруг него продолжает умирать.

— И ведь вы одинаковые. Вам всё одно, что я на цепи, что я жаждой и голодом мучаюсь, а подохнуть не могу. Вам лишь бы золото.

Он шёл, на каждый шаг припадая, как огромная страшная кукла из вертепа. Железный лязг и скрип стоял в лесу. Он приближался, а я словно врос в камень. Мой побег закончился.

— А чего тебе бояться-то, я тебя на цепи триста лет держать не буду.

Шаг. Дрожь земли. Лязг, скрип. И что-то ещё. Тяжёлые, быстрые, мерные удары, словно летит по каменному лесу тяжёлый, мощный конь.

Засека всё ж нагнал меня, и я почти обрадовался ему, хоть он тоже явился по мою душу. Если Марья Бессмертного на цепи посадила, то, может, и Засека, хоть и худой колдун, но чего-нибудь сдюжит?

Загудело за спиной, заплескало. Я обернулся к морю и увидел Марью. Конь её летел по воде, поднимая брызги. Она услышала звон своих сторожевых колокольчиков, подумал я, и пришла.

Всё сходилось в одной точке. Жаль только я стоял аккурат посреди.

Засека выехал на край, сделал широкий круг, заезжая Кощею в бок. Он крутил что-то в руках, складывал, и я ошеломлённо понял, что он привёз с собой разборный само-

стрел. Дощечки да железки, скованные, видно, по заказу. Готовился. Давно, значит, готовился в Марьин лес вооружённым попасть.

Марья спрыгнула с коня на берег и оказалась высокой, повыше иных мужиков, худой девахой в круглом шлеме с личиной. Её знаменитых волос я не увидел — убрала, видно, под шлем.

— Что ж вы наделали! — закричала она. — Мне теперь, чтоб его заковать, нужно каждый кусочек от каждой цепи найти!

— Поищи, Марьюшка, поищи, — рассмеялся Кощей. — А я подожду!

Марья всплеснула руками, закусила губу. Она была без оружия — видимо, на этом берегу не могла нарушать свои же законы.

— А ты, Засека, сейчас же погибнешь, — сказала она, глядя на то, как разбойник заряжает самострел. — Никому нет спасения, кто с оружием здесь появится. Такой закон.

— Это мы посмотрим, — прогудел разбойник в бороду. Он был немногим меньше Кощея.

— Марья, свет мой, отойди, не мешайся, — сказал Кощей. — Я с витязями разберусь, а потом и потолкуем.

И он бросился в атаку, внезапно, без предупреждения.

Конь Засеки полетел на камень с перебитой цепями шеей, Засека отскочил, перекатился, поднял каменную ветку и ударил Кощея в голову. Только загудело.

Засека сорвал с себя высокий шлем-колпак, отступил, уворачиваясь, и натянул железную гранёную шапку на кулачище. Кощей сгорбился, прянул низом, подставил бронированное плечо под каменную палицу, и Засека мощным, убийственным ударом угодил навершием шлема ему в висок. Я видел, как такие удары разбивали головы, как гнилые пни.

Гул прошёл как железный, полетели белые искры, Кощей с визгом махнул рукой, мне показалось на миг, что это он кричит от боли, потом я понял — визжали шарниры старого тяжеленного доспеха. Выплеснулась из рукава кровь, кровь того бедолаги, что принёс ему шесть вёдер воды. Ему

негде было прятать останки тела, когда я пришёл, и он просто запихал их внутрь свободной рукой.

Я схватил камень, швырнул, ещё и ещё. Гром орал над головой почти непрестанно.

— Лареенец! — кричал Засека. — Дай мне лареенец!

— Цеепель, — закричала Марья. — Цеепель помогай собирать, пока все осколки не същем, я его не остановлю!

— Лареенец!

Марья стала читать что-то нараспев: иаранн а иаранн, иаранн го иаранн. Куски цепей вибрировали, поднимались, летели к ней.

— Ларец открой, — заорал Засека, повалив Кощя на землю. Он вскинул самострел и выпустил в упор две стрелы, по одной в глаз. С железным гулом, будто стрелы угодили в котёл, голова Кощя дёрнулась назад, древка вспыхнули, с жаром обуглились, Кощей мотнул головой, и две дорожки дыма поплыли в стороны.

Кощей взял одну из цепей в руки и оторвал часть звеньев, могучим ударом швырнув в море.

— Собирай, Марья, собирай, невестушка! — весело проревел он. — Пока все не соберёшь!

— Ларец открой! — заорал Засека, поняв, что я не собираюсь его ему отдавать, и через Кощеву голову швырнул мне ключи.

Что ж там такое-то, подумал я, открывая железную крышку.

На миг замерло и затихло всё.

В ларце, в холщовом мешке, лежало грязное, в бурых пятёках, яйцо.

И тогда я понял вдруг, всё сложилось в моей голове.

Засека добыл Кощеву смерть, кто знает как, кто знает где, но добыл. Нашёл нужный дуб, вскрыл сундук, расправился с зайцем и уткой, и кто знает с чем ещё, и забрал яйцо себе. Но только он не собирался лишать старое чудовище жизни.

Нет, он хотел понять, как обрести бессмертие. Ездил по колдунам, пытаясь решить загадку Кощевой смерти, отказывал покупателям, которые быстро прознали про

Засекину тайну. А ватаге своей и словом ведь не обмолвился.

Потом, видно, отчаялся и, прежде чем яйцо продать, решил сам попытать счастья в том деле, для которого все и хотели владеть яйцом. С той единственной понятной разбойнику целью.

Найти Кощея и под страхом смерти выпытать у него, где спрятаны его несметные сокровища.

Те самые, о которых он рассказал мне за несколько вёдер воды.

Он ведь и к Марье затем сватался, сообразил я. Ни для чего, как для того, чтобы узнать, где Кощей запрятан.

А я случайно на него вышел и Засеку за собой привёл, а Марья уж прилетела, когда колокольчики услыхала.

А Кощеева смерть всё это время была у меня. Погибель, да не моя.

Дальше я не успел на секунду.

Марья сняла шлем и раскидала по плечам волосы, наверное, с закрытыми она толком не могла колдовать.

Засека взвёл самострел, метя в шею Кощею, рванувшемуся ко мне.

Тренькнуло, одна из стрел отскочила от бронированного плеча, как живая, и воткнулась Засеке в глаз, завершая старое лесное проклятие.

Вторая прошла мимо, скользнула над моим плечом, обожгла шею и ушла за спину. Я услышал тихий ох.

Когда я обернулся, Марья уже падала вниз по склону. Стрела торчала у неё из щеки — несбывшееся, ходившее за заговорённым доспехом, мигом взяло своё.

— Мaaaaaaaaарья! — нечеловеческий крик Кощея расколол несколько каменных деревьев, рядом врезалась молния, заорало где-то вдали сполоханное вороньё, и часть каменного берега осыпалась вниз.

Я схватил Марью за руку, но не устоял, и по каменным пням мы вместе покатились в воду.

Сколько крови, подумал я, сколько крови. Что сейчас будет.

Взбурлила вода, и тело Марьи дёрнуло у меня из руки на глубину.

— Вот подарок так подарок! — взвыло в волнах голосом Морской Козы. — Не зря я здесь недалеко ходила! Убирайся прочь, Явор, прочь из воды!

Кобылица Мары кинулась в море, словно всегда там была, распахнула непомерную пасть и вцепилась рыбине в хребет, выдирая куски, вступаясь за уже мёртвую хозяйку. Ясконтьева дочь кричала дурным человеческим голосом, лихорадочно болтая Марью. Плавники рассекали воду, из пасти расползался бурый туман по воде да белые хлопья, море ахнуло, ударились в скалу, глухая тоска навалилась и отхлынула, оставив занозу, и я понял, что Мары больше нет. Потрясённый, я глядел, как дерутся в кровище два чудовища, одинаково уже не схожие ни с рыбой, ни с конём. Марья тонула, погружалась в родное море.

Я выскочил на берег, разбил наконец проклятое яйцо о мокрый камень. Кощей гигантской статуей застыл на берегу, а потом с грохотом упал на железные колени, так что трещина пошла. Меня он то ли замечал, то ли нет.

Я отвернулся от смрада — в протухшем давно нутре плывала костяная, похожая на птичье ребро, кривая иголка. Я, вытирая руки о ватник, вытащил её.

Посмотрел на море.

— Марья, — сказал Бессмертный. — Прости меня, Марья. Первый год я тебя ненавидел, первый десяток лет я тебя проклинал, второй десяток — по тебе тосковал, третий — об одной тебе и думал. А вышло, что ты из-за меня погибла.

Я молчал. Я ничего не мог сказать, да и кто стал бы меня слушать. Мир вокруг рушился, заплывал кровью. Душу словно раздавило могильным камнем. Всё и вся вокруг гибли из-за меня, из-за моей мести бывшему ватажку, а я стоял, целёхонек.

— Теперь, — сказал Кощей, глядя куда-то за горизонт, словно видел там некое движение, может быть, Ясконтия, идущего мстить за разодранную дочь, — теперь — ломай.

Майк Гелприн
Александр Габриэль

Виршители

Утро было сырьим, промозглым и серым. Город, закутавшись в туман, досыпал, досматривал последние сны, дрожал крышами домов под осенней слякотной моросью. Еще не вышли на мощенные булыжником улицы первые молочницы, еще не менялась гвардейская стража у городских ворот, а виршитель Элоим был уже на ногах.

Ежедневный двухчасовой путь до мрачного, серого камня, строения, отведённого под нужды Ордена, Элоим проделывал пешком. Он разменял уже шестой десяток, и утренний мотион для поддержания здоровья был необходим. Кроме того, самые лучшие, самые сильные вирши Элоим сложил именно в утренние часы. Впрочем, это было давно, еще при жизни виршителя Эдгара. Тогда Элоим был всего лишь молодым виршетворцем, он и мечтать не смел, что займет после смерти Эдгара его место, возглавит Орден и станет вторым лицом в стране после короля.

Элоим, преодолев с десяток кривых узких переулков, вышел, наконец, к городскому парку, углубился в него и вскоре достиг заросшего лилиями и кувшинками пруда. Виршитель остановился, он всегда останавливался на этом месте. Пруд был его свиршением, проделанным в одночасье, экспромтом, сам король рукоплескал ему тогда и пожаловал орден Дактиля, первый из пятерки орденов Размера.

Пару минут Элоим постоял, любуясь на свиршение, затем двинулся дальше. До здания Ордена он добрался, когда утренний туман уже рассеялся и сошел на нет, а Город пробудился и вовсю перекликался людскими голосами.

У входа в здание Элоим остановился и склонил голову. Здесь в стену была вмурована латунная табличка с начертанным на ней Эдгаровским виршем. Тем самым, знаменным, отвратившим поразивший страну мор.

Когда чумной неотвратимый мор
и в каждый дом, и в каждое подворье
явился нежеланным, словно вор,
неся с собой неслыханное горе...
Когда беда, страшней которой нет,
в дома проникла сквозь дверные щели,
и всё тусклей привычный звездный свет,
всё глуше и печальней птичи трели...
Когда летят, нахмурясь, облака
и небо предзакатное багрово,
и смерти равнодушная рука
выхватывает каждого второго...
Когда, смирясь, к земле прильнула высь
и замолчали скрипки и валторны...
Я приказал беде: «Остановись!» —
черпнув душою силы виршетворной.
И я пою конец чумных времен,
конец беде под каждым нашим кровом.
Любой больной да будет исцелен,
здравый же — останется здоровым! —

в который раз прочитал Элоим, хотя и знал вирш наизусть.

Он распахнул тяжёлую резную дверь, вошёл и по винтовой лестнице поднялся на второй этаж, к кабинету.

Виршетворец Эрмил, поджарый, подтянутый смуглый красавец с чёрными выющимися волосами, падающими на высокий лоб, был уже на месте.

— К нам пришёл человек, виршитель, — доложил Эрмил, — дожидается со вчерашнего дня. Имя ему Элам.
— Что же этот Элам от нас хочет?
— Я задал ему тот же вопрос, виршитель.
— И что же?
— Сказал, что желает пройти экзамен на соискание.
— Вот как? — Виршитель удивлённо поднял брови. — Я не видел имени Элам в списке выпускников Академии.

— Немудрено. — Виршетворец Эрмил улыбнулся. — Он не заканчивал Академии. Он вообще ничего не заканчивал и об искусстве виршесложения слыхом не слыхал. Он из провинции, откуда-то из глубинки, да и выглядит как настоящая деревенщина.

* * *

— Значит, ты желаешь пройти экзамен Ордена. — Элоим задумчиво рассматривал пришлого. Был тот долговяз и нескладен. Нечёсаные, мечтающие о ножницах цирюльника волосы цвета жухлой соломы доставали до плеч. Велюровый видавший виды камзол, потёртый на локтях и лоснящийся от жира в вороте, застёгнут на две пуговицы. Панталоны заштопаны в коленях. Туфли... Элоим с трудом сдержал смех: такие туфли, гнутые под носорожий рог, носили во времена его прадеда. Элоим откашлялся. — Знаешь ли ты, — продолжил он, — что виршетворцем дано стать далеко не каждому? Многие пытались одолеть этот путь, но лишь немногие добрались даже до середины его, а до конца — считаные единицы. И шли они этим путём годами. Кропотливо изучая законы виршесложения, оттачивая рифму, совершенствуя технику и стиль. До тех пор пока сложенные вместе слова не обретали силу, способную виршить деяния. Что скажешь, Элам из провинции?

Элам опустил голову и с минуту, уставившись в пол, молчал. Затем поднял глаза и сказал:

— Я слыхал про это, виршитель. Мне как-то в руки попала одна книжечка, в ней говорилось о всяких виршетворных разностях. Я прочитал её от корки до корки. Однако проку оказалось маловато, вот какое дело. Я путаюсь в амфибрахиях, пиррихиях и месомакрах, виршитель. Но у меня иногда получалось.

— Да? И что же у тебя получалось?

— Однажды у нас была сильная засуха, траву побило зноем, и зерно не взошло. Люди собрали кто сколько мог, чтобы уплатить виршетворцу из столицы, но сумма оказалась недостаточной, и ваш Орден отказал ходокам.

— Труд виршетворца недёшев, — нахмутив брови, сказал

Элоим. — В особенности если ему предстоит ехать куданибудь за тридевять земель и виршить невесть для кого.

— Пускай будет по-вашему, — согласился пришлый. — Так или иначе, когда ходоки вернулись ни с чем, я за ночь сочинил вирш. И наутро пошёл дождь.

— Вот как? Ты полагаешь, что свиршил его?

— Так я думал, виршитель. Однако потом я декламировал этот вирш множество раз, и дождя не было.

Элоим рассмеялся:

— В той книженции, которую ты удосужился прочитать, не говорилось, что вирш после свиршения теряет силу?

— Что-то такое было, — Элам почесал в затылке, — не очень приятное.

— Невнятное, говоришь? — Виршитель усмехнулся. — Ну-да. Итак, ты полагаешь, что свиршил дождь. Допустим. Что ещё ты свиршил?

— Много всякого было. Корова однажды у старосты не отелилась, думали, издохнет. Потом дочка мельника подцепила от заезжего торговца дурную болезнь. Затем от кривой Элизы, что на перепутье трактир держит, жених сбежал. Помимо того...

— Постой, постой, — давясь от смеха, прервал перечисление Элоим. — Ты что же, хочешь сказать, что отелил корову, излечил гулящую девку и вернул трактирщице жениха?

— Я не уверен, виршитель. Но каждый раз я сочинял вирш, и... Корова родила телёнка, дочка мельника излечилась от язв, а кривая Элиза вышла замуж.

— Ладно. — Элоим поднялся. — Ты позабавил меня, человек из провинции. Я собирался отправить тебя восвояси, но за доставленное удовольствие — изволь. Пройдём в сад, я посмотрю, на что ты способен.

* * *

Солнце растолкало тучи и теперь озорно выглядывало из-за них, трогая позолотой садовую ограду и гоняя в лужах радужные круги. Виршетворец Эрмил вынес из здания массивное, красного дерева, кресло с витыми подло-

котниками, установил в тени раскидистой лиственницы. Виршитель уселся, и Эрмил встал за спинкой кресла, глядя на переминающегося с ноги на ногу нескладного, долговязого провинциала.

— Покажи нам, что ты умеешь, — скрестил руки на груди Элоим.

— А что показывать-то?

— Что хочешь. Взгляни вокруг — вот засохшая яблоня, наряди её цветом. Вот лужа — заставь в ней плеснуться рыбу. Вот ограда — прорежь в ней калитку. Вот птица, — Элоим, задрав подбородок, осмотрел описывающую над садом круги ворону, — сбей её на землю.

— А? — Элам, моргая, принял разглядывать яблоню, за ней лужу. Обвёл глазами ограду и, наконец, раскрыв рот, уставился на ворону. — Вот эту птицу? На землю? Э-э...

С минуту он молчал, не сводя с то парящей, то размахивающей крыльями вороны глаз. Потом воздел руки к небу и возопил:

Звучи, звучи, моих свиршений лира!

Хочу, чтобы рука от лиры не устала!

Одна ворона съела много сыра,
и ей в полете плохо стало.

Она еще летит со стаей вместе,
но зренье перестало быть острó.

Она еще чуть-чуть, через саженей двести,
на землю рухнет, как ядро.

Ей не окажет помощи больница,
издохнет птица в тот же час.

Нам надо лишь чуток посторониться,
чтобы она не грохнулась на нас.

Ворона...

— Довольно, — виршитель Элоим в негодовании вскочил. — Это не вирши!

Элам замолчал, по-прежнему моргая и ошарашенно глядя на ворону, как ни в чём не бывало описывающую над садом круги.

— Не вирши, — рубанул рукой воздух Элоим. — Это надругательство над виршесложением. Жуткие, примитивные рифмы. Устала — стало, каково, а? А размер... Ты хотя

бы знаешь, что такое виршетворный размер, Элам или как тебя там? Вздор, о чём я спрашиваю, разумеется, ты понятия об этом не имеешь. У тебя размер даже не пляшет, он у тебя скачет. На месте галопом, как стреноженный жеребец, которого ожгли плетью.

Виршитель перевёл дух. Провинциал по-прежнему стоял в пяти шагах. Покраснев и теребя разболтанную пуговицу на дурацком камзоле, он судорожно раскрывал рот, пытаясь что-то сказать. Слова, однако, не шли из него, вместо них издавалось лишь булькающее, невнятное бормотание.

— Запомни мои слова, Элам из провинции, — сухово сказал виршитель. — Никогда, ты понял, никогда не быть тебе виршетворцем. Ты — виршеплёт, худший из тех, кого я видел когда-либо. Забудь о виршесложении, оно — удел избранных. Тех, на ком держится королевство, тех, которые способны силой, вложенной в слова, защитить его от напастей. Тех, которые шли к этому всю жизнь, ссызмальства, годами и десятилетиями тренируя и оттачивая ум, кропотливо, по крупице накапливая знания. У тебя знаний нет, Элам из провинции. Нету. Ступай теперь, возвращайся откуда пришёл и найди себе занятие по нраву. Коси траву, выпасай скот, возделывай землю, делай что хочешь, но никогда, никогда и близко не подступай к виршесложению.

* * *

— Виршитель, — робко произнёс виршетворец Эрмил, когда провинциал на заплетающихся ногах пересёк сад и исчез из виду. — Позвольте мне сказать кое-что. Вы можете подвергнуть меня наказанию или посмеяться надо мной, как пожелаете, но в его виршах есть нечто.

— Что?! — Элоим в негодовании поднял брови. — Такие вирши способен сложить любой каменщик или плотник. Да что там, любой юродивый. «Нечто», — передразнил виршитель Эрмила. — Неумелое, примитивное убожество — вот что в них есть. И ничего больше.

— В них есть сила, виршитель.
— Вы в своём уме?

— В своём. Глубоко запрятанная, зарытая между словами и строками, но есть. Даже не сила — зачатки силы.

— Вздор. Будь в них даже зачатки силы, эта птица, — Элоим поднял глаза, — больше бы не лета...

Он не закончил фразы и шарахнулся в сторону. Разбрасывая перья, ворона пронеслась в вершке от его лица и шумно шлётнулась оземь. С минуту Элоим с Эрмилом ошело разглядывали распластавшую крылья птицу с вывернутой шеей и свороченным на сторону клювом. Ворона была мертва.

* * *

Ссугнувшись и глядя себе под ноги, Элам устало брёл по обочине проезжей дороги. Путь от столицы до селения был неблизким, а денег на карету или дилижанс у него не было. Их никогда не было, Элам едва сводил концы с концами. Что толку с того, что он выучился грамоте сам, ночи просиживая в одиночку за буквами под тусклыми всполохами света с воскового огарка. Что толку с того, что он владеет скорописью и каллиграфией. Сельчане обращались к писцу крайне редко, в основном для составления завещаний и дарственных. Иногда — если надо было сочинить письмо в окружную канцелярию или прочитать пришедшую оттуда бумагу. И всё. Денег едва хватало на скучное пропитание и на одежду — ветхую, с чужого плеча.

Слова главы Ордена Виршетворцев не шли у Элама из головы. Кося траву, сказал он, выпасай скот, возделывай землю и никогда не подступай к виршесложению. Для Элама это напутствие было страшным, жестоким, несправедливым. Оно было для него катастрофой. Не слагать вирши Элам не мог, они сами роились в голове и властно, настойчиво заставляли его сочинять. Несложенные вирши угнездились в нём, освоились, они не давали уснуть по ночам, они ломились в виски, заплетали мозговые извилины. Они были всего лишь нестройной толпой, мешаниной слов, которые необходимо просеять и отобрать из них нужные. Вирши не отпускали Элама, они были настойчивыми и требовательными, они метались в нём и рвались наружу, и сдержать их не было никаких сил, и воли не было тоже.

Да, чаще всего вирши выходили у него и из него слабыми и болезненными. Недоношенными, хворыми от спешных, преждевременных родов. Бессильными, неспособными виршить, ни на что не способными. Но было... Было же! Взять хотя бы то четверовиршие, которое он написал, когда обнесли дом дядюшки Элвина, бакалейщика.

Убегает поспешно удачливый вор от
молчаливых открытых соседских ворот.

Но все то, что он спрятал в карман и за ворот,
он навряд ли успеет пустить в оборот.

Этот вирш пришёл к Эламу подобно озарению, вырвался из него, засиял, засверкал рифмованными омонимами. И свиршил. Вор не успел спустить краденое, его поймали и предали суду, а дядюшка Элвин, хотя и не верил в свиршение, неделю поил Элама домашней яблочной водкой.

Были и другие вирши. Взять хотя бы тот, что исцелил Эльбиру, мельникову дочку. Лекарь потом говорил, что произошло чудо. Или тот, что вернул мужа трактирщице. Элам тогда был в подпитии, кривая Элиза рыдала у него на плече, жалилась на судьбу, он и сочинил. Или...

Элам остановился и замер. Негодная рифма, скачущий, подобно жеребцу, размер. Что с того? Вирш или способен виршить, или нет, и ни при чём здесь размер и рифма. Причём сказал кто-то очень спокойный и бесстрастный внутри него. Одной силы мало, да и нет её, силы, если нет гармонии и красоты, а есть лишь хаос и мешанина из слов. Твои вирши лишены гармонии, вот в чём всё дело. В них нет красоты и стройности, и сила растворяется, вязнет в сумбуре.

— Эй, мужик, — прервал рассуждения гнусавый голос за спиной.

Элам оглянулся. Запряжённая парой вороных карета с гербом. Сверх меры упитанный щекастый кучер в пёстрой ливрее на козлах.

— Вы ко мне обратились? — переспросил Элам вежливо.

— К тебе, к тебе, — к гнусавости в голосе добавилась надменность. — Как проехать до Эттингема?

— До Эттингема, — задумчиво повторил Элам. — Эттингем неблизко, да и запутать можно. Знаете что... Нам

с вами по пути. Подвезите меня, а я буду показывать вам дорогу.

— Ещё не хватало, — бросил кучер брезгливо. — Это карета графа Эрболе, деревенщина. Его сиятельство будет вне себя от гнева, случись ему узнать, что в ней разъезжало всякое мужичьё.

— Вы ведь можете не говорить этого его сиятельству, — робко предложил Элам.

— Да, как же. Граф определит мужчину по запаху, от тебя, небось, воняет, приятель. Ладно, некогда мне с тобой рассусоливать. Говори, как ехать, да побыстрее, я спешу.

Элам скрестил на груди руки.

— Бог подскажет, — обронил он. — Скатертью дорога.

Кучер выругался и хлестнул вороных плетью. Карета тронулась, затем рванулась с места, смачно ухнула задними колёсами в дорожную лужу, обдав Элама с ног до головы грязью. Кучер оглянулся и расхохотался в лицо.

Накажи его, велел Эламу тот самый голос изнутри, спокойный и бесстрастный. Свириши, заставь этого барского холуя подавиться смехом.

— *Хочу я, ты свалился чтоб и разбил свой мерзкий лоб!* — выкрикнул Элам вслед кучеру.

Пару мгновений он, застыв, наблюдал за каретой. Та, трясясь на дорожных ухабах, как ни в чём не бывало удалялась. Дрянной вирш, понял Элам, нескладный и потому бессильный.

— *Ты не господин, а я не раб; тебя вот-вот дождется твой ухаб!* — крикнул он.

Карету тряхнуло и занесло, до Элама донеслась сердитая брань кучера.

— Ну же! — подстегнул свиршение Элам.

Карета выпрявилась и понеслась дальше. Через минуту она скрылась за дорожным поворотом.

Что-то не так, осознал Элам. Слова зарифмовались, выстроились в размер и сложились в вирш, но свиршение оказалось слабым, никаким. Не те слова, понял он. Не те. В них нет лёгкости, нет красоты, это просто рифмованные слова, не более.

Элам, уставившись в землю, стиснул зубы, сжал кулаки, наморщил лоб. Новые слова пришли к нему, они роились, кружились в голове, они цеплялись друг за друга и норовили улететь, исчезнуть, сгинуть. Элам отчаянно, судорожно пытался их удержать. Отбросить сорные, а нужные ухватить, выстроить, сложить в экспромт. Ну же! Ещё немножко. Ещё. Вот оно!

Что ж, берегись. Тебе пощады нету,
и ждёт тебя негаданный сюрприз:
подбросит ветер вверх твою карету
и сразу же брезгливо бросит вниз.
Нет, не ломай костей. Останься целым.
Но я слова сплетаю неспроста:
когда ты рухнешь в грязь обильным телом,
я это назову «падёж скота».

Элам, выпалив последние слова, бросился бежать по обочине. «Падёж скота, — кричал он на бегу, заливаясь смехом. — Именно так — падёж. Падёж этого надменного холуйского скота с каретных козел».

Элам достиг поворота, споткнулся и едва не упал. Грязно-буровое облако оседало на дорогу, окутывая пылью обломки того, что ещё недавно было щегольской каретой графа Эрболе. Посреди дороги, опираясь руками о землю и часто икая, восседал кучер.

* * *

— Любопытные слухи идут из южной провинции, виршитель. — Виршетворец Эрац подбросил поленья в камин, с лязгом захлопнул чугунную дверцу. — Говорят, что объявился там человек. И про него говорят... — Эрац замялся и замолчал.

— Кто именно объявился? — недовольно нахмутившись, обернулся к Эрацу Элоим. — И что именно про него говорят?

— Разное, виршитель. Будто бы этот человек... Будто бы он... — Эрац вновь замялся.

— Слагает вирши, — помог виршетворец Эрмил. — И якобы к нему идут на поклон со всей округи и даже посылают ходоков из соседних провинций. Ещё говорят, что этот человек не берёт гонораров за свои труды. И кроме того... Я даже не знаю, как сказать об этом, чтобы моя речь не походила на кощунство.

— Говори как есть, — насупившись, велел Элоим.

— Будто бы он использует в виршах приёмы, неподвластные лучшим из лучших, — выпалил Эрмил. — Якобы его вирши полны метафор, аллитераций и аллюзий. И обладают неслыханной силой. Якобы свиршение происходит сразу после декламации, без малейшей задержки.

— Того быть не может, — сказал Элоим твёрдо. — Свиршение занимает время, так было, есть и будет. Полагаю, слухи из провинции — обычный вздор, собственно, на то они и слухи. Видимо, там действительно объявился какой-нибудь шарлатан. И этот шарлатан мутит умы и... Кстати, как он себя называет?

— То особая история, — улыбнулся Эрмил. — Этот человек называет себя виршеплётом.

Элоим расхохотался.

— Похвальное самоопределение, — сказал он. — В едином слове вся суть. Думаю, что мы можем больше не обсуждать провинциальные сплетни и перейти к более важным вещам. Вы что-то хотели сказать, виршетворец?

— С вашего позволения, виршитель, — Эрац поднялся, протянул лист мелованной бумаги, — я сделал несколько записей со слов приезжего южанина, взгляните на них. Якобы это вирши того человека, виршеплёта. Или даже не вполне вирши, а...

— Что за чушь! — прервал Элоим, растерянно разглядывая бумагу. — Что значит «не вполне»?

— Говорят, что он наряду с прочим сочиняет вирши длиной в строку. Забавы ради. И они настолько хороши, что после того, как свиршение произошло, люди заучивают строку наизусть.

— Размножалась вошь делением с несомненным вожделением, — оторопело прочитал вслух Элоим. — Что за ересь?

— Со слов того же южанина, какую-то деревеньку одели насекомые, виршитель. И вот. С вашего позволения, м-м...

— *Он ей верен, сивый мерин, ей же хотца иноходца.* — Виршитель в сердцах отбросил лист мелованной бумаги прочь. — Это что же, тоже вирш?

— Тоже, — Эрац смущённо опустил глаза. — Говорят, что виршеплёт сложил его, когда некая уездная баронесса пожелала сменить коня. Когда вирш зачитали барону, тот был в ярости — его милость разглядел в нём второй смысл, и он, смысл этот, с позволения сказать, э-э...

— Скабрезный, — помог виршетворец Эрмил. — Однако так или иначе виршеплёт использовал приёмы, которыми владели лишь самые знаменитые виршители прошлого. В его виршах — составная рифма и явная аллитерация.

— Явная ахинея, вы хотели сказать, — саркастически заметил Элоим. — Довольно, я не желаю больше слушать байки о провинциальном комедианте. Лет пять назад здесь был один такой, вы, вероятно, помните, виршетворец. Желал пройти экзамен на соискание. — Элоим хохотнул. — Как же его звали?.. Не суть. Этот новый наверняка под стать тому, если не тот самый. Давайте поговорим о других вещах, более насущных и важных. Племена северных поморов объединяются, и вот-вот произойдёт совет вождей, на котором выберут верховного. Если так, то... — Виршитель замолчал.

— То быть войне, — подхватил Эрмил. — Что ж, у нас есть чем встретить поморские племена.

— Накануне я говорил с его величеством, — сказал виршитель бесстрастно. — Не сегодня завтра будет королевский указ о наборе рекрутов среди низших и средних сословий. А также о переходе на военное положение. Дворянское ополчение уже стягивается к северному пограничью. В связи с этим на военное положение переходим и мы, господа. С завтрашнего дня каждому из нас выделят охрану. Каждому виршетворцу полагается четверо телохранителей из дворян. Мне — дюжина.

— Значит, ты желаешь записаться добровольцем? — Капитан королевской гвардии хмыкнул и скептически осмотрел нескладного долговязого провинциала с волосами цвета жухлой соломы. — То, что в гвардию добровольцев не берут, тебе, по всему видать, неизвестно. А в рекруты тебя не взяли, так? Кстати, почему?

— Не знаю, господин. — Провинциал опустил очи долу. — По возрасту я гожусь, ещё четвёртый десяток не разменял. Может статься, хиловат я для рекрута.

— А для гвардейца, значит, силён? — хмыкнул капитан. — Ну-ну. Владеешь мечом, саблей? Фехтуешь, может быть? Стреляешь из мушкетона? Знаешь мортирное дело? Гаубичное?

— Нет, господин. Но я могу научиться, чему скажете.

Капитан расхохотался:

— Вот прямо-таки «чему скажу»? Велю тебе выучиться фехтованию, и завтра ты станешь записным бретёром?

— Можно даже сегодня, господин.

— Что?!

— Я сказал, что могу выучиться фехтованию сегодня, господин. К обеду вряд ли получится. Наверное, ближе к вечеру.

— Ты, я смотрю, шутник. — Капитан нахмурился.

— Я не шучу, господин. Фехтовать выучиться просто, надо лишь проглядеть какую-нибудь книженцию, где об этом написано. И потом малость поразмысльить.

— Да? — издевательски спросил капитан. — Про стрельбу, к примеру сказать, из бомбарды тоже достаточно прочитать и поразмысльить, чтобы начать палить?

— Именно так, господин. Вся суть в словах — в книжках они наверняка есть, надо лишь выбрать нужные и сложить.

— Знаешь что, любезный...

— Элам, господин.

— Элам. — Капитан наморщил лоб, имя определённо было ему знакомо. — Элам, Элам...

— Люди обычно называют меня виршеплётом, господин.

— Вы — Элам-виршеплёт? Тот самый? Это про вас говорят, что... — Капитан вскочил на ноги. Он не заметил, что стал обращаться к просителю на «вы».

— Про меня многое говорят, господин.

— Садитесь, прошу вас, мэтр. — Капитан рывком отодвинул от стола кресло. — Это ведь ваш вирш?

Пора мне в путь. Прощайте, девки.

Глотаю слезы, глух и нем.

Мой хрен висит, как флаг на древке,
когда безветренно совсем.

— Мой. — Элам потупился. — Извините, он несколько фриволен и нескладен.

— Что вы, мэтр! Отличный вирш! Под него маршируют мои гвардейцы.

— Кто бы мог подумать! — Элам поднял глаза. — Я сочинил его для старого знакомца, который кучером у его сиятельства графа Эрболе. Должен сказать, кучер остался весьма недоволен свиршением.

— Вы хотите сказать, — капитан едва не подавился смехом, — что ваш знакомец стал, э-э... недееспособным?

— Ну да, естественно.

Капитан откашлялся, вытер слёзы, выступившие на глазах от смеха.

— Хорошо, что мои ребята не знают подробностей. Впрочем, вирш ведь теряет силу после того, как свиршение произошло. Ладно. Итак, вы хотите стать гвардейцем, мэтр Элам? Рядовым гвардейцем?

— Я думал...

— И думать не думайте! Я сегодня же доложу полковнику Эркьеру. Да что там, доложу ему прямо сейчас же. Вы подождёте, мэтр? Это не займёт много времени. Я уверен, полковник найдёт для вас достойное место в гвардии. Скажите только, мэтр Элам. Вы можете... — капитан замялся, — вы можете сочинить вирш, способствующий победе над неприятелем?

— Я никогда не пробовал, господин. Но думаю, что смогу.

Виршитель Элоим медленно брёл по аллее городского парка. Ветер лениво перебирал палые листья, и накрашивал мелкий косой дождь, но Элоим, привычно поглощённый в раздумья, не обращал внимания. Шестеро вооружённых дворян, невидимые глазу, рассыпались цепью в авангарде. Еще шестеро следовали в арьергарде: жизнь виршителя, второго лица в стране после короля, а по важности для страны — первого, в военное время становилась бесценной.

Добравшись до пруда, того самого, свиршённого, когда он был молодым виршетворцем, Элоим привычно остановился. Ему вдруг захотелось зачитать вирш вслух:

Взгляни. Душа исполнится тоски:
пустырь, крапива, змеи, сорняки,
не близкие ни разуму, ни глазу.
Такой кусок земли не сдашь внаем...
Здесь был бы к месту круглый водоем
в тени дерев. Так будет, но не сразу:
всего лишь ночь. А как придет заря,
любой поймет, что я виршил не зря,
ища ответ на множество вопросов.
Здесь будет роща. В роще — тихий пруд,
на берегах которого приют
найдет любой: и кесарь, и философ.

Элоим принял сравнивать вирш, принесший ему известность и славу, со строками с листа мелованной бумаги. Результат сравнения был явно в его пользу. Однако почему же строки виршеплёта не шли из головы, превратившись в нечто навязчивое, не дающее покоя и заставляющее думать о них и повторять их снова и снова...

Уплывает от меня язъ, раздуваясь и меняясь, — в который раз вслух продекламировал Элоим. Якобы виршеплёт сочинил этот вирш, будучи приглашён к графу Эрболе в качестве почётного гостя и стоя на берегу графского пруда. И будто бы на глазах у множества гостей костлявая губастая рыбёшка превратилась в благородную стерлядь.

Элоиму внезапно почудилось, что конусообразная куча опавших листьев в двадцати шагах впереди отличается от прочих, тех, что парковые садовники стащили граблями на обочины. Виршитель взгляделся: обычная куча, может быть, немного выше остальных и не столь правильной формы. Элоим пожал плечами, сморгнул и двинулся дальше.

Бедняга от тяжелой ноши лёг и вдруг увидел рядом кошёлёк, — раздражённо произнёс он. Будто бы виршеплёт сочинил это, вздумав одарить надорвавшегося от непосильного груза носильщика. И, разумеется, кошёлёк с monetами оказался тут как тут. Элоим сплюнул с досады. Нелепый, с вычурной рифмой вирш. Даже не вирш — строка. Почему же он повторяет её в который уже раз, словно строка эта застряла у него в глотке.

Конусообразная куча опавших листьев внезапно дрогнула, развалилась и приняла форму человека. Виршитель даже не сразу понял, что перед ним человек, а когда понял, осознать, что означает его появление, не успел. Был человек мал ростом, раскос и абсолютно наг, с кожей, вымазанной охряной краской так, чтобы сливалась с парковой палой листвой. Человек взмахнул рукой — трехгранный метательный нож, боевое оружие северных поморов, описал в воздухе короткую кривую и вонзился виршителю в грудь на два пальца ниже левого соска. Элоим упал навзничь, последним, что он увидел, был взметнувшийся в небо голубь.

Выпустивший голубя убийца проводил птицу взглядом, затем опустил голову и сцепил на животе руки, приняв ритуальную позу помора, ожидающего смерти. Через пару мгновений его закололи, но этого виршителю увидеть было уже не дано.

Голубь, описав в небе круг, сориентировался и потянул на север, унося в племена почту — весть о том, что виршитель Элоим мёртв.

* * *

— Виршитель Элоим мёртв. — Эрац оглядел виршетворцев. — Как вам известно, он не назначил преемника. И, значит, одному из нас пятерых предстоит занять его место. Время не терпит, вчера утром передовые отряды помо-

ров смили наши кордоны на северном пограничье. Место виршителя — в войсках, мы все туда отправимся, но прежде должны сделать выбор. Предлагайте, братья.

— Виршитель не назначил преемника не оттого, что не успел, — задумчиво сказал виршетворец Эспан. — А потому, что мы, все пятеро, равны по силе. И ни один из нас не мог сравниться силой вирша с ним самим.

— Это так, — подтвердил виршетворец Эрмил. — Однако выбор нам предстоит сделать. И сделать споро, его величество не станет ждать. Я предлагаю, братья, попросту бросить жребий.

* * *

Ставку командующего спешно разбили на южном берегу реки Эривье. Сюда стягивались остатки армии, три дня назад разрезанной конными лавами, опрокинутой, разбитой и обращённой в бегство. Полевые лазареты не успевали принимать раненых, которых уцелевшие вытащили на руках. Священники не успевали отпевать мёртвых.

Виршитель Эрмил, избранный главой Ордена по жребию, расхристанный, простоволосый, стоял, держась за полог, у входа в разбитый для него шатёр. Он больше не походил на подтянутого высоколобого красавца — плечи виршителя поникли, выющиеся вороные волосы спутались, залоснились и выбелились сединой, смуглая холёная кожа обветрилась, обтянула щёки и стала серой.

В который раз Эрмил повторял про себя вирш, который в муках сочинял с того дня, как стал виршителем. Дни и ночи напролёт подбирая, шлифуя рифмованные слова, складывая их в строки. Вирш, который он, воздев руки к небу, надрываясь, прокричал, едва на горизонте появились первые ряды конной лавы. Вирш, который должен был разразиться свиршением, тем, что перехватит лаву на подступах к ретраншементу, остановит, сомнёт и повернет вспять. Вирш, оказавшийся бессильным.

Негоже нам перед врагом дрожать
нестройной неумелою дружиной.
Мой славный вирш поможет одержать
заветную победу над вражиной.

Кружит над полем браны вороньё,
являя миру свой шакалий норов...
Но верю я: свиршение моё
раздавит войско северных поморов, —

снова и снова прокручивал в уме Эрмил. В вирше была сила, он знал это, чувствовал. Но её было мало, ничтожно мало. Такой вирш способен остановить сотню мечников или копьеносцев. Пускай две сотни. Пять. Но не яростную многотысячную лаву. Не те слова, с горечью думал Эрмил. Лучшие из тех, что он нашёл, мобилизовавшись, выложившись, отдав всё, что в нём было. И — не те. Слабые, выхолощенные слова, бессильные, никакие. Эрмил закрыл лицо руками. Он не справился. Не сдюжил, не смог, не сумел.

— Виршитель, — вырвал Эрмила из оцепенения голос за спиной. — Вас хочет видеть командующий.

В генеральском шатре царил траур. Командующий армией, генерал от инфanterии Эсарден, коротко кивнул на походное кресло и, не глядя в глаза, заговорил:

— Его величество прибудет в ставку назавтра. Нам с вами придётся держать ответ, виршитель, но дело не в этом. Давайте напрямоту. Ваше мнение: мы обречены?

Эрмил долго, опустив голову, молчал. Затем поднял глаза.

— Мне больно говорить об этом, генерал. Я не гожусь в виршители, мне не хватает силы, той, которой в избытке обладали Элоим, Эдгар и другие до них. Остальные виршетворцы не слабее, но и не сильнее меня. У нас нет человека, способного свиршить победу. Во сколько раз поморов больше, чем нас?

— В десятки раз. — Генерал Эсарден вскинул голову. — Я не верю, что положение безнадёжно, виршитель. Правый фланг, несмотря ни на что, не обратился в бегство. Гвардейские роты полковника Эркьера отразили атаку и выстояли. Они отступили по команде, сохранив знамёна, артиллерию и боевой порядок.

— Там был виршетворец Эрац, — сказал Эрмил устало. — Виршетворец Эрац убит, генерал.

— Полковник Эркьер был у меня за десять минут до вас. Он говорит, что атака была остановлена уже после того, как

погиб виршетворец. И что остановил её человек, прокричавший экспромт, когда лава уже подступала ко второй линии обороны. Полковник клянётся, что свиршение наступило мгновенно. Кони встали на дыбы и сбросили седоков. Лава смялась, смешалась и откатилась, давя упавших. Человек, остановивший атаку, месяц назад был зачислен в гвардию добровольцем. Он называет себя Элам-виршеплёт.

— Элам-виршеплёт?! — Виршитель Эрмил вскочил на ноги. — Вы уверены, генерал? Где он сейчас?

— По моему приказу полковник Эркьер к вечеру доставит его сюда.

* * *

— Вот они, — прошептал генерал Эсарден. — Началось. Вы готовы, мэтр?

Элам не ответил. Он стоял в десяти шагах от речного берега, долговязый, нескладный, ветер трепал волосы цвета жухлой соломы. Элам вглядывался в набухающий, застилающийся чёрным северный горизонт. Там, несметная числом, полная ярости и ненависти, катилась на юг конная лава поморов. Жестоких, презирающих смерть и презирающих жизнь, пощады не знающих и не дающих.

Через полчаса лава достигнет северного берега, и поморы с ходу погонят неприхотливых выносливых коней в воду. Форсируют реку за считанные минуты и выкатятся на южный берег. А потом...

Никакого «потом» не будет, твёрдо сказал себе Элам. Не будет. Вирш готов, весь, кроме последней строфы. Той самой, решающей. Которую не сочинишь умом, которая должна родиться в сердце, в душе и выплеснуться из неё словами — яростными, пронзительными, хлёсткими, разящими наповал. Свирающими.

Эти слова в душе рождались сами, они не могли не родиться, они рвались наружу, как ураган, как стихия, и потому Элам называл их особым словом — стихи.

— Мэтр, начинайте, прошу вас, мэтр! — взмолился стоящий в пяти шагах слева генерал Эсарден.

Лава преодолела уже три четверти пути от горизонта до речного берега. Элам сглотнул и набрал в рот воздуха.

Слова пришли к нему, сгруппировались, сложились в метафору, оделись в рифму, обрели силу, стройность и красоту.

— Давай! — вслух сказал себе Элам. Он стиснул зубы, выдохнул и начал декламацию. Слова вырвались из него и понеслись навстречу бесчисленной конной лаве атакующих:

Мы пережили засуху и мор,
неурожай и светил затмения.
Мне жаль тебя, воинственный помор,
решивший взять числом взамен умения.
Над внешним миром стянута петля —
уздечкой на стреноженной каурою, —
и плачет изможденная земля,
пропитанная кровью нашей бурою.
Нас мало. Мы изранены в бою.
И я, хоть нет меня несовершеннее,
всего себя, всю ненависть свою
готов вложить в последнее свиршение.
Виршу: гостей незваных, северян,
пора навек из наших жизней вымести.
Да станет враг безумьем обуян
и то безумье на своих же вымести!

Стремительно накатывающий сплошной поток всадников внезапно надломился и выгнулся. Ряды конных смешились. Грозный рёв — вырывающийся из тысяч глоток боевой клич поморов — вдруг оборвался, перешёл в заполошный крик, а затем обратился в визг, страшный, пронзительный. Через мгновение к нему присоединился хрип — то хрипели вставшие на дыбы, осаженные на скаку кони. Тысячи клинков взметнулись ввысь и разом опустились на головы соплеменников.

Замерев, Элам неотрывно смотрел на бойню. Вот вылетел из седла и покатился по земле раскосый помор с раскроенным черепом. Завалился на бок, подминая под себя седока, зарубленный конь. Пал на колени и сбросил всадника другой. Понёсся к реке, волоча за собой убитого хозяина с застрявшей в стремени ногой, третий.

Элам не знал, сколько длилась резня. Он пришёл в себя, лишь когда немногие уцелевшие унеслись на север и почтительный голос за спиной произнёс:

— Виршитель Элам.

Элам оглянулся. Генерал Эсарден застыл в пяти шагах, слёзы чертили дуги у него на щеках. Рослый красавец с падающими на высокий лоб выющимися, наполовину седыми волосами, протягивал Эламу гнутий блестящий предмет.

— Возьмите, виршитель. Это Лира, знак власти, принадлежащий главе Ордена.

Элам помолчал. Затем отрицательно покачал головой.

* * *

Экзамен на соискание звания виршетворца теперь проходят не только выпускники Академии, но и ученики, закончившие уездную школу, которую держит человек, называющий себя Элам-стихоплёт.

В школе этой нет лекций. Ещё там нет обязательных упражнений, зубрёжки, да и учебников, говорят, почти нет. Так что чему в ней учат, неизвестно, и учат ли вообще — тоже. Попасть, однако, в школу нелегко. Для этого нужно обладать особым свойством, называемым талант, и что это за свойство такое, никому не ведомо. Говорят, что и самому стихоплёту неведомо, хотя он и определяет, есть в человеке то свойство или нет. А спросишь его, что за талант такой, лишь отмахнётся да скажет «та ланно вам». Потому, видать, талантом и назвал.

Слухи об Эламе-стихоплёте ходят самые разные. Говорят, что он кавалер всех пяти Орденов Размера, пожалованных ему лично его величеством. Ещё говорят, что Эламу предлагали стать виршетворцем, но он отказался. А некоторые, закатив глаза к небу, утверждают, что даже не виршетворцем, а чуть ли не самим виршителем, вторым лицом в стране после короля. И якобы этот чудак предпочёл остаться в глухи, чтобы сплетать слова, рождающиеся в душе, подобно урагану, стихийно, и потому называемые им стихами. И обучать недорослей, в которых отыскал неведомое свойство талант.

Также поговаривают, что в приземистый, неказистый дом, в котором Элам живёт, захаживают знатные люди. По слухам, сам его сиятельство граф Эрболе держит сти-

хоплёта чуть ли не в друзьях, а поселившийся по соседству отставной генерал от инфanterии Эсарден при встрече кланяется первым. Также говорят, что раз в год на поклон к Эламу является инкогнито сам виршитель Эрмил и, дескать, он стихоплёту старый знакомец, а то и его должник.

Слухи, однако, на то слухи и есть, чтобы утверждать всякий вздор. Достаточно на Элама-стихоплёта посмотреть, и сразу в том убедишься. Долговязый, нескладный, небрежно одетый, с волосами цвета жухлой соломы — настоящая деревенщина.

Татьяна Романова

Морег

По ту сторону ручья берег был изрыт лошадиными копытами. И, сколько бы Морег ни смотрела на эти следы, они упорно не желали исчезать.

Наверное, надо было что-то сделать. Рассказать обо всём отцу и Вэл, помчаться в деревню за священником — а ещё лучше, отыскать там доброго человека, который согласится отвезти их в Монтроз до наступления темноты. Но все мысли разбивались об одну, мрачную и непоколебимую: «*хуже не будет*». И это было плохо. Уж ей ли, Морег, не знать, насколько обманчивым бывает ощущение дна.

Мама умерла в октябре. Случилось это здесь, на берегу озера, куда она приехала — «на пару дней, Морри, не больше», — чтобы успеть закончить картину к открытию выставки. Картину, облупленную песком и водорослями, отыскал на отмели Том Финнеган из деревни. Маму так и не нашли. Усатый инспектор, явно недовольный тем, что пришлось тащиться в такую глушь, потоптался по берегу и заявил, что дело кажется ему печальным и очевидным: леди испугалась дикой лошади (тогда-то эти проклятые следы и появились в первый раз), оступилась и упала в озеро; скорее всего от холода ей свело ногу — так можно утонуть и на мелководье. Бред собачий. Чтобы мама — и испугалась лошади? Мама, которая выросла в семье коннозаводчика? Которая и приехала-то сюда, чтобы нарисовать легендарного Водяного Коня?

Тогда-то Морег и подумала в первый раз, что хуже быть уже не может. Ну и зря.

Вскоре выяснилось, что вместе с матерью они лишились и отца. Нет, он, слава богу, был жив и здоров, но утратил всякий интерес к окружающему миру. Бросил чтение лекций в университете, стал чураться людей, дни напролёт проводил в маминой комнате. Потом, на излёте зимы, стал где-то пропадать вечерами. А потом как-то за ужином спокойно и буднично объявили Вэл и Морег, что женится.

Избранницей отца оказалась молоденькая девица из Эдинбурга с выражением вечного испуга на бледном, невыразительном личике. За время первой встречи леди Грейс едва ли произнесла с полсотни слов: сидела в тёмном углу комнаты и то и дело стягивала пальцами края шали, как будто та была магическим покровом, защитой от злобных падчериц.

А потом, за пару дней до свадьбы, выяснилось, что тихоня не так уж и проста.

— Стала бы столичная штучка так внезапно переезжать в Монтроз! — Пегги, молодую горничную, прямо-таки распирало от желания поделиться тайной. — Миссис Данэм написала своей кузине в Эдинбург — и что ж вы думаете, мисс Морри? Эта девица, оказывается, связалась с каким-то писателишкой, проходимцем без роду без племени, куда только родители смотрели? И поговаривают, что они (тут Пегги понизила голос) перешли черту. Вы, может, и не понимаете, о чём речь, но оно и к лучшему.

Морег прекрасно понимала — зря она, что ли, таскала нудные французские романы из комнаты старшей сестры? Когда девица остаётся наедине с возлюбленным, рано или поздно у неё в глазах меркнет свет. Обычно в это время за окном бушует гроза, а ангел-хранитель стыдливо отворачивается. Жуткие, в общем, вещи творятся.

— И писатель этот был вынужден сделать ей предложение. А потом, за три дня до свадьбы, сбежал. Представляете? То-то был скандал! Бедным родителям ничего и не оставалось, как спровадить её в нашу глушь, от позора подальше. Ох, бедный ваш батюшка. И ведь он обо всём знает! Миссис Данэм вчера показала ему то письмо, так он рассердился, аж жуть! И сказал, что нечего прислуге носить не в своё дело.

Что ж, любви к мачехе это не добавило. На бракосочетании Морег просто кипела от злости: только посмотрите, стоит, лицемерка, в белом платьице. Глазки потупила, голосьок дрожит. Тоже мне святая Цецилия!

Хуже быть не может, да? Тогда как вам такое?

Через несколько дней после свадьбы отец дал расчёт всей прислуге — даже Пегги — и заявил, что они на лето всей семьёй переезжают в коттедж у озера. Тот самый, где провела последние дни мама. Глупышка Вэл обрадовалась: природа! Долгие прогулки по лесу! Чаепития на веранде! А Морег... Она и раньше не любила этот дом — слишком мрачным и неуютным он ей казался. Теперь же находиться тут стало просто невыносимо. Не в последнюю очередь из-за Грейс: та, видимо, от скуки, решила заняться воспитанием падчериц. Каждый божий день по два часа бесполезных мучений над учебником французского языка, шутка ли? А ещё и фортепиано.

Морег пожаловалась было папе — тот только отмахнулся, мол, для девушки это полезные умения. Для хорошенькой Вэл, может, и полезные. А хромоножку Морег никто замуж не возьмёт, даже если она научится по-китайски щебетать. Только время тратить. А тут ещё эта моль бледная нудит:

— Ты не стараешься, Морег! Ты же умная девочка. Приложи усердие.

Как-то раз Морег не выдержала. Захлопнула книжку и заявила:

— А знаете, пойду я лучше книжку писать. Увлекательное, говорят, занятие.

Вэл ойкнула — не любит она, когда ссорятся. А эта — покраснела как рак, глаза опустила и продолжает долдонить: «*j'eus dormi, tu eus dormi, il eut dormi*»...

Да чёрт бы с ней, с этой Грейс. Проблема была в другом. В Водяном Коне.

В первый раз Морег увидела лошадиные следы на прибрежном песке через пару дней после переезда. Не обратила внимания — до того ли было? А зря.

Потом во дворе стали обнаруживаться всякие неприятные штуки. Вэл поранила ногу о какую-то пакость из про-

волоки, обвитую водорослями и листьями можжевельника. Сама Морег отыскала плетёнку из сухих веток — да не где-нибудь, а на самом пороге.

— Соседские дети балуются, — ворчал отец. — Выбросьте и забудьте.

Да вот только соседей тут, считай, и не было. Роджерсы съехали ещё в позапрошлом году, Малкольмы и того раньше. Озеро ведь с каждым годом расширяется — кому охота, чтобы дом под воду ушёл? И не походили эти штуки на детские игрушки. Они были слишком уж неприятными, уродливыми — и вместе с тем тщательно сделанными. И злыми.

А сейчас вот эти следы у самой кромки ручья. Того самого, через который когда-то перепрыгнула храбрая тёзка Морег, дочь старого Мак-Грегора, спасаясь от Водяного Коня, будь он неладен.

По ночам Морег порой казалось, что она слышит доносящееся со стороны озера тихое ржание. Но ночью, в старом доме, где все стены увешаны маминими картина-ми с изображениями лошадей, ещё и не такое послышится. А вот следы — другое дело. Они были осязаемы. И никуда не исчезали с приходом утра.

— Доброе утро, милая!

Морег, вздрогнув, обернулась. Грейс — и когда она только успела подойти? — стояла в двух шагах. И явно была намерена пообщаться.

— Доброе утро, — буркнула Морег.

— Скажи мне, пожалуйста, что происходит с Вайолет? Она в последнее время сама не своя. Я волнуюсь.

Да неужели?

— Так, может, вы, маменька, сами её спросите? — Морег безмятежно улыбнулась.

— Уже спрашивала, — нахмурилась Грейс. — Она постоянно где-то пропадает, на занятиях витает в облаках... А это ещё что?

— Следы, маменька. Смею предположить, что лошадиные, маменька.

Грейс склонилась над тропинкой. Близоруко прищурилась.

— Это не лошадь, — заявила она. — Следы слишком крупные. И с ними что-то не так.

Вот это номер! Барышня из Эдинбурга в амплуа Натаниэля Бамто.

— И что же? — смиренно спросила Морег.

— Ну как же? Вот, смотри. — Тонкий палец коснулся углубления в земле. — У лунки след должен быть глубже. А здесь — наоборот.

— И что ж это значит? Что к нам Водяной Конь заявил-ся? Это у него копыта поставлены задом наперед.

— Не шути так! — побледнела Грейс. — Морег, я знаю, что ты меня ненавидишь. Хоть и не знаю, за что. Но здесь что-то происходит, и мне это не нравится. Вэл где-то пропадает целыми днями. Ты чего-то боишься. Мистер Фэйтон занят.

— Чарли, — неожиданно для самой себя выпалила Морег. — Вэл познакомилась с юношой по имени Чарли. Он живёт по соседству. Только она дико разозлится, если узнает, что я проболталаась.

— Что ещё за Чарли? — нахмурилась Грейс. — Ты его знаешь?

— Нет.

— А мистер Фэйтон?

Морег только плечами пожала.

— Так почему бы этому молодому человеку не прийти к нам на ужин? Понимаешь, милая, нехорошо, что они гуляют вдвоём. — Она залилась краской. — Хотя я уверена, что твоя сестра — разумная девушка... но ты уж поговори с Вэл, хорошо? Пусть она его пригласит.

Поговори с Вэл. Отличный совет! А ничего, что она всю неделю только и пытается, что разговорить сестрицу?

— «Никому ещё не удавалось выжить после встречи с ним, — нараспев читала Вэл. — Те немногие, кому не посчастливилось увидеть, как Водяной Конь выходит из темных озёрных вод, падали замертво — слишком ужасно было зрелище. На берегу чудовище принимало разные обличья, являясь то в виде черного ворона, прислужника Кромахи, то в виде проворной ясноглазой лисицы. А свой

настоящий вид Водяной Конь обретал, только настигая добычу, чтобы схватить ее и растерзать...»

— Хватит, а? — попросила Морег, нервно поглядывая на незапертую дверь. — Мне уже тринадцать. Усну и без сказки на ночь. Тем более, без этой.

— А маме она нравилась! — заявила Вэл. И снова уткнулась в книжку: — «Старики говорили, что Водяной Конь чёрен и громаден, что на его голове торчат два дьявольских рога, а когда он мчится по вересковой пустоши, то время замирает...»

— Пригласи его в гости, что ли?

— Кого?

— Этого Чарли. Или как там его зовут.

— Ага. Чтобы он увидел, в какой развалюхе мы живём? — наморщила носик Вэл.

— Он же не лендлорд с проверкой. Как-нибудь переживёт встречу с тусклым столовым серебром и пыльными портьерами. *Omnia vincit auctor*, разве нет?

Вэл запустила в неё диванной подушкой.

— Ну хоть мне его покажи! — взмолилась Морег.

— Не думаю, что ему интересно общество тринадцатилетней девочки, — отрезала Вэл.

И всё.

Ночью Морег разбудило тихое тоскливо-ржание. В который уже раз.

Она прижалась лбом к стеклу, глядываясь в темноту. Густой белый туман медленно заволакивал двор — уже не было видно ни старой ветлы над ручьём, ни ворот, ни беседки.

Вэл тревожно заворочалась во сне. Морег оглянулась и вздохнула: свечи погасли. Если сестра проснётся до зари, визгу не оберёшься. Девица на выданье, а темноты боится.

Морег опустила босые ноги на пол. Ойкнула — доски оказались холодными и скользкими. Грейс пришло в голову полы помыть после того, как все заснули? С неё станется.

Подсвечник мирно поблескивал на столике. Морег нашарила коробок со спичками, зажгла свечи. Неуверенный, дрожащий свет залил комнату. Ну и славно.

Она осторожно побрела обратно к кровати, стараясь не

смотреть на левую ступню — скрюченную, уродливую. Рес equinovarus, лошадиное копыто — так это называют медики. Дрянная шутка матушки-природы.

Морег опустилась на кровать. Потянулась, чтобы поплотнее задёрнуть шторы, и оцепенела от ужаса: там, во дворе, кто-то был! Крупная тёмная фигура медленно брела по направлению к дому.

Из тумана поднялась конская голова, увенчанная рогами. Алье глаза смотрели прямо на освещённое окно.

Морег выскочила в коридор. Затарабанила в дверь отцовской спальни, из-под которой струился мягкий свет.

Отец не отвечал.

Это же сон, да? Ну конечно, сон. Нечего бояться, Морег Энн.

Внизу тоскливо скрипнули петли входной двери. Порыв сырого холодного ветра пробежал по коридору, взметнул полы ночной рубашки.

Едва дыша, Морег вышла на лестницу. Вцепилась непослушными пальцами в перила, осторожно свесилась, чтобы увидеть, что там внизу.

Грейс — босиком, в ночной рубашке — стояла на пороге и глядела в туман.

Тихонько подывая от ужаса, Морег бросилась обратно в комнату. Забралась с головой под одеяло, крепко зажмурилась, закрыла уши руками. Но даже так невозможно было не слышать мерный неторопливый стук копыт.

* * *

— Морег, ты даже не притронулась к еде, — укоризненно заметила Грейс за завтраком — как всегда, аккуратная, с идеально уложенной причёской. — Тебе нездоровится?

Нельзя выдавать себя.

Морег слабо улыбнулась:

— Просто я не люблю омлет.

— Ну и балда, — Вэл потянулась за добавкой. — А папа почему не спустился?

— Он вечером просил не будить его. Сказал, что будет работать допоздна.

— Он вообще спит по ночам? — осведомилась Вэл с набитым ртом.

— Не знаю, — отчего-то смутилась Грейс.

— Морег у нас тоже любит полуночничать, — наябедничала вредная сестра. — Кстати, Морег, может, ты объяснишь мне, что стало с водой в кувшине?

— А что с водой? — Грейс насторожилась.

— Она тухлая! И в ней водоросли плавают! И если кое-кто считает, что зачерпнуть воды из озера в мой кувшин для умывания — это смешно, то этот кое-кто ой как ошибается!

— Морег, дорогая, это ты сделала? Но зачем? — удивлённо спросила Грейс.

Морег вскочила из-за стола и опрометью бросилась прочь. Подальше от этого дома, от этой лицемерной тихони.

Оказавшись за оградой, она постаралась взять себя в руки. Никто за ней не гнался — уже это было хорошо. А ещё наконец-то стало совершенно ясно, что так дальше продолжаться не может. Надо что-то делать.

Что ж, если кое-кто не хочет знакомить сестру со своим обожаемым Чарли, то сестра сама придёт к нему в гости. Просто чтобы убедиться, что Чарли — это человек из плоти и крови, а не тварь из озера, принявшая обличье юноши. Конечно, без приглашения заявляться к соседям не вполне прилично, но это однозначно проблемы кое-кого, а не глупышки Морег.

Она ускорила шаг. Мерзкая нога уже начала ныть, но что ж — придётся ей, ноге, потерпеть.

Идти по заросшей просёлочной дороге было страшновато — яростный задор здесь, под сенью разлапистых елей, как-то поутих. Мурашки пробегали по коже, стоило вспомнить, что там, за спиной, мертвенно-спокойная гладь озера.

А чего вообще боится Водяной Конь, кроме проточной воды? Омелы. Кажется.

Думать об этом сейчас, под весёлым майским солнцем, было настолько стыдно, что Морег зажмурилась — буд-

то кто-то здесь, в глухом лесу, мог подслушать её мысли. Прежде чем верить в невероятное, стоит сначала исключить всё вероятное, разве нет? Итак, Чарли. Если его семья переехала сюда недавно — а так оно, наверное, и есть, — то его семья могла вселиться в особняк Роджерсов. Или в малкольмовский, но это вряд ли: мама ещё несколько лет назад говорила, что старый дом совсем обветшал.

По прошествии часа стало ясно: Роджерсы, судя по всему, и не думали возвращаться в милый домик у озера (есть же на свете умные люди). Ставни были добротно заколочены, на двери висел тяжеленный амбарный замок, а некогда белые стены потемнели от потёков и соцветий плесени.

А вот особняк Малкольмов...

Ещё на подступах к нему Морег поняла: жить в этой развалюхе невозможно. Крыша совсем обветшала и кое-где провалилась, подъездная дорожка давно заросла болотницей и кипреем. Но тяжёлая дубовая дверь была приоткрыта, а любопытство, как известно, кошку сгубило.

На пыльном паркете гостиной отчётливо темнели чьи-то следы. Грязь уже засохла, но ещё не успела превратиться в пыль. Кто-то был здесь, и был недавно.

Морег нерешительно шагнула за порог. Закашлялась. Потревоженная пыль заплясала в лучах солнца, пронизывающих просторную комнату.

По углам зала стояли каменные чаши, заполненные зловонной застоявшейся водой. От них к горке из песка и ракушек, насыпанной в центре комнаты, по полу тянулись высохшие нити водорослей. А на горке лежало что-то белое и совершенно *неуместное*. Морег прищурилась — и изумлённо заморгала. Свадебная перчатка? Чушь какая-то.

Морег попятилась назад. Да, сейчас был день. И всё же она ни за что не согласилась бы притронуться к этой жути.

Она захлопнула дверь. Присела на порог — всё равно платье уже безнадёжно испачкано. Обхватила голову руками.

Надо рассказать папе. Хотя — о чём? О том, что в заброшенном доме на полу валяется перчатка? Вот ведь невидаль. Надо побывать здесь, чтобы понять, насколько всё

не так. А он не пойдёт. Он ведь занят — хоть и непонятно, чем...

Что-то светлое мелькнуло между деревьев. Морег вскочила на ноги, всматриваясь в полумрак чащи.

Сестрица?

— Вэл! — закричала она.

Вайолет обернулась.

— Ты что, шпионишь за мной? — сердито выкрикнула она. — Сначала Грейс прицепилась, как репей, теперь — ты. Господи, да оставьте вы все меня в покое!

— Ты знаешь, во что ввязалась? Ты здесь была? Ты видела, что... Подожди! Вэл! Вэл, да что же ты? — чуть не плача, шептала Морег, пытаясь догнать сестру. Но куда там!

Вдруг что-то дёрнуло её за ногу. Ладони словно огнём обожгло, а прямо перед глазами оказалась трава.

Морег села, растерянно глядя на содранные до крови руки. Обернулась. Со злостью стукнула ребром ладони корень, о который споткнулась. Потянулась за слетевшим с ноги ботинком — и замерла.

А зачем куда-то уходить? Она ведь никому не нужна. Умри она тут, в лесу — никто не заметит и не заплачет.

С неба хлынул ливень. Крупные тяжёлые капли пробивались сквозь ветви деревьев, падали на плечи и затылок. Морег даже не пыталась встать на ноги — незачем было.

— Что случилось, бедняжка? — спросил кто-то мягким негромким голосом.

Она подняла голову.

Сперва ей показалось, что это отец. Потом она отчётливо поняла: отец не пошёл бы за ней в чащобу. Слишком он занят там, у себя в кабинете.

Незнакомец — мужчина лет сорока — смотрел на неё сверху вниз. И протягивал ей руку.

— Упала, — пробормотала Морег, пытаясь первой дотянуться до злосчастного ботинка с левой ноги — грязного, заношенного, с высокой неровной подошвой.

Мужчина опередил её. Задумчиво посмотрел на ботинок. Потом на Морег — та готова была сквозь землю провалиться.

— У меня нога... — промямлила она.

— Вижу, — спокойно кивнул незнакомец. — Тут шнурок порвался в двух местах. Совсем уже истрепался. Ну да ничего, сейчас что-нибудь придумаем.

Он аккуратно положил ботинок на траву. Достал из жилетного кармана платок, оторвал кружевную оборку, ловко вдел вместо шнурка. Морег растерянно смотрела на него.

— Я, видимо, ваш сосед, — запоздало представился он, протягивая ей ботинок. — Доктор Лансдейл.

А ведь он и впрямь был похож на отца — чёрные с просьдью волосы, карие глаза в паутинке морщин. Только взгляд был другим. Добрый.

— Морег Энн Фэйтон, — она поднялась на ноги.

— Что ж, мисс Фэйтон. Думаю, до дома вы доберётесь.

— Да. Спасибо.

— А знаете что? Если вы не торопитесь, можно зайти к нам, — он указал на черепичную крышу, краснеющую над кронами деревьев. — Думаю, запасной шнурок моя Энни отыщет. А то кружева — штука хорошая, но ненадёжная.

Энни. Так отец называл маму.

Она кивнула.

— Вы уж простите мне бес tactность, мисс Морег, но вы давно консультировались у ортопеда? Это врач, который занимается исправлением формы стопы.

— Н-нет. Наверное. Не помню, — пробормотала она. Странное дело: обычно любое упоминание о проклятой ноге приводило её в бешенство. Но на мистера Лансдейла обижаться было невозможно.

— Дело в том, что моя клиника специализируется на ортопедических операциях. И, надо сказать, успешно. — Он улыбнулся. — Ваш случай, насколько я могу судить, не самый сложный. И, думаю, нам бы удалось добиться успеха.

— Правда, что ли? — спросила она охрипшим голосом.

— А с чего бы мне вам лгать?

— Да-да, конечно, я не об этом...

— Понимаю, — кивнул он. — Конечно, сначала нужно произвести осмотр. Обсудить всё с вашими родителями — они, должно быть, очень тревожатся.

Если бы.

Дом мистера Лансдейла стоял на самом краю озера. На веранде женщина в белом читала книгу. Она же совсем как мама — пронзила Морег неожиданная мысль. Так похожа — белокурые волосы, точёный профиль. По берегу, радостно смеясь, бегали две рыженькие девочки в зелёных платьях. Бегали по лужам — и смеялись.

Смех и радость. Семья. Господи, неужели у кого-то в этом безумном, неправильном мире всё это есть?

На глаза Морег навернулись слёзы.

— Всё в порядке, милая? — встревожился доктор.

Она кивнула.

— Идём. — Он с улыбкой посмотрел на неё. — Поужинаем вместе. Хотя тебе, наверное, будет неинтересно с девочками, ты ведь уже взрослая.

— Морег! — услышала она голос Грейс со стороны чаши — и дёрнулась, как от удара.

— Мне пора. Простите, — прошептала она и похромала на голос. Не хотелось, чтобы эта девица появлялась здесь. Чтобы доктор увидел её и, конечно, сразу всё понял.

— Вот ты где! — Грейс, тяжело дыша, остановилась. Всплеснула руками: — Ну и вид у тебя! Видел бы мистер Фэйтон...

— Да пapa не заметит, даже если я буду голышом разгуливать! — огрызнулась Морег. — И вообще, чего вы за мной-то гоняетесь? Вот, Вэл убежала к Чарли — и ничего.

— Мне снятся сны. Нехорошие. — Грейс помедлила. — И не про Вайолет, а про тебя.

Ах, как трогательно.

— Вы ещё и сны успеваете смотреть? Когда не бродите по дому? — брякнула Морег. И тут же об этом пожалела.

— Я хожу по ночам? — медленно проговорила она.

— Ну, не то чтобы... — начала было Морег, но Грейс схватила её за руку — не больно, но крепко:

— Нет уж, отвечай! — Но в её лице был не гнев, а страх. — Я хожу ночью? Как сомнамбула?

Делать было нечего: пришлось отвечать. А потом вести её к дому Малкольмов и показывать мерзкий натюрморт из чащ с водой, речного мусора и перчатки.

— Моя, — побледнев (хотя куда уж больше), кивнула Грейс, глядя на перчатку. — Но кто её сюда принёс? Это же не ты? — спросила она жалобно.

Хм, а может, хозяйка?

— Да зачем оно мне надо? — возмутилась Морег.

— Нам надо уехать, — сказала Грейс.

И разревелась — некрасиво, навзрыд.

Морег стояла столбом и не знала, что предпринять. Вот Вэл смогла бы обнять, утешить и всё такое.

— Я, пожалуй, домой пойду, — пробормотала она и пошла к выходу — торопливо, хотя Грейс на этот раз и не думала её преследовать.

* * *

Морег в очередной раз с тоской покосилась на пустую чашку. Солнце палило нещадно, хотелось пить — но нельзя же было второй раз проворонить дражайшую сестрицу! После вчерашних скитаний Морег уснула, едва голова коснулась подушки. И, естественно, упустила тот момент, когда Вэл убежала на встречу с Чарли.

Накануне вечером Грейс — неслыханное дело — отменила занятия. Допоздна сидела в этой вот беседке. Плакала, наверное. Морег даже жалко её стало: она-то здесь совсем одна, нет у неё ни сестры (пусть даже такой противной, как Вэл), ни воспоминаний о тех временах, когда этот дом меньше походил на склеп. Но, с другой стороны, никто леди Грейс волоком к алтарю не тащил. Сама выбирала.

Розовая шаль мелькнула среди деревьев. Затаив дыхание, Морег прильнула к прутьям решётчатого окна, но её ожидало разочарование: сестра была одна!

— Смотрю я, мистер Чарли не очень-то хорошо воспитан, — заявила она сердито, когда Вэл подошла поближе. — Даже до дома свою прекрасную даму не провожает!

— Ты что? — подняла брови Вайолет. — Да он только что довёл меня до ручья! Куда ты смотрела?

— Его с тобой не было. Не было, ясно тебе? Я его не видела!

— Так, успокойся, — Вэл примирительно взяла её за руку. — Чарли только что был здесь. Сегодня он меня познакомил с родителями, а потом проводил сюда. Что не так?

— А почему он не зашёл к нам, а?

— Потому что ему незачем.

— Потому что он не может, Вэл! Не может перейти через ручей! Тебе это ни о чём не говорит?

— То есть, по-твоему, Чарли — Водяной Конь? — скривилась она.

— Ну а что, если так? — запальчиво выкрикнула Морег. — Что, если ты в опасности?

Вэл звонко и обидно рассмеялась:

— Знаешь, солнышко, пора тебе развеяться.

Морег замерла перед дверью. Осторожно постучала. Конечно, папа очень не любит, когда ему мешают работать, но случай-то из ряда вон!

— Заходите уже, — раздражённо отозвался отец.

Кабинет изменился до неузнаваемости. Отец всегда был таким аккуратным! А сейчас всюду в беспорядке были разбросаны книги, растрёпанные, с библиотечными штемпелями. На рабочем столе — прямо на полированной поверхности — валялись окурки и почему-то стебли травы. На стенах висели мамины рисунки — но не законченные картины, а эскизы, наброски, которых Морег раньше не видела. Лошади, конечно же, — только их мама и рисовала. Но *другие*. И по спине Морег пробежал холодок узнавания. Потому что эту посадку рогатой головы, этот пристальный взгляд алых глаз можно было только повторить, а не угадать.

Отец сидел в кресле, прикрыв глаза. Такой уставший и потерянный, что у Морег сжалось сердце. И она поняла, что смирилась бы с присутствием Грейс — да что там смирилась, полюбила бы её! — если бы она смогла сделать так, чтобы папе стало хоть чуточку легче.

— Пап, — осторожно начала она. — У нас проблемы. С Вэл.

— Вэл, — повторил он, будто пробуя имя на вкус.

— С Вайолет. Твоей дочерью Вайолет, которая днями напролёт бродит по пустоши с каким-то юным джентльменом, которого никто из нас и в глаза не видел!

— Вайолет, старшенькая. И в чём же проблема? — он поднял на неё покрасневшие глаза. — Любовь всесильна: нет на земле ни горя — выше кары ее, ни счастья — выше наслаждения служить ей...

— Ты не понимаешь? Да что угодно может случиться! Может, у этого юноши дурные намерения. А может, происходит и кое-что похуже... — Она замялась.

— Проблема в том, что твоя сестра счастлива? А в том, что умерла твоя мать, лучшая из женщин, ты не видишь проблемы? — Он, шатаясь, поднялся из кресла ей навстречу. — Всё уже забыто, да? С глаз долой — из сердца вон?

— Господи, папа, да что с тобой? — растерянно пролепетала Морег. — Ты пьян?

— Ты хоть знаешь, как давно она умерла? Знаешь?

— В восемнадцатого октября... Папа...

— Двести пять дней. Двести пять дней назад! — Слёзы побежали по небритым щекам. — А ты даже не похожа на неё. Никогда не была. Ты приходишь сюда, отрываешь меня от работы, и ради чего всё? Чтобы донести на сестру, которая, конечно же, в безопасности? — Он почти кричал.

Морег выскочила из кабинета. Почти на ощупь — слёзы застилали глаза — сбежала по лестнице.

Хромоножка. Уродина. Никому не нужное создание. Да пусть бы уже этот Водяной Конь явился поскорее и забрал свою добычу! На дно озера! Туда, где мама!

Она остановилась. До боли стиснула зубы.

Это ведь не папа. Он никогда не обошёлся бы с ней так. Да, хорошенькая, улыбчивая Вэл всегда была папиной любимицей. Но и Морег никогда не слышала от отца не то что ругани, но даже упрёка.

Что-то сделало его таким. Реветь-то, конечно, можно в три ручья, но папе это не поможет.

— А теперь, Морег Энн Фэйтон, вы успокоитесь и размыслите как следует, юная леди, — приказала она себе охрипшим от слёз голосом. И побрела по знакомой тропинке в лес — почему-то так, на ходу, думать было легче.

Кто-то пытается призвать Водяного Коня. Все эти зна-
ки, амулеты, алтарь (ведь алтарь же?) в заброшенном до-
ме — если не колдовство, то явная попытка колдовства.

Существует ли Конь — ладно, об этом пока не будем
думать. Но тот, кто его приманивает к дому, уверен, что
существует. Но чего он хочет? Извести и без того потрё-
панный и обнищавший род Фэйтонов? Господи, да тут
и без Коня можно справиться. Приходи в любую ночь
и убивай. Замок на двери хлипкий, окна в гостиной от-
крыты, — у отца, конечно, есть револьвер в кабинете,
но откуда об этом знать злодею? Главное — зачем такие
сложности? Рыскать по болотам, по пустоши, разбрасы-
вать эти мерзкие плетёнки из водорослей, рискуя быть
пойманным?

Морег наклонилась, сорвала ромашку. Пошла дальше,
рассеянно обрывая тонкие лепестки.

До деревни — пять часов ходу. Да и зачем бы фермерам
всё это проделывать? Поблизости живут только доктор
Лансдейл с семьёй — уж они-то вне подозрений — и та-
инственный ухажёр Вэл. Тёмная лошадка.

Честно скажем: так себе каламбур, Морег Энн.

Откуда он взялся? Почему сестра ничего о нём не хочет
рассказывать? Вайолет, конечно, не самое умное создание
на свете, но должна понимать, какие слухи могут поползти
по округе. Надо найти его. И поговорить с ним всерьёз. Но
если он — Конь, то почему Вэл всё ещё жива?

А ещё есть...

— Морег, милая, подожди! — Грейс догоняла её. —
Я слышала крики. Что произошло?

А ещё есть Грейс. Которой совершенно не за что любить
двух своенравных падчериц и полусумасшедшего от горя
мужа. Зачем ей нужна была женитьба? Чтобы сохранить
добroe имя? Ну так всё, теперь она не соблазнённая де-
вица, а мать семейства. Статус получен. А они ей больше
не нужны.

— Всё отлично. — Морег обернулась. — Скоро будем
ужинать?

— Глупая ты маленькая врушка. — Грейс нахмурилась. —
Ну почему ты от меня прячешься?

Может, потому, что ты ходишь по ночам? Потому, что это твоя перчатка лежит в доме Малкольмов? Потому, что, пока тебя здесь не появилось, всё было отлично?

— Я попросила у отца разрешения съездить в город на ярмарку. Он мне отказал. Вот и всё.

— Но он так злился на тебя! Ты хочешь сказать, что это из-за ярмарки?

— Может, он немного и вышел из себя. — Морег, как могла, ускорила шаг — но проклятая нога, как назло, разнылась. — Имеет право. Он же отец всё-таки.

— Вот как раз поэтому он не имеет права! — гневно отрезала Грейс. — Ты его дочь! Тебе больно и плохо, а он гонит тебя прочь, как нашкодившего котёнка! Так нельзя.

— А ваш отец вас баловал? — Господи, скорее бы уже доползти до дома мистера Лансдейла, чтобы она отвязалась! Но, видимо, они уже прошли нужный поворот — отсюда красную крышу не было видно.

— Нет. Он был таким же самовлюблённым засранцем с монополией на горе.

Морег потрясённо уставилась на неё. Грейс, скромница Грейс произнесла слово на букву «з»?

— Когда умер мой брат, мне было так одиноко, что я чуть руки на себя не наложила. Мама уехала поправлять здоровье на воды. И мы с отцом остались вдвоём в огромном пустом доме. Днём он прятался от меня в кабинете, а по вечерам уезжал в клуб. Там, видимо, скорбеть было легче. Поэтому, знаешь, ничего удивительного, что я сбежала из дома с первым встречным, который не кривился, называя меня по имени, и готов был говорить со мной, а не терпеть моё присутствие. — Она замерла, тяжело и часто дыша. — И я никому, а тем более вам с Вайолет не пожелаю такого. Ненавидь меня. Но не молчи!

Оказалось, что и от Грейс может быть толк: о чём они с сестрицей говорили, Морег через стенку не смогла рассышать, хотя, чего уж там, и старалась. После беседы зарёванная Вэл вихрем ворвалась в спальню, перетащила свои пожитки в старый мамин кабинет и заперлась там.

Обиделась, значит, на ябеду-сестру. Но хотя бы не пытаясь удрать на очередную прогулку по лесам и долам с этим странным Чарли — и то хорошо.

Ужинали они вдвоём: Вэл отказалась спускаться на отрез. Молча доедали на кухне заветрившиеся тосты, запивая их горьким и невкусным чаем.

— Ничего, — сказала вдруг Грейс — Морег чуть чаем не поперхнулась. — Завтра всё закончится. Я пойду в деревню, договорюсь, чтобы вас с сестрой отвезли в городской дом. Если мистер Фэйтон хочет жить в склепе — его право. Вам двоим тут точно не место.

Отец пришёл вечером, когда Морег уже собиралась ложиться спать. Как ни в чём не бывало молча поменял свечи в канделябре на новые: толстые, кривоватые, из мутно-зелёного воска. Присел на край кровати. Грустно улыбнулся:

— Не обижайся, хорошо? Я очень скучаю по маме.

— Я тоже.

— Она этого не заслужила, — с неожиданной яростью произнёс отец. — Она была ангелом. Самым настоящим. С ней не должно было случиться ничего плохого. И Морри, я всё думаю: вот как так получается, что всякие дряни небо коптят, а Энни... — Он уронил голову на руки.

— Знаешь, что нам всем надо? — не выдержала Морег. — Собраться и уехать отсюда. В Монтроз, в Эдинбург, к чёрту на рога — лишь бы там не было озёр, маминых картин и запертых дверей! Посмотри, что с нами стало!

— Знаю, милая. Знаю. — Отец ссупутился. — Если бы это можно было исправить. Если бы Энни вернулась к нам. Если бы мы снова были вместе.

— Но мы не будем, папа! — Морег стукнула кулаком по одеялу. — Она умерла. А мы — пока ещё — живы! И надо играть теми картами, которые выпали, надо, папа, таковы правила...

Господи, ну какие ещё карты? Что я несу?

— Никогда я её не отпущу, — глухо проговорил он. — Ты спи, Морри, спи.

Он резко поднялся и вышел из комнаты. А Морег провалилась в беспокойный вязкий сон.

Комната заливал тусклый серый свет. Сначала Морег подумала, что ей удалось проснуться рано утром, ещё до рассвета. И, конечно, обрадовалась: можно будет без суматохи собрать вещи, ещё раз переговорить с папой — может быть, сейчас он всё поймёт и уедет с ними?

А потом она увидела догоревшие свечи. Потёки мутного зеленоватого воска на скатерти. И поняла, что умудрилась проспать весь день напролёт.

Но как? И почему никто её не разбудил?

Морег торопливо оделась — умываться не стала, вода в кувшине, как обычно, за ночь затянулась ряской. Выбежала в коридор.

Никого.

— Вэл? Папа? — позвала она. И, немного погодя: — Грейс?

Они что, уехали? Бросили её здесь? Одну?

В папином кабинете было открыто окно. Холодный кусачий ветер перелистывал исписанные знакомым почерком страницы. Спотыкаясь о разбросанные по полу книги, Морег прошла к секретеру. Решительно выдвинула *тот самый ящик*.

Револьвер куда-то исчез.

Дверь спальни Грейс была распахнута настежь. Собравшись с духом, Морег заглянула в комнату. Бардак был не хуже, чем в отцовском кабинете: в сумерках белело сброшенное на пол одеяло, тускло поблескивали осколки разбитого зеркала, а на двери —

Никаких обмороков, ясно тебе, Морег Энн? Только попробуй!

— а на двери чьи-то пальцы прочертили четыре кровавых полосы.

Она вбежала в беседку — непонятно зачем, просто по глупой детской привычке. Именно тут младшая мисс Фэйтон обычно пряталась, нашкодив, от праведного гнева Вэл.

На скамейке кто-то процарапал ножом: «Беги». От последней буквы тянулась вниз стрелка. Наверное, у пишу-

щего просто рука скользнула — но Морег заглянула под скамейку.

Подняла револьвер, завёрнутый в грязный платок.
И побежала. Что ей ещё-то оставалось?

Этот аккуратный кирпичный особняк словно бы вырос из лесного тумана. Морег готова была поклясться, что раньше не видела этого дома. И этой тропинки. А ведь позавчера она всё тут обошла!

— Господи, — Морег постаралась поудобнее перехватить револьвер, но рукоять неприятно скользила в потной ладони. — Господи, Вэл...

Калитка легко, без скрипа, подалась вперёд. Морег недоумённо огляделась по сторонам. Опрятный чистенький садик — розы, подстриженная трава, выложенная щебёнкой дорожка. Ничего странного и жуткого. Дом как дом.

А что, если всё это морок? И на самом деле вокруг нет ничего, кроме топкой трясины, медленно обволакивающей ступни, и болотных огоньков, мечущихся над чёрной водой?

И тут она услышала короткий, резко оборвавшийся крик.

— Вэл! — Морег ринулась напролом через сад, прямо через колючие кусты роз.

...На площадке перед домом был накрыт стол. Вэл промакивала салфеткой пятно от пролитого на платье чая. Вокруг неё сутился невысокий черноволосый юноша в клетчатом костюме-двойке. А пожилая чета — наверное, родители Чарли — ошарашенно уставились на неё, Морег. На её грязное, изорванное платье, на револьвер в трясущихся руках.

— Добрый вечер, — только и сказала она.

— Ты просто превзошла саму себя, крошка Морри, — шипела Вэл, пока они поднимались на второй этаж. — Обязательно было говорить, что ты моя сестра? А зачем было уродовать им газон? Боже, стыдобра-то какая. Что теперь его родители о нашей семье подумают?

— А нельзя было сразу сказать, что он настоящий? — шмыгнула носом Морег.

- Так, ты пистолет-то отдай, — встревожилась Вэл.
- Револьвер.
- Неважно. Иди отдохни, а я попробую им объяснить... хотя что тут объяснишь. — Она обреченно махнула рукой.

Морег плакала. От радости — что Вэл жива и в безопасности, что скоро, судя по всему, она переедет в эту уютную усадьбу и посадит розы, вытоптанные мерзкой младшей сестрой, и будет гулять по саду со своим пугливым Чарли, и забудет про них с папой — и правильно, туда и дорога...

Папа!

Он там совсем один. С этой ведьмой.

Конечно, ведьмой — какие теперь могут быть сомнения? Кто мог беспрепятственно разбрасывать по двору всю эту мерзость? Превратить папу в бледную тень прежнего себя?

И кто вчера напоил Морег этим проклятым чаем, от которого она проспала весь день напролёт?

И в деревню Грейс собралась не просто так. Алиби — вот что ей нужно. Это же идеальное преступление. Призванный ею Водяной Конь придёт за папой, утащит его на илистое дно озера — а эта сволочь потом, вытирая лживые слёзы, будет рассказывать, как пыталась уберечь мужа от самоубийства, но, увы, слишком сильна оказалась его печаль. И кто поверит неразумной девчонке, лепечущей что-то про колдовской ритуал?

Должно быть, он что-то заподозрил, попытался её остановить, но не смог. И тогда увёл её в лес, подальше от Морег. Оставил ей револьвер в беседке — он же знал, знал, куда точно побежит трусишка Морри, когда ей страшно и плохо...

Морег взяла револьвер с каминной полки. Поправила накидку на диване. И осторожно, стараясь не шуметь, выскользнула из комнаты.

* * *

Имение Лансдейлов белело неподалёку — значит, до дома оставалось не так уж далеко. Хуже было другое: уже почти стемнело. Полная луна сияла на густо-сиреневом небе. Если Водяной Конь придёт сегодня...

— Морег, милая, что ты здесь делаешь? — как и в прошлый раз, он застал её врасплох. Появился, словно призрак, сотканный из тумана и её одиночества.

— Мистер Лансдейл, моя мачеха хочет убить папу! Она ведьма, она призвала Водяного Коня, и он уже приходил несколько раз, а сегодня полнолуние, и...

Ты хоть понимаешь, как всё это звучит?

— Вы мне не поверите, конечно, — обречённо прошептала она. — Простите. Я пойду.

— Почему же? Тут жуткое и гиблое место. И тебе я верю. Ты не из тех, кто врёт, так ведь, Морег Энн?

Она кивнула.

— Но нам надо вооружиться как следует, чтобы защищить твоего папу.

— У меня есть револьвер!

— Ненадёжно, — с сомнением произнёс мистер Лансдейл. — Против колдовства нужно другое оружие, милая. Идём, тут же недалеко!

И она перешагнула через ручей. Он прав, прав. Разве можно застрелить Водяного Коня?

— *А если я его встречу, мама? Как его узнать?*

— *Он хитёр, — мама чуть ли не шепчет. — Водяные Кони — оборотни. Они превращаются в тех, кто нам жален больше всего на свете. Девушки видят статного темноволосого молодца. Юноши — деву в зелёных одеждах.*

— Красивую? Как наша Вэл?

— Почти, — кивает мама. — Но ты не бойся: у Водяного Коня нет над тобой власти по ту сторону ручья. Лишь на берегу озера он опасен.

— И что мне делать, если я его встречу? Ну, а вдруг?

— Беги и не оглядывайся! Ну, может, самую чуточку.

И мама смеётся. Звонко и радостно, как умеет только она.

Морег недоумённо сощурилась: на земле тоскливо белели лепестки ромашки.

Но как? Ведь вчера они с Грейс стояли на этом самом месте. Как можно было не заметить дорогу к дому Лансдейлов? Вот же она — широкая, просторная.

— У нас тебе всегда рады, маленькая Морег. — Он легонько подтолкнул её вперёд.

Девчушки побежали к ней навстречу. Не разжимая рук. Не открывая глаз. С мокрых волос стекала вода.

Женщина в кресле-качалке медленно подняла голову.

Они превращаются в тех, кто нам желанен больше всего на свете...

— Мама? — прошептала Морег.

И сразу же поняла: нет, не она. В этих глазах не было ни любви, ни тревоги, ни узнавания. Только отражение чёрной озёрной глади. И бесконечная усталость.

Лунный свет заливал берег. И в этом безжалостном свете всё таяло, теряло цвет и форму. Дом — солидный, кирпичный — будто растворялся в сумраке ночи, сквозь него уже можно было рассмотреть очертания деревьев.

— Энни! — смутно знакомый голос вырвал Морег из сонного оцепенения.

Отец шёл по кромке воды, держа фонарь в высоко поднятой руке. Тени растерянно метались по земле.

— Это не она! — крикнула Морег. Точнее, попыталась крикнуть — онемевшие губы еле шевелились, а горло сдавила судорога.

— Морри? — пробормотал он растерянно, глядя на неё запавшими глазами. — Морри, да какого ж дьявола? Тебя не должно здесь быть!

— Но, как видишь, она здесь, — доктор Лансдейл положил руку на плечо Морег — и та вздрогнула от обжигающее ледяного прикосновения. — А что, славная девочка. Мне нравится.

— Это не её ты должен был забрать! А ту девку! Я же всё сделал как надо! — выкрикнул он в отчаянии. — Призвал тебя, отдал её вещи в залог, заманил сюда.

— Любопытно. — Пальцы больно стиснули плечо Морег. — Только вот что-то я не вижу здесь вторую миссис Фэйтон.

— Она где-то здесь! — Отец швырнул фонарь на траву. — Она здесь, клянусь! Я сейчас, сейчас притащу тебе эту тварь, и... Господи, Морег, да уходи уже! Что ты смотришь?

— Папа, да что творится-то? — беспомощно выкрикнула она.

— Есть ритуал... — Отец болезненно скривился. — Помнишь, Морри, ты говорила про карты? Я просто решил сыграть по своим правилам.

— Это называется «шулерство», — отозвался мистер Лансдейл. — Как по мне, грязноватое дельце для столь умного и образованного джентльмена. Видите ли, милая мисс Фэйтон, ваш папенька решил, что он вправе решать, кто заслуживает гнить на дне озера, а кто нет. И вызвал меня, чтобы я вернул ему его ненаглядную Энни, а взамен забрал никчёмную девицу, которой всё равно никто не хватится.

— Пап, он ведь врёт? — Морег вырвалась из-под руки Лансдейла и рванулась навстречу отцу. — Ты ведь не стал бы? Не поступил бы так с Грейс? Это же всё она, да?

Отец молчал, опустив голову.

— Только есть одна деталь, — вкрадчиво произнёс Лансдейл. — На обмен я согласен, но на равноценный. Морег и Энни, Энни и Морег... Выбирай, мой оккультный друг.

— Да! — поскорее выкрикнула Морег — чтобы не слышать, как он соглашается. Потому что после *такого* любое посмертие будет невыносимым. — Забирай меня, слышишь, ты?

— Морри, нет, что ты такое говоришь? Стой! Подожди!

И тут из темноты вышла Грейс — бледная, с растрёпанными волосами, с веткой омелы в левой руке. Правая, перевязанная окровавленной тряпкой, болталась вдоль тела.

Ветка мелькнула в воздухе. Лансдейл дико и страшно закричал и схватился за лицо. Из-под пальцев потекло что-то чёрное. Девочки пронзительно завизжали и отпрянули в сторону.

— Добрый вечер, ублюдок! — крикнула Грейс отцу. — Морри, идём! Пусть они сами разбираются!

Она размахнулась и ещё раз хлестнула Лансдейла веткой...

Нет, уже не Лансдейла.

Тьма вокруг него сгустилась — и оказалась такой ослепительной, такой звенящей, что Морег закричала. И, как в дурном сне, ноги словно бы приросли к земле.

Водяной Конь принял своё истинное обличье. Жуткое, надо сказать. Мама бы, наверное, добавила: и прекрасное, — но Морег не видела красоты ни в оскале голодной пасти, ни в гипнотическом сиянии алых глаз.

Кто-то — Грейс? Отец? — схватил Морег за руку и потащил прочь, напролом, через лес. Как-то отстранённо — эту холодную трезвую мысль кто-то словно бы подбросил в её голову — Морег подумала: а до ручья ведь двадцать шагов, не больше. Но *какие* двадцать шагов!

Ветви деревьев, будто их терзал невидимый ветер, хлестали её по лицу и рукам. Земля — жадная, сырья, проснувшаяся от векового сна — чавкала, с неохотой отпуская ступни. А неба, казалось, и не было — только чёрная тень Водяного Коня, заполнившая собой всё и бесшумно скользящая по мокрой траве.

Грейс швырнула ветку омелы в мутную воду ручья — и та сразу вскипела, засияла, словно подсвеченная солнцем. Ряска подёрнулась зеленоватым огнём.

Конь замер, словно путь ему преградила невидимая стена. Грифа из сотен огненных змей развевалась, словно по ту сторону ручья свирепствовал ветер.

— Не смотри! — раздался голос Грейс прямо над ухом. — Ему только этого и надо! Закрой глаза и не шевелись!

Но она не могла. Не могла не смотреть.

Отец стоял на том берегу, рядом с беснующимся Водяным Конём, который его словно бы не замечал. Отрешённый и совсем седой. И смотрел в густой туман, наползающий с озера.

— Там её нет! — крикнула Морег. — Папа, не надо!

— Не смей! — заорала Грейс. — Ради неё — останься!

Он обернулся. Посмотрел на Морег:

— Тебе так будет лучше, Морри. Нам всем так будет лучше. Прости.

И неуверенной, спотыкающейся походкой побрёл в лесную тьму.

Морег стояла на берегу озера. Все хлопоты о переезде решила взять на себя Вэл, внезапно проявив недюжинную практическую смекалку: договорилась насчёт перевозки вещей за полцены, наняла слуг, которые облагораживали дом перед продажей.

Ей было проще справиться со всем этим. Она ведь не видела, как папа уходил в туман. И, конечно, не поверила бы во всю эту жуткую историю. Никто бы не поверил; Грейс правильно сделала, что наплела окрестным жителям историю о самоубийстве обезумевшего от горя вдовца.

Только он ведь не умер. Он просто ушёл и сейчас где-то здесь, рядом...

Морег осторожно шагнула вперёд. Край ботинка коснулся кромки воды. По поверхности озера пробежала лёгкая рябь.

— Попрощалась? Нас уже ждут, Морри. Пора.

Она обернулась. Грейс в чёрном вдовьем платье, которое висело на ней, как на вешалке, — всё-таки у добрейшей матери Чарли была совсем другая комплекция, — стояла, прикрывая глаза от солнца левой рукой. Правая до сих пор висела на перевязи.

— И не страшно тебе? — спросила она, подойдя поближе. — У меня мороз по коже от этого места.

Морег медленно помотала головой.

— Он бросил меня, — проговорила она. И вздрогнула: за последнюю неделю она отвыкла от звука собственного голоса.

— Не сегодня, — жёстко сказала Грейс. — А уже давно. В тот день, когда решил, что мёртвая жена важнее двух живых дочерей.

— И я теперь одна.

— Это уж тебе решать. Я не стану врать, что жизнь всегда прекрасна. Но, Морри, она бывает прекрасна — и, как по мне, этого достаточно, чтобы не спешить на ту сторону. И даже у самых гнусных и никчёмных живых есть то, чего лишены лучшие из мёртвых. Право на выбор и право на

надежду. У тебя есть семья. Я и Вэл. Обе — не подарок, знаю...

— Но надо играть теми картами, которые выпали?

— Именно. А не опрокидывать стол и уходить в ночь. Кстати, это какой-то семейный фольклор, про карты?

Морег слабо улыбнулась.

— Теперь, наверное, да, — сказала она. — Идём уже. А то замёрзнешь.

И пошла — не оборачиваясь, оставляя озеро за спиной. Навсегда.

Эльдар Сафин

Ксюха и Лихо

Серая вечерняя морось дождя неохотно выпустила из себя очертания Старгорода. Издалека доносилось вялое переругивание полицейского и мелкого торговца, пытающегося протащить за городскую стену товар с минимальной пошлиной.

— Пора расплачиваться, стал-быть, — заявил возница, пухлый неопрятный бородатый мужик в зипуне на пару размеров больше, чем надо.

Он отпустил паровой рычаг, и его старая разбитая телега, работающая даже не на угле — на дровах, сразу же начала подергиваться, грозя заглохнуть. Выглядела она так же, как и хозяин, — видавшая виды повозка, без верха, набитая прелым сеном, с ржавой трубой, через которую древним двигателем выплевывались клубы сизого дыма.

— Да ладно, мужик, ну честно. — Ксюха устало глянула на него, чуть наклонив голову налево. — Ты же сам минут двадцать упрашивал меня, чтобы я села к тебе. Называл Солнышком, говорил, что скучно, что уснешь в дороге и съедешь в канаву. Какая плата?

— Ну хоть ручкой подергай, а? Что тебе, девка, сложно, что ли?

— Допрыгался, кузнечик, — констатировал Моисей, спрыгивая с телеги. Та даже не вздрогнула — впрочем, в дорожной грязи, куда он ступил с размаху, тоже следов не появилось.

— Мой, мой! — взвизгнула Алевтина. — Мэри, ну скажи ему, что моя очередь!

Вокруг телеги, на которой сидели возница и Ксюха — крепкая девка чуть младше двадцати, в сером кожаном плащике поверх плотного темно-синего платья и в кожаных же сапожках, кружили четыре совершенно нереальных, неестественных для этого места существа.

Маленький, едва ли в локоть вышиной Моисей — белобрысый человечек в нарядном зеленом костюме с золотыми пуговицами и ремнем, крепко перетягивающим плотный животик.

Кряжистый, в полторы сажени ростом Лихо — с резным костяным, непрестанно кружящимся левым глазом и злым, внимательным черным правым. С первого взгляда казалось, что Лихо обнажен и зарос шерстью, но если приглядываться, — то на нем по всему телу висели короткие черные лохмотья кожи, в том числе и на лице, и на ладонях.

Худощавая до болезненности, ростом в сажень Мэри — аккуратная седая старушка со светло-голубыми глазами в старинном платье с корсетом, иногда просвечивающая насквозь.

И полногрудая красивая девка с узкой талией и пышными бедрами — Алевтина, в набивном многоцветном сарафане. Её внешний облик портил только цвет кожи, явственно отдающий в синеву.

Возница, в отличие от Ксюхи, эту интересную компанию не видел и не слышал.

— *Козла этого отдаем Альке*, — веско сказал Лихо. — *Сам нарвался*.

Ксюха тяжело вздохнула и спрыгнула с телеги. Под ее сапогами грязь раздалась — именно здесь в мощенной деревом дороге была глубокая выемка, в которую ноги погрузились по щиколотки.

Алевтина заливисто засмеялась, и на этот раз возница то ли услышал, то ли почувствовал что-то.

— Эй, что это? — неуверенно крикнул он.

Ксюха, обращая на него внимания не больше, чем на мелкий надоедливый дождь, шла в сторону южных ворот Старгорода. На лице ее отражались одновременно обреченность и решимость.

Но когда позади что-то хлюпнуло, а затем раздался короткий вопль, мгновенно переходящий в бульканье, девушка вздрогнула и втянула голову в шею.

Через пару минут Ксюха была уже около ворот, а ее догнала удивительная четверка. Животик Алевтины сильно раздался, а на щеке виднелся размазанный потек крови.

Полицейский в воротах увидел только Ксюху. Занятый разборками с торговцами, он спокойно принял влажную купюру, подготовленную заранее, и кивнул — мол, проходи.

Город бушевал, несмотря на поздний час, — в деревне в это время уже все или спят, или цедят у целовальника предпоследнюю — а она всегда предпоследняя, все же понимают.

Играли на каких-то странных громадных балалайках трое парней, а в их музенирование вклинивалась затейливой мелодией дудочница — и в мятой шапке на мокрой мостовой мерцали мелкие монетки.

Сидели на нескольких двухколесных паровых машинах бородатые мужики в кожаных зипунах с массивными перстнями на руках, потягивая медовуху, смеясь шуткам друг друга и время от времени лапая млеющих рядом с ними девок, чьи юбки едва-едва прикрывали колени.

Бродил с щеткой на длинном древке старый хазарин. — И о, диво дивное! — подметал улицу! Ксюха про такое слышала, но, пока не увидела лично, поверить не могла.

А еще вокруг было множество торговцев. Некоторые держали лавки, другие расположились с лотками по обе стороны дороги, третья ходили прямо в нарядной и слегка пьяной толпе, выкрикивая название своего товара.

— Я давно говорил, нам в город надо! — взвизгнул счастливый Моисей.

— Ты всю дорогу твердил, что надо обратно в капище и под корягу, — срезала его бесцветным и заунывным голосом, наводящим на мысли о тщетности бытия, старая Мэри. — Это лихо сюда рвался.

— И был прав, согласитесь.

— Да, — ответила Мэри.

— Да, — подтвердил Моисей.

— Да, — весело расхохоталась Алевтина. Ее живот уже умялся, и талия вновь выглядела осиной. Только вот размазанный потек крови на щеке никуда не делся.

— Нет, — глухо сказала Ксюха — единственная, кто видел и слышал этот разговор. — Нет.

Она достала из кармана куртки мятую бумажку и вслух, по слогам, прочитала:

— Че-тыр-над-ца-та-го кон-су-ла, семь.

— Это что? — завороженно уставился снизу на бумажку Моисей.

— Адрес, неучь мелкая, — пояснила старушка Мэри. — Я сейчас.

Она исчезла. Лихо приобнял Алевтину и что-то зашептал ей на ухо. Синекожая краснела, хихикала и отталкивала приставучего кавалера — но не всерьез, скорее игриво. Моисей достал из кармана золотую монету, кусок ветоши и принялся натирать металлический кружок, хотя тот и так сверкал ярче солнца. Ксюха тяжело вздохнула.

* * *

Нельзя было сказать, что она так уж сильно была виновата в том, что случилось. Просто с детства попадала не в то место и не в то время. В полтора года полезла матери под руку, и та скинула на нее тяжеленный утюг с углами.

В шесть пошла смотреть, как рожает корова, и получила копытом в живот, едва сама не околела. В одиннадцать помогала отцу снаряжать патроны дробью и опрокинула свечу на картуз с порохом.

В семнадцать залетела и вышла замуж, вот только без любви — а потом еще и ребятенка доносить не смогла, по венной своей неудачливости. А в девятнадцать застала мужа в постели со звонарем, причем суженый казался таким довольным, каким она его до того и не видела.

Ну и пошла топиться. А что делать? Разводиться нельзя, затравят. Жить с этим козлом выше ее сил. С тропинки свернула не туда, а заметила это, только когда темнеть уже

начало, а она все еще не дошла до омута, до которого недавно рукой подать было.

Блуждала дня два. Залезла в такие дебри, что дальше уж совсем некуда. И вышла к низенькой избушке, крышу которой образовывал широченный корень старинного дуба. Отворила дверь, а там ее уже ждала Алевтина.

Они поговорили немного, и синекожая девка предложила сделку. Мол, больше никакой неудачливости. Что задумала — все получится. А за это — всего-то! — другая сторона в договоре получает врагов Ксюхи в полное свое распоряжение.

Враги — штука такая: на фиг ненужная. Девка даже особо не думала, пальчик булавкой кольнула, крестик на бересте в нужном месте вывела, пошла домой — а деревья перед ней словно сами в стороны раздвигаются и кронами будто бы кивают: сюда тебе!

Пришла в родную деревню, народ охает — шрамы-то с Ксюхиной шеи пропали! Ожог со щеки сошел! Плечо, которое выше было, вровень со вторым встало!

Муж из дома куда-то сбежал. Дня три она радовалась, а потом труп мужа в овраге нашли. Потом мать кто-то убил. И старого Святополка, который ее в детстве крапивой порол за то, что она у него яблоки воровать пыталась.

И Настаську. И тетю Варвару, которая в гости из города погостить приехала. И Прокофия. В общем, закономерность была простая: если кто хоть раз пакость Ксюхе какую сделал, то он, значит, не жилец. А если еще дышит — то только потому, что очередь не дошла.

И она снова топиться пошла. Только на этот раз она уже удачливая была, к омуту быстро попала. Взяла камень потяжелее и занырнула.

А потом глядь — на берегу сидит, мокрая, а вокруг эти четверо. Мэри, Алевтина, Моисей и Лихо. Баньши, кики-мора, лепрекон и леший.

И вышел у них долгий разговор, в результате которого выводов было несколько:

1. Сдохнуть ей не дадут. А коли умрет — оживят и дальше пустят. А если вдруг совсем охамеет, то рук-ног лишат,

глазки выколют, язык отрежут, к досточек с колесиками привяжут и по ярмаркам пустят как чудо чудное.

2. Зла ей не желают. Вот прямо так и сказали: ты, мол, Ксюха, через нас теперь удачливая, хоть на столб за сапогами, хоть замуж за генерала — все удастся. Только к попам близко не подходи, а то от их святости вся удачливость одним местом накрывается и в это же место засовывается так, что даже хвостик не торчит.

3. Никого другого им не надо. Они с ней договор заключили, и теперь она за них в ответе. А они — за нее. Все, говорить тут больше не о чем.

4. С родными и друзьями нехорошо вышло, это они признают. Но за семьсот лет под корягой оголодали, вот и начнулись. На будущее без разбора убивать не будут, хотя если кто охамеет — не помилуют.

— Что-то все у вас хамеют, — буркнула тогда Ксюха.

— Да мы и сами дети Хама, — подмигнул ей костяным глазом Лихо. — Еще с тех пор, когда о попах и слыху не было. Предок наш был существом отвратительным, наглым и жадным. И некоторые люди вплотную к его достижениям подходят, а мы, значит, если говорить модными ныне словами, конкуренции-то не одобляем!

— Я тогда в пустыню сбегу!

— А может, в город? — Лихо снова подмигнул. — Тетка твоя, Варвара, дом там имела. Родню вашу мы всю повывели, так что считай ты — единственная наследница. Будешь жить спокойненько, если кто тебя заденет — мы зайдемся, а не заденет — так и посидим тихо.

Коли совсем уж честно, подыхать Ксюхе больше не хотелось. А хотелось ей дом, мужика нормального, двор большой с коровами и козами, паровую машину с верхом и на угле, не на дровах, а еще чтобы вокруг народ не мёр каждый день.

В общем, оставила она позади полупустую деревню, пока ею попы заниматься не начали, и двинула в Старгород, осваивать тетушкино наследство.

Теперь нечисть от нее не скрывалась, а крутилась все время рядом. Если кто Ксюху по деньгам обсчитывал, по матушке обкладывал или по пошлости неприкрытой обгля-

дывал, тот сразу получал по заслугам. Кто ногу подворачивал, садясь орлом над выгребной ямой; кто вилку мимо рта проносил и навек глаза лишался; кто в топку паровой машины руку вместе с дровиной сувал и обгорал потом до неузнаваемости.

За четыре дня дороги таких набралось жертв человек десять. Еще одного Моисей загрыз своими мелкими зубками, когда он Ксюху с ног до головы обрызгал, проезжая на телеге мимо на скорости несусветной. Но его девка за жертву даже не считала — уж больно тогда платье долго отстирывать пришлось.

Еще трое получили награду. Жена трактирщика за белые свежее, что в таких местах редкость необычайная, — грудь упругую, а то, по словам Лихо, «четверо детей все высосали». Стариk слепенький, который байки травил в регулярной телеге и смешил всех так, что Ксюха даже про все свои неприятности забыла, — острый нюх. Мужик поддатый, сказавший ей, что она красива, как ангел, — по шестому пальцу на каждой ноге, чтобы тверже на земле стоял.

Так и доехали. Всю дорогу нечисть между собой болтала, переругивалась и заигрывала, так что Ксюха в итоге уверилась, что все они имели друг с другом некие близкие отношения и давнюю историю взаимных претензий.

А собрались они вместе следующим образом: семьсот пятьдесят лет назад очередной князь решил покрестить местные земли, чтобы товары с большим барышом покупать да чтобы на врагов и друзей сподручней давить было. И притащил бога единого, злобного и сварливого, конкуренции не терпящего. Да попов притащил — лютых и корыстных. И как начали они вместе нечисть из-под коряг выковыривать да непотребства с ними творить, и за пятьдесят лет практически всех повывели.

И собрались в итоге в самой глухой глухи беглецы с далеких островов Моисей и Мэри, да наши страдальцы — Лихо и Алевтина, и решили они вместе лютый век отоспать. А там, может, другие боги придут, более терпимые.

И проспали они, ворочаясь да переругиваясь, семьсот лет без малого. А когда проснулись — оторопели: на каж-

дом, кто под светом белым ходит, защита висит в виде креста. И сделать им ничего нельзя.

— Так на мне тоже крест, — сказала Ксюха — это было ночью, в комнатке при трактире, как раз там, где трактирщица белье свежее постелила.

— *Ты не помнишь, но дело так было*, — завела заунывший рассказ баньши. — *Когда тебя крестить принесли, ты попа обмочила по детскому неразумению. Он и отказался тебя крестить. Родителям твоим лень было везти тебя в другую деревню, они тебе крестик повесили и всем сказали, что ты крещеная.*

В общем, взяли ее в оборот. А дальше уже просто: по своей воле нечисти на крещеного напасть нельзя. А защищая «своего» человека — уже совсем другое дело! Вот так и бродят они с ней, привязанные невидимой, но толстой и крепкой нитью.

* * *

Ожидая Мэри, Ксюха отошла в сторонку и прислонилась к стене. Вокруг кипела жизнь. На серую провинциалку никто особого внимания не обращал, зато она смотрела во все глаза. Все ее радовало, все удивляло.

Неподалеку раз за разом топал ногой симпатичный парень лет двадцати пяти в потертой офицерской форме старого образца. То ли он был недоволен, то ли выпил лишку, но выглядел смешно. Топ! Топ! Топ! Топ!

Ксюха прыснула в кулак. А парнишка тем временем закатал штанину, и под ней оказалась не нормальная человечья нога, а металлическое копыто, с толстым шарниром в районе колена. Вставив туда отвертку, парень топнул еще раз — и на этот раз из шарнира вбок ударила тонкая струйка пара, после чего этот странный человек удовлетворенно кивнул, штанину опустил и топать перестал.

А потом Ксюхе стало не до всего этого. Разгоняя толпу, побежали городовые, а за ними медленно и чинно, на четырех двухколесных катках проехали полицейские в белоснежных мундирах, а дальше — длинная и широкая крытая черная телега с двумя трубами — одна для пара, другая для дыма.

— Генерал-губернатор... Евсей Звездостратович... Кор-
милец наш... — загомонили вокруг.

Из опустившегося окна телеги показалась рука, вся
в перстнях и с двумя хронометрами, и выбросила горсть
мелочи. Все тут же кинулись ее собирать, даже Ксюха, хотя
ей-то как раз по привалившему нежеланному наследству
денег хватало.

— Бомбисты! — заорал кто-то истошно. Толпа шарахну-
лась от телеги, и только Ксюха замерла истуканом.

Кто-то выбежал с другой стороны телеги и метнул
в нее кругляш размером чуть меньше человечьей головы.
Кругляш стукнулся о верх телеги, весело перепрыгнул ее
и подкатился прямо в ноги Ксюхе.

— *Интересно*, — заявил Лихо. — *Я чувствую в этом
некий подвох...*

А в следующий момент тот парень, что так забавно то-
пал своей железной ногой, подскочил к Ксюхе, наклонился
к кругляшу и вырвал из него тлеющую тонкую тряпицу.

И только после этого засвистели городовые, заорала
толпа, загудела басовито сиреной губернаторская телега.

— *Уходим, корявые*, — взвизгнула Алевтина. — *В телеге
поп мощный, с задницей в четыре ухвата!*

Ксюха, которая к попам тоже не особо расположена бы-
ла, рванула вместе с нечистью в сторону и смешалась с тол-
пой. А вскоре показалась Мэри — старая баньши разузнала,
где же эта улица Четырнадцатого консула, — и вовсе не так
уж далеко, в паре сотен саженей и двух поворотах.

* * *

Как ни странно, на новом месте нечисть бузила с огляд-
кой. Соседей она вообще почти не обижала, торговцам
пакостила или помогала совсем по мелочи. Убили за не-
сколько недель только одного — вора, по недомыслию по-
пытавшегося залезть в Ксюхин дом.

Про покушение на генерал-губернатора написали в га-
зетах, и все теперь знали, что мудрого городского прави-
теля спас ветеран Восьмидневной войны, в которой наши
ляхов от Северного моря отогнали.

За подвиг герой получил четыре рубля ассигнациями, орден Святого Бонифация с саблями и большую подвижку в очереди на комнату в центре Старгорода. На литографии газетной выглядел он старым и страшным, но в памяти Ксюхи ее спаситель сохранился как есть — молодой, забавный, с черными кудрями и зелеными глазами. Звали его Гореслав Луков. Поручик в отставке — по ранению.

Жизнь катилась медленно и скучно. На улицу Ксюха выходила только по настоятельной надобности, дом ее с маленьким садиком ухода особого не требовал, в итоге она целыми днями читала книги, которых у тетки было целых шесть, и все толстые, да без картинок. То есть хватить должно было на полгода, если не дольше.

Лихо с Алевтиной научили ее играть в подкидного, на щелбаны — а так как везучесть ее никуда не делась, то леший с кикиморой часто терли свои лбы.

Моисей затеял возню с соседскими пацанами — те теперь нет-нет да и находили по разным подсказкам мелкие клады в несколько медяков.

Мэри по вечерам тихонько выла у тех домов, где кто-то собирался в ближайшее время отойти. В общем, было скучно и спокойно. Ксюху это полностью устраивало.

Но однажды днем она поддалась на уговоры Лихо и хлебнула тетушкиной настойки, хранившейся в подполе в большой бутыли. Потом еще, еще и еще. А глубокой ночью душа девки потребовала танцев и приятного общества.

Объяснить, почему она решила искать того и другого в самом гнилом и страшном кабаке на всю округу, ни себе, ни окружающим она потом не смогла.

Но в итоге, протанцевав с десяток кругов с пьяными матросами и забулдыгами, Ксюха слегка протрезвела. Она осознала, что вот сейчас ее тут обидят, и, может быть, даже не один раз. А потом нечисть, соскучившаяся по настоящим делам, образует некоторое количество трупов, местами с тяжелыми побоями, дополнительными носами и связанным в узел хозяйством.

Бежать было поздно, продолжать веселиться — страшно, и Ксюха всерьез уже решила закатить напоследок истерику, когда в дверь кабака вошел Гореслав.

— Эй, вы! — крикнул он громко. Однако никто не услышал. Тогда поручик в отставке достал револьвер, выстрелил в воздух и тут же, прочищая ствол ершиком, повторил: — Эй, вы! Невесту мою танцевать перестали — на раз-два!

Ее тут же выпустили, но ему не отдали, а прикрыв спинами, окружили его и начали задирать.

Их было человек восемь, а в армейском револьвере — это знала даже Ксюха — всего пять патронов. Но Гореслав не устрашился, а сделал выстрел в самого громкого в живот, а потом заявил:

— На всех патронов не хватит, но парочку еще я покалечу! Кто следующий? Ты? Ты?

Решительность его была вознаграждена: ропща и возмущаясь, все отступили, а Ксюха вышла из кабака со своим спасителем.

— Как вы оказались здесь столь вовремя? — спросила она. Городская жизнь, любовные романы тетки и недавняя встряска явно пошли на пользу ее учтивости.

— Квартирую в соседнем доме. Прибежал половой из этого заведения, сказал, что какую-то дуру сейчас снасильничают и убьют, — прямо сказал поручик.

Позади них из кабака раздавались крики и странные всхлипы. Понятное дело, до греха не дошло, но было к тому близко — а значит, нечисть повеселится. Никто не умрет, но глаза у кого-нибудь перейдут на зад, а еще у кого-то выпадут все зубы и вырастут рога.

— Я, может, и сглутила, — все так же учтиво продолжила светскую беседу Ксюха, — но дурой себя не считаю. На этом прошу оставить меня, ибо дела неодолимой важности требуют моего присутствия в ближайших кустах.

Рвало ее так, как никогда ранее. Выбравшись из кустов, девушка одновременно с облегчением и сожалением отметила, что поручик в отставке послушался и впрямь оставил ее.

Следующие дни пять она провалаилась дома, в обществе едкой Алевтины и подлизы Моисея, потребляя лишь чай и небольшое количество варенья. А на шестой день в ворота постучали.

И это был Гореслав Луков. В парадном мундире старого образца, с тремя хилыми гладиолусами. Время от времени он топал левой, механической ногой.

— Прошу простить мою неучтивость, — высокопарно сказал он. — Хотел бы загладить свою вину. Сегодня в синем парке дают «Страсть и ненависть в Глазверовске», приглашаю на просмотр. Я выспросил ваших соседей и знаю, что ваша тетя умерла, а сами вы скромная и спокойная девица. О причинах срыва вашего я не знаю, но уверен, что они были существенны. Образ ваш не выходит из моей памяти, и это я считаю достаточным основанием для своей просьбы.

— Идите к черту, — как можно учтивее сказала Ксюха. Ей очень хотелось на «Страсть и ненависть» и очень нравился Луков. Но одновременно она прекрасно понимала, что, случайно наступив ей на ногу, этот офицер в отставке может лишиться и второй ноги от рук Лихо или Алевтины, а за не вовремя сказанный комплимент — получить ногу третьую, вовсе ей ненужную.

Она закрыла калитку и пошла к себе плакать. Конечно же, для нее было совершенно очевидно, что после такого афронта мужчина вернуться не может, если у него есть хоть капелька самоуважения.

Но Луков пришел на следующий день. И на следующий. И опять. Каждый раз он приносил цветы, иногда одни и те же два или три дня подряд. Ксюха не брала. На пятый или шестой день она скинула маску учтивости и послала его по-деревенски, как учил дед Святополк — чтобы все по полочкам, где, когда, с кем и с какими последствиями.

Однако даже этот козырь не возымел действия. Лихо считал, что у Гореслава просто нет фантазии, Моисей предполагал у поручика проблемы в интимной сфере, и только Алевтина ругалась на всех и требовала признать истинное амурное томление.

По требованию Ксюхи Лукова нечисть пока не трогала.

— *Если не охамеет*, — пояснил Лихо.

Объяснять он отказался. Рисковать очень не хотелось. Но и лишать себя визитов отставного поручика — тоже.

В один из обычных вроде как дней выяснилось, что в Старгород внезапно завезли какие-то ядреные мощи, а вместе с ними прибыло и разнообразное поповское начальство в таком количестве, что город просто заполонили люди в рясах и с крестами.

— Ты тут не шали, — с тревогой сказала Алевтина. — И постарайся не сдохнуть случайно.

— Береги себя, — вторила старушка-баньши.

Лихо только мотнул башкой, а Моисей щекотно тронул мелкой ручкой Ксюху за лодыжку.

Нечисть сбегала на несколько дней. Им было слишком страшно и неуютно вблизи такого количества мощных врагов.

В этот вечер девушка — к громадному удивлению поручика в отставке — не дала ему от ворот поворот, а впустила в дом. И там выложила все как на духу, упуская незначительные подробности в виде мужа со звонарем в постели и первой попытки самоубийства.

Гореслав поверил сразу. Благо, слухами земля полнится, и странностей с недавних пор в Старгороде наблюдалось немало — что, кстати, и стало в итоге причиной появления мощей и такого количества попов.

Но вместо того чтобы обнять и утешить несчастную девушку, он встал на одно колено, без сомнений поцеловал ее ладошку и заявил:

— Дайте мне три дня, и я выясню, как справиться с вашей напастью.

После чего встал, дважды топнул железной ногой, закатал штанину, выпустил отверткой пар из шарнира, поклонился и вышел.

На следующий день он не явился. Еще через день попы разъехались, а нечисть вернулась. Обнаружив Ксюху живой, они очень обрадовались.

Гореслав не появлялся неделю, а потом пришел как обычно — с несколькими подувядшими цветами: девушка вдруг заподозрила, что он по бедности берет их с могилок, — и заявил:

— Все готово. Был бы счастлив приветствовать вас у себя дома!

И в этот момент Ксюха вдруг испугалась. Она уже так привыкла к Алевтине, Лихо, Моисею и Мэри, что не смогла мгновенно ответить согласием.

К тому же в случае неудачи ее могла ждать тележка с колесиками, на которую бы водрузили ее слепое, немое, безрукое и безногое тело — а это участь страшнее смерти.

И она мотнула головой — мол, нет.

И поручик в отставке ушел несолоно хлебавши.

А она всю ночь проревела в подушку.

На другой день Луков не пришел. И потом. И потом. Ксюха осознала, что теряет свой шанс на обычную жизнь. Шанс на обычную смерть. Да вообще, все возможные шансы она теряет! Решительно оделась, вышла и пошла к давешнему кабаку.

Найти, где поручик в отставке — человек достаточно видный — снимает комнату, не составило труда. Однако там ей дали гарбуза: выяснилось, что третьего дня молодого человека арестовали за кражу книги из городской библиотеки.

Второго дня провели суд, на котором приговорили к семи годам каторги, а завтра утром отправят на этап, обрив левую половину черепа, как всем уголовникам.

— *Он мне никогда не нравился*, — заявил Лихо, выращивая бородавки на лице увлекшегося рассказом хозяина апартаментов. — *Дикий какой-то, и нога из железа, тьфу!*

— *Зато красивый*, — парировала Алевтина.

— *Идите к черту!* — воскликнула Ксюха и бросилась прочь. Остановленный на полуслове квартирьорсдатчик озадаченно принял чесать свежие бородавки.

Она выскочила из дома и решительно направилась к тюрьме. Там потребовала пропустить ее к Лукову, получила закономерный отказ и некоторое количество оскорблений. Перешагнув через корчившегося в судорогах — «спасибо, Алевтиночка» — полицейского, Ксюха как нож сквозь масло прошла до камеры Гореслава. Пытавшиеся ее остановить падали от смеха, ран и смены рук и ног местами.

Отперла клетку ключами, снятыми с одного из тюремщиков, и вошла внутрь.

— Они здесь? — спросил отставной поручик.

— Да, — ответила девушка.

— Приступим.

Он поместил ее в центр своей камеры, достал миску с водой, в которой лежал крестик, и нарисовал этой жидкостью круг на полу.

— Эй! — заорал Лихо. — Вы чего?

Моисей тонко завыл. Мэри искоса злобно смотрела на стоящих в круге и недосягаемых для нее людей. Алевтина сдержанно улыбалась.

— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа... — начал Гореслав.

То, что он читал, не было молитвой в прямом смысле этого слова. Он смешивал строки из Библии и какие-то наговоры, считал то по порядку, то обратно, то вразнобой. Прыскал святой водой по кругу, потом на себя и на Ксюху.

И в какой-то момент у нее вдруг в голове что-то перешелкнуло. Она поняла, насколько недостойно себя вела, как плохо думала о Господе и слугах Его. О том, что долгое время находилась в руках настоящих врагов человека.

Она взглянула на нечисть — а та истаивала прямо на ее глазах. Сминался, словно проваливаясь в самого себя, Моисей в зеленых с золотом одеждах. Сдувалась старая Мэри, злобно ругаясь по-аглицки, как последний матрос. Высыхала, как гороховый стручок над огнем, Алевтина с тоскливой улыбкой на устах.

Последним исчезал Лихо. Он рычал и царапал круг — будто тот был огорожен крепкой стеной. Его выталкивал вовне окружающий мир, а он не сдавался. Но в итоге все равно исчез.

— Бежим! — воскликнула Ксюха.

— Я украл книгу, я должен быть наказан, — заявил пограничник в отставке.

— Горе ты мое... Луковое... — рассмеялась сквозь слезы девушка. — Если ты сейчас же не сбежишь со мной, я никогда не выйду за тебя замуж!

Как ни странно, это подействовало. По пути пришлось пристукнуть особо ряяного охранника — к счастью, из плеч у него росли ноги, а руки — из совсем другого места, и справиться с ним Гореславу удалось без труда.

В тот же вечер они покинули Старгород.

Через три месяца в маленькой деревенской церкви худющий, как жердь, поп вначале покрестил молодую девушку, а потом обвенчал рабов божьих Ксению и Гореслава. Еще через восемь месяцев у них родился первый сын. Всего за долгую и непростую жизнь у них выжило шестеро детей.

У них был большой дом, двор с коровами и козами, две паровые телеги.

А когда в семьдесят восемь лет Ксюха — а на тот момент Ксения Святозаровна — умерла, ее провожали всей деревней, и люди искренне плакали над ее гробом.

* * *

А с другой стороны ее встретил черт.

— Ад? Все же ад? — спросила она устало. Ей все еще хотелось проверить, все ли деньги старший внук привез с ярмарки.

— Да нет! Нормально у тебя все, пойдешь в чистилище на сотню лет, потом апелляцию и в рай, это уже обкатано, — заявил черт, и в его голосе Ксюхе почудилось что-то знакомое.

— Лихо? — спросила она неуверенно.

— Ага, тебя ждал! — Он расхохотался, а в левой глазнице весело закрутился костяной шар. — Меня в черти забрали, Мэри пошла в ангелы смерти, Моисей стал купидоном, а Алевтина в чистилище души инструктирует... В общем, все к лучшему. Если накосячишь в чистилище и попадешь к нам — я тебе лучший котел организую!

Сотня лет — это пустяки. А потом она встретится с мужем и они разделят вечность на двоих.

И может быть, иногда к ним будут заходить те, кто никогда были лепреконом, бандитом, кикиморой и лешим, — ведь как ни крути, а без них Горе и Ксюха никогда бы не встретились.

Марианна Язева

Среди сосновых игл...

За реку ходить страшно.

Гирька с Топшей хвастали, что сами ходили, одни, но им и соврать-то — что в воду плонуть.

Сразу за мостками на берег взбирается узкая тропинка, виляет по пологому склону, а потом ныряет в заросли орешника. Видно издали, как выломаны ветви на кустах, где тропа идёт, это так Чиль себе дорогу расчистил, он же высокий, Чиль, любой в Домах на него снизу вверх смотрит.

Полоса орешника густая, да не широкая. За ней тянется тропа уже всё прямо да прямо. Там посреди лысого поля остров сосновый, туда она и ведёт. А и куда ж еще идти, если именно там оно, Капище.

Страшное.

А Чиль ходит, не боится. Каждый день.

Он бы, наверное, и совсем не возвращался в Дома, но нельзя на Капище ночевать. Вот и приходится ему возвращаться к тётке, с которой они вдвоем живут.

Уходит с утра Чиль, и все в Домах знают: Чиль обязательно развёл в Капище огонь.

Боги любят тёплое.

С утра небо хмурилось и висела в воздухе нудная серая мгла.

Чиль ловко пробежал по мосткам, поднялся на косогор. Нужно успеть развести огонь, пока не случилось дождя. Навес над кострищем худой, щелястый, вода намочит дрова, а может и огонь залить, и тогда не удастся нагреть камни...

Зря переживал, — погода потихоньку разгулялась, и когда огонь вовсю полыхал, небо уже заголубело. Чиль, умело орудуя веслецом, стал подкатывать нагревшиеся камни к капеям. Вся земля между кострищем и фигурами богов утрамбована этими камнями, а основания капей во много слоев измазаны сажей. Ею мажут себе лицо люди, приходя в сосновый остров говорить с богами.

Остынет камень — катит его Чиль обратно к костру, снова нагревать. И так целый день. Каждый день.

Потому что боги любят тёплое.

Сегодня хороший день. Лёгкий. Не случилось дождя, а ведь собирался. Уж так тётка к ночи охала, тёрла вогляком распухшие колени. Весь-то дом пропах противной травой. А дождя и не случилось. Чиль сразу понял, — это оттого, что накануне он славно потрудился, много камней откатил к Велетню. Ну, тот и разогнал тучи, кто ж ещё. Он может.

От кострища к капее Велетня канавка в земле пробита — так часто к нему Чиль камни катает. И всегда у него на лбу богова сажа. Он и не смывает её, чтит. Другие-то поговорят с богом — и к реке, лицо и руки отмывать. А то и с песком.

Чиль все замечает, обижается за богов. Неправильно это: просят люди о своём, когда и плачут даже, а метку Капища носить не хотят.

Старый катала Дерба, что учил Чиля, никогда не оттирал богову сажу. Разве уж когда от дождя поплыёт она в глаза, скажет: божьи слезы! — и омоется. Он правильно верил, Дерба, и Чиля выбрал каталой, потому что Чиль верит правильно.

А ещё люди боятся.

Редко ходят в остров, редко говорят с богами. Враздробь, по одному, вовсе не идут, только когда совсем плохо. Как старая Булга, ежели в голове начинает червь крутиться. Или Яхорка, когда дочка у неё помирала. Но дочка все равно умерла. Наверно, плохо Яхорка говорила, холодные слова.

А боги любят тёплое.

Чиль так задумался о своём, что усился на земле возле кострища. Тихо ворошил дрова обгорелым дрючком, постукивал по камням. То и дело касался лба изгвазданными сажей пальцами, отчего вид приобрёл самый ужасающий, но пугаться его здесь было некому. Только пялились бесмысленно стоящие в отдалении от костра деревянные истиканы. Грубо вырезанные, а то и вырубленные. Тёмные от времени. Источенные местами до трухлявости.

Самый большой — самый главный. Велетень. Сильный бог. Его бы одного, наверное, и хватило людям, — и погода на нём, и урожай, и охота. И за здоровьем к Велетню идут, и за защитой от врага, и за удачей любой. Но один бог — это неправильно. Потому рядом с ним ещё целая компания собрана: кто за скотину в ответе, кто в дороге помогает, кто в семейной жизни. Даже отдельный бог имеется, Глум, который веселить определён. Праздник какой, застолье, плясовые — это к нему. Загодя ублажить надо, поговорить, сажей знак на лице поставить — вот и будет радость до одури, хоть и не пей буслайку.

А вот возле Ботвилы — бога огородного — ни в коем случае шуметь и бегать не полагается. Обидится — и вся овощь замрет в земле, затаится, в рост не пойдёт.

Самый крепкий из стоящих в сосновом острове капей — каменный Карбан. Он же и самый мелкий, потому что крупных валунов вокруг не сыскать. И этот-то неизвестно откуда был в остров когда-то притащен: в половину людского роста темно-зелёная каменюка. Выбиты на ней едва заметные вмятины и царапины, обозначающие лицо и руки, и всякий знает: собрался в дальний путь — иди сперва к Карбану, расскажи, куда собрался, попроси помочь, оградить. А вернёшься — опять приди, похвастай, поблагодари.

Есть на Капище и совсем непонятная капея. Стоит она поодаль, наособицу от общего круга. Нет у неё лица, да и фигура на человечью не похожа. В едва обструганное дерево словно бы вросли странные, твёрдые, местами вроде бы даже блестящие, бесформенные куски. Сами ли они забрались в толщу древесины, или поместил их в обломок ствола какой-то давний мастер, неизвестно.

Имя этому богу дали — Тот, а говорят с ним о разном, чтобы только не сердился. Считается, что его нужно трогать, ему это нравится. Люди опасливо касаются твёрдых, гладких, всегда холодных на ощупь кусков, робеют, говорят мало, торопливо уходят. Отчего-то злым его называют, чужим и боятся больше остальных. Но камни из кострища подкатывают исправно, хоть и неблизко катить.

Потому что все боги любят тёплое.

Громко треснула, разламываясь, прогоревшая ветка, и Чиль опомнился. Вот ведь долбень такой, замечтался! Камни каталальные в костре раскалились, а те, что возле калей лежат, — остыли. Ой, неправильно!

Схватил веслецо, покатил. Сначала, конечно, к Велетню. Потом к Тоту, потому что стоит далеко, холоднее ему. Вот Дерба Тота не жаловал, камни катал последнему, говорить с ним не хотел. Однажды, набравшись буслайки, и вовсе заявил, что не бог Тот, а гогона. Так и сказал, старый, — мол, гогона Тот, оттого и поставлен в стороне, оттого и не похож на других. Испугался Чиль: как может гогона на Капище стоять?! А Дерба только плюнул да на лежанку откинулся, захрапел. А назавтра помер. Проснулся, пошёл по нужде — и помер. Плохо помер, стыдно, со спущенными портками, в огороде. Говорили, Ботвила его прибрал, а Чиль знал — не Ботвила, нет. Тот. Обиделся бог.

После плакал Чиль перед Тотом, весь день камни к нему катал, просил за старика. И тут на капею пичуга села, какнула белым и улетела. Не простили, должно быть, Тот Дербу. Строгий бог.

Чиль откатил очередной камень и отправился бродить по острову, собирать валежник. Дрова для кострища люди из-за реки приносят, и завтра очередной срок, но сегодня Чиль жёг уже последнее. Костер едва горел, и сил нагреть каталальные камни у него не хватало.

Собрать удалось лишь небольшую вязанку. Костер вспыхнул на несколько минут и снова превратился в кучку тлеющих углей. До завтрашнего дня порадовать богов было нечём.

Чиль вспомнил, что не ел с самого утра, развернул холстинку с обедом: горбушка хлеба, яичко печёное, ретька, луковица, горсть берестянок. Тут же и вкусное — сушёная рыба туп. Это рыбак Крытый расщедрился, — на Капище он не ходок, вот и умасливает Чиля, чтоб откатил тот за него лишний камень богу Балуде, что за рыбацкое счастье в ответе.

Эх, забыл Чиль о просьбе Крытого!

Пощупал парень камни у костра — едва тёплые. Выбрал один, быстро-быстро откатил веслецом к Балуде. Подкатил, назвал имя Крытого, поклон отвесил.

Ладно, дело сделано, можно и перекусить.

Поел, пошевелил угли. Подкатил камни от калей обратно к костру, сложил вокруг поплотнее. Утром не один он сюда придёт, люди от Домов дрова понесут вместе с ним, порядок должен быть. Чиль обошёл все калеи, каждой сказал доброе, тёплое.

Боги любят тёплое.

... — Холодно. И сырьо. Трещина в спине ноет...

Голос холодный и сырой. И надтреснутый. И всегда-то он такой, каждую ночь.

— Да, трещины — это... Да. Особенно когда муравьи. Эти... рыжие. Что у них за щетинки на лапках? Сустон, ты же должен знать?

— Ну, должен. Ну, знаю. Ну, щетинки. Легче от этого?

— Ах-ха-ха. Нет, не легче.

Пауза. Тихо, только иногда ветерок пробегает: Велетень не даёт уголькам в кострище затухнуть, поддувает на них до утра.

— Насчёт муравьёв. Пугнул бы ты их, Сустон, а? Твое, никак, хозяйство. Зудит же...

— Терпи. Они это... Бегают, топчут, то-сё. Кислым плюют. Дереву такое нужно. Терпи.

— Ой ли, нужно?

Снова пауза.

— Сыро...

Это снова надтреснутый.

— Всем сырьо. Завтра солнце на весь день. С ветерком... Подсушимся.

— И то... Кстати, люди будут завтра, много. Дрова понесут. Хорошо...

Оживление. Заскрипели, зашуршали, забормотали.

— Послушаем!.. Погреемся!.. Дары... Пожертвуют?.. Кровью куриной мазали... Яйцо битое, взбитое... Молочка на трещинку!.. Рыбку мятую, в маслице... А Глуму-то, помните?

Общий стон.

Было: на Глума плеснули враз целую баклажку буслайки. Хорошо пробродившая буслайка была, — вся окрестная жучка, а с неё и пичужки дуром дурели до утра...

Такой дар запомнили, оценили. Один Ботвила только фыркал пренебрежительно, но сам-то с задряблой петрушкой у подножия стоял...

Ночь перевалила через злую темень, пошла на рассветье.

— Солнце сегодня, — напомнил Велетень.

Снова порадовались.

Боги любят тёплое.

Дров принесли много, а вот навес починить не собрались. Чиль просил, уговаривал, ругался даже, но люди затропились в Дома, ушли. Пацанята только, Топша да Гирька, вызвались было помочь, но что с них? Топшу отец шикнул домой, а Гирька совсем неумеха, да и робеет он на Капище. То и дело опасливо поглядывает на безмолвные тёмные капеи, даже и при ярком свете. Говорит, холод от них, аж щёчки сжимает.

Ушли люди в Дома. Поговорили, конечно, с богами, кто и дары скромные принёс, но ушли торопливо. Погожий день, у всех своё: хозяйство заботы требует. А боги — они молчат, к себе не зовут.

Чиль решил сам за людей отработать: костёр щедро распалил, весь день камни катал, как одержимый, аж веслецо прогорело и сломалось. Новое выточил, снова катал. Как мог, навес укрепил над кострищем. Неладно получилось, некрепко, одному не с руки такое дело.

Снова катать стал, каждой сажей на себя мазнул, всех богов уважил. Старый Дерба говорил: всем богам по сапогам!

...Когда налетел первый порыв ветра, Чиль не испугался. Не беда. Дров пока вдосталь, огонь горит, куда с добром.

Но оказалось — беда. За первым порывом ветра нахлестнул второй, третий... Следующий швырнул Чилю в лицо горсть сухих сосновых иголок, всякого мелкого лесного сора. Потемнело, словно к ночи. А тут и пошло-поехало: натянуло тучи едва ли не на самые верхушки сосен, — и сразу вдарили ливень, да какой!

Чиль махом заскочил под навес над кострищем. Сразу принял ся наваливать камни на пламя, — ветром стало зашвыривать воду прямо на горячее. Камни зашипели, да так громко, сердито... А непогоди хоть бы хны, только крепчает.

Парень подхватился было бежать в Дома, но так и встал на косогоре: всухшая, страшная, злая река неслась между берегами, а мостков как и вовсе не бывало.

Забился Чиль в орешник, где погуще, свернулся позвериному. Придётся терпеть до утра. Дерба, бывало, все посмеивался, мол, где терпливо, там и тепливо!

Тепливо вовсе даже не было, но лить стало послабее. Чиль уgnездился поудобнее и стал терпеть.

... — Уж промыло, дак промыло. Давно так-то не было!

— Славно.

Это Карбан. Ему ветры с дождями нипочём, даже в радость. Что камню эти стихии? Так, разнообразие.

— Кой дрын тут славно? Разбухнешь, потом сохнуть сколь... а и трещины того гляди! Мух опять же...

— Ну, надо иногда, чего уж.

— Быть было ненастью, да дождь помешал!

— Всё тебе, Глум, хохотки.

— А меня, чую, не покосило ли? Как бы повело назад... ох, и точно ведь повело!

— Укрепят, коль заметят. А покуда в небо поглядишь... плохо ли?

— Где и заметят, когда ходят всё меньше.

— Вот и надо бы их постращать. А то не стало, виши,нойной робости. Ходят редко, убегают быстро. Один катала и соблюдает...

— И то. Припугнуть следует, пора. Разбаловались люди. Может, спалить пару домов? Утрату на скот... Урожай тоже... потраву там, засуху...

Общее одобрение.

Одобрение?!

— О чём вы? Зачем? За что?

— Ого, смотрите-ка, наш молчун проснулся! Вот она, водичка-то небесная, животворная!

— Да уж, животворная... трещины же!.. ох, чувствую...

— Да подожди ты, Ботвила, дай Тоту сказать. Что, не согласен ты с нами? Людей жалеешь?

— Пожалуй, что и жалею. Тяжело им, разве не так?

— Жалеешь, значит. А что не чтут они нас, жертвы не несут, погреть не хотят? Катале дров притащили — и бежать, а кто и слова не молвил. Камушек полегче подкатили, да и в Дома. Это правильно?

— Надо, надо постращать, давно пора! Мор бы ещё хорошо, особенно на деток, — ох побегут мамки молить, ох побегут!..

Хлынуло с новой силой, а порыв ветра обрушил на костище покосившийся навес.

— Стращать... А перемрут все или, к примеру, уйдут в другие места? Лучше будет, слаще, теплее?

— Не перемрут.

— Ага, пусть так. Не помрут, не уйдут. А только с горя да страха совсем ходить сюда забудут. Им же теперь мост ладить придётся, навес вон... А у самих в хозяйстве разор. До того ли, рассудите! А если ещё эпидемия... в смысле мор...

— Вечно ты слова свои! И откуда они у тебя? Велетень, он опять же!..

— Подожди, Сустон. Так что, Тот, говоришь, бросят нас? Забудут? А мы подскажем, шепнём... Одарим кого надо. Мальчишку вон, каталу! Не поймут?

Пауза. Невнятное бормотание сквозь шум дождя.

— Ну, это уже что-то. Нужен контраст, поймите! Между карой и поощрением, кнутом и пряником...

— Ну вот, он опять!..

— Я про разницу. Так — плохо, а так — хорошо. Без нас должно быть плохо. Ну, не надо совсем уж мор... но чтобы плохо. Пришёл, попросил, проявил уважение — получи пряник. Ну, этот... хлеба ломоть. Рыбу туп. Ретьку с кулак. Берестянок навалом.

— Страх забудут. Мор нужен! Мор!

— Страх, страх... А пусть полюбят!

Заговорили все разом. Треск, скрежет, болботанье.

— Всё, тишина!

Это Велетень. Всех перекрыл своим голосом, и даже дождь притих.

— Думать стану. Потом. А сейчас, Тот, говори своё, слушать будем.

...Тот говорил долго, много.

Никогда еще не слышали капеи такой длинной речи. Про то, как будут их резать из камня, — красивых, больших. Как в крепкие дома поселят, назовут — Храмы. Как на досках намалюют, зажгут для них маленькие огни, каждому, — и тепло будет всегда рядом. Как будут с ними не только говорить, но и петь особые песни. Долгие, красивые.

Заслушались, молчали.

Откуда Тот все это взял, не спрашивали. Знали — не сейчас пришёл Тот, он — *давний*. Должно быть, помнит другое, или видел, или просто знает. Потому и блестит в нем то, что не дерево и не камень.

Так и пришло утро.

Вернулся иззябший Чиль, дрожащими руками отвалил с кострища камни, чудом затеплил огонь, и мокрые доски рухнувшего навеса загорелись вдруг лёгким высоким пламенем.

...Он оказался очень восприимчивым, этот молодой ката.

Мазнув сажей лицо, надолго замирал возле капей: слушал. Не ушами, нутром. Поняв, о чём ему говорит Велетень (к негодованию Ботвилы Тот назвал это — «транслирует»), Чиль стал ходить по Домам, подсказывая, уговаривая, объясняя. И его стали слушать.

Когда Мелина, снеся в Капище мешочек ретьки, которую только и могла урвать от семейного стола, вымолила здоровье своей лядашей коровёнке, а хромой Лышень, полдня катавший камни к Сустону, избавился враз от нашествия тли на дальние посевы, люди укрепили мостки и сколотили надёжный навес над кострищем.

Постепенно тропа к сосновому острову расширилась и утопталась в просёлок, пробив в орешнике широкую брешь.

Несли жертвы богам. Несли дары Чилю.

Ему уже не приходилось целыми днями корпеть над костром и орудовать веслецом. Всегда находился кто-то, готовый откатить камень или подбросить дров в огонь. Чиль заметно поправился; приоделся, взял на обучение пару мальчишек, тех самых Гирьку с Топшой. Учить особо не учили, а только по слуху сразу объяснил им, как крепко его надо слушаться. Мальцы утёрли кровавые сопли, потёрли загривки и все отлично уяснили.

Перед Велетнем выставили сосновую плаху: стало обычным резать здесь кур, мелкую дичь. Рубили головы, кровью мазали рты капеям. Говорили, очень помогает. Чиль следил, чтобы не хитрили, не приносили тварей больных илиувечных. Уличив — стыдил, кричал даже. Его забоялись: богами обласкан — силой добавлен, каждому ясно.

Однажды застыдил Лоншу за клёклого цыплёнка, определённого тем для жертвы. Вспыхнул Лонша досадным стыдом, сгоряча не птицу — руку свою острым полоснул. Метнулся к Велетню, извозил капею кровавой ладонью. В ближние дни разрешилась у него корова двойняткой, а вслед и удача пошла — что на охоте, что в рыбачестве. На радостях Лонша расщедрился для Капища: трех курей на плахе резал, белого снурка, даже рыбу бил живую, в садке принесённую. Тёплой кровью капеям рты мазал, никого не пропустил. Всем богам по сапогам.

Но и его не обошла беда, когда к Домам вышла ватага бастрыков. Люди дали отпор лихобродам, но после снесли в долгое жилище девять своих, среди них и самого Лоншу, расположенного вражьим топором, и жену его, и старшего сына. Остался от семьи только последыш, — слюнявый вычадок, не умеющий ни сказать, ни ходить ровно.

Три подраненных бастрыка остались в Домах. Их хотели было забить кольём, но оставили: Чиль вмешался. Пришёл к старосте, говорил с ним недолго, вышел довольный.

Назавтра вражью троицу в окровавленных тряпках приволокли на Капище. Швырнули наземь возле старшей

капеи. Лихоброды ворочались на пропитанной птичьей и звериной кровью земле, молили разбитыми ртами, ругались, плакали.

Чиль сам вышел к плахе — высокий, сильный, с густо измазанным богою сажей лицом, с ножом в прижатой к груди руке. Хрипло выкрикнул имена погибших, всех девяти. В ответ ему взвыли матери, жены, сестры; черными проклятиями откликнулись мужчины.

Двоих, повернув лицом вниз, убил Чиль ударом ножа под левую лопатку, а самому молодому, тонкошеему, задрав за чуб голову, полоснул по горлу.

Щедро Чиль плескал дань богам, ладонью черпал из кровавой лужи. Все капеи в тот день в человечьей крови стояли. Густой, тёплой.

Боги любят тёплое.

— ...совсем не против. Пьянит похлеще любой буслайки!

— Ох, не знаю... Странно как-то. Сладко, да... а после?

Уж не хотелось ни жертвы, ни камня!

— А мне славно. Ох, как славно...

— А катала-то сам все порешил, даже и совета не молил!

— Да он уже и не слышит нас, хорош стал, матёр...

— Что молчишь, Тот? Что-то не слыхать тебя нынче!

Капея в отдалении молчала. Темные потеки чешуйками подсохли на твёрдом, блестящем.

— Ну, молчи, что ж.

И все замолкли. Тихо на Капище.

И страшно.

...Засуха случилась долгая, невыносимая. На нет иссохла речушка, зверь ушёл из ближних лесов. Посевы гинули, огороды чахли. Подступился голод.

Задабривали богов, молили, но и те, видать, не в силах были помочь. Не иначе, ещё выше над ними были силы, чьих капей люди не видали.

Когда гинуть стал скот, а за ним и люди, что послабее — старики, ребятишки, — Чиль снова заявился к старосте. Важно шёл, гордо. Люди глядели вслед — кто с надеждой, кто со страхом: богов сланник.

Назавтра созвали всех на Капище.

Свирепо пылал костёр, закопчённые камни остывали у подножия капей. Оглядывались люди: а где же катала? И он появился — такой же важный, гордый. За руку вёл дурачка лоншиного, который жил на погляденье всех Домов: то в одной семье покормят, то в другой спать в сарайку пустят. Жалели, хоть брезговали слюнявым, дрисливым да колченогим.

Парнишка хныкал, еле ковылял за Чилем. По обыкновению пускал слону на грудь, тряс нечёсаной головой. Фигур деревянных испугался сильно, залопотал неразумное, руку вырывать принял, но Чиль держал крепко, жёстко. Подтащил к капее, густо сажей умазал мальчишку — и лицо, и драную одежонку, даже спине досталось.

Мазнул и себя по лбу, выкрикнул что-то про горе, засуху, голод. И — про большую жертву, которую люди готовы принести богам. Зашагал к плахе, волоча за собой подывающего дурачка. Кто охнул, кто отшатнулся, но слова не молвил никто.

Задрав голову к небу, не глядя на капеи, прокричал снова Чиль про большую жертву и толкнул мальчионку лицом в черные доски...

Ночью пошёл дождь. Мелкий, слабый, но — дождь.

А под утро завалилась одна из капей. Упала лицом вперёд. Если, конечно, называть лицом ту сторону, где блестело твёрдое.

Отчего-то Чиль не стал её поднимать. И Гирьке с Топшай наказал не трогать и не подходить.

Прав был, видимо, старик Балуда, — не бог это был. Так, гогона.

Игорь Минаков

Сказка — ложь

1

Не все, что ложь, — сказка.

Глубокомысленное замечание

Недотыкомка выудил кончиком пера утонувшую в чернильнице муху и изумленно посмотрел на переминающегося с ноги на ногу ражего детину с простодушным лицом деревенщины.

— Как, ты говоришь, тебя зовут?
— Его Иваном, а меня Дураком кличут, — охотно повторил детина, искательно заглядывая писарю в выпученные зенки.

Тот медленно, словно опасаясь измазать и без того фиолетовые от чернил вихры, заложил перо за ухо и, привстав, еще раз оглядел приказную избу: печь с изразцами, да лавки по стенам, да слюдяное окошко, за которым стоял горячий и пыльный летний день. Если не считать самого невыспавшегося, а потому тухо соображающего Недотыкомку, глупо ухмыляющегося деревенщину и притаившегося за печкой, стеснительного домового Тришку, более в избе никого не было.

— Кто Иван-то? — спросил писарь, осторожно опуская поджарый зад обратно на лавку.
— Он! — ответил парень и стукнул пудовым кулаком себя в глухо отздавшуюся грудь.
— А ты?

— А я — Дурак.
— Ага, — пробормотал совершенно растерявшийся Недотыкомка. — А он, значит, Иван... реникса какая-то...
— Иван-Дурак — это, — мышью пропищал из-за печки Тришка. — Чудо-богатырь предсказанный, един в двух лицах...

— Цыц! — прикрикнул на него писарь. — Сам вижу, что предсказан... — и осекся.

Мушиные полчища, воодушевленные установившейся тишиной, а главное, неподвижностью участников немой сцены, тотчас же облепили обкусанную писарем краюху с медом. Домовой завозился у себя в закутке, заерзал и вдруг сочным, хорошо поставленным баритоном, мастерски копируя манеру придворного Кота-Баюна, провозгласил:

— «...и вот третья голова ящера, срезанная...»
— Брысь, проклятый! — опомнившись, заорал на него Недотыкомка. — Ишь, что удумал... вот я тя щас березовым веником да поперек хребта...

Тришка испуганно умолк и, кажется, даже перекинулся ветошью. Не видно его стало и не слышно; зато отозвался деревенщина:

— Чаво это он? — спросил он недоуменно.
— Забудь, — досадливо отмахнулся писарь. — Ты мне лучше, Иван, вот что скажи...
— Тю, — перебил его детина, — Иван ему скажи... Как же, скажет он. Держи пазуху шире. Он, братка мой, немтырь от рождения. У меня спрашивай, коли надо.

Недотыкомка потряс головой, словно хотел вытряхнуть из памяти весь сегодняшний, с утра незаладившийся день, но вытряс лишь соломенную труху из волосьев.

— Ладно, Ива... Дурак, — сказал он. — Ты лучше скажи, зачем пожаловал в Магов-город, по делу али так?

— Как — так? По делу...
— Торговлишку ведешь? — Писарь с сомнением оглядел рваную рубаху и дырявые портки Ивана-Дурака. — Али ремесло какое стараешь? А может, ты... в дружины царскую пришел наниматься, богатырь?

Последний вопрос Недотыкомка задал с откровенной издевкой. Кто ж возьмет деревенского дурня в дружину без коня и зброй? Богатырь не богатырь, а без своего снаряда к царскому воеводе даже и не суйся, будь ты хоть трижды предсказанный... Вот же, нечисть подовая, тянули тебя за язык: дурака богатырем предсказанным назвать, да еще Свиток заповедный цитировать при посторонних...

Писарь Тайного приказу, несмотря на жару, мгновенно облился холодным потом, вспомнив, как казнили недавно на Чумной площади уличенного в измене дьяка: сначала кожу содрали живьем, а потом голого, да в смолу кипящую! Жуть...

Писарь опять потряс головой, но теперь не добыл даже трухи.

— Так что скажешь, Дурак? — спросил он устало.
— Так по делу мы, — ответил Дурак. — К самому воеводе Лиху Одноглазому...

Затрещина вышла звонкой.

— Ну, чего ты дерешься? — плачущим голосом спросил сам себя Иван-Дурак. — Рази не сказано было в приказной избе спросить у писаря, а? Ты ведь писарь? — обратился он к потрясенному такой расправой Недотыкомке. — Видишь, и пергамен у него, и перо за ухом: писарь и есть. Можа, думаешь, он воеводу Одноглазого не знает, так я у него щас спрошу...

Недотыкомка чуть было не ляпнул, что писарь энтов должен быть из Воинского приказу, но вовремя прикусил себе язык. Уж больно любопытно ему стало, по какому делу приперся этот дурень к известному своей независимостью царскому военачальнику. На то он и писарь Тайного приказа, чтобы такими делишками интересоваться.

— Как же, — степенно ответствовал он на не заданный еще вопрос, — знаю я славного воя Лиху. Говори свое дело, я ему сам передам.

— Э, нет, — сказал хитроумный Дурак. — Сказано было, самому Одноглазому из уст в ухи передать... Ты сведи нас с ним.

«Вот как сведу тебя щас в погреб к Упырю, — подумал Недотыкомка злорадно, — там не то что воеводу, света белого не взвидишь».

Но, взглянув на пудовые кулаки Ивана, писарь оставил эту, казалось бы, здравую мысль. Пес его знает, вдруг он и впрямь Предсказанный... Нет, тут хитрее надо.

— И то верно, — сказал он. — Сведу тебя с воеводой. Только вот беда, нету его сейчас в приказе. Подождать придется.

— Где ж мы будем ждать-то? — растерялся Дурак. — На постоянный двор нас не пустят, тугриков нету. Да и харчиться нам чем? Ванька, он знаешь, как жрет? За двоих! У себя, в приказной избе, что ли поселишь?

— Ну нет, — отрезал Недотыкомка. — Приказная изба строение казенное, а тебя мы в другое место на постой определим.

— Это куда? — с явным испугом поинтересовался Дурак. — Уж не в острог ли?

«Там тебе самое место», — подумал писарь, но вслух сказал:

— Не боись, к вдове одной, развеселой. Тебе по нраву придется...

Услыхав о вдове, детина сально ухмыльнулся. А Недотыкомка поманил пальцем застенчивого болтуна Тришку. Домовой спешно принял свой, почти натуральный, облик — малорослого старика с кошачьими круглыми глазами — и, преданно глядя на хозяина, промурлыкал, повторяя его мысленное приказание:

— Свести к вдове, глаз не спускать, кормить, поить, сколько пожелает. Взять в загнетке кошель с медью...

— Ступайте за ним, — сказал писарь, впервые назвав Ивана-Дурака во множественном числе. — Как воевода объявится, я вас кликну.

Тришка, вытянув ручонку, ухватил деревенщину за палец и увел за собою, как дитя малое...

А Недотыкомка, не в силах совладать с волнением, отбросил орудие своего труда, выбрался из-за стола и заметался по приказной избе. Армады мух неохотно раздавались в стороны, пропуская его.

— Иван-Дурак, Дурак-Иван, Иван да Дурак, — бормотал Недотыкомка, — богатырь предсказанный... А что, собственно, было предсказано? — спросил он сам у себя. — Что явится Иван-Дурак и...

Не раздумывая более, писарь откинулся в сторону половиц и, ухватившись за железное кольцо, приподнял тяжеленную крышку, скрывающую лаз в погреб.

— Эй, Упырь! — крикнул он в душную темноту.

— Чаво тебе? — глухо отозвался из погреба палач.

— Книжник-то жив еще? — спросил Недотыкомка, впрочем, безо всякой надежды.

— Жив, — проворчал Упырь, — еще нас с тобой переживет.

— У тебя переживет, пожалуй, — с притворным недовольством проговорил писарь.

— А я-то что, я бы всей душой. — Судя по тону, палач явно обиделся. — Да не велено было, чтоб до смерти...

— Ладно тебе, — сказал Недотыкомка. — Ты вот что, Упырь, подними-ка этого книжника ко мне, потолковать с ним хочу.

— Надо потолковать, спускайся сюда, — резонно заметил Упырь. — Ему теперь ярилин огнь вреден.

— Ах ты, поганец, — прошептал писарь, нехотя опуская ноги в лаз...

В погребе было жарко. И темно. Коптящий красноватый язычок масляной светильни не позволял толком разглядеть узника, мертвого висящего на дыбе. Сие весьма порадовало Недотыкомку, даже в этой полутьме было видно, как изувечен книжник.

— Да точно ли он у тебя жив? — спросил Недотыкомка грозно, по-начальственному, хотя был ненамного старше палача по должности.

— У меня самостырно не умирают, — ответил Упырь, выступив из самого темного угла. Его длинный, влажный язык непроизвольно облизывал острые белые зубы.

— Эй, ты, — обратился Недотыкомка к узнику, — говорить можешь?

Книжник застонал утвердительно.

— Сними-ка ты его с дыбы, дружок, — сказал вдруг Недотыкомка Упырю. — Да напои, а после убираися. У меня государственное дело.

Упырь пожал острыми плечами и принялся выполнять приказание. Освобожденный от ремней, удерживающих его под сводом, узник мешком свалился на пол и не давал признаков жизни, пока Упырь не окатил его холодной водой. Выполнив веленое, палач отворил незаметную дверцу и ушел. Недотыкомка некоторое время прислушивался к его шагам и, убедившись, что оставлен с преступником наедине, спросил:

— Слушай, книжник, ты в пророчествах всяких, былинах стародавних ведаешь ли?

— Ведаю, — отозвался узник хриплым замогильным голосом.

— Тогда скажи мне вот что, книжник, — продолжил свой импровизированный допрос писарь. — Правду ли бают, что явится богатырь, по прозвищу Иван-Дурак и... — Недотыкомка усиленно заскреб в затылке, изображая работу мысли. — Как там дальше-то, вот, дьявол, запамятаовал...

— И победит он Кощея Бессмертного, — продолжил за него книжник, — и станет тот Кошечей вечно служить своему победителю, и положит он к ногам его великое царство...

— Точно, — делано обрадовался Недотыкомка. — Видимо, плохо старается Упырь, если память у тебя еще не отшибло... Ну да прощевай, книжник, заболтался я тут с тобою... Постой, — сказал он сам себе. — А как ты думаешь, книжник, может энтот богатырь явиться наяву али байки все это?

Жуткий трескучий звук раздался в подземелье. Это рассмеялся полумертвый книжник.

— Нет, не байки это, писарь, — сказал он таким тоном, что у Недотыкомки аж все захолонуло внутри от недоброго предчувствия. — Явится богатырь, как солнце ясное, и все ваше поганое царство обратит в прах. Отольются тогда вам мои слезыньки...

Узник рванулся к Недотыкомке, тот с визгом отскочил к лестнице, ведущей наверх, заверещав:

— Не замай, вор!.. Велю Упырю, он с тебя шкуру живьем спустит!

Книжник захочотал, как безумный, а писарь одним махом взлетел по лестнице и, только очутившись снова в пронизанной закатным солнцем избе, облегченно перевел дух.

2

Вышла Василиса Премудрая за Ивана-Дурака, и стала она Василисой Дурак.

Брачное объявление

Когда домовой Тришка с чудо-богатырем вышли из приказной избы, Ярило уже клонился за дальний берег Мокoshi. На узких улочках Магов-города толпился праздный вечерний люд и нелюд. Румяные да рыжеволосые сбитенщики-пирожники мешались с остроухими и кошачьеглазыми торговцами амулетами, приворотными зельями и прочим волшебным товаром. Среди привычной Кикиморской нечисти попадалась и иноземная. Светловолосые субтильные эльфы присматривались к домотканым холстинам, прикидывали, как будет смотреться на льняном полотне серебряная эльфийская вышивка. Носатые и горбатые гоблины рылись сухими суставчатыми пальцами в связках чабреца и зверобоя. Неповоротливые тролли пробовали в кабаках ягодные и медовые настойки, постепенно утрачивая даже нечеловеческий облик. Джинны-ифриты дышали на прохожих волшебным неопаляющим огнем и показывали замысловатые восточные фокусы. Лисы-оборотни из страны, где восходит солнце, сбывали собственные шкуры незадачливым маговгородским скорнякам, не ведающим, что с наступлением полуночи эти золотистые с искрой меха обратятся в невзрачные лоскуты старой, ненужной даже хозяевам кожи.

Иван-Дурак дивился всем этим чудесам, поминутно застревая то у лавки с иноземными диковинами, то возле заезжего ифрита-факира, глотающего собственный огонь.

Тришке то и дело приходилось тянуть своего подопечного за палец, приговаривая недовольно:

— Ступайте, ступайте, чудилы. — Тришка помнил о придури деревенщины, а посему именовал его во множественном числе. — Насмотритесь еще...

Ни шатко ни валко добрались они до вдовьей избы, когда уж Месяц Месяцович стал засматриваться на собственное отражение в озерной глади. Вдовья избушка стояла на отшибе, на самой круче. Выше ее были только стены городские, воздвигнутые на древних меловых утесах, а посему неприступные.

Избушку окружал частокол, а на столбах ворот сидело по сове. Обе они казались деревянными, однако, когда Тришка постучался, сова, что сидела справа, вдруг расправила крылья и с тяжким уханьем снялась с окружной верхушки столба. Спустя мгновение ее распластанный силуэт пересек лик Месяца, отчего отражение небесного князича брезгливо поморщилось, или это просто рябь пошла по воде.

— Приколдовывает хозяйка помаленьку, — пояснил Тришка, проводив ночную птицу взглядом. — Гадает, ворожит, заговаривает... Дело ее вдовье, самой на кусок хлеба приходится зарабатывать...

Иван-Дурак на это смолчал, ему не терпелось увидеть саму вдовушку, а чем она там себе на хлеб зарабатывает, его не заботило.

— Кого там нелегкая принесла к ночи? — раздался за воротами нешибко приветливый женский голос.

— Открывай, родимая, — ласково сказал Тришка. — Постояльцев тебе привел...

— Молодых хоть постояльцев-то? — играво поинтересовалась вдова. — А то прошлый раз старика приволок... А на что он мне, старик? Я, чай, еще не старуха...

— Молодых, да удалых, — признался домовой. — Тебе по нраву придутся...

Заскрипела воротина и отошла в сторону. Тришка, подтолкнув вдруг заробевшего молодца, прошипел по-кошачьи:

— Чего встали, орясины, входите, коль пришли...

Иван-Дурак сделал несколько шагов и снова замер, как истукан, с восхищением уставясь на хозяйку дома.

Месяцовичу надоело смотреться на себя в неверное зеркало озерной воды, и он тоже заглянул на вдовий двор, одев небольшую, но складную женскую фигурку своим жемчужным сиянием. В этом сиянии лицо вдовы показалось Ивану-Дураку белым как снег, а в вырезе ночной сорочки он со смущением разглядел глубокую теневую ложбинку.

— Входи, добрый молодец, — напевно произнесла вдова. — Гостем будешь... А где еще постояльцы? — спросила, повернувшись к домовому.

— Здесь они, — сказал Тришка, подмигивая вдове светящимся в полумраке кошачьим глазом, — оба-два... Братцы на подбор, только застенчивые...

— Ну что ж, — сказала сообразительная вдова, — заходите оба!

Она с поклоном отворила дверь в избу, откуда на молодца повеяло теплым жилем запахом. Неуверенно оглянувшись на Тришку, Иван-Дурак шагнул в сени.

— А с этим мне что прикажешь делать? — накинулась вдова на Тришку. — Молод-зелен, да еще с придурию, как я вижу?!

— А что хошь, Василисушка, — развязно отозвался домовой. — Что тебе твое вдовье сердце подскажет... Пусть он у тебя поживет, всласть поест, попьет... Лишь бы до поры до времени о деле своем не вспоминал. Ты уж расстарайся, Василисушка. И как-нибудь, про между делом, расспроси парня, какое дело он имеет к воеводе Лиху Одноглазому? Да так, чтобы он чего не заподозрил... Ну да не мне тебя учить, Василисушка, недаром ты в народе сливешь Премудрою... А уж Недотыкомка тебя своими милостями не оставит...

Произнеся эти слова, Тришка как бы ненароком уронил в сию же минуту подставленный вдовий передник кошель с медью.

— Ладно, ладно, ступай, — с притворной строгостью проворчала Василиса Премудрая. — Сами разберемся...

Довольный исполненной миссией, Тришка попрощался с вдовой и направился туда, где высился дворец царя

в окружении казенных строений. Кощеев дворец по обычаю был темен и тих. По крайней мере, он так выглядел, но домовой знал, что именно в эту самую пору начинается во дворце полуночное бдение над колдовскими зельями и черными книгами — собирает царь Кошечей лучших волхвов да магов Вселенной, дабы, воскуривая серу и радий, зрить бестелесным оком в самую суть мироздания.

Книжная премудрость в Кощеевом царстве была под запретом, то есть простой люд и нелюд не должен был ведать никакой грамоты. Сие знание было открыто лишь прикормленным при дворе волхвам да в незначительной мере приказным дьякам. От всеобщей грамотности царь ждал беды, а посему каждого уличенного в запрещенной начитанности ожидали лютые пытки и казни. Но, как водится, заповедное обладало неодолимой силой, и записанное в книгах тайными тропами пробиралось во тьму народного разума. Находились смельчаки, самочинно постигающие грамоту, чтобы после в виде пословиц, песен и прибауток, а то и сказок разносить по округе. Особой популярностью пользовался так называемый Заповедный свиток, где предсказывалось появление чудо-богатыря, который свергнет постылого царя и наладит вольготную сытую жизнь.

Сам Тришка в грамоте не разумел, но столько раз подслушивал, как гуляющие пока на свободе книжники пересказывают охочим содержание Свитка, что выучил он и наизусть. А теперь, воочию узрев предсказанного чудо-богатыря, мелкий домовой Тайного приказа испытывал жгучее любопытство: чем-то все это кончится? Задумавшись, он и не заметил, как дорогу ему преградили добры молодцы из личной дружины воеводы Лихо.

— Да никак это сам многоуважаемый Триф-фон?! — издевательски вопросил рослый друдинник, чьи кулаки не уступали размером голове. — Куда путь держишь, приказная крыса, опричь своего дружка Недотыкомки?

За глаза и в глаза друдинника кликали Опричником за привычку к месту и не к месту вставлять словечко: «опричь».

— Род домовых, — гордо сказал Тришка, — ведет свое происхождение от кошачьих, а не от грызунов.

— Да ты никак грамотей? — делано изумился Опричник, пихая локтями своих дружков, Хлебалу да Бухалу, не уступавших ему статью и силой. — А раз грамотей, следует свести тебя в Тайный приказ, на правеж... А может, обойдемся сами, опричь приказных, а?

— Обойдемси, — поддержали его дружки.

Тришка испуганно отступил в тень. Известно, что между Воинским и Тайным приказом давняя вражда. Друдинники никогда не упускали случая покуражиться над мелким служащим, за которого никто заступаться не станет. Домовому было ведомо, что к пойманным нелюдям друдинники применяли страшные пытки, используя при этом запрещенные в Кощеевом царстве ладан и так называемую «святую воду», привезенные из Царь-града, что стоит у Теплого моря. Чтобы избежать таковых мучений, Тришка попытался перекинуться ветошью, но был вовремя схвачен крепкой мозолистой рукой Хлебалы за шиворот, поднят вверх и буквально парализован крестообразной кипарисовой веточкой, которую друдинник, незнамо зачем, носил на шее.

— Аи, не мучьте вы меня, вои добрые! — запричитал Тришка. — Аи не ведаете вы того, что спешу я к славному воеводе Лиху, чтобы сообщить ему важную весть!

— Какую еще весть? — насторожился Опричник.

Хлебала опустил домового на землю, но продолжал удерживать за шиворот.

— Сие изложить могу только воеводе, — осмелев, заявил Тришка.

— А ежели я тебя ладаном попотчую, опричь святой воды? — с угрозой спросил Опричник.

— Тогда я все выложу, как на духу, — признался Тришка вполне искренне и тут же добавил, многозначительно обведя мерцающими круглыми глазами двух других друдинников: — Но когда славный воевода Лихо Одноглазый возжелает узнать, откуда у могучего воина Опричника столь важные сведения, что вышеупомянутый воин ему скажет? Или сей достойный друдинник намеревается укрыть от своего воеводы лишь для его, воеводы ушей, предназначеннное?

— Ты, Опричник, эта, поосторожней бы с ним, — угрю-
мо пробормотал Бухала. — А то как Лихо разгневается, по-
едем мы тогда кандалников в рудную гору стеречь...

Услыхав про рудную гору, Хлебала выпустил домового. Тришка уже было наметился юркнуть в ближайшую крыси-
ную нору (что бы он там ни говорил о родстве с кошачьи-
ми, а тайными лазами грызунов при случае не брезговал),
но Опричник вдруг перехватил его.

— Лады, приказной, — сказал он. — Пойдем к Лихо, ска-
жешь ему все тебе ведомое оприч на.

«Попал, как кур в ошип, — уныло думал Тришка, когда
дружинники вели его темными проулками к своему тере-
му. — И чего вам, вояки, в кружале не сиделось?.. А ведь
придется выкладывать Лиху всю правду, от него недомолв-
ками не отделаешься...»

Воевода принял нежданного известника в своей опочи-
вальне. Со страхом смотрел Тришка на великана Лиху, что
был на голову выше даже Опричника. Одноглазый сидел
в одной ночной рубахе на крае своей гигантской постели,
и его поросшие рыжим курчавым волосом икры возвыша-
лись над домовым, словно каменные столбы царских палат,
невесть зачем обернутые звериной шкурой. Единственный
целый глаз воеводы сверкал недоброй зеленью, а пустая
глазница второго темнела, будто вход в пещеру Горыныча.

— Ну, чем порадуешь? — глухо пророкотал Лихо, вспуг-
нув стайку летучих мышей, примостившихся было на ноч-
лег под самой стрехой воеводиной опочивальни. — Гово-
ри, да только всю правду. Мне недосуг возиться со всякой
подовой нечистью.

— Прости, великий воевода, — залебезил Тришка, — что
беспокою пустяками, недостойными твоего слуха...

— Короче! — грозно рыкнул великан.

— Спешу доложить тебе, — зачастил домовой, — что
ононче явился в Магов-град чудо-богатырь Иван-Дурак,
в Заповедном свитке предсказанный...

— А ты почем знаешь, что это именно чудо-богатырь,
а не самозванец? — настороженно спросил его Лихо.

— Так ведь писано, славный воевода, что явится чудо-
богатырь единожды, а будет его вдвое...

— Ты чего молотишь, бес! — озлился воевода. — Как это «явится единожды, а будет его вдвое»?!

— Так ведь он ЧУДО-БОГАТЫРЬ, — пояснил Тришка. — Чудо зовут Дураком, а богатыря — Иваном, получается — Иван-Дурак, единый в двух лицах...

— Перун вас разберет, навых детей, — отмахнулся от Тришкиных пояснений воевода. — Где он теперь, этот твой чудик?

— У вдовы Василисы на постое, — незамедлительно ответствовал Тришка.

— Это у какой Василисы? — спросил удивленно Лихо.

— У Премудрой, славный воевода, что на отшибе живет...

— А-а-а, — облегченно протянул воевода, — я уж думал, вы, крапивное семя, свели вашего Дурака на радостях к царской полюбовнице... Хе-хе-хе... Вот был бы сюрприз старику...

Тришку от такой фамильярности в отношении правящей особы аж передернуло, но он предпочел подобострастно хихикнуть.

— Ступай, домовой, — посуревел вдруг Одноглазый. — О нашем разговоре никому ни слова, тем более писарю своему... Проболтаешься — на кипарисовый кол посажу!

Воевода кивнул верному своему Опричнику, молча подпиравшему косяк, и тот, подхватив Тришку двумя пальцами за шкирку, вынес его за порог. Оказавшись на свободе, домовой со всех ног припустил к приказной избе.

Наутро, едва пропели третьи петухи, Недотыкомка растолкал Тришку, сладко посапывавшего в холодной печи послеочных приключений.

— Вставай, вставай, нечистый, — приговаривал писарь, тряся домового за мохнатое плечико.

— Чего тебе? — пробормотал сквозь сладкую зевоту Тришка.

— Чего, чего... На службу пора! — окрысился Недотыкомка.

Домовой вылез из печи, недобро щурясь на проникавшие сквозь узкие оконца солнечные лучи.

— Рано еще службу служить, — пробормотал он. — Я же не людина какой-нибудь, мне Ярилин свет без радости...

— Некогда от солнца красного таиться, — сказал Недотыкомка. — Василиса горлицу прислала... Явились ни свет ни заря дручинники Лихо и увели богатыря... И как только дознались, — сокрушенno покачал головой писарь. — Ты вчера никому про Ивана-Дурака не сказывал?

— Что ты, что ты, — поспешил заверить его Тришка, весь трясясь от страха.

— Ладно, верю, — медленно проговорил Недотыкомка, задумчиво почесывая в вихрастом затылке. — Что бы воевода там ни удумал, — продолжал он, — мы должны это использовать в интересах дела...

Тришка с готовностью кивал своей шерстистой острой ухой головенкой, слушая, что придумал писарь, и дивясь его хитроумности.

— Сделаешь в точности, как я велю, — сказал Недотыкомка, изложив своему помощнику задуманное, — я тебя своими милостями не оставлю. Станешь главным писарем Тайного приказа, будешь жить в палатах, и прислуживать тебе будут все кикиморы и все шишиги...

«Эка, вознесся, — думал Тришка, глядя на полыхающее румянцем самодовольства лицо писаря, — а ну, как донесу воеводе, возьмут его дручинники на кулачки да палки, небось, по-другому запоет...»

— Все понял? — спросил Недотыкомка, оборвав свои обещания на полуслове.

— Как не понять, — пожал узенькими плечами домовой, — дело нехитрое. Лишь бы послушался меня богатырьто... Он сейчас, после ночи с Василисой, небось, совсем одурел, дело молодое... Влюблен-с... Сам знаешь, какова Василиса, когда в ударе...

— Да уж... — как-то не очень весело отозвался писарь.

Тришка подумал, что не так гладко прошло у приказного с Василисой, как тот после похвалаился, и усмехнулся про себя, дескать, знай наших.

«Василиса ведь наполовину нашего, навьего племени... Как-никак, волхованка...»

Сивка-Бурка, вещая каурка,
встань передо мной, как лист
перед травой...

Древнее
коневодческое заклинание

Кто и когда первым обозвал крестьянского сына Ивана — Дураком, дознаться так и не удалось. Но кличка эта присохла к необыкновенно сильному, но ленивому и трусливому увальню намертво. Крестьянской работой он брезговал, но зато любил разорять птичьи гнезда, дрыхнуть на сеновале и приставать к прохожим со всякими разговорами. С малолетства привык Иван-Дурак все проказы сваливать на своего никому, кроме него, неведомого брата, которого считал немым, а сам откликался исключительно на прозвище.

До своего путешествия в Магов-город Иван-Дурак знал о том, как велик белый свет, лишь из рассказов калик перехожих. Но худое его воображение не могло вместить больше отрезка земли, ограничивающегося тремя захудальными деревеньками, непролазным болотом, окруженным редким леском, да четырьмя верстами столбовой дороги, где он подкарауливал странничков.

Те, кто попадал в лапы немтыря Ивана, вынуждены были терпеть любопытство Дурака, и вот однажды один калика перехожий, дабы избавиться от назойливого собеседника, рассказал ему о ларце с Кощеевой смертью. Дескать, у кого окажется тот ларец в руках, тот и будет повелевать Кощем, который готов будет исполнить любое желание хозяина ларца, лишь бы и дальше оставаться Бессмертным. Где искать ларец, калика не знал, но присоветовал обратиться к воеводе Лиху Одноглазому, что живет в Магов-городе.

Иван-Дурак, недолго думая, отправился в столицу Кощеева царства, что стоит на острове посередь озера Мокошь. Удача сопутствовала деревенщине. Воевода, к которому привели «чудо-богатыря» на ранней зорьке, смекнул, что к чему, и решил, что пусть уж парень попытает счастья, а потом он, Лихо Одноглазый, запросто отнимет ларец

у деревенского дурня и воцарится в Магов-городе, как подобает ему — родовитому и отважному воину.

По приказу воеводы снабдили Ивана-Дурака немудрящей зброй, вот только коня пожадничали. Да тут как раз и подвернулся, по наущению Недотыкомки, Тришка, подведя ко двору Василисы Сивку-Бурку, вещего каурку. Сама Василиса снабдила полюбившегося Ивана всяческой снедью на дорожку и велела обратиться за помощью к Бабе-Яге — зловредной, выжившей из ума старухе, что проживала в избушке на курьих ножках посередь дремучего бора. Иным словом, всем миром снарядили Ивана-Дурака в дальний путь, не ведая, что из этого выйдет.

На закате третьего дня пути, когда кончились все съестные припасы, въехал чудо-богатырь в дремучий бор и сразу же в нем заблудился.

— Заколодела дорожка, замуравила, — пробормотал Дурак, глядя перед собой с подслеповатым прищуром. — Не проехать, не пройти... Ах ты, волчья сыть, травяной мешок, — озлился он на коня, — что же ты, собака, спотыкаешься!

Сивка-Бурка неуверенно переступил через ближайшую колоду и снова замер как вкопанный. Пыльная проселочная дорога еще на опушке бора превратилась в узкую тропку, а потом долго петляла, уводя всадника в глубину чащи, пока окончательно не растворилась в буреломе. Лишь самые верхушки могучих елей были освещены сейчас уходящим солнцем, внизу же быстро загустевала ночь. Над головой Ивана-Дурака бесшумно промелькнула сова, едва не задев его голову мягким крылом. Выругавшись, он сполз с седла, зацепившись краем плаща за острый сучок. Дураку показалось, что кто-то схватил его сзади, и он заорал благим матом на весь лес. И тотчас отзывались лешаки, загукали, захочотали, на разные лады повторяя его вопль. От этой отзывчивости Ивану-Дураку стало совсем не по себе, и, чуя гибельную слабость в ногах, он присел на скользкую от опят колоду.

— Мама, мамочка родненькая, — заныл он, — вытащи меня отсюдова-а-а-а...

Сивка-Бурка тяжело вздохнул, словно уставший родитель над глупым чадом, пожевал большими мягкими губами и проговорил:

— Ну, буде, буде тебе, Дурак! Далече твоя мамаша, не услышит... Самим выбираться надо.

— Как же, выберешься ты из этого бурелома, — проныл Дурак, ничуть не удивившись тому, что конь разговаривает по-человечьи, — сожрут тебя лешие и косточек не оставят.

— Невежа ты, хоть и Дурак, — фыркнул Сивка-Бурка, — не питаются лешие кониной. А вот волки, те и человечиной не побрезгуют.

— Волки! — Парень вскочил и неуклюже вытащил из ножен меч, видимо, на время в нем взыграл богатырь Иван. — Где они? Далеко?

Сивка-Бурка втянул широкими ноздрями прелый лесной воздух и успокоительно покивал гривой.

— Далеко еще... Если не будешь рассиживаться да сопли распускать, успеем добраться до жилья.

— Жилье! — оживился Дурак. — Где?

— Полверсты будет...

— Что ж ты сразу меня не повез! — заорал Дурак.

— Ты на мне сидишь, а не я на тебе, — туманно выскакался конь.

— Еще чего не хватало, — буркнул Дурак, но в седло обратно не полез. — Веди уж...

Так они и стали пробираться через чащу — конь впереди, расчищая дорогу широкой грудью и мощными копытами, а всадник позади, стеная и охая, поминутно оглядываясь, с трепетом прислушиваясь к пересмешничанью лешаков.

— Кажись, огонек, — буркнул вдруг конь.

Иван-Дурак осторожно выглянул из-за плеча верного Сивки. И в самом деле, в десятке шагов в кромешной тьме светилось окошко, да так высоко, будто изба стояла на подпорках.

— Неужто изба на курьих ногах?! — ахнул Дурак.

— Она самая, — тихо подтвердил конь, — бабки-ежкины хоромы.

— Ага, — глубокомысленно изронил Дурак.

— Чего «агакаешь», — зашипел на него Сивка-Бурка, — не стой столбом, иди на ночлег просись.

— Как проситься-то?

— Али не знаешь? — удивился конь. — Василиса, небось, сказывала...

— А, вспомнил, повернись, значить, ко мне задом, а к лесу передом...

— Наоборот, дурень, — дохнул ему прямо в ухо Сивка, — и погромче вели, она как пить дать глухая.

— Ладно, ладно, не учи! — Дурак приосанился и гаркнул сиплым своим басом: — Избушка-избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом!

И ничего не произошло. Иван-Дурак открыл было рот, чтобы повторить заклинание, но в это же мгновение светлый прямоугольник оконца заслонил чей-то силуэт и приблизительно женский голос сказал:

— Не повернется она, Дурак, даже и не проси. Заела. Без смазки который уж год стоит.

— Что ж ты ее не смазываешь, старая, — пробурчал Дурак.

— Во-первых — нечем, а во-вторых — не такая я уж и старая.

— Не старая, зато жадная, — не унимался крестьянский сын. — Сала жалеешь...

— Умолкни, дурень, — опять одним дыханием шепнул ему Сивка-Бурка в ухо. — Кури ноги она смазывает человечьим салом!

Иван-Дурак аж обомлел от такого известия, но отступать было некуда, позади только ночной лес с волками и лешими, а впереди — в перспективе — целое царство. Какой тут может быть выбор?

— Ладно, бабуля, — сказал он. — Отворяй ворота...

После тьмы и сырости дремучего бора изба Бабы-Яги показалась Ивану-Дураку девичьей светелкой. Он словно бы и не замечал давно не беленную печь, замусоренный пол, грубо сколоченные лавки, покрытые засаленными, сплетенными некогда из разноцветных, а теперь одинаково серых лоскутов половиками. Впрочем, может быть, тут виновато было тусклое освещение. «Светелка» озарялась

лишь одинокою лучиною. Сама хозяйка — согбенная, неряшливо одетая старуха — долго возилась у широкого зева печи, шуруя в нем ухватом, что-то роняя и непрерывно бубня себе под нос:

— Не обессудь, касатик, накормлю чем Сварог послал... Не ждала я нонче гостей... Давно человеческим духом не пахло в моей избе, ох давно...

— Что есть в печи, все на стол мечи, — сквозь зевоту проговорил крестьянский сын. — Да не вздумай накормить какой-нибудь отравой!

— Что ты, что ты, касатик, — ласково проскрипела Баба-Яга. — Гостю дорогому почет и угощение, нешто я обычав не знаю?

С натугой удерживая на длинном ухвате, она выставила на голый без скатерти стол, который не скобили, наверное, последние триста лет, объемистый горшок с дымящейся кашей. Присовокупила к нему крынку топленого молока и каравай хлеба. А сама села в сторонке и, подперев впалую щеку костлявой рукой, стала наблюдать, как незваный гость уплетает за обе тугие щеки ее угощение.

— Благодарствуй за обед, — отложив ложку и трямя глотками опорожнив крынку, степенно отдуваясь, сказал гость. — И, кстати, привет тебе просили передать...

— Кто же это? — насторожилась лесная ведьма.

— Да... так, — смутился вдруг чудо-богатырь. — Женщина одна... Ее все Василисой Премудрой кличут...

— Знаю, знаю, — прошмакала Баба-Яга, проницательно глядя на зардевшегося гостя. — Сестрица это моя... старшая...

— Сестрица?! — изумился Дурак. — Старшая??

— А чему ты удивляешься? — сказала, кокетливо хихикнув, хозяйка дома. — Следит за собою женщина, вот и молода... Но хватит об этом, — решительно смунила она тему, — ты лучше поведай, касатик, что тебя привело в такую даль? Неужто дома не сиделось, в тепле, в светле?

— Дома сидючи, бабуля, много ли высидишь, — вздохнул Дурак.

— Этта верно, — поддакнула Баба-Яга. — Видать, ты по делу ко мне пожаловал.

— Угадала, Ягуся, по делу. Хочу спросить у тебя, как найти дорогу к заповедному дубу, на котором сундук с Кощевым ларцом...

— Ума рехнулся! — Баба-Яга от изумления аж подскочила, придавив хвост черному коту, что мирно почивал под лавкою, и тот своим мяром в точности повторил восклицание хозяйки, только уже по другому адресу. — Кто тебя надоумил на такое, болезный? Это ж верная погибель!

— Типун тебе на язык, ведьма! — окрысился на нее Дурак. — Чем каркать, лучше надоумь, как нам с братом и ларец добыть, и головы не сложить.

— И не проси, касатик, — испуганно отмахнулась старуха. — Не скажу. Прознает Кошечка, что это я тебя на эту дорожку навела, несдобровать мне.

— Дурень ты, дурень, — вздохнул Сивка-Бурка, что подслушивал под окошком. — Не видишь, что ли, мзда ей, старой, нужна? Посули чего-нибудь, она и перестанет ломаться.

— Без тебя знаю, — пробурчал Дурак и сказал старухе: — Пособиши, Ягуречка, мы тебя не обидим, любое желание исполним. Есть у тебя желания-то еще, а?

— Есть, как не быть, — ответила Баба Яга, призадумавшись. — Надоело мне в лесу этом в вечной старости гнить. Хочу омолодиться, замуж выйти да поселиться в стольном граде, в светлом тереме. И чтобы жених достался мне богатый да знатный.

— Ну вот, — обрадовался крестьянский сын, — ты нам пособиши, мы — тебе. Как только окажется ларец в моих руках, я велю Кошечку вернуть тебе молодость и приданое дать, чтобы жених нашелся хороший. По рукам?

— Погодь, ясный сокол, — сказала старуха, — не так сразу. Надо сначала соглашение заключить, скрепленное подписями и заверенное стряпчим. Чтобы без обману.

— Надо бы, — зачесал в затылке Дурак, — да только где ты возьмешь в дремучем лесу стряпчего, да такого, чтобы язык за зубами держал?

— Это уж моя забота, касатик, — успокоила его Баба-Яга. — Я враз все организую, уж будь надежен.

Старая лесная ведьма вскочила и заметалась по избе, будто ее уже омолодили. Не успел Иван-Дурак и глазом моргнуть, как на столе появился чистый пергамен, чернильница с дохлым пауком на донышке и старое костяное стило, с кончиком, испачканным чем-то бурым. А напротив устроился за столом давешний кот, только теперь он стал вдвое больше, на голове у него появился парик с буяями, а на коротком носу круглые очки. Обмакивая стило в совершенно сухую чернильницу, кот принял быстро строчить в пергамене, но, как ни вглядывался крестьянский сын, ничего различить не сумел.

— Что-то твой стряпчий, старая, ваньку валяет! — возмущенно сказал он. — Стилом строчит, а на пергамене ни строчки!

— Так и надо, Дурак, — назидательно произнесла Баба-Яга. — Пока подписи не поставим, невидимое не станет явным.

— Как же я подпись ставить буду, — удивился Дурак, — ежели не знаю, что там написано?

— Прочти ему, котик, — велела старуха своему «стряпчему».

Кот поправил сползающие очки и загнусавил, как за-правский нотариус.

— «Я, Баба-Яга, настоящим обязуюсь предоставить в распоряжение Ивана по прозвищу Дурак меч тире кладенец, а также полные и исчерпывающие сведения о местонахождении так называемого...»

— Ладно, Ягурочка, — прервал кота крестьянский сын, у которого при слове «кладенец» загорелись глаза, — подписываю!

— Молодец! — похвалила его старуха. — Подставляй ми-зинец.

— Это еще зачем?

— Кровь брать будь... Да ты не бойся, — добавила она, видя, как побледнел ее компаньон, — всю не высосу. Мне она ни к чему, а вот соглашение надо обязательно скрепить кровью. Хотя чернила были бы надежнее, но таков уж обычай...

Скоро сказка сказывается, да
не скоро... пишется!

Еще одно
глубокомысленное замечание

И вот третья голова ящера, срезанная кладенцом у основания черепа, рухнула к ногам победителя. Для того чтобы увернуться от мечущегося в предсмертных конвульсиях, брызгущего ядовитой кровью обрубка, сил почти не оставалось, поэтому Иван-Дурак, отшвырнув меч, ничком пал в дымящуюся траву, вжимая накрытую шеломом голову в кольчужные плечи.

— Поделом тебе, Горыныч, — бормотал он, с ужасом прислушиваясь к шипению, которое издавали капли змеиной крови при соприкосновении с надетым на него желеzem. — Не поймавши бела лебедя, да кушаешь...

Жаль было шелом, да и доспех с зерцалами тоже, а уж как коня жаль, того ни в сказке сказать, ни стилем описать! Сожрут его змееныши, когда, не дождавшись обещанного родителем добра молодца, выползут из глубоких нор семейного логовища.

— Ладно, — утешал себя богатырь, — выгорит дело, цепный табун таких коней заведу... доспех — ромейский... и палаты отстрою, почище хором цареградского басилевса...

Дождавшись, когда побежденный Змей Горыныч затихнет, Иван-Дурак вскочил и споро полез на скалу, стараясь не оглядываться на обреченного Сивку, как ни в чем не бывало щиплющего поодаль травку.

Цепляясь за едва приметные выступы и трещины, чудобогатырь одолел последнее препятствие только к исходу дня. Внизу в долине уже залегли глубокие тени, а здесь умирало и никак не могло умереть гневное солнце. Крученый-перекрученый кряжистый дуб чернел на краю утеса. На его нижних, самых могучих сучьях висел, тяжело раскачиваясь, окованный цепями сундук. Поплевав на ладони, богатырь обнажил чудесный клинок и в два счета разрубил ржавые цепи. Сундук грянулся оземь. Развалился. Поддев

за кольцо на крышке, Иван-Дурак вытащил из-под его обломков малый ларец.

— Ну, Трипетович, теперь держись! — пробормотал он, глядя в багровеющее небо. — Ужо тебе...

Но небо никак не отзывалось на его угрозу. Тогда Иван-Дурак присел у подножия дуба и стал думать. Думалось ему тяжело, он то и дело начинал скрести в рыжей шевелюре. Наконец богатырь сообразил, что если и дальше будет чесать в затылке, то придется ему переночевать на скале. А не хотелось, было боязно.

Это только в глупых бабьих сказках сказывается, что ежели богатырь при мече-кладенце, то ему и храбости прибавляется. Одно дело вдарить волшебным мечом по трем страдающим от остеохондроза шеям дряхлого полуслепого Горыныча, который, на свою беду, выполз из логовища погреть старые косточки, а другое — остаться на ночь на этакой верхотуре, рядом с заветным ларцом, в котором заключена смерть Кощеева.

— Сивка-Бурка, вещая каурка... — пробормотал со вздохом Дурак. — И зачем я тебя только оставил на съедение змеенышам?!

— Ну чего вздыхаешь, дурень? — ворчливо спросил его знакомый голос. — Начал, так уж договаривай...

— Чего договаривать-то? — радостно спросил Дурак, озираясь.

— Как чего? Заклинание коневодческое...

— А-а, — спохватился чудо-богатырь. — Сивка-Бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой!

— Давно бы так, — буркнул верный конь, появляясь на гребне скалы. — А то мне уж надоело змеенышей топтать, так и лезут поганцы под ноги...

— Как же ты уцелел? — простодушно поинтересовался Дурак.

— Да вот так и уцелел, — ответствовал конь, — мне не впервые. Я и Святогора возил при Рюрике еще, и Муромца при Владимире, и Алешу Поповича при Ярославе, а уж кого только я не возил при Александре Святославовиче?..

Осознав, что Иван-Дурак, никогда не слышавший о таких, только рот разевает от изумления, Сивка-Бурка осекся и, тряхнув серебристой гривой, добавил:

— А можа, не возил еще, можа, буду еще возить... Поехали, Ваня, покудова ночь не вызвездилась...

Сунув кладенец в ножны, взявши ларец под мышку, Иван-Дурак взгромоздился в седло.

— Куда поскачем? — спросил конь. — В деревню аль в город?

— Давай в город! — решительно сказал Дурак.

— Как скажешь!

Не разбирая дороги, Сивка-Бурка прянул со скалы. У седока аж дух занялся. Он и не подозревал, что говорящий конь способен на такие штуки. Искры летели из-под копыт Сивки, когда он тяжело перемахивал с уступа на уступ. И если на пеший подъем в гору у Ивана-Дурака ушло полдня, то на спуск Сивка-Бурка потратил меньше минуты, а уж достигнув долины, где темнели тела сгинувшего со змеенышами Горыныча, и вовсе припустил.

Иван-Дурак только ларец к себе прижимал да подсигивал от страха, когда богатырский конь с разбега одолевал естественные препятствия. Холодной лунной сталью промелькнула река Горынь, на мгновение ощетинился еловыми зубцами дремучий бор, где Баба-Яга бессонно ворочалась на печи, мечтая о будущем женихе, и пропал вдали. Темные по ночному времени деревеньки, как горох, раскатились между трех дорог. И вот уже показался берег Мокоши и Магов-город на белых скалах срединного острова.

— В городе-то к кому поворачивать? — спросил Сивка-Бурка, перед тем как одним прыжком одолеть водное пространство от берега до острова. — К воеводе, Недотыкомке али к Василисе?

— Прыгай сразу в Кощеев терем, — велел Дурак таким тоном, какого Сивка от него еще и не слыхал.

— Что тебе там делать, ночью-то? — изумленно спросил конь.

— Власть брать буду, — не шутя ответил Дурак. — Власть, ее всегда ночь берут... Из постели, тепленькую...

Сказав это, чудо-богатырь разразился таким хохотом, что Сивка-Бурка едва не свалился в воду с перепугу, но в последний момент напружинылся и скакнул на остров, прыжком на царский двор. Приземлившись, конь наделал столько шума, что из караульной повыскакивали сонные дружины под предводительством Опричника.

— Кто тут смеет шуметь, опричь царской стражи?! — зардал он.

— Как ты стоишь, скотина, когда перед тобой твой повелитель! — гаркнул Дурак, совсем уж неузнаваемым голосом.

— Да это никак Ванька-Дурень вернулся! — узнал-таки его дружины. — Нашел место, где разоряться... Опричь сведу тебя к воеводе, там и доложишься...

— Как ты смеешь, смерд, мне указывать? — спросил Дурак, вынимая кладенец. — Тащи сюда своего воеводу, он будет мне сапоги вылизывать!

— Да он никак сам чего-то налился, — предположил приятель Опричника — Хлебало. — Надо свести его в холодную, пусть проспится...

— А вот ты у меня никогда не проспишься! — взъярился Дурак и, размахивая волшебным мечом, двинулся было на дружины, но Сивка-Бурка уперся.

— Охолонись, — пробурчал он. — Чего ты перед дружиной разоряешься? Коли в цари метишь, так будь милостив к своим воям...

— Верно баешь, — сказал Дурак, пряча клинок. — Щас я Кощеем займусь, а потом с дружиной разберусь.

Он слез с коня и поставил у ног своих ларец. Сообразив, что пора ноги делать, мудрый Сивка тихонечко побрел к воротам, лягнув по запорной балке, распахнул их и был таков. А на царском дворе меж тем разворачивалось светопреставление. Дружины, дотумкав, ЧТО стоит у ног Ивана-Дурака, уже не пытались его образумить, а начали потихонечку расползаться по углам.

Недобро усмехаясь, Иван-Дурак открыл ларец. Внутри него сияло нездешним светом небольшое яйцо, словно выточеннное из индийского алмаза. Богатырь взял его корявыми пальцами и поднял над головой.

— Ну, царь Кощей, выходи!

В ответ на его призыв тихо скрипнула неприметная дверца, и во двор вышел согбенный грузом разом навалившихся прожитых тысячелетий Кощей Бессмертный.

— Оставь яйцо в ларце, повелитель, — умоляюще прошамкал Кощей. — Исполню, что ни пожелаешь...

— То-то! — хмыкнул удовлетворенно Дурак, пряча яйцо обратно в ларец. — Во-первых, корону твою и все царские регалии, во-вторых, само царство, в-третьих, пир на весь мир, в-четвертых...

— Что за шум, Коша? — перебил его томный женский голос, и на крылечке показалась стройная да полногрудая Кощеева полюбовница в ночной сорочке, соблазнительно облегающей ее гибкое тело.

— Твоя девка, Кощей? — спросил Дурак, таращась на бесстыжую.

— Твоя, повелитель! — смиленно ответил бывший владыка Верхней Нави.

— А ведь верно, — спохватился Дурак. — Теперь здесь все мое... Ладно, прежние приказания отменяются. Новые будут...

И он изложил бывшему царю свои повеления. Кощей поскрипел зубами от досады, но отправился выполнять. Тут же весь терем-дворец озарился огнями, запыпал огонь в кухонных печах, поварята побежали на птичий двор за утятами да курами, отворились кладовые с дичью и всякой снедью, из ледяных погребов понесли вина заморские.

— Ох, что это я стою, — всплеснула руками бывшая Кощеева полюбовница. — Милый мой из дальнего похода вернулся, а я его еще не обняла, уста сахарные не облизала.

С этими словами она быстро спустилась с крыльца, споро просеменила босыми ножками по сырой брусчатке двора и кинулась Ивану-Дураку на шею.

— Ванечка, любимый!

— Тебя как звать-то? — отчего-то угрюмо спросил ее Дурак.

— Василисушкой, — нежно пролепетала девица, припав к могучей груди Ивана.

— Премудрой, что ли?
— Ой, скажешь тоже... — засмеялась Василиса. — Разве похожа я на эту дебелую корову... Между прочим, скрытую книжницу, — добавила она, округлив и без того глупые глаза. — Меня в народе прозывают Прекрасною... И впрямь, посмотри, какая коса у меня длинная да золотистая... — жарко зашептала она. — А грудь белая да сладкая, а...

Договорить она не успела. Грязнули трубы медные. Отворились двери золоченые. Выбежали слуги и проложили к ногам Ивана-Дурака красную дорожку. Следом высыпали сонные и полуодетые придворные и прочая челядь. Некоторые из иноземных гостей: эльфы да гибеллины разные — тоже вышли на шум, строча в уме донесения своим государям о чудном происшествии в Кощеевом царстве. Высокий старик камердинер в исподнем склонился перед богатырем, метя дорожку длинной белой бородой.

— С возвращением, батюшка-царь! — сказал он. — Добро пожаловать в свой терем. Все твои приказания исполнены...

— Кощей где? — грубо перебил его Дурак.
— Баньку тебе готовит, царь-батюшка, — ответил, не разгибая спины, камердинер, видимо, его прихватил радикулит.

— Дружина, ко мне! — заорал Дурак.

Дружины во главе с Опричником выскочили из толпы челяди и вытянулись перед Иваном-Дураком.

— Дружина построена, ваше величество! — доложил Опричник.

— Все здесь? — подозрительно спросил Дурак.
— Все, ваше величество... Опричь караульных и воеводы Лихо...

— Та-ак, — проговорил новый царь. — Слушайте мой приказ! Первым делом, Кощея в подвал да на цепь. Вторым делом, бывшего воеводу перевести в конюхи, а на его место назначаю тебя, Опричник... Тя как матушка с батюшкой звали-то?

— Малютой, ваше величество! — дрогнувшим голосом ответил новоназначенный воевода, тронутый такой заботой.

— Так вот, Малюта, — продолжал Дурак. — Третьим делом, приведи под ясные мои очи следующих лиц: писаря Тайного приказа Недотыкомку, подручного его домового Тришку и вдову, что живет по-над кручею, волхованка она...

— Бу сде! — гаркнул Опричник-Малюта и, обратясь к своим молодцам, отдал соответствующие распоряжения.

Путаясь в ногах, руках и бердышах, дружины кинулись исполнять.

— У-у, Ваня, — обиженно надула губки Василиса Прекрасная. — Не приголубив свою горлицу, сразу за дела... Аки пчела...

— Иди в баньку, красавица! — ласково сказал ей Дурак. — Мы туда скоро прибудем...

Василиса на всякий случай не стала уточнять, о скольких персонах идет речь, а чмокнув нового полюбовника в губы, ускакала на легких ножках. А Иван-Дурак, прихватив заветный ларец, вступил в окружении подобострастных, хотя и изумленных таким стремительным развитием событий придворных в царские палаты.

Едва он восседел на трон, который оказался для него немного маловат, привели Недотыкомку, Тришку и Василису. Верный Сивка-Бурка уже успел их предупредить о небывалом взлете карьеры Ивана-Дурака, поэтому, когда дружины пришли за ними, они были уже умыты, одеты и причесаны.

— Ну, здорово! — сказал Дурак, с усмешкой глядя на них.

— И тебе доброго здоровьичка, — дружным хором отозвались они, не забыв поклониться.

— Позвал я вас вот для чего, — начал Дурак. — Службу вашу я помню, а потому и награждаю по-царски. Тебя, Недотыкомку, ставлю главным писарем царства (у Недотыкомки обиженно задрожали губы, но возразить он не посмел), дел будет много, намерен я навести порядок в Кикиморье. Ты, Тришка, будешь моим личным посыльным (домовой вздохнул с облегчением, он ожидал худшего). А тебя, Василиса, назначаю... этой... главной фрейлиной моей будущей царицы. Кстати, твоей тезки, только она поможе будет и покрасивше тебя, так что не обессудь...

— Да что ты такое мне предлагаешь, Дурак! — возмутилась оскорбленная вдова. — Чтобы я пошла в прислужницы к этой шалаве непутятиве! Да ни в жисть...

— Как смеешь ты мне перечить, женщина! — взвился Дурак. — Да я тебя сгною, в дружину отдам...

— Да уж лучше в дружину, — откликнулась Василиса Премудрая, — чем твоей подстилке ноги мыть... Думаешь, ежели обманом да хитростью царем стал, так можешь творить беззакония? Не выйдет ничего у тебя, Дурак, помяни потом мое вещее слово...

— Стража! — заорал, брызгая слюной, новоявленный повелитель. — Взять ее! В яму! На хлеб! На воду!

Ворвавшиеся караульные кинулись к горестно и горделиво улыбающейся Василисе.

— Эх, ты, дурачок, а ведь я успела полюбить тебя! — горестно вздохнула вдова и растворилась в воздухе.

Стражники столкнулись медными лбами на том самом месте, где она только что стояла, и попадали.

— Найти! — заверещал Дурак. — Из-под земли достать! Всех сгною!

Стража кое-как поднялась на ноги, похватала оброненное оружие и кинулась прочь. А вслед ей покинули царское помещение и придворные.

— За ними! — велел Дурак осталбеневшим Недотыкомке с Тришкой. — Покуда не сыщете, ко мне не являйтесь!

Приказные были рады-радёшеньки убраться подобру-поздорову, подальше от взбеленившегося Ивана-Дурака.

— А ты говорил, будем вертеть Дураком, как нам вздумается, — упрекнул Тришка подавленного таким развитием событий писаря. — На золоте есть и спать, с кикиморами забавляться...

— Тихо ты! — прикрикнул на него Недотыкомка, воровато оглядев тихий переулочек, по которому они возвращались в резиденцию Тайного приказа. — Не выгорело у нас, но и у воеводы тож...

— Что делать-то будем?

— Как — что? Приказ царя исполнять... Заготовим листы с подробным описанием беглой преступницы, раздадим глашатаям, чтоб на площадях выкрикали... Наладим вам-

пиров-ищаек на розыск, они одну каплю живой крови за версту чуют, их невидимостью не собьешь... Как обычно...

— Сивку надо бы вернуть, — озабоченно пробормотал Тришка. — Ведь потребует же...

— Потребует, — согласился Недотыкомка.

Но сему не суждено было сбыться. Едва они достигли приказной избы, как в переулке раздался топот копыт. Оглянувшись, Недотыкомка с Тришкой увидели мчащегося во весь опор Сивку-Бурку с рослым и широкоплечим всадником на спине. Всадник был в одном исподнем, но препоясан мечом. Один глаз его скрывался под черной лентой, другой гневно сверкал отраженным сиянием Месяца Месяцовича, с любопытством посматривающего на ночную суету в Магов-городе.

— И на беглого бывшего воеводу Лиху Одноглазого тоже листы заготовим, — деловито сказал Недотыкомка. — По статье: угон царского средства передвижения...

— А это еще кто? — озадаченно спросил Тришка, тыча пальцем в небо. — Никак САМА пожаловала?!

Недотыкомка задрал голову. Над городскими стрехами, затмевая редкие звезды, проплыл силуэт ступы со скрюченной в три погибели фигуркой Бабы-Яги, уже проведавшей о воцарении Ивана-Дурака и поспешившей получить с него должок по договору. Когда ее тень пересекла светлый лик Месяца Месяцовича, отражение небесного княжича в озерной глади брезгливо поморщилось.

А может, это просто рябь пошла по воде...

Ника Батхен

Мокрое дело

...Как вселились в дом люди,
так пришел и Тих...

С. Логинов. «Замошье»

Лучший сезон для бани — спорный вопрос. Зимой, с морозца сладко окунуться в горячий пар, отогреться до сладкого пота, встряхнуть тело и броситься в хрусткий, искрящийся снег. Весной баня снимает томность, гонит млавость и горячит кровь, манит пробежаться босиком по траве, опрокинуть на себя ведерко колодезной воды, взвизгнуть от свежести и рассмеяться — живой! Летом в парной особенно сладко прохлестать веничком натруженные плечи и спину, глотнуть кваса, перемигнуться с доброй девахой и — с размаху плюхнуться в пруд. А осень наполняет тело силой и грустью, манит в дальние странствия, пахнет яблоками и сушеными травами, новыми вениками и свежим хлебом. Да, осенняя баня — лучшая, особливо когда день выдался ясный, полный позднего тепла, пьяного духа опавшей листвы, петушиной возни, поднебесного гогота стай, недозрелого румянца рябины. Сядешь вечером на порожек, поглядишь на первые звезды, вдохнешь полной грудью и думаешь: почему я не птица, полетел бы в Антверпен или хотя бы в Москву, поглядел бы, как еще живут люди...

Несспешные думы не мешали Вениамину делать свою работу. Раз-два — кипяток, три-четыре — парку поддать, пять-шесть — и для веничка время есть. Ольга с Людкой, дочь и невестка могучего Деда, парились лениво, с про-

хладцей, не утруждая себя лишней работой. В иное время Вениамин задурил бы им головы, попутал кадки с водой или порвал на тряпочки невесомое кружево, которое бабы называли бельём. Но отвадишь дурех от бани — не поедут гостить в деревню, не привезут на каникулы внуков, не заберут картошку да разносолы — и будет Дед целую зиму куковать один-одинешенек. Так что приходилось стараться, как для дорогих гостей. А вот ещё кипяточку плеснем, мятного да духмяного... что??!

— Мужик! Мужик в бане! — заблажила Людка, прикрывая веником тощие прелести.

— Пошел отсюда... ты...!!! — рявкнула мощная Ольга.

Ошарашенный Вениамин схватился за голову — для него, как для всякого Нижнего люда, русский мат был непереносим. Под пальцами он ощутил голую мокрую лысину с налипшим дубовым листом. Шапки не было. ВИДНО! По полу прогремел таз, мочалка обидно шлепнула по лицу. Бабы с вениками наперевес наступали, словно княжьи полки с развернутыми знаменами. Хрюкнув от ужаса, Вениамин пулей выскочил во двор и заметался между пристройками. Заквохтали куры, загоготали гусыни, заругался кобель Кусай, коза Манька покачала рогатой башкой — безобразие, мее...

Подвальное окошко, по счастью, оказалось открыто, банник скатился в подпол и притаился между тугими мешками с картошкой и бочонком капусты. Ох хороша была капуста у Деда, с чесноком, яблочком и смородиновым листом, ох хороша! Не удержавшись, Вениамин запустил в бочку лапу, вкусно захрустел и причмокнул. Ухмыльнулся, стряхивая склизкие ленточки с пегой поросли — на то у мужика и борода, чтобы капусту собирать. И тут же поник. Шапка пропала, как не бывало, как не шили её из мышиных шкурок, котовых усов и змеиной кожи, как не полоскали в майской росе, не щекотали русалку, пока мокрохвостая не плюнула на тулью. А что ж за банник без шапки? Сплошная видимость!

Вчера ещё шапка была на месте. Ввечеру, но до заката, как подобает, баньку растопил сам Дед, попарил внуков,

крепыша Сашка, ябедника Ваньку и малыша Мотьку, потом долго нежился сам, поддавая до полного изумления. Третьим паром помылась вдовая баба Паня — сил топить баньку самой ей уже давно не хватало. На четвертый Вениамин созвал гостей. Осень перевалила за середину, неделя-другая — и из деревни в город потянутся молодые, до весны позакрывают дома. Нижний люд попрячется по закутам, завалится спать до апреля. На все Коськово останется пять печей, не считая Деда. Надо ж погулять напоследок. Вот и собрались добрые соседи.

Первым прибыл домовой Кондрат Пафнутьич, патриарх, принесенный в деревню еще пррабабкой Деда, честь по чести, в новом валенке. Вениамина он не особенно уважал, кликал Веником и при случае норовил уязвить, где словцом, а где и мелкой пакостью. Приходилось терпеть — без домового изба не стоит.

Толстобокий Егорий Афиногенович был моложе Кондрата, но не в пример спокойнее и мудрее. И избушку свою он не просто берег — пестовал, выкладывая мхом каждую щелку, замазывая смолой трещинки, отгонял болезни и дурные сны от хозяев, с самим Злосчастьем схлестнулся однажды и выставил за околицу.

Обдерихи Лукерья, Матрена и Акулина давно уже жили вместе, в баньке у бабы Зины, ядовитой ругательницы, развеселой частушечницы и самой бодрой из местных старух. Втроем, в очередь, следили за банькой, бдили, чтобы хозяйка не угорела спяну и не обожгла пятки, лихо отплясывали «барыню», заплетали друг другу седые косы и хихикали, шепча друг другу что-то на ушко. И на праздник банницы явились втроем, кое-как дотащили огромный пирог с крашенным творогом.

Как по-люди окликали огромного, с семилетним парня ростом, банника, уже не помнили — для соседей он давно стал Остывайло за привычку выпустить пар в самый неподходящий момент. Был он угрем, озоровал не в меру и, как шепотом передавали друг другу Нижние люди, уморил в ту войну не одного иноземного любителя русской баньки. Сам Остывайло помалкивал и вспоминать не лю-

бил. Зато рябиновые, брусничные и клюквенные настойки делал выше всяких похвал — за что и зван был в честную компанию.

Домового Федота Титыча давно уже не видали в людьем обличье. С тех пор как сгорела его изба, а сам домовой сильно обжегся, выводя из огня хозяев, бедолагу как подменили. Он поселился в гостевой пристройке на подворье у Деда, кое-как поддерживал порядок в своей халупе, бродил по дому то котом, то ежом и почти не разговаривал. На посиделки его звали из жалости, как и овинницу Басю — та молчала давно и сновала по закутам здоровенной седой крысой.

Нахальный Лелик явился сам — его бы, может, и не пригласил никто, но домовенок нутром чуял дармовую снедь. Он был самым молодым людом — десять лет назад его привезли из города в чемодане. Сперва не замолкал: «а вот у нас в Санкт-Петербурге», «а бывали ли вы в Эрмитаже», «а читали ли вы Чайковского». Потом пообтерся, поумерил гонор, отпустил редкую бороденку — глядишь, ещё полвека, и степенным людом станет, порядочным домовым.

Остальные соседи остались дома — кто хлопотал по хозяйству, готовясь к долгим морозам, кто жил бирюком и не искал общества. Чай, не проводы Лешего, не пора ещё собираться всей громадой к осенней братине. Но и так не плохо повеселились. Попарились от души, нахлестались дубовыми вениками, умылись можжевеловой водицей, побултыкались в тазах. Ну и выпили, и закусили, куда ж без закуски-то? Щедрый Вениамин выкатил кадушку маринованных рыжиков. Пафнутьич, загодя пошуривав в печи, на-томил горшок дивной перловки — зернышко к зернышку, как жемчуга, политые золотым маслицем. Афиногеныч разжился домашним хлебом и сладкими пряниками. У Федота с лета остались запасы сушеных ягод — вот и вышел густой кисель. Гордый Лелик приволок сыр в золотой бумаге, долго хвастался редким вкусом и чудным запахом, а как развернули — ба, сыр-то протух и как есть плесенью изошел. Только Бася, хищно поводя крысым носом, отвела городское лакомство.

Настоечки после бани разгорячили кровь, у людов заблестели глазищи, залоснились физиономии. Упрямца Пафнутича пришлось поуправляивать, без посолов и лести старичок за гармонь не брался. Но как взял, как пробежал корявыми пальцами по кнопкам:

Ох, ты, сукин сын, камаринский мужик,
Задрал ножки та й на печке лежит.
Лежит, лежит та й попорхивает,
Правой ножкою подергивает...

Загудела славная банька, заскрипели полы, задрожали по стенкам веники — лихо, лихо отплясывал люд. Погородскому выкручивал ноги Лелик, богатырь Остывайло, подбоченяясь, пошел вприсядку, обдерихи плыли лебедицами, скинув каждая лет по сто, даже Бася притопывала в углу. Счастливого Вениамина носило от одной стенки к другой — ради жаркого пляса он и собирал гостей, чтобы потопотать вволю, покружиться выюном, покрутить развеселую обдериху, чмокнуть в морщинистую, пахнущую смолой щечку — ах, краса моя, краса!

Из-за бабы и вышла конфузия. Кокетка Матрена прлипла к Лелику как банный лист, рисовала восьмерки задом, подмигивала и облизывалась. Мрачный Остывайло глядел-глядел, а потом, не мудрствуя лукаво, врезал нахалу в ухо и дернул обдериху к себе. Лелик взывал, словно мартовский кот, подпрыгнул, махнул ногой и хотел было заехать соседу в челюсть, но поскользнулся и шлепнулся на Федота. Тот спросонья куснул агрессора за что ближе лежало — и завертелась куча-мала. Бестолково маша руками, Вениамин сперва пытался утихомирить честную компанию, но вскоре чей-то кулак расквасил ему нос, а чья-то лапа наступила прямиком на мозоль. Банник рассвирепел. Угугукнул, выпучил глазищи, надулся, поднял разом все шайки с тазами и облил с потолка водицей несносных драчунов. Ох и визгу тут было, ох и шуму. Браняясь и отряхиваясь, гости похватали свои бебехи и разбрелись по домам. Лужи и мусор остались на долю Вениамина. Но и бутыль с драгоценной настойкой на княженике, янтарной на вид и осенне-терпкой на вкус, в суматохе оставили под скамьей. Так что по-

сле приборки баннику нашлось чем залить обиду. Так разлакомился, что прикорнул на скамье, укрывшись вениками, а дверей-то не запер. И потерял свою шапочку, дурень си-вобородый, проспал как есть.

Вспомнив про потерю, Вениамин тоненько завыл. Банник без шапки-невидимки что домовой без ухвата или леший без своих жабонят. И не купишь её, не попросишь, не сошьешь просто так. Чтобы выслужить шапку, молодому баннику надлежало не один год походить в подручных у старого. С вечера до утра носить воду, прибирать в бане, ворошить угли, собирать целебные травы и сушить их на чердаке, привечать добрых людей и гонять всякую нечисть. Ни сна, ни отдыха — хозяин знай себе дремлет на теплой печи, а работник трудится, не покладая лап. А огрызнувшись, заворчишь — вдвое больше в подручных ходить придется. И ведь нужно ещё сговориться с десятком мышей, обменять на что-нибудь старые шкурки, подергать котов за усы, найти в лесу сброшенные змеиные кожи, подыскать доброго скорняка, чтобы скроил и сшил шапочку... И лишь потом можно присматривать свою баньку, заселяться, вести хозяйство.

А без шапки никуда. Невместно Нижнему люду чоловекам на глаза попадаться, позорно это и против закона. День пошуршишь, два по углам попрячешься, на третий опять углядят. Уходить придется. А кому банник без бани нужен? Так и одичать недолго, котом стать, как Федот Титыч, псиной или кролем, а то и вовсе жабой противной. Ой, беда моя беда, отворились ворота...

— Ишь, разнюнился, сосед, — вредный Пафнутьич был тут как тут, не иначе, наведался в гости к бочке с капустой. — Вижу, несчастье у тебя приключилось. Признавайся, кому насолил, что у тебя шапку сперли?

Вой прекратился. В задумчивости Вениамин поскреб в затылке, потом ослабился. Если вещицу украли, значит, можно её и вернуть. Выменять на что-нибудь нужное, выкупить, а то и взять за грудки вора да встряхнуть хорошенько — отдавай мою шапку, свиной вымесок, козолуп межеумный, мухоблуд культийский, пехтик никчемный...

— На себя оглянись, басалай касимовский! Ему дело говоришь, а он браниться...

— Прости раззяву, Кондрат Пафнутьич, задумался я, — в пояс поклонился банник. — Поучи уму-разуму, как вора изыскать и пропажу вернуть на место.

— Давай помаракуем, Веник, кому и зачем понадобиться могла твоя шапочонка?

Пропустив «Веника» мимо ушей, банник задумался, потом пожал плечами:

— Да кому она кроме меня нужна? Крысе или там кошке велика будет, да и не уразумеет зверьё. У банников да обдерих свои есть. У домовых подпояски-невидимки, им шапка и вовсе ни к чему.

— Эх, наивный ты, паря... потому и спросил тебя. Кому насолил, с кем поцапался, кому твоя шапка спать не давала?

У Вениамина заныли виски. Врагов в Коськово у него отродясь не водилось, ссориться он ни с кем не ссорился, обдерих не обижал и мелким дворовым людом не брезговал. Кто бы мог на него разозлиться, да так, чтобы шапку единственную отнять?

— Тссс! — шепнул Пафнутьич и указал глазами на дверь. По лестнице вниз спускались чьи-то неспешные тяжелые ноги, ступеньки скрипели под грузом. — Встретимся в сарае.

Домовой дернул подпояску и исчез из виду. Вздохнув, Вениамин кувырнулся через голову и упал на четыре лапы.

Дед заметил гостя не сразу — сперва унял одышку, набрал капусты в ведерко, проверил горшки со сметаной и маслом. И только потом обратил внимание на пушистый хвост, показавшийся из-за бочки. Не то чтобы Дед не любил котов, но порядок уважал и к ворью относился сурово:

— Брысь отсюда!

Полосатый котище, бывший Вениамином, неуклюже полез вверх по лестнице. Баннику редко доводилось обращаться, в людьем теле он чувствовал себя увереннее, а четыре лапы норовили разъехаться и зацепиться за что ни попадя. И цвета потускнели. А запахи, наоборот, стали намного ярче. Вот пробежал Сашок в вонючих новых кроссовках, вот прошелепал ябедник Ванька — что-то он зачастил в баню, вот прошлась Ольга, припахивая несвежей щукой, вот ковырял землю драчливый черный петух,

вот прокралась по двору молоденькая рыжая кошечка — мммм, прелесть. А вот здесь была мышь. Вкусная, жирная, сочная, хрустящая на зубах молодая мышь — ишь, скребется у бревен, не чует котовий запах, глазком блеснула, почти высунулась. Пышный хвост задрожал, подметая сухую траву, спина напряглась, клыки клацнули... «Ты что, сдурел, Вениамин?!» И вправду сдурел. Банник представил, как он глотает сырую мышь, и его чуть не стошнило.

В сарае пахло сеном, пылью и прелью. Когда-то здесь был овин, сушили снопы и хранили зерно. Теперь же держали всякий хозяйственный инвентарь, тяпки, лопаты, грабли. На балке Дед сушил целебные травы. По углам вили гнезда и запасали зерно вездесущие черные крысы. Зубы Вениамина невольно клацнули снова, он фыркнул и перекувырнулся назад. Кому в самом деле занадобилась шапка — ишь, озадачил старый пройдоха...

Деловитый Пафнутьич не терял времени даром. Не жалея ни пряников, ни пшена, он задобрил домовых грызунов и разленившихся воробьев — мол, увидите где невидимую вещицу, пищите мне. Для Кусая нашлась лакомая косточка, но пес ничего не знал. Сам же Пафнутьич нутром чуял — вещица не ушла далеко. Но куда? Повздыхав для порядка, домовой поплелся в сарай.

По здравом размышлении из воровского списка вычеркнули Егория Афиногеныча и Федор Титыча — первый безукоризненно честен и даже еды хозяйской не тронет, ежели не угостят, а второй обессилен и на пакости не способен. Поразмышляв, Вениамин оправдал Остывойлу — если бы грубый банник решился мстить, он бы воспользовался кулаками. Обдерихи? Под пристальным взглядом Пафнутьича Вениамин покраснел — в свой черед он был ласков с каждой из перезрелых красавиц. А ну как проболталаась Матрена или там Акулина сковорила подруг отомстить. Домовой согласился — эти могут. Что ж, надо сходить, повиниться, покаяться... Лёлик тоже оставался под подозрением — кто их, чужаков, знает, каким пакостям учат в Санкт-Петербурге. И, пожалуй, следовало заглянуть в нору к Басе, пока овинница шуршала по дневным промыслам, — эта могла прихватить шапочку,

не со зла, а так, от простой крысьей жадности. На том и порешили.

В котовьем обличье Вениамин прокрался в баню, пошарить по ухоронкам. Разом уважить аж трех обдерих непросто — подарки нужны и ценные, и приятные, и такие, чтобы банницы от зависти не перегрызлись между собой. Не мочало же им дарить, хорошее, между прочим, безупречно просушенное мочало. И не перо Жар-птицы, от которого враз зайдутся даже осиновые дрова — жирно выйдет. И не перстень старинный, серебряный, с тусклым лалом, забытый одной человечьей красавицей на полке лет за сто до рождения Деда, — точно передерутся. А вот липовые веники — в самый раз. Да не простые — с цветками, что распустились в ночь на Ивана Купалу, над той рекой, по которой девицы венки пускают. Лучше средства, чтобы вернуть красоту и молодость, хорошенъко попарившись в баньке, и не придумаешь. На всякий случай Вениамин добавил к подарку по берестяному туеску меда, по низке земляничных ягод и по красной ленте в косу — всякая баба падка на красное. И довольно.

Сонные обдерихи сперва удивились дневному гостю. И не сказать, чтоб обрадовались. Широко расставив когтистые лапы, ссугулясь и хищно улыбаясь, они окружили Вениамина и начали отжимать к дальнему углу баньки. Пожале, прошедшей ночью то ли Матрена, то ли Акулина все же проговорилась. Баннику стало не по себе, он вспомнил, что с обозленной обдерихи станется и гадюкой обортиться. А ну как закусают до смерти!

— Простите меня, красавицы-раскрасавицы, — поклонился в пояс Вениамин и положил на землю подарки — совершенно одинаковые для каждой. — Виноват я перед вами, сплошь виноват!

— Виноват, свербигуз сиволапый! — хором подтвердили обдерихи. — Изменщик! Блудень египетский!

— Слаб мужик, — понурился Вениамин. — Прелести несусветные в соблазн ввели.

— Каки таки прелести? — насторожились обдерихи.

— Косы ваши густые да долгие, перси пышные, уста сахарные, очи ясные — не насмотришься.

— Врешь, небось, — нахмурилась Лукерья — из трех баниц она была старшей и самой разумной.

— Чистую правду баю, — честно-честно сказал Вениамин. — А от вины откупиться решил. Примете мою виру?

Сторожко оглядываясь и фыркая, обдерихи развернули мешковину, присмотрелись к подаркам и помягчели. Акулина с Матреной тут же вплели в косы дареные ленты, Лукерья понюхала веник, пожевала листочек, кивнула — пойдет.

— Что же, честные люди, простите вину?

Обдерихи переглянулись, Лукерья высказалась за всех:

— Макошь с тобой, прощаем.

— Так верните мою шапку-невидимку, — осмелел Вениамин.

— Не вернем, — покачала головой Лукерья. — Чуяла ведь, не зря заглянул, не запросто сладкие слова говорил.

— А почему не вернете? — обиделся Вениамин. — Али дары мои не по нраву — так отдавайте взад!

Обдерихи юбками заслонили веники.

— Не вернем, потому что не брали. Искупать тебя в компостной яме хотели — было дело, или там перцу в шайку подсыпать. А шапку стащить — последнее дело, ужели мы нечисть какая?

— И не знаете ничего?

— Не знаем, — покачала головой Лукерья. — Если вдруг что услышу или сорока на хвосте принесет — тотчас же прибегу. Плохи твои дела, Венечка, миленький...

От сочувственных слов баник чуть не расплакался. Расцеловался по-братски с каждой из обдерих, пообещал на днях заглянуть на парок, обернулся котом и отправился по деревне назад, искать Пафнутьича.

На скамье подле продуктового магазина, ссугулившись, сидел Дед. Видно было, что старик не просто так решил отдохнуть, погреться на неярком осеннем солнышке или перебрать купленные для внучков сласти. Злая жаба мостилась у него на груди, давила на сердце холодными лапами, перехватывала дыхание, свивала клубком боль. Заскорузлые многотрудные пальцы Деда вцепились в скамью, губы посинели, выцветшие глаза закрылись — не иначе, как ви-

делось человечье небо, то небо, где нет ни страданий, ни горечи. Рядом валялась пустая упаковка таблеток — без них Дед давно уже не выходил из дома. Вот беда так беда, бедовская беда, не по чину. А делать нечего.

Полосатый пушистый кот вспрыгнул старику на колени, потоптался немного, улегся, теплый, и завел немудрящее урмурмур, урмурмур. «Умру», почудилось Деду. Но через несколько долгих секунд боль разжала объятия, воздуху стало больше. Злая жаба медленно съежилась, уменьшила тяжесть, завозилась, будто её толкали. Дед дышал — раз-два вдох, раз-два вдох, синий шарик поднимается в трубочке, пахнет лекарствами и спасением, греет больничным пледом, скоро все будет хорошо. ...Как же могуч был он прежде, как передвигал телегу и переносил через лужи молодую жену, добывал из леса корзины, доверху полные белых грибов, в одиночку копал огород и возился с рассадой, кружил и подбрасывал сыновей, широко улыбался рассветному солнцу. И не все ещё силы оставили тело, дстанет и на зиму, и на лето и ещё на много зим и лет. Уходи, злая жаба, уходи прочь!

Маленькая осклизлая лягушка и вправду выскочила из-за ворота пропитанной потом рубашки. Одним движением лапы Вениамин расплющил нечисти плоскую голову, потом соскочил наземь, чтобы как можно скорее вытереться о траву, убрать яд. Тяжелая ладонь Деда опустилась ему на спину, осторожно погладила пышный мех.

— Опять ты, бродяга? Мнится мне, непростой ты котище, ох непростой.

— Мяу, — согласился Вениамин, ловко вывернулся из под руки и побежал дальше по улице.

Чумазый Пафнутьич ждал в бане — пребывание в крысей норе не украсило домового. Как подобает, Вениамин сперва растопил печь, напарил дорогого гостя, налил ему хлебного кваса и лишь потом стал расспрашивать о делах. Ничего хорошего услышать не довелось.

В логове у запасливой Баси нашлось много разных вещиц — от золотого червонца царских времен и стопки любовных писем позапрошлого века до протухшей ржавой «лимонки» и карманных часов Деда. Шапки там не было.

Ни воробы, ни крысы с мышами странностей не приметили, никто в невидимом виде по улицам не щеголял. Оставался пройдоха Лелик. Вот жук!

Заманить домовенка в баню, чтобы погутарить по-свойски, оказалось нелегким делом. Хлопот в предзимье и вправду было немало, а Лелик, при всех своих придурях, был рачительным и строгим хозяином, самолично пересматривал косы лука и копешки сена, заплетал гривы ко-былкам, протирал вымя коровам, научился даже смазывать мотор трактора. Его приезжие люди за десять лет из запущенного двора собирали большое имение, продавали на сторону и молоко, и сыр, и яйца — дело доброе, но работы требует тяжкой. Дело шло к тому, что Лелику следовало жениться, взять в дом вторую пару рук, — а там, глядишь, и малышня по избе забегает. Вениамин улыбался этим мыслям — последний раз людскую ребятню он видел после той войны, когда дома отстраивались, а выжившие, кто помоложе, плодились. Но одно другого не отменяет — детки детскими, а шапка шапкой.

Наконец Вениамин выкатил старую кадушку и замочил там яблоки с медом, мятой, вишней и смородиновым листом. Запах стоял — закачаешься. Ольга с Людкой ходили мыться, крутили носами — откуда, мол, дивно пахнет — да не нашли, не по их роток лакомство. А вот Лелик, не будь дурак, повелся на вкусненькое, согласился заглянуть в воскресенье после заката, поменяться на снизку сущеных грибов. Пока домовенок, крутя длинным носом, перебирал яблочки, выискивая что покрупнее, подоспел суровый Пафнутьич. Он не стал церемониться — надел на дорого-го гостя пыльный мешок из-под картошки, прихватил бечевой поперек живота и начал сурово спрашивать. Лелик кашлял, чихал, плевался и признаваться отказывался:

— Да зачем мне ваша вшивая шапка, марамои кронштадтские! Бизнеса с ней не сделаешь, толкнуть не tolknешь, выменять не выменяешь. Веники брал, есть такое дело, рыжики брал той зимой, черемуховую муку брал. Все возмешу сполна! А шапку не трогал.

От хорошего пинка по мешку Вениамин удержался с трудом — а он-то на крыс валил да на соседа Прокопыча

думал — тот, бывалоча, подворовывал, чтобы хоть как подкормить своих стариков.

— Если веники воровал, то и шапку взять мог, а отбрехи-ваешься, чтобы полувирем отделаться. Чем докажешь? — набычился Пафнутьич.

— Поклянусь, — помолчав, решил Лелик.

Это было серьезно. С клятвами Нижние люди не шалили и не шутили, всякий знал, что нарушивший слово паршивеет, лысеет, а затем и вконец дичает. Разочарованный Вениамин уже склонился поверить Лелику, но Пафнутьич шел до конца. Он пошарил за пазухой и достал ржавый ключ — ключ из первого дома, где ему, молокососу, довелось когда-то хозяйствовать.

Почуяв запах старого железа, Лелик вздрогнул всем телом, но от клятвы не отступил.

— Родичами клянусь перед всем Нижним людом, что не брал у банника Вениамина шапку-невидимку и ни сном ни духом, знать не знаю и ведать не ведаю, куда она подевалась. Да будет слово мое крепко.

— Свидетельствую, — тихо сказал банник.

Пристыженный Пафнутьич снял мешок с домовенка. Лелик отряхнулся, как пес, плеснул в лицо воды из ближайшего тазика, а потом неожиданно спросил унылого Вениамина:

— А кто тебе, драгоценный наш Веничек, злее всего в уши пел, на других вину сваливал?

— Окстись, босота! — рявкнул Пафнутьич.

— Сам окстись, нелюдь! Небось подставил всех, припрятал шапочонку-то из злорадности, подштил над соседом, а сам в кулачок смеялся.

— Да ни в жисть, — побледнел Пафнутьич. — Что я, крыса у своих воровать?

Голос соседа звучал неуверенно, бороденка слегка дрожала. Вениамин изменился в лице. Выходит, пока он, как дурак, шарил по всей деревне, балагурил с мышами да крысами, на поклон к обдерихам ходил, яблочки зря мочил, тоской маялся, этот огузок надсмехался над ним. Над честным банником, добрым людом из добродушной семьи! Ну берегись, старый пень!!!

Перекинувшись через спину, Вениамин обратился котом. Вздыбил шерсть, задрал хвост и гнусаво заорал, вызывая соседа на бой. Обозленный Пафнutyич тоже кувырнулся левым плечом назад и встал на четыре угольно-черные лапы. Он был больше и массивней противника, но Вениамин брал скорость и нахрапом.

- Уяяяяяя! — сказал банник.
- Уaaaaaaa! — возразил домовой.
- Уууу! — огрызнулся банник.
- Аaaaaaaaафффшшшш! — заявил домовой.
- Хххххфффффэ, — шикнул банник.
- Мяааа, — резюмировал домовой и заехал соседу по уху.

Мохнатый клубок покатился по полу, в разные стороны полетели клочья шерсти. Грохнул тазик, опрокинулась шайка, но бойцов это не охладило — отпрянув на миг друг от друга, они снова бросились в драку. Поглядев на безобразие, Лелик решил не дожидаться финала. Он осторожно приоткрыл дверь баньки, перекинулся шустрым ежом и затопотал прочь. Но свято место пустовало недолго.

— А что это вы здесь делаете, а? — раздался противный голосок. Банник с домовым так и сели. На порог ступил ябедник Ванька, самодовольно лыбясь. Он их видел как есть — и немудрено: на голове у мальчишки красовалась шапка-невидимка.

— Вы, наверное, гномы? А много ли у вас золота? А что вы можете делать? А покажите?

— Сперва скажи, милое чадо, откуда у тебя шапочка? — сладко спросил Пафнutyич. — Кто тебе её подарил?

— А никто, — ухмыльнулся Ванька. — Я с вечера в бане ножик оставил, утром вернулся поискать — вижу, спит голый дедок, а рядом шапка валяется. Я её на голову надел — и такооое увидел!!! Такое услышал!!! Я теперь все про всех знаю — где мамка конфеты прячет, а тетка Ольга — деньги, что Сашок с девчонкой через планшет переписывается, а у Деда бутыль самогона припрятана. Я теперь самый крутой в доме и в школе буду самый крутой!

— Это моя шапка, и мне без неё очень плохо, — смиренно сказал Вениамин. — Давай поменяемся — ты мне её отдашь, а я тебе что захочешь.

— Давай... а горшок золота можешь? — жадно спросил Ванька.

Вениамин замялся, потом просительно глянул на Пафнутьича. Домовой погладил поредевшую бороду, подумал и кивнул:

— Погоди-ка!

Горшок не горшок, но золотой червонец Пафнутьич приволок, и две английские гинеи, и затертую монету с неразборчивой вязью, и увесистую цепочку с голубыми камнями. Вениамин прибавил пару тонких колец, лет сто назад прикопанных под венцом, и давешний перстень с лалом.

— Достаточно тебе, чадо? Большего у нас, прости, нет.

Ябедник Ванька от радости захлопал в ладоши, переглядел сокровища и распихал по карманам.

— А я видел, что вы, деды, в котов превращались. Покажите, хочу поглядеть!

Ишь затейник! Пафнутьич вздохнул и кувырнулся в кота. Вениамин прыгнул вбок и заскакал по баньке славным пушистым кроликом — вдруг милота смягчит сердце маленького паршивца. Тщетно.

— А что вы ещё умеете?

Сдержав гнев, Вениамин глубоко вдохнул, надул щеки и взглядом поднял на воздух пустую шайку.

— Вот здорово, совсем как в цирке! — хихикнул Ванька. — А ещё?

— Мы тебе, чадо, не скоморохи дурные, а почтенный Нижний люд, — обиделся Пафнутьич. — Золота тебе дали, потешить потешили — возвращай шапочку честь по чести.

— Не отдам, — заявил Ванька. — Мне она самому пригодится.

— Как это не отдашь? — опешил Вениамин. — Ты же обещал.

— Мало ли чего я обещал. Мне с этой шапкой везде дорога. Хочу ответы на контрольную подгляжу, хочу в магазин зайду и любые конфеты возьму, любую игрушку выберу. И все даром. И никто мне ничего не сделает!

Вместо ответа Пафнутьич орлом метнулся вперед и попробовал сбить шапку с головы у мальчишки. Поднятое с земли — ничье, так поганец её и заполучил. Но Ванька

оказался проворней — он подставил домовому подножку, а сам прыгнул к каменке. Сдернул с головы шапку, приоткрыл печную заслонку — внутри ещё вспыхивали горячие угли.

— Несите мне сюда горшок золота! И не врите — у всех гномов полным-полно денег, я в кино видел! А не принесете — сожгу её!

От обиды у Вениамина защипало в глазах, крупные слезы покатились по морщинистому лицу. Не ушел от беды, не вывернулся — придется теперь на зиму глядя бродить по пустым дорогам, искать пристанища. Золота больше не оставалось, а если б и нашлось, мальчишка бы вновь заупрямился. Кто б подумал, у такого Деда — и такой вымесок.

Довольный Ванька приплясывал у печи, бормоча гадости. Пафнутич притулился в углу, подсчитывал что-то, загибал когтистые пальцы. Вениамин утер слезы, перекинулся в кота и поднялся на четыре лапы — следовало прикинуть, что из имущества взять с собой. За шапку он уже не беспокоился — трех дней не пройдет, как она станет с головы у мальчишки. Ему надлежит о себе позаботиться. Деда с семьей пусть домовой побережет, а он нынче бездомный...

— Заигрался, Ванюша? — раздался знакомый голос. — Слышу, шум в баньке, заглянул — а ты до сих пор не в постели. Время позднее, айда баиньки.

— Рано ещё, дедушка, — заныл Ванька, — «Время» ещё не кончилось.

— Завтра вечером уезжать в город, приятель, а у тебя и вещи не собраны. Будь большим мальчиком, позаботься о себе, дай матери отдохнуть, — увещевал Дед.

— Не хочу!

— А я не хочу слушать твои капризы. Пошли. Будешь умницей — возьму с собой завтра на пруд карасей ловить. И брось-ка эту ветошь!

— Дед, это шапка-невидимка, её гномы потеряли, а я нашел! Я их сам видел, своими глазами. Смотри, я сейчас исчезну!

Ванька напялил шапку, Дед не моргнул глазом.

— У тебя богатая фантазия, внук, весь в меня. Но ночного сна она не отменяет. Ступай в постель, и тебе приснится сто тысяч гномов.

— Меня видно? — удивился Ванька. — Не работает! Сломалась! Ууууу!!!

Мальчишка бросил шапку на пол и заревел. Дед взял его за руку и повел прочь. На пороге он обернулся и подмигнул.

— Непростой ты котище, разъяснить бы тебя, да не стану...

Громко скрипнув, захлопнулась дверь.

Тотчас обернувшись людом, Вениамин прыгнул к шапке, обнюхал её, отряхнул и водрузил на босую лысину. Сразу стало тепло и спокойно, беды кончились, отпустила тревога и родимая банька стала ещё роднее.

Поглядев, как разулыбался сосед, Пафнутич предложил тяпнуть по маленькой — ради такого дела у него в запасах нашелся бы бутылек ядреного самогона. Вениамин наотрез отказался. Вот попариться — да, ох как хочется. Банник раздухарил печь, натаскал из колодца чистой воды, не поскупился ни на можжевеловые дрова, ни на полынные веники, ни на царский квасок с изюмом и зубчиками гвоздики. Домовой всласть нахлестал соседа, а потом сам кряхтел и охал на полке, подставлял бока под мокрые ветки. И задремал там же в предбаннике, свернувшись на полотенце, как кот. Тихонько, чтобы не разбудить, Вениамин укутал соседа овечьей шкурой, притушил огонь в печи и вышел во двор — подышать воздухом на сон грядущий.

Выше крыши сияли и таяли колючие звезды, белесый туман колыхался над лесом, где-то за домами заполошно орал петух, еле слышно шумело, просыпаясь, шоссе. Сытые совы возвращались в теплые гнезда, ночная нечисть спешила попрятаться по закутам и щелям. У единственной на деревню стельной коровы в животе шевелился теленок, видел сладкие сны о весенних лугах. Дедовы внуки тоже крепко сомкнули глаза, маленький Мотька посасывал пальчик взамен отобранной соски, взрослеющий Сашок воображал, как целует подружку, ябедник Ванька танцевал на поляне с гномами — он пока неплохой парень, просто ба-

лованный и отца ему не хватает. Может, и перерастет, прорежется добрая Дедова кровь. Ольга с Людкой спали под одним одеялом — комната выстывала к утру, вдвоем теплее. Крепкий сон Деда не нарушал даже запоздалый осенний комар, жужжащий над тяжелой кроватью с шарами, покрытой ветхим, когда-то роскошно шитым бельем. Что привиделось старику, что он понял, нарочно ли разыграл внука или в самом деле мог углядеть невидимое, Вениамин не знал, а заглянуть стеснялся. Не его это мокрое дело — понимать человеков...

Михаил Ера

Три воды

1. Золотой змей

Вцепившись обеими руками в хвост черного осла, по заиндевелой весенней равнине шел бородатый человек в длиннополом кафтане, опоясанном кушаком, и в лисьем малахе с отвернутыми к затылку лопастями. Пастбища, усыпанные оспинами снежных кочек, остались за спиной. Впереди виднелась широкая лента реки с полосами проталин на стрежне. Над головой путника клубились вихри запоздалой снежной бури. Ветер расшвыривал полы кафтана, хлестал по лицу колючей ледяной крупой, заставлял щурить глаза. На пригорке, где чахлыми зарослями терновника очерчивал границу лес, возле мазанки с соломенной крышей запряженная в крытые сани лошадь клонила тронутую морозной сединой голову.

Почему возничий не выпряг бедное животное, не укрыл от непогоды?

— Еще немногого, мой верный Гонга, и ты без труда найдешь себе прошлогоднего чертополоха. Где, друг мой, стоят сани, там отдыхает их хозяин. А разве у очага не найдется одного места озябшему страннику? Эй, люди добрые, отзовитесь!

Никто не откликнулся. Лишь тихо тенькали бубенцы на дуге упряжи: лошадь дергала наброшенный на кособокий плетень повод.

Путник отпустил осла, который тут же принялся жевать подстилку на санях, сам же обошел избу вокруг. Позади мазанки обнаружились распахнутый настежь хлев и пустой загон.

— Сдается мне, друг Гонга, недобroe тут приключилось. Скотины нет, в хижину уж давно никто не входил. Посмотри, ни единого следа на снегу.

Осел ненадолго отвлекся от еды, посмотрел тоскливым взглядом на хозяина и снова потянул морду к соломе.

Путник отворил дверь.

Угли в обложенном камнем кострище покрылись пеплом. Дымоход у самой макушки крыши сивел инеем. Опершись спинами о стены, на рогоже как будто дремали пять человек — трое гусаров в зеленых ментиках, дородная женщина в овчинном тулуpe и барышня в песцовой шубке.

Стянув с головы малахай, путник поклонился в пояс, как требовал здешний обычай.

— Мир этому дому.

Никто не ответил. Он сделал шаг вперед, взгляделся в бледное лицо гусара. Распахнутые очи офицера не мигая глядели в пол, у посиневших губ застыла кровавая пена.

Путник в ужасе попятился, выскользнул наружу.

— Ты не должен роптать, Ходжа, — бормотал он, остановившись у порога. — Пятеро мертвцевов ждут, когда их тела предадут земле. Пусть ты нищ и голоден, но ведь не возжелаешь завладеть санями и скарбом несчастных. Нет, не для того ты пришел в забытые Аллахом земли, чтобы глаза твои застила алчность.

Он выпряг лошадь, поставил в загон, укрыл попоной, задал овса, который нашелся в санях, напоил. Осел всюду следовал за хозяином и заботой обделен не был.

— Смотри, Гонга, как метет, как морозит. Если к утру не замерзнем, завтра потащишь меня дальше, и мы перейдем эту реку. Ты боишься? Конечно, ведь ты же не умеешь плавать. И я боюсь. Лед уже хрупок. Его точила вода и плавило солнце.

Собрав на дне своего мешка плесневевые хлебные крошки, Ходжа отправил их в рот, запил холодной водой. На ночлег устроился в хлеву на охапке соломы, прижавшись спиной к ослу, который, подобрав ноги, дремал рядом.

К утру ветер разметал тучи, принес на равнину тепло, вернул робкой весне ее капельный перезвон. Зачирикали воробы, начала свой отсчет кукушка.

Звук копошения снаружи долетел до слуха Ходжи. Он вскочил, бросился к щели меж прелыми досками.

На плетне сидела черная уродливая птица чуть крупнее ворона, с оперением на голове, напоминающим шляпу, с длинным крючковатым клювом цвета человеческой кожи и большими круглыми глазами. Птица наклоняла голову набок, вслушивалась, всматривалась. Соскочив на землю, она важно прошлась вдоль стены мазанки, заглянула в приоткрытую дверь, завернула за угол. Вскоре послышалось хлопанье крыльев и черная тень, сделав круг над соломенной крышей, устремилась прочь от восходящего солнца.

— Кора-чарга, — пробормотал путник. — Не роптать, Ходжа, не роптать.

Приготовив выюк с остатками ячменя, Ходжа заглянул в избу.

Вместо пяти мертвецов, сидевших у стены, теперь оставалась только одна барышня. Лицом она была прекрасна, глаза ее тускло светились подобием жизни.

Куда подевались остальные? Лишь горстки пепла там, где восседали они вчера.

— Нет, Ходжа больше не хочет оставаться здесь, — зарычал путник. — Мудрец из Хорезма не зря говорил, что в землях моей матери гостит колдунья Мора. Скорей, скорей убраться из этих мест подобру-поздорову.

— Пить, — раздался вдруг слабый голосок.

— Кто ты, красавица?

Ходжа осмотрелся. В углу на скамье заметил кадку с водой, набрал в ковш, поднес к губам барышни. Она напилась.

— Маша, — едва слышно молвила барышня. Ее лихорадило. — Помогите мне. У меня есть золотой змий.

— Ойе, — удивился Ходжа. — У края жизни красавица думает о змее?

Девица разжала руку. От силы, с которой она стискивала тонкую пластину браслета, на ладонке отпечатались вмятины.

Ходжа взглянул на украшение. На полоске металла был выгравирован точно такой же дракон, что и начертан на запястье самого Ходжи. Глаза дракона источали слабое изумрудное сияние.

— Так вот в чем скрыта тайна ожившего мертвеца, — зашептал путник. — Из глубины веков над этой красавицей простирается длань заботы Мудрейшего. Ходжа и так не оставил бы несчастную в этом жутком месте, а теперь и во все будет следовать за знаком, который укажет путь к трем водам.

— Спрячь золото, милое дитя. Я помогу тебе без всякой оплаты.

Когда солнце поднималось над равниной, Ходжа шел по тающему снегу. За путником семенил осел, а за ослом плелась запряженная в крытые сани лошадь. В санях из-под рогожи и охапок соломы едва виднелось лицо барышни Маши, которой никак не удавалось согреться.

2. В Березовке

К деревне Березовке граф генерал-поручик Еронкин подъехал верхом. За ним тянулась толпа драгун и холопов, волочились обозы со скарбом.

В свои неполные пятьдесят лет выглядел граф моложаво. Узор морщинок у глаз и над губами выдавал манеру улыбаться часто, широко икрыто. Взъерошенные черные брови да и сам взгляд говорили о добродушии и честности, но притом и о несокрушимой твердости, граничащей с упрямством. Неторопливость и уверенность его движений заявляли о привычке повелевать, а краткие негромкие реплики заставляли окружающих прислушиваться и оттого казались более весомыми и не терпящими возражений.

Возвращался Еронкин из краев чужеземных, где целых два года пытался улаживать дела государыни императрицы. Теперь же был отозван на родину и, минуя столицу, отправлен в Москву, где от него, как сказано в повелении, «хоть прок будет».

За время посольства истосковался граф по родной земле. С легким сердцем покинул он чужбину. Осточертели ему изворотливые переговорщики, поганящие едва ли не каждое его слово. Весело было теперь смотреть по сторонам, вдыхать воздух отчизны.

День выдался яркий, солнечный. От ненастя, что накануне было в лицо ледяными вихрями, не осталось и следа. Казалось, природа задышала свободней. Ручьи, подъедавшие конопатые сугробы и ледяные нарости, пускали солнечных зайчиков, радовали глаз. Даже распутьица не вызывала отвращения, а казалась милой, родной. Бесконечное чавканье под копытами коней чудилось Еронкину напевом.

У околицы старый ординарец графа поравнялся с ним.

— Кони-то, — сказал он, — заморились. Да и нам, поевши, веселее ехать будет. Отдохнуть бы, ваше превосходительство.

— До Москвы уж рукой подать, — ответил граф, жаждавший скорее добраться до дому.

— Эх, батюшка, ведь сказывали же люди добрые, что отсель еще с три десятка поприщ. Право, ваше превосходительство, распутье, кони грязь месить измаялись. Велите отдыхать.

— Ну, добро, — согласился граф. — Будь по-твоему.

— Эхва! — чуть отстав, закричал ординарец. — Долой с коней! Жги костры, наполняй котлы!

Конные спешились, стали развязывать выюки. Облюбовавши сухой пригородок, принялись стаскивать туда котлы да съестное из обозов.

Из изб, из-за загородок и всяких иных мест высыпал деревенский люд. Таращились на бравых драгун, судачили о добрых конях, об оружии и ладных казенных сапогах, в кои обуты даже холопы.

Еронкин тоже слез с коня, отдал поводья ординарцу, а сам взошел на вершину холма, потянулся, распахнул руки, будто возжелал обять неохватные просторы любезного сердцу отечества своего.

Воротившись, граф обошел обозы, справился о нуждах — не в тягость ли кухаркам их дальний переход. Получив желаемый ответ, направился к деревенским.

— Не чинитесь, — изрек он благодушно в ответ на поклоны. — Как живете-можете, люди добрые?

— Спасибо, барин, — ответствовал пожилой крестьянин в войлочной шапке, поддевке, опоясанной пеньковой веревкой, с посохом в дряблой руке. — Живем чем бог даст. Коли не брезгует нами твоя милость, прими медку, уважь, за здоровье выпей!

— Отчего же не выпить за здоровье? Выпью. Подавай, стариk, чарку, да пополнее!

— Эй, дуры, чего спужались? Грач то! — крикнул стариk разинувшим рты бабам, что уставились на птицу, отбившуюся от стаи и кружившую над деревней. — Несите живо кринку медовухи барину! Глашка! Кому сказано??

Девка зыркнула карими очами на старика и припустила к избе, едва не потеряв на бегу платок.

— Житья нету бедному человеку. Ходи да оглядывайся, к каждому темному пятну присматривайся, э-эх!

— О чём горюешь, стариk? — спросил граф. — Не пойму.

— Э-эй, да ты, я разумею, барин, издалёче едешь, коли не слыхал о черных птицах, что несут погибель.

— Бредни! Быть не может! — хмыкнул граф. — Откуда взялись окаянные?

— Хлябь их ведает, — пожал плечами стариk. — Ономнясь одна-единая птица на хутор у Ольховки наведалась. Сгинул хутор подчистую! В три дня весь люд будто огнем погибло, токмо пепел заместо мужиков да баб в избах на скамьях полег. Никто не уберегся — ни стар, ни млад!

— Странны дела твои, господи! — обронил граф. — Да что же вы птицу ту с неба не събьете? Отчего в силок не заманите?

— Да кабы то простая ворона была, так мы бы ее давно извели, а то отродье ведьмовское — из выводка самой Моры!

Граф нахмурился. Много на своем веку он рассказней слышал, и о Море тоже доводилось. Захаживала и прежде

колдуны в русские земли, да всякий раз ее банным веником прогоняли. Выходит, то в сказках легко и весело с колдовством бороться, а на самом деле простой люд мрет целыми селами да в страхе в небо вглядывается.

— Как узнать сие исчадье преисподней? Я поганому выродку спуску не дам! — громко объявил граф.

— Ежели издали глядеть, так вроде грач грачом. А как поближе — ужастъ, а не птица. На голове у нее хохолки, аки ей кто папаху туда нахлобучил, клюв крючковатый и будто в свиную кожу обернут, бельма совиные, кровью налитые...

— Прохор! — окликнул граф ординарца. Тот был неподалеку, разговор слышал, потому отзвался тотчас. — Вели драгунам ружья дробью зарядить, а случись узреть шельму, палить не мешкая.

— Защити, батюшка! — взмолился старик. — Просите, люди! Спаси, батюшка! Век бога молить за тебя будем!

3. Встреча

Когда миновали оконицу, шествие возглавлял черный осел, за хвост которого привычно держался путник. Дабы идущая следом лошадь не сбивалась с дороги и не останавливалась по собственной прихоти, вожжи уж давно лежали на плече Ходжи. Сани то и дело дергались, съезжая со снежного наста в липкую грязь, и от неровности движения барышню Машу клонило то вперед, то назад. Чувствовала она себя лучше. Лихорадка отступила, оставив за собой слабость и желание подкрепить силы горячим чаем с пряниками.

За изгибом деревенской улицы взору путника открылось столпотворение.

— Смотри, друг Гонга, мы поспели в самый разгар свадьбы или похорон, так что без куска хлеба не останемся. Будь то поминки или праздничный обед, главное — сытная еда, которая позволит долго сохранять тепло в душе и теле. И ты носа не вешай, мой мудрый друг. В деревне всегда найдется охапка сена для странствующего с добрым человеком ишака.

Пройдя еще с полсотни шагов, путник увидел обозы, драгунов и кухарок у костров на пригорке. Разглядел и дворянина в богатых одеждах, в накинутом на плечи походном плаще, в шляпе с пером, в ботфортах с золотыми шпорами, с саблей на поясе.

— Нет, друг Гонга, тут дела иные. В деревню пожаловали бравые ратники и благородный господин. Обозы полны, а обед на кострах готовят. Видать, проездом и издалече, а корчмы-то в деревне нет.

— Здоровья и преуспеяния собранию, — кланяясь в пояс, сказал Ходжа, когда осел дотащил его до толпы.

Если бы не способ передвижения путника, то и особым вниманием его бы нигде не одаривали, однако и само животное в этих краях — редкость, а уж чтоб за хвостом его тянуться, то и вовсе невидалъ. А ну-ка попробуй за конский хвост ухватиться. Лягнет, так и кувыркнешься! Ходжу тут же окружила детвора. Конечно, их интересовал осел, а не его смуглолицый хозяин. К животному боязливо прикасались пальцами, трогали за уши, гладили по загривку, сюсюкались и корчили рожицы, но за хвост взяться так никто и не решился. Гонга невозмутимо сносил чрезмерное внимание к собственной персоне. Наученный опытом осел знал, что стоит немного подождать, и эти простофили непременно угостят его чем-нибудь вкусным.

— Папенька! Не может быть, папенька! — вдруг долетел из саней слабый голосок.

Граф, равнодушно отнесшийся к появлению странного каравана, беседовал со своим ординарцем, а заслышав зов барышни, вздрогнул, медленно, будто давая себе время сообразить — не ослышался ли, повернул голову.

— Маша?! — воскликнул он с полным удивления видом. — Господи, Машенька, дитя мое! Как?.. Откуда?.. Волиству, неисповедимы пути господни! — Он бросился к саням. Спустя мгновение барышня уже висела на граве, охватив того за шею, и плакала навзрыд, взахлеб шептала родному человеку что-то выстраданное, личное.

— Полноте, — поглаживая дочь по спине, приговаривал Еронкин. — Все будет хорошо...

— Не часто тебе, Ходжа, доводится зреть то, что трогает твое очерствевшее сердце, — бормотал путник. — Ты передал красавицу в надежные руки и теперь будешь следовать за драконом, куда бы тот ни направился.

Отец и дочь долго сидели на завалинке одинокого амбара. Мария Евграфовна, поминутно утирая слезы, поведала графу о черных птицах, заполонивших Москву, о том, что графиня-мать, как и многие, обратилась в прах, велев перед кончиной уезжать в Шопино. Рассказала, как гусарские офицеры, отправляющиеся на юг, на войну с османами, разрешили им с няней ехать подле под надежной защитой. Как настигла их в пути птица, как гусары один за другим сгорали, охваченные незримым пламенем, как спас ее от неминуемой погибели добрый странник, разговаривающий с ослом.

Еронкин слушал дочь, и лицо его мрачнело, в глазах трепетала влага, а память уносила графа во времена, казавшиеся теперь безвозвратно далекими:

«Зная характер ваш, мой драгоценный супруг, — говорила перед отъездом графиня, — полагаю, что государыня императрица отправляет вас с посольством не иначе как войну развязать. Сделаете вы это непременно быстро, воротитесь скоро, а частые переезды способны лишь подорвать и без того хрупкое здоровье мое. Так что отправляйтесь, граф, один, а мы с дочерью вашей дождемся вас в Москве».

— Здоровье подорвать... — едва слышно прошептал Еронкин.

К радости старика крестьянина, граф принял приглашение пройти в избу и отобедать в горнице за столом с чаркой медовухи. Для барышни Марии Евграфовны хозяйка заварила чаю на зверобое, а кухарки принесли из обоза бубликов.

Граф велел позвать спасителя дочери, а ослу его овсу задать не скучая.

В настроении Еронкин пребывал подавленном. Обрушились на его голову разом два скорбных известия: о кончине возлюбленной супруги и о великом бедствии в Москве.

Путник обтер сапоги о сугроб у плетня, стянул с головы малахай, вошел в избу, поклонился. Лицо с непривычки обдало жаром. В печи потрескивали дрова, пахло торфом, березовой смолой и зверобоем. Сквозь маленькую, в два бревна, оконницу из бычьего пузыря в горницу лился тусклый свет. В углу под закопченными образами колыхался огонек лампады. Ножки дубового стола и скамей вокруг утопали в земляном полу.

— Как звать тебя, добрый человек? Откуда и куда путь держишь? — спросил граф, едва успевший до прихода путника опорожнить чарку медовухи. По правую сторону от отца Мария Евграфовна, ухватив обеими руками глиняную чашку, тихонько дула на кипяток. Хозяйка в фартуке поверх сарафана хлопотала у печи.

— Ходжа Насреддин. Родом из Бухары, — вновь поклонившись, ответил путник. — Иду за ишаком из Хорезма в родные земли моей матери — Матрены Егоровны.

Граф немало удивился сказанному. Это ж куда только русских баб судьба не забрасывает!

— Если тебя ведет ишак, то выходит, что он знает дорогу лучше тебя? — спросил Еронкин.

— Нет, добрый господин, мы одинаково не знаем дороги, но, если ишак, идя первым, ступит в болото, я вытяну его за хвост. У меня же нет хвоста, чтобы идти впереди.

— Разумно, — улыбнулся граф. — Ну, проси, что пожелаешь, сударь Ходжа Матренин. Хочешь — скакуна подарю, шубу соболью или дом тебе куплю. Проси, заслужил.

— Ничего мне не надо, добрый господин, — сказал путник. — Ступив на эту землю, я набросил на плечи плащ дервиша. Не ищу я никаких выгод, кроме духовных.

Граф встал, переступил скамью, подошел к Ходже. Глубокие карие глаза путника глядели твердо и проницательно. Судя по одежде, признать его можно было за посадского или мелкого купца, но в осанке чувствовалась уверенность, а в чертах угадывался отпечаток необыкновенного ума и смелости.

— Дозволь хоть поклониться тебе, чужеземец, — сказал граф. — Не в оплату, а от чистого сердца прими перстень с пальца моего.

Ходжа не стал перечить, дабы не взрастить обиду отказом. Колец у графа было много — по три на каждой руке, и если он поделится одним с Ходжой, то точно не пойдет по миру с протянутой рукой. В сумраке горницы Ходже почудилось, что самое скромное из колец — это печать дракона. Исходило ли от него изумрудное сияние, удостовериться возможности не представилось, но Ходжа почувствовал силу, что затаилась до поры в этом кусочке желтого металла.

— Вижу, тебе змий приглянулся, — хмыкнул граф. — Это, сударь Ходжа, семейная реликвия — серпент иммунитас: змий-избавитель. Об отце память. Не могу тебе его дать.

Граф снял с пальца другой — массивный перстень с крупным ограненным камнем, подал Ходже.

— Отобедай с нами, добрый человек.

4. Развилка

Выйдя из избы, Еронкин подозывал ординарца. Переговорив с ним с глазу на глаз, направился на пригород.

— Далее поедем вдвоем с Прохором, — объявил граф у костров. — Обозы гнать в Шопино, сдать приказчику Луке по описи, после чего драгунам — отбыть в полк. С богом!

На лицах свиты светлой радостью отпечаталось облегчение. Насыщенные от местных крестьян о страшном бедствии в Москве, они уже не жаждали попасть в город. Березовка хоть и лежит не на царской дороге, а иной раз и на этой улице появляются кибитки с напуганными до полусмерти людьми. Проходят они тихо, без остановки. Деревенские их сторонятся, лишь провожают взглядами.

Ходжа отыскал своего ишака на вершине холма, где жаркое весеннее солнце успело растопить снег и пробудить первую зелень. Осел выщипывал сочный пырей и выглядел совершенно счастливым.

— Долго мы с тобой, друг Гонга, искали знак Мудрейшего, а нашли сразу два. Теперь мы стоим у распутья. Какой же из них укажет нам путь к трем водам?

Ишак поднял голову, окинул хозяина безразличным взглядом и снова сунул морду в прошлогодний бурьян, за колючими ветками которого виднелась свежая поросль.

Еронкин усадил дочь в сани, перекрестил уходящий на юг обоз, сам вскочил на коня, пришпорил и нагнал ординарца на улице Березовки.

Старик крестьянин глядел вслед барину с мольбой и надеждой.

Ходжа спустился с холма, по обыкновению ухватился за хвост осла, и тот потащился за обозами.

— Эй, глупый ишак! — воскликнул Ходжа. — Нам в другую сторону!

Осел оглянулся, фыркнул. Ему не нравилось расставание с санями, из которых в любой момент можно было таскать солому, с барышней Машей, которая так мило улыбалась, поглаживая Гонгу между ушей.

5. Москва

По разбитой дороге тащилось все, что могло вместить тюки с пожитками и быть движимо лошадиною силою; люди беспорядочно покидали город. Почти никто не ехал, разве что дети малые да бабы на сносях. До того навьюченными были возы, что кони едва их тянули. Шли пеше, угрюмо переставляя ноги, скользили на покрытом мутной талой водой льду, вязли в грязной жиже.

Двое верховых и странный человек, волочащийся за ослом, молча двигались наперекор общему движению по слободе с разномастными постройками, среди которых больше было крытых соломой темных от старости деревянных лачуг. Иногда за палисадами сквозь голые ветки садов и парков просматривались светлые громадины особняков с колоннами и террасами, в два, а то и в три этажа, не считая остекленных цветными витражами мансард. В парках белели фонтаны, беседки, статуи на ступенчатых постаментах.

Постепенно богатых построек становилось больше, все чаще солнце высвечивало на пригорках золоченые маковки церквей. Позже высокие доходные дома с железными крышами, присутственные заведения и мануфактуры принялись ровнять улицы, менять унылую деревенскую убогость на современный городской лад.

По Каменному мосту переехали Москва-реку, копыта коней зацокали по брускатке набережной, впереди замаячила верхушка Спасской башни и устремивший пеструю голову в небеса храм Покрова Богоматери, нареченный именем московского блаженного Василия.

Ходжа, как и прежде ведомый ослом, случайно обогнал своих спутников, остановившихся оправить одежды и подтянуть конскую сбрую.

У облицованного щербатым камнем дома бородатый мужик в зипуне и низкой казачьей папахе, ухватив под мышки другого — босого в одной исподней рубахе, тащил его подальше от входа. Выбрав место посуще, бросил босоногого там, выпрямился, перекрестился.

— Э-эй, шайтанов сын! — не стерпел Ходжа. — Скажи, во имя истины, как можно так неуважительно обходиться с усопшим? Да как тебе на ум пришло покойника волоком из дома таскать да посреди дороги бросать? Пустой души ты человек! Несчастный ты!

— Отвяжись, басурманин! — отмахнулся холоп, но, заметив, что позади Ходжи осадил коня благородный господин, обратился уже к нему с поклоном: — Помилуйте, ваше превосходительство! Вот секунд-поручик Хлобыстев Петр Матвеевич преставился. Супруга его, Полина Ермолаевна, приказали сюда его благородие волочь. Он вот-вот в прах обернется. Пламя-то хоть глазом и не видать, а боязно — вдруг дом подожжет? Тащить-то его тащу, а у самого думка одна — а ну как в руках пыхнет! Боязно, ваше превосходительство. Помилуйте Христа ради! Ему теперь все едино, а нам, коли бог даст, еще... А прах я соберу, и завтра в церкву на отпевание, а опосля и на кладбище — все чин

по чину. Ныне так многие делают. Времена нынче лихие, ваше превосходительство.

Еронкин был мрачнее тучи, гневом воспылали его глаза, но выслушал молча.

Неожиданно встревожились кони, принялись морды воротить да на дыбы вставать. Покуда усмиряли ретивых, покойника дымом обволокло, и стал он шипеть, потрескивать, чернеть на глазах и без единого вспохла сгорать быстро, аки порох. Спустя миг на мостовой лишь смрадная труха осталась.

— Господи, твоя воля! — ополоумев от увиденного, воскликнул Прохор.

Граф ударил шпорами коня, поскакал прочь. Не о чем стало говорить с мерзавцем холопом, да и не о ком. Подумалось Еронкину, что вот так же супруга его возлюбленная сгорела вмиг на дочериных глазах. Сдавил граф поводья всей крепостью руки, стиснул зубы, дабы рвущийся из груди стон не нашел пути наружу.

— Спуску не дам! — прощедил он сквозь зубы.

6. В управе

В губернской управе застал Еронкин генерал-фельдмаршала Салтыкова озабоченным скрыми сборами. Недосуг губернатору было принимать воротившегося из посольства графа, однако долг обязывал. Принял, а сам то и дело портьеру пальчиком отодвигал да в окно поглядывал — подали ли экипаж к парадному.

Еронкин окинул старика фельдмаршала оценивающим взглядом. Не таким его помнил. Одряхлел, осунулся, в глазах уныние, беспокойство, страх. Не тот стал вояка. Не тот.

В былые времена Салтыков обласкан был и воинской удачей, и царственными особами. От двух государей имел в награду по золотой шпаге в бриллиантах. Отличался прозорливостью, широтой мысли, крепостью ума и духа, страстным желанием во всем непременно иметь полную викторию.

— Вам ведь, граф, отпуск полагается, — покончив с делами, сказал Салтыков. — Так поезжайте, голубчик, в имение ваше. Бывал я в тех краях проездом — на Шереметьевской даче. Очарован тамошней природой, климатом. Поезжайте, Евграф Данилович. Я вот тоже думаю здоровье поправить — в Марфино отправляюсь.

— Дня на три, — спустя мгновение добавил генерал-губернатор, уловив хлесткий, как пощечина, взгляд Еронкина.

«Бежит, крыса! Воистину пережил старый хрыч свою славу на многие лета», — подумал Еронкин, но вслух ответил:

— Повременю с отпуском, Петр Семенович. Послужить отчизне желание имею, дабы вскорости очистить Москву от скверны.

— Похвально, граф, — проговорил старик с ухмылкой. — Москве от вас прок будет.

Он подошел к столу и нарочито переложил бумаги графа с места на место, намекая, что имел удовольствие прочесть повеление государыни-императрицы, где о доблестях Еронкина в делах посольских сказано не слишком лестно.

— В канцелярии получите бумаги о назначении, — объявил генерал-губернатор, — а теперь позвольте откланяться. Пора.

7. На Остроженке

До дома Еронкина на Остроженке добрались затемно. Еще проезжая мимо мельницы, слышали собачий вой — жалобный, протяжный, и не мог Евграф Данилович отдельяться от мысли, что это из его двора доносится. Оказалось — нет, не его животина надрывалась, соседская.

— Отчего кобель скулит? — первое, что спросил граф у лакея Митяя.

— Чует, — таинственно ответил тот.

— Что чует-то?

— Приметил я, ваше превосходительство, что перед тем, как кому на нашей улице загинуть, кобель выть принимается. И ничем его, шельму, не угомонить — не жрет, не пьет, а морду кверху и скулит. Чует близкую чью-то погибель.

— Эка ты мне, брат, жути нагоняешь, — хмыкнул граф и, кивнув в сторону Ходжи, распорядился: — Приготовь гостевую для... считай, господина титулярного советника Ходжи, запамятаовал, как его по батюшке, Матренина. Прими как подобает. Ни в чем отказа быть не должно. И ослу место в конюшне определи. Понял?

— Да как не понять, ваше превосходительство? В лучшем виде устроим, не извольте беспокоиться.

Вороны, что облепили ясень у дороги, отчего-то вдруг встревожились, рты разинули, карканьем затмили на миг собачьи стоны. Захлопали вдруг крылья, сорвалась вся стая с насиженных мест и темной тучей устремилась прочь, к реке.

— Прохор, мушкет мне живо! — крикнул ординарцу Еронкин, заприметивший, кому именно горластые уступили место.

Теперь и Митяй, и Ходжа, и Прохор тоже увидели черное пятно на ветке близ забора.

Граф взвел курок, нацелил ствол на птицу. Внезапно изумрудный огонек вспыхнул у руки Еронкина, отвлек от прицеливания. Птица встрепенулась, взметнулась ввысь. Граф выстрелил.

Перебитая картечью ветка надломилась и повисла на заборе. Птицу чуть отшвырнуло в сторону. Видно, дробина прошла вскользь, и бестия, оставив падать клок перьев, быстро растворилась в сумерках. Соседский кобель тявкнул и умолк.

8. Амвросьев скит

— Ежели для благого дела позарез надо узнать то, до чего простому смертному ни в жисть не додуматься, то ступай-ка ты к старцу Амвросию. Он уму-разуму научит. То не беда, что ты веры басурманской. Амвросий — человек от Бога, а Бог всем един, — сказал Ходже Митяй, выслушав за чаем рассказ о безуспешных поисках трех вод.

— Он дервиш, да? — спросил Ходжа, но, смекнув, что слово это Митяю неведомо, уточнил: — Он богослов, мудрец, которому известно сокрытое; читает в глазах скранные помыслы?

— Он самый! — многозначительно изрек лакей.
— О, Аллах милосердный! — воскликнул Ходжа. — Слушай, один такой человек в Хорезме сказал мне: ступай туда, там найдешь. Больше ни слова не сказал! А я ничего не понял, как есть ничего! Мудрецы везде одинаковые — не умеют говорить мне простыми, ясными словами: куда именно пойти, что и как делать!

— Наш мудрец скажет! Все как есть скажет! — не без гордости убеждал Митяй. — Ступай завтра же!

Насреддин не слишком верил в мудрую простоту старца, но, дабы не давать приюта сомнениям, кои всякий раз вселялись в голову, стоило лишь отмахнуться от чего-то, с рассветом вывел из конюшни своего ишака и отправился в урочище.

Солнце уже устраивалось на ночлег, когда Ходжа добрался до Амвросьева скита. Место то было уединенное. Единственная тропа петляла по лесу меж кленов да дубов, постепенно спускаясь в низину к роднику. Там, на круглой, как блюдо, поляне, ютились постройки, среди которых выделялась низенькая деревянная часовенка с крестом на макушке, а рядом родник и укрепленная бревнами купель.

Ходжа удивился, заметив, что из трубы одного из срубов валит дым. Лето было в самом разгаре, вечерами стояла теплынь.

— Неужели эти странные люди замерзли, а, Гонга?

Осел, как обычно, не ответил. Ему очень не нравился крутой спуск, заставляющий идти с осторожностью и подгибать задние ноги, чтобы уравновесить тело; обращать внимание на людские глупости ишаку было недосуг.

Ходжа почуял неладное, когда, спустившись на поляну, увидел угрюмых, торопливых в движениях монахов. Не такой, по рассказам Митяя, представлял Насреддин уединенную обитель. Вместо тишины и смирения наблюдать пришлось поспешность и ропот благочестивых мужей.

— В то ли место я пришел? — спросил Ходжа, поклонившись в пояс седобородому старцу; пожалуй, единствен-

ному, кто пребывал не то чтобы в спокойствии, а скорее в печали и, казалось, в этот момент имел внутреннее обращение к своему Богу. — Амвросьев ли это скит?

Старец лишь кивнул, но ответить дельно не успел — дверь сруба распахнулась, и из клубов пара, вырвавшихся наружу, явились двое. Высокий худощавый монах с мокрыми волосами и слизящейся реденькой бородкой вел укутанного в одеяло отрока. Тот едва переставлял ноги, весь вид его указывал на тяжелую болезнь.

— Чарги? — спросил Ходжа.

Старец снова кивнул и жестом предложил гостю пройти за ним в келью.

Разговор с монахом получился долгим и ушел далеко за полночь. Сальный фитиль с коротким язычком пламени почти не давал света. Густой сумрак кельи и длинный, лишенный интонаций монолог старца убаюкивал Ходжу. Он уснул, и сны его были далеки от земных забот, от воззванных чувств, от поисков смыслов и истин в потаенных глубинах своего сознания. В какой-то момент Ходжа почувствовал, как тюбетейка соскользнула на плечо, упала на колено. Насреддин проснулся.

— Однако уже поздно, — рассыпал он слова старца. — Время уединиться, вспомнить прожитое, подумать о будущем, обратиться к Господу, дабы навел тебя на путь истинный.

— О мудрый старец, — воскликнул Ходжа, — твои слова коснулись моего сердца. Теперь мне ясно, что ответ на свой вопрос я должен искать на дне моей несчастной души.

9. Восточная сказка

Утром Ходжа узнал о трех монахах, что ходили в город продавать нехитрые свои рукоделья, а на обратном пути были поклеваны чаргами. Двое сумели в бане выстегать вениками всю хворь, а вот отроку не повезло — лежал он теперь в келье под несколькими одеялами и все равно зяб.

Был день общего сбора в храме. Удаляясь молиться о спасении души юного своего собрата, монахи попросили Насреддина побывать с больным, поднести тому воды, если попросит. Ходжа согласился.

Отрока звали Агафоном. Было ему лет тринацать от роду; лицо узкое, щеки впалые, глаза большие, словно девчачьи, только искры дерзновенной в них не осталось: угадал парень.

Агафон удивился гостю в тюбетейке: в скиту среди православных монахов и вдруг басурманин! Отрок знал, что старец Амвросий любому путнику даст приют, хлеб да соль, но чтоб иноверец находился подле Агафона в последние часы его жизни — это казалось неправильным. Отрок хотел возразить, хотел призвать братьев, но сил хватило только на то, чтобы промычать что-то несвязное. Слезы потекли по бледному лицу Агафона.

— Слушай, не надо плакать, да. Ты поправишься. Мой ишак еще будет возить подарки на твоей свадьбе, — хотел подбодрить Ходжа, но вдруг вспомнил, что монахи дают обет безбрачия, треснул себя ладошкой по лбу. — Вах, глупый я! Пить хочешь? Нет? А давай я тебе сказку расскажу! Хочешь?

Агафон прикрыл глаза. Ходжа воспринял это как согласие и начал свой рассказ:

«Некогда в Бухаре жил красильщик Хасан. Он не был ни беден, ни богат. Был у Хасана сын по имени Саид. Он помогал отцу во всем и имел отличный вкус в выборе красок.

В один день, когда Хасан был занят обычной своей работой, в лавку зашел чужестранец и сказал:

— Я ищу мастера Хасана. О нем мне говорил один бухарский купец, который торговал на рынке в моей стране.

— Хасан — это я, — ответил красильщик.

— Твоя работа очень хороша, Хасан, — сказал чужестранец. — А сможешь ли ты для меня окрасить ткань

так, чтобы цвет ее был сравним с сиянием золота в лучах восходящего солнца?

— Сожалею, почтенный, но у меня нет такой краски, и я не знаю способа ее приготовить, — ответил Хасан.

— О, сколько дивных вещей ты смог бы сделать, будь у тебя способ превращать тонкий шелк в нежную золотую дымку!

— Ойе! — закивал Хасан.

— Я имею знания, которые нужны нам обоим, — сказал чужестранец, — и предлагаю тебе отправиться со мной в страну Кыи-Лха и добыть там не только краску, но и тайну ее изготовления. — Он вынул из-за пазухи кафтана лоскут тончайшей ткани, которая даже при тусклом освещении переливалась золотом.

— Вах! — воскликнул красильщик.

— Так ты пойдешь со мной, Хасан? — спросил чужестранец.

— Я уже слишком стар, чужестранец, но у меня есть сын, который может отправиться с тобой, — ответил красильщик и отправил Саида в страну Кыи-Лха за волшебной краской».

Губы Агафона дрогнули, растянулись в улыбке. Годы послушничества не сумели сделать его слишком взрослым. В сущности, Агафон оставался ребенком, и, как любому ребенку, ему нравились сказки. Ходжа тоже улыбнулся и продолжил. Голос Насреддина стал звучать громче, увереннее:

«Три раза по восемь дней Саид и Баграм — так звали чужестранца — шли по равнине, а когда в голубой дымке на горизонте возникли очертания высоких гор с белыми шапками на вершинах, Баграм вынул из складок кушака клочок бумаги и прочитал заклинание. Едва он закончил читать, как небо покрылось темными тучами, а налетевший вдруг ветер поднял ввысь три песчаных смерча, из которых вышли три верблюда. Четыре дня Саид и Баграм ехали на верблюдах, пока не достигли подножия гор. Целью путешествия была пещера, вход в кото-

рую находился на уступе отвесной скалы, и добраться туда не было никакой возможности. Тогда Баграм зарезал третьего верблюда, которого они вели с собой, и вынул из него все внутренности. Баграм снимал халат, когда занимался разделкой верблюда, и из кушака выпал клочок бумаги с заклинаниями, а ветер задул его в щель между камнями.

— Полезай внутрь верблюда, — сказал Баграм Саиду. — Я зашью тебя там. Скоро будет пролетать золотой дракон, увидит мертвого верблюда, ухватит его когтями и унесет в пещеру. Там ты разрежешь ножом кожу и выберешься. В пещере увидишь гнездо. В гнезде будет яйцо, которое ты засунешь в мешок и спустишь мне на веревке. По этой же веревке после спустишься сам.

Саид согласился. Все произошло в точности, как говорил Баграм. Когда же Саид спустил мешок с драконьим яйцом, Баграм ухватил веревку, привязал ее к верблюду и погнал животное. Саиду ничего не оставалось, как отпустить другой конец веревки, иначе верблюд стянул бы юношу с уступа.

Так Баграм, который не пожелал делиться добычей, обманул Саида и бросил его умирать в горах.

Саид не растерялся, ведь у него был нож. Юноша снял шкуру с мертвого верблюда и сплел из нее новую веревку. Когда Саид спустился к месту их прежней стоянки, то единственное, что он там нашел, — это клочок бумаги с заклинаниями. Саид прочитал буквы так, как это принято в Бухаре, но не понял смысла написанного. Когда же он закончил читать, у самого горизонта вспыхнула молния, и прогремел гром. Саид решил, что заклинание сработало, но по какой-то причине верблюды появились слишком далеко от него, поэтому он пошел их искать.

Добравшись до места, Саид нашел мертвого Баграма и пустой мешок, в котором прежде лежало яйцо. Саид удивился: кто мог убить этого мошенника?

Неподалеку виднелось темное пятно. Саид решил, что там спрятались от ветра верблюды. Когда же юноша приблизился, то понял, что за барханом сидел золотой дракон.

Увидев Саида, дракон взревел страшным голосом и бросился на юношу, но в это время яйцо вдруг покатилось и вместо дракончика из него вылупился маленький черный ослик. От такой неожиданности дракон замер. Он посмотрел на ослика и заплакал.

— *Вах!* — сказал он человеческим голосом. — За что ты превратил моего сына в ишака, несчастный?! Ты не достоин даже смерти, двуногий шакал!

— Слушай, это не я сделал, да. — Саид развел руками.

— Ты не найдешь покоя, пока не вернешь мне сына! Ты будешь прозябать в нищете и скитаться по свету! Нигде не сыщется места для тебя, а ноги твои станут нестерпимо болеть, едва ты задержишься в одном городе дольше трех лун. Все ханы, эмиры и султаны вселенной будут желать посадить тебя на кол, но не смогут этого сделать потому, что смерть не силах искупить твоего подлого поступка, — сказал дракон и улетел в сторону гор, а на запястье Саида появился рисунок, который стал напоминать несчастному о наложенном драконом проклятии...»

Громкий стон вдруг вырвался из уст отрока. Он напрягся, выгнулся мостом, но тут же, обмякший, обрушился на постель, изо рта полезла кровавая пена. Насреддин прервал рассказ, взял Агафона за руку. Какое-то время она еще была охвачена судорожной дрожью, но длилось это недолго. Вскоре всякое напряжение мышц прекратилось, и на лице отрока отобразились признаки вечного покоя.

10. Бунт

Когда сброшенная с первыми холодами листва начинает преть, от нее исходит тепло, способное изгнать до времени робкие сентябрьские заморозки. Наступает пора гнилого лета, которое в народе окрестили бабьим.

Над Москвой стоял чад. Вовсю пыхтели трубы всех бань, костры не угасали с самой весны и прокоптили город до

последнего кирпича. Дома потемнели от сажи и как будто осунулись. Чарги не выносили яркого солнечного света, нападали лишь пасмурными днями, но чаще в сумерках или ночами; не терпели эти птицы огня и иного жара, потому единственными действенными средствами от жутких птиц оказались костер и пар.

Заслышав набат, Еронкин подскочил к окну, отворил створку.

— Прохор! — окликнул он ординарца. — Узнай, почто бывают!

После бегства губернатора, а вслед ему и обер-полицмейстера выходило, что чином старше генерал-поручика Еронкина в Москве никого не осталось. Пришлось графу со скромными своими полномочиями наводить порядок в городе по собственному разумению. Москва поредела. С половину домов и подворий остались брошенными, а где и вымер люд подчистую. Мародерство стало вторым бедствием.

— Говорят, владыка Амвросий антихристу продался — велел чудотворную икону с Варварских ворот снять, — доложил вскоре Прохор.

— Да чтоб тебе лопнуть! — выругался граф. — Трубить общий сбор! Коня мне!

На ходу набрасывая плащ, граф вышел во двор. Егеря сбегались отовсюду, в попыхах оправляли обмундирование уже в строю.

Между Ильинскими и Варварскими воротами гудела толпа. Народ, почитавший икону Боголюбской Богоматери за чудотворную, собирался с молитвой подле нее ежедневно. Сюда же на закате слетались и чарги. Уйма люду сгинуло около иконы, потому и велел архиепископ закрыть ее в Донском монастыре.

Егерей с офицерами собралось до сотни. Еронкин вывел отряд на Красную площадь, куда к тому времени двинула большая часть толпы от Китай-города.

— Стоять, окаянные! — выехав навстречу бунтарям, выкрикнул граф.

Прохор, что всегда находился подле, пальнул для остраски из мушкета.

Галдеж на миг стих, поникли колья да вилы, что у многих имелись в руках. Понеслось разноголосое:

— Где сукин сын, Амвросий?! Подай нам Амвросия!

Еронкин привстал в стременах, оглядел весь этот буйный сброд. Чуть поодаль и сбоку от толпы заметил он женщину в черном плаще до пят и в широкополой шляпе с вуалью. На вид благородная дама, но что она делает средь этого отребья?

— Да они заодно! Бей их! — выкрикнула вдруг эта самая дама, а всколыхнувшаяся на ветру вуаль обнажила большой крючковатый клюв.

Толпа двинулась, снова ощетинилась вилами. Полетели камни. Один угодил Еронкину в плечо, едва не выбил оголенную саблю. Пришлось спешно ретироваться.

— Бунт! Ополоумели окаянные! — долетел до уха Еронкина пересуд егерей.

— Семь бед — один ответ! — взревел граф, понимая, что спрос с него будет. Допустит погромы и грабежи — голова с плеч долой, огнем бунт усмирят — перед историей и совестью ответствуй, грехи по гроб жизни замаливай.

— Товсь! — скомандовал Еронкин.

В строю живо переглянулись, рассыпался невнятный ропот, но курки бойко защелкали на взвод. Толпа меж тем приближалась. Камни уже падали близко, орошали егерей крошками.

— Кладсь! — выкрикнул генерал-поручик.

Первая шеренга повернулась без замешательств, вторые сдвинулись вправо, третья взяли ружья на изготовку.

Еронкин медлил. Он надеялся, что четкие движения егерей и наставленные ружья образумят смутьянов, приведут беснующуюся толпу в чувство, но попятались лишь единицы, и те, подталкиваемые сзади, продолжали двигаться.

Показалось Евграфу Даниловичу, что в первых рядах шагает и тот самый крестьянин в сермяжной поддевке с посохом в дряблой руке, в горнице которого в Березовке обедал он с чаркой медовухи. В ушах звенела мольба старика: «Зашти, батюшка! Просите, люди! Век Бога молить за тебя будем!»

— Пли! — стиснув зубы, выдохнул генерал-поручик.

Еронкин, уронив голову на руки, сидел за дубовым столом в пустом трактире неподалеку от своего дома. Рядом в глиняном блюдце потрескивала восковая свеча. Пламя ее колыхалось, озаряя бока опустевших винных бутылок.

— Прохор! — обрушив кулак на столешницу, заорал граф.

— Здесь я, ваше превосходительство, — тотчас отозвался от двери ординарец.

— Видел ли ты Мору, Прохор? — буравя пьяными глазами ординарца, спросил Еронкин.

— Видел, ваше превосходительство.

— Хоть из-под земли мне ее достань да подай! Сыпал?!
Вынь да положь мне эту ведьму! — Граф снова шарахнулся кулаком по столу, да так, что подскочили бутылки, а свеча накренилась. Пламя вспыхнуло ярче, воск быстрыми каплями полился мимо блюдца.

11. Мора

На Москва-реке становился первый ледок. Дожди, что лили неделю напролет, сменились снежными хлопьями. У краев дорог собирались белые рыхлые бугры. По пустынным улицам прогуливался ветер да бродили с метлами каторжане, одетые в пропитанные скипидаром пеньковые балахоны так, что только глаза виднелись в прорези. Нехитрое это обмундирование спасало от острых когтей и клювов чарг.

Частили телеги, груженные сбитыми наспех урнами-гробами.

Возниче, тоже из каторжан, в таких же скипидарных дерюгах, сидели прямо на ящиках с прахом. Подводы подгоняли к церквям, выходил усталый поп с кадилом, отпевал усопших, считывая имена с бумажки.

В тот день пропал Прохор. Он ушел еще с вечера и не вернулся. Граф велел Митяю послать нарочного к егерям, чтобы те разыскали ординарца.

— Ай, что делать, что делать? — шептал в кулак Митяй. — Зазноба у него в слободке. Обещался быть вовремя, а поди-ка ты, нету. Никак беда стряслась.

— Скажи, где то место. Я схожу узнаю, — сказал Ходжа.

Он нашел Прохора с двумя егерями-собутыльниками в трактире неподалеку от Суконного двора. На столе стоял ящик с прахом. Лицо Прохора было мокрым от слез, а сквозь пьяный дурман из глаз сочилась злость.

— Из-под земли достану! В куски порублю сук! — поминутно твердил Прохор, имея в виду женщину в черном — колдунью Мору.

Когда Ходжа уже принялся уговаривать Прохора пойти к Еронкину, повиниться, просить отпуска, за окном трактира послышались дикие вопли. Здоровенный детина, оплоумевший от чего-то ужасного, ревел, аки медведь, тыкал пальцем в сторону Суконного двора, отчаянно жестикулировал и брызгал слюной, силясь рассказать о том страхе, что довелось ему только что пережить.

Прохор вдруг сорвался с места, выбежал наружу, ухватил детскую за грудки:

— Молнии, говоришь? В прах сжигает? Где, ответствуй, сукино вымя! Толком говори, где? — требовал Прохор.

Суконный двор изображал собой нечто особенно мрачное. Темные, пропитанные дегтем ворота были нагло заперты и крест-накрест заколочены досками. Калитка в заборе чуть поодаль оказалась сорвана с петель и кособоком висела лишь на цепи, скрепленной ржавым замком. Прохор вопрошающее взглянул на Ходжу. Тот кив-

нул и вошел первым. Двери производств были выломаны, варварски порублены топорами: воры, вероятно из числа тех полутора тысяч рабочих, что разбежались еще весной, особенно не церемонились, когда грабили брошенную мануфактуру.

Прохор указал, куда им идти дальше, и сам возглавил движение. Вслед ему двинулись двое егерей, после Ходжа. Егеря ружья держали на изготовку, шли медленно, боязливо. Каждый теперь знал, что ведьма способна метать испепеляющие молнии: этим она и выдала себя, спалив разом троих охочих до чужого добра прямо у складов Суконного двора.

Остановились у больших, рассчитанных на ширину подводы ворот. Ходжа зажег факел и кивнул остальным, чтобы сделали то же.

— Дальше пойду я один. У меня оберег от этого шайтана есть, — сказал Ходжа.

После посещения скита, общения (хоть и проспал он многое) со старцем и смерти отрока что-то перевернулось в душе у Насреддина. Обуяла его злость. На себя пенил Ходжа. Не понял он сразу, для чего дракон отметил его знаком «серпент иммунитас», как называл его Еронкин. Змий на золотой пластинке уберег барышню Машу от лютой болезни, что несли чарги, — и это тоже был знак, подсказка ему — Ходже. Выходит, тайна трех вод скрыта от Насреддина до тех пор, пока он равнодушен к чужой беде, пока живы колдуны Мора и ее уродливые птицы.

Насреддин ступил в сумрак склада. Под ногами захрустело битое стекло, до рези в глазах завоняло скипицаром и аммиаком. Пройдя с десяток шагов, Ходжа заметил на полу черные угли в форме человека: кто-то уже забредал сюда и нашел здесь вечное упокоение.

— Туда, — шепнул вдруг кто-то сзади.

Ходжа оглянулся. Презрев опасность, за ним шел Прохор.

— Уходи, слушай! Уходи, тебе нельзя! — принял уговоривший Насреддин, но Прохор отмахнулся и направился к распахнутой настежь двери, за которой зияла темень. Послышалось хлопанье крыльев. Сначала одиночное, но спустя мгновение звук разросся до сотен, а то и тысяч ударов и слился в единый гул. Из двери хлынула стая чарг. Метнувшись в направлении Ходжи, птицы, будто испугавшись чего-то, стали резко сворачивать, как то выделывают в полете летучие мыши. Стая кружила над головой Насреддина, а он в страхе вжимал голову в плечи и шептал, шептал не переставая: «Ай, шайтан, шайтан!»

Ни один коготь, ни один клюв не коснулся Ходжи, озаренного в тот миг не только пламенем факела, но и ярким изумрудным сиянием, исходящим от змия на руке.

Впереди сверкнула молния. Ничего подобного Насреддин не видел прежде. Прохор, еще минуту назад наотмашь рубивший саблей чарг, вдруг сделался огненно-красным. Спустя мгновение тело ординарца, ставшее рыхлым, как древесная зола, осыпалось, и лишь уцелевшая каким-то чудом одежда с остатками праха теперь смутно напоминала человеческий силуэт.

— Прохор, стой! — долетел с улицы запоздалый вопль. — Прохор, да как же ты!.. Зачем ты!.. Сукина дочь! Спуску не дам! — заревело уже рядом, и Ходжа узнал голос и интонации рассерженного до крайности Еронкина. Кто доложил графу об их с ординарцем самовольной вылазке, Насреддин не знал, но появление сильного духом человека с печатью змия на пальце вернуло Ходже утраченную было смелость.

— Пропади ты пропадом, тварь! — Граф с ожесточением швырнул факел в темное чрево комнаты, у дверей которой нашел свою смерть ординарец. Вспыхнувшая солома осветила ряды полок, сплошь усыпанных тысячами яиц. Огонь быстро перекинулся на сухую подстилку, языки пламени поползли вверх и вширь.

Черная тень испуганно заметалась в комнате, послышался истошный визг, подобный, но много пронзительнее

того, что издают на бойне свиньи. Молнии остройми вспо-
лохами полетели в Еронкина, но непостижимым образом
смертоносные жала устремлялись графу под ноги, не при-
чинив никакого вреда. Самого же Еронкина будто упеле-
нало нежное, но неприступное изумрудное сияние.

Сабля в руке графа вращалась подобно лопастям ветря-
ной мельницы в ураган. Чарги десятками валились на пол,
лишенные голов, крыльев, гузна.

Из комнаты, из набирающего силу огня выступила Мора. Пучеглазая ее голова с кривым клювом оказалась аб-
солютно лысой. Полы платья колдуны горели, но Мора, казалось, не обращала на это внимания. Все ее существо
рвалось покарать человека, посмевшего уничтожить клад-
ку. Выставив сухие когтистые руки-лапы, мерзкое чудо-
вище, более не уповая на колдовство, сама бросилась на
Еронкина.

Ходже и раньше приходилось держать саблю в руках, но никогда прежде Насреддин не использовал смертоносного оружия. Смекалка, хитрость и острый язык работали не хуже клинка, но в этот момент Насреддин не мог полагаться на силу слов. Сабля Прохора, кой Ходжа пытался сбивать на лету чарг, с присвистом разрезала воздух и снесла с плеч омерзительную голову колдуны. Шумное пламя целиком поглотило Мору. Отсеченная голова, ударившись об пол, рассыпалась в прах.

12. Три воды

Склад полыхал споро. Языки пламени и сизый дым лезли наружу из узких, расположенных под самой крышей окон. Уцелевшие чарги искали укрытия от огня и солнечного света, усиленного яркостью свежих ноябрьских сугробов.

Еронкин взглянул на грязные свои руки и брезгливо поморщился. Зачерпнув горсть снега, он растер его. Ходжа смотрел, как мутная вода капает с дымящихся паром рук, и глаза его, словно лишившись пелены, узрели всю простоту разгадки тайны трех вод.

— Нашел! — воскликнул Насреддин.

Из трубы невысокого сруба на берегу Яузы валил белый дым. Ходжа подвел осла к самой двери.

— Эй, ты что, с ишаком туда хочешь войти?! — закричал хозяин.

— Да, уважаемый, — ответил Ходжа.

— Нет, слушай, мое заведение не для ослов! Оно для людей!

Ходжа вынул из складок кушака перстень с крупным ограненным камнем.

— Э-эй, друг, заводи хоть целый табун! — лично распахнув дверь перед ослом, воскликнул банщик.

Не многим в Москве приходилось слышать крик испуганного ишака, поэтому не было ни одного человека, прошедшего мимо бани на Яузе и сохранившего спокойствие на лице. Когда же на бедного распаренного и исхлестанного веником Гонгу высыпали ведро снега, он вырвал поводья из рук Ходжи и с невероятным проворством бросился наутек.

— Зачем ты ишака искупал? — спросил банщик, когда Гонга скрылся за деревьями прибрежной рощи.

— Один мудрец из Хорезма, — ответил Ходжа, — сказал, что только три воды этой земли способны вернуть Гонге облик дракона.

— Сказка, да? — хмыкнул банщик.

— Ойе! Восточная сказка, — усмехнулся в бороду Ходжа.

Послесловие

В городе Хива имя Ходжи Насреддина было известно каждому. Истории о нем передавались из уст в уста и давно уже жили собственной жизнью. Много лет назад хан Хорезма даже объявлял награду за поимку этого богохульника, поэтому когда в ворота Хивы вошел одинокий путник, то представился он Ходжой Матренним, на что предъявил скрепленный печатью документ, выписанный времененным правителем далекого города Москвы.

Ходжа поселился в Хиве, обзавелся семьей и занялся красильным ремеслом. Слава об отличном вкусе мастера в выборе красок и умении превращать тонкий шелк в нежную золотую дымку уступала известности возмутителя спокойствия, но все же достигла его родной Бухары. Ходили слухи, что у Ходжи Матренина есть друг дракон по имени Гонга, который приносит золотую краску из страны Кыи-Лха. Сам Ходжа лишь улыбался на такие рассказы и отвечал, что это всего лишь красивые сказки.

Сергей Раткевич
Элеонора Раткевич

Золотая стрела и стальная игла

Было то не в наши дни, а давным-давно, в чужедальнем государстве — таком чужедальнем, что солнце в нем все только восходит да восходит, а закатиться ему недосуг.

Жил да был в том краю царь-государь, Микадою именуемый. И было у того Микады три сына — Таро-царевич, Дзиро-царевич и Сабуро-царевич. Вот как-то раз призвал к себе Микадо сыновей своих и говорит им:

— Что-то вы, сынки мои, непочтительны ко мне.

Ну, а раз о почтительности речь зашла, дело ясное — внуков Микаде подавай. Это ведь и в наши дни так — если вдруг родителям то не этак и это не так, значит, внуков им пора заводить, тут им и заделье. Мигом они от тебя отстанут, внуков воспитывать примутся, покуда несмышленые и возражать не могут.

Сыновья Микадины все это мигом поняли. Да вот беда — неженатые они покуда. Стало быть, издалека Микадо речь ведет.

— Хай, батюшка, — говорят. — Мы с твоей волей согласные. А на ком тебе нас женить угодно, чтобы мы тебе свою почтительность выразить смогли и внуками обеспечили?

Призадумался Микадо. Князей-дайме в чужедальнем краю видимо-невидимо, что цветов на сакуре, и дочек у них довольно, да вот беда — к одной посватаешься, другие обидятся. И князья обидятся. А когда князья обижаются... нет уж, лучше и вовсе сыновей не женить.

Но ведь и внуков-то хочется!

И решил Микадо положиться на судьбу.

— А возьмите вы, сыны мои, по стреле золотой, натяните луки тугие — куда ваши стрелы упадут, там и невесты ваши.

Первым пустил стрелу Таро-царевич. Упала она на широкий сегунский двор. Подняла стрелу сегунская дочь.

Выстрелил средний сын, Дзирио-царевич. Упала стрела на самурайский двор. Подняла стрелу самурайская дочь.

А у младшего Сабуро-царевича взвилась стрела под облака благовещие и полетела далеко-далеко — за леса, за моря, за высокие горы, за широкие реки, за тридевятое царство, тридесятое государство, триодиннадцатое графство, тридвенадцатое герцогство, да прямехонько в тричес тырнадцатую юрисдикцию.

Запечалился Сабуро, да ведь делать нечего. Братьям — свадьбы играть, а ему — стрелу искать.

Шел Сабуро, шел, невесть сколько гор одолел да рек переплыл. Долго ли, коротко — вышел он к синему морю, такому широкому, что ни в сказке сказать, ни в аниме показать. Редкая птица долетит до середины его. Ни один корабль не насмелится пересечь его гладь — уж если птицам боязно, так ведь кораблям и того страшнее. Некому перевезти Сабуро через море.

Тут, откуда ни возьмись, навстречу ему рыжая кицуне о девяти хвостах.

— Что, — говорит, — царевич, невесел, ниже плеч буйну голову повесил?

— А как же мне, кицуне, веселиться, если не могу я батюшку волю исполнить? Где моя стрела, там и судьба моя — а стрела улетела за сине море, и никак мне через него не перебраться. Прямо хоть хаакири устраивай.

Кицуне ресницами хлоп-хлоп.

— Ты что же думаешь — ежели ты себе пузо разрежешь, от этого враз на той стороне моря окажешься?

— А что же мне еще делать? — спрашивает Сабуро.

Кицуне только хвостами махнула. Всеми девятью.

— Это, — говорит, — не служба, а службишка. Я тебя мигом через море доставлю, глазом моргнуть не успеешь.

— Да ты же ростом невелика, — дивится Сабуро. — На тебя, чай, и верхом-то не сядешь.

— Вот еще — верхом на меня садиться! Ишь какой прыткий царевич выискался. Я тебе что, лошадь? Нет уж, ты меня за хвост хватай да держись крепко.

— А... за который? У тебя ж их девять...

— А тебе не все ли равно? Ни один не отвалится.

Послушался Сабуро, ухватил кицууне за первый попавшийся хвост. Потянулась кицууне да как прыгнет — ух, только ветер в ушах засвистел! Несет царевича лиса за темные леса, за синие моря, за высокие горы, за широкие реки, за тридевятое царство, тридесятое государство, триодиннадцатое графство, тридвенадцатое герцогство, да прямехонько в тричетырнадцатую юрисдикцию.

— Все, — говорит, — приехали.

Дивится Сабуро.

— Где это мы? Экие края диковинные...

— А вот нечего было стрелять со всей дури! Не чемпионат ведь, а сватовство. Ищи теперь свою стрелу.

А что ее искать, коли вот она? Смотрит Сабуро — болото перед ним непролазное, на краю болота Змей Горыныч сидит трехголовый и стрелой золотой у средней головы в зубах ковыряет.

— Что, — говорит, — Иван-царевич, и ты целоваться пришел... зар-р-раза?

А у самого во всех шести глазах — тоска смертная.

— Прощения прошу, — говорит ему Микадин сын, — но это вы меня с кем-то спутали. Никакой я не Иван-царевич, меня Сабуро зовут.

— Да какая разница, — отвечает Змей, — кое са у тебя буро, а кое пего, да хоть вороно в яблоках, коли ты все едино Ванька! У тебя ж это на лбу во-о-от такенными буквами написано. Ну ты сам посуди — кого, кроме Ваньки, вот так вот за здорово живешь на болото пошлют?

Растерялся тут Сабуро. На кицууне оглянулся — а та знай себе молчит да усмехается. И ресницами хлоп-хлоп.

— Да никто меня на болото не посыпал, — говорит Сабуро. — Меня вообще-то жениться послали.

Поглядел на него Змей Горыныч и только вздохнул тяжелешенько.

— Не женись, — говорит, — на мне, Иван-царевич. Я тебе еще пригожусь.

— Да я, достопочтенный Рю-сами, даже и не думал...

— Оно и видно, что не думал. А не то бы смекнул — ну, какой я тебе, к шуту, сама? Это вот она — сама, — говорит Змей да на кицууне кивает. — А вот ты, к примеру — сам. И я — сам. Хотя я, наверное, все-таки сами. Трое ведь меня. Три богатыря было — а оно вон как обернулось...

Кицууне и слова не примолвила. Знай себе молчит да усмехается. И ресницами хлоп-хлоп. А Сабуро все ж таки любопытно. Вот он и решился.

— Как же это, — спрашивает, — достопочтенный Рю-сами, из трех богатырей вы вдруг получились?

— Да как-как, — средняя голова говорит. — Сообразили на троих. Вот теперь и до веку нам на троих соображать.

— Бились мы с одним колдуном могучим, — левая голова сказывает, — целую рать он на нас навел. Много крови пролилось, покуда извели мы ее. А как одолели мы колдуна, ну так в горле пересохло, никакого спасу нет. А у колдуна в погребах бочонок был заветный. Ну, мы его и того... оприходовали. На троих. А наутро проснулись — глядь, а мы уже и не мы, а зеленый змей.

— А главная беда, — правая голова печалится, — что не сумели мы своего горя потаить. Вот не поверишь, Иван-царевич, — совсем девки одолели, изводу на них нет! Они ведь, дурехи, сказок наслушаются, так у них на семь бед один ответ: поцеловать в уста сахарные, так все само собой и образуется. Так табунами и лезут! И только зазевайся — тут же чмокнут! Не успеешь от одной губы утереть, другая из кустов лезет! Ты от нее бежать, а на дороге третья в засаде сидит. Хоть под землю заройся — а тебя уж четвертая поджидает. И у всех один сказ — давай, мол, целуйся, я ж из тебя, зеленого, живо человека сделаю. Сделает, как же! Ни днем от них покоя, ни ночью. Только-только я от них улизнул, а тут ты. Ну, я грешным делом и подумал, что тоже целоваться.

— Успокойтесь, достопочтенный Рю-сами, — отвечает Сабуро. — Не буду я вас целовать, честное самурайское.

— И лисичка твоя тоже не будет? — спрашивает Змей Горыныч, а сам этак опасливо на кицууне косится.

— Не будет, — говорит тут кицууне, — даже и не надейтесь. Вы тут что себе выдумали? Я лисица порядочная, с малознакомыми драконами не целуюсь.

Тут Змей Горыныч повеселел.

— Ну, — говорит, — уважили так уважили. Раз вы на мне жениться не будете и целовать не станете, я вам за такое добро отслужу! Чего вам надобно?

Так ведь ясное дело — невесту надобно. Раз уж Змей Горыныч стрелу подобрал — ему невесту и искать.

— Дело нелегкое, — призадумался Змей. — Хорошую невесту не враз сыщешь. Разве, может, в дальних краях...

Пригорюнился царевич.

— Эх, — говорит, — опять по дорогам бродить, ноги бить. Я уж столько путей обошел, через всякий лес про-дирался, на всякую яму карабкался...

— Это как, — дивится Змей, — на яму — и вдруг карабкаться? Яма — она ведь на то и яма, чтобы в нее падать, а карабкаться на нее никак невозможно.

— Да нет, — успокаивает кицууне, — все верно. Просто по-нашему «яма» — это гора.

— Дивны края ваши, — говорит Змей. — Что ни гора, то яма...

А Сабуро и дела нет. Он знай на кицууне косится: вдруг да сжалится и отнесет его в дальние края? А та догадалась и аж хвостами всплеснула от возмущения. Всеми девятью.

— Ни-ни, — говорит. — Даже и не надейся. И так уже чуть мне хвост не повыдергал. Второй раз не потащу. Я лисица, а не пассажирский транспорт. Вот пусть тебя Рю-сами несет, коли охота.

А тому, ясное дело, тоже неохота: сам царевич, да еще доспех самурайский в придачу — тяжелехонько!

— Постой, — говорит, — Иван-царевич! Зачем тебя таскать? Сам поедешь. Я тебе коня своего богатырского подарю. Вот ей-слово, подарю! Хороший конь, крепкий, за троих сдюжит. Но и норову у него тоже на троих...

Сабуро и смекает:

— Так он что — тоже... сообразил?

— Тоже, — вздыхает Змей. — А ты как думал? Слыхал ведь, как говорят люди — «пьет, как конь»?

— И он теперь тоже... трехголовый?

Змей в ответ головами помотал:

— Не трехголовый он. Троекратный. Да ты сам увидишь.

Свистнул Змей Горыныч тремя посвистами богатырскими — и явился на зов троекратный конь Сивка-Бурка-вещая Каурка. Бежит — земля дрожит, дышит — огнем пышет. А сам из масти в масть, что ни шаг, переменяется. Вот только был сивый — а уже и бурый, еще шаг ступил — каурым сделался.

Сабуро-царевич аж рот разинул.

— Ой, — говорит, — какой кавай... то есть какой коняй... в смысле — какая лошадь...

Сивка-Бурка прямо на него правит, растоптать ладит, а Сабуро мигом из сумы походной рисовую лепешку-моти достал и на ладони протягивает.

— На, — говорит, — отведай.

Сивка-Бурка так и встал на полном скаку. Он ведь таких лакомств отродясь не видел. Куснул моти — и зубы завязли: моти, оно вкусное, да клейкое. Вот покуда он с угощением разбирался, Сабуро его и оседдал, и взнуздал, и в седло сел.

Змей Горыныч аж прослезился:

— Вот это по-богатырски! Не всякий такого коня на скаку остановит!

Вот так они и отправились невесту искать. Сабуро-царевич на Сивке-Бурке скачет, верная кицуне рядышком бежит, Змей Горыныч поверху летает и местность разведывает.

Долго ли, коротко — добрались они до камня путеводного. Спустился Змей Горыныч на землю, читает, что на камне написано:

— Налево пойдешь — богатому быть... ну, это нам без надобности. Прямо пойдешь — убитому быть... ну да, хотел бы я поглядеть на того умника, который нас убивать возьмется, жаль только, недосуг нам. Направо поедешь — женатому быть... того-то нам и нужно!

Поехали туда, где женатому быть.

Сколько-то они этак проехали, глядят — избушка стоит. А над избушкой дым черный клубится. И не потому, что в избушке жарят-варят, а потому, что пожар в ней приключился. И доносится из той избушки храп молодецкий.

Змей Горыныч как увидел такое дело, мигом подхватился и назад полетел — воды набрать, пожар потушить. Так ведь огонь пожарного ждать не станет. Полил себя Сабуро водой из фляги походной да и ринулся в избу.

Видит он — полыхает изба вовсю. Стоит посередь избы печь. А на той печи Серый Волк спит без задних ног. Задние ноги отдельно на лавке спят и тоже храпят, да так, что огонь отпрыгивает.

Сабуро догадлив был. Подхватил Серого Волка под мышку, задние ноги — под другую, да и вон из избы. Тут как раз и Змей Горыныч на небе обозначился. Тяжело летит — вода в брюхе плещется. Подлетел поближе, как водой из всех трех пастей фуганул — живо пламя и потухло.

А Серый Волк знай себе храпит.

— Это он потому не просыпается, — смекнула кицу-не, — что без задних ног.

Приладила она Волку задние ноги. Чихнул Волк и проснулся.

Глаз еще не открыл, а давай браниться:

— Такие-сякие, немазаные-сухие, почто разбудили, в кои веки после работы выспаться довелось, уж таково я спал крепко...

Кицу-не и не стерпела:

— Крепко ты спал, еще бы крепче уснул, когда бы не мы — вечным сном!

Открыл Волк очи ясные, увидел лисицу аж о девяти хвостах — за голову схватился.

— Крепкая, — говорит, — медовуха была у Кота Баюна. Зaborистая. Но пить надо меньше.

— Да ты не на меня, — кицу-не говорит, — ты на избушку свою погляди.

Обернулся Волк — а там одни горелки мокрые. Тут он в ножки поклонился, за брань повинился, исполать сказал,

выспрашивать стал: откуда такие гости диковинные спасать его явились? Сабуро-царевич все ему подробно и обсказал. Принахмурился Волк маленько, поглядел на него задумчиво, но ничего не примолвил.

— Спас тебя Сабуро-сам, — кицуна говорит, — теперь у тебя гири — помочь ему невесту найти.

Волк только лапой махнул.

— Да какие это гири — и пуда не потянут! Работа у меня такая — добрых молодцев и всяких прочих царевичей к невестам возить. Вот сейчас лошадь его съем и повезу.

— Товарища верного самурай на съедение не выдаст, — Сабуро говорит, а сам уж за меч хватается.

А кицуна знай усмехается и ресницами хлоп-хлоп.

— Да ты на ту лошадь посмотри сперва, — говорит, — а уж потом хвались, что съешь.

Глянул Серый Волк на троекратную лошадь — аж попятился.

— Это, — говорит, — не лошадь. Это, — говорит, — просто постмодернизм какой-то. Нет, такого я не ем.

— Так и не ешь, — ворчит Горыныч. — Можно подумать, тебя заставляет кто.

— Можно подумать, — волк обижается, — оно мне нравится. Если хочешь знать, у меня от седел да уздечек, грив да хвостов в боку колотье и в груди изжога, на языке типун. Подковами и вовсе не отплюешься. А только ежели, я коня во всей амуниции не съем, мне богатыря не довезти. Грузоподъемность не та.

— Да зачем тебе его нести? — дивится кицуна. — Своим ходом поедет. Не бойся, не отстанет — лошадь-то троекратная. Ты только дорогу укажи.

На том и порешили. Впереди Серый Волк след тропит, дорогу указывает, за ним Сабуро-царевич на Сивке-Бурке скачет, верная кицуна рядышком бежит, Змей Горыныч поверху летает и местность разведывает.

Скоро сказка сказывается, не скоро дело делываеться. Долгоночко они этак ехали. Наконец видят — полянка прекрасная. А на той полянке терем стоит без окон, без дверей.

— Вот тут тебе и невеста, — Серый Волк говорит. — Невидáна-царевна прозывается.

— Чудно прозывается, — дивится Змей.

— Да где же чудно, коли верно. Несмейна — это коя не смеется, а Невидана — это кою не видал никто.

— Прячется, что ли, хорошо?

— Так ведь сами видите — ни окон, ни дверей.

Стали тут сваты да жених окна и двери искать. Во все стены попусту колотились, Невидану кликали, а все напрасно. Стоит терем, как стоял.

— Может, нам зычности не хватает? — смекает Волк.

Обрадовался Змей.

— Ну, это мы мигом! — приосанился, плечи могучие расправил да как гаркнет: — Эй, царевна! Выходи на молодецкий бой!

Кицуна знай усмехается.

— Ты, — говорит, — Рю-сами, еще бы на смертный бой ее позвал. Глядишь, аккурат бы и вышла. Нет, тут и зычностью не возьмешь, и силой не одолеешь. Тут смекалка надобна. Почто нам себя трудить, Невидану из терема хитрого добывать? Сама выйдет.

— А ведь и верно! — Сабуро-царевич подхватывает. — Бают, в наших краях как-то раз солнышко изобиделось: — небось, замаялось без передышки все восходить да восходить — вот и затворилось в пещере. Стали тут у пещеры песни да пляски играть, оно и выглянуло — то ли песельников послушать да поглядеть, то ли сковородником огреть, чтобы орали потише, да кто ж спрашивать-то станет? Только высунулось, мигом его изловили и на небо приладили: свети, мол, и никаких гвоздей!

Волк и смекает:

— Песни играть? Это мы мигом!

Махнул Серый Волк хвостом — очутилась у него в лапах балалайка. Дернул он за струны, запел:

Хорошо любить медведя
После полудня в лесу:
У него медовы уши
Да комарик на носу!

А кицуна знай усмехается и ресницами хлоп-хлоп.

— Хорошо, — говорит, — поешь, век бы слушала, да оказия не та. Не медведицу из берлоги выманиваем — царевну из терема. Тут умильное надо петь, жалостное.

Махнула кицуна хвостом, третьим слева — очутился у нее в лапах сямисэн заморский. Приладила она сямисэн яровчатый, тронула струны разрывчатые, запела жалобнешенько:

Ой вы, душеньки-подруженьки,
И чегой же это деется?
Симпатичный самураюшка
Совершает харакирюшку!

Кицуна поет, Волк подпевает. Хорошо выводят, душевно так:

Кимоно на ем шелковое,
Он такой еще молоденький!
Побежим скорее, бабоньки,
Отберем опасный ножичек!

И впрямь умильно. Змей Горыныч и тот в три носа зашмыгал.

Тут в тереме окошко малое обозначилось. На окошке жаба сидит о трех головах, слезами уливаются, тремя платками расшитыми утирается.

— А что, — спрашивает, — дальше-то с самураюшкой приключилось?

Серый Волк только лапами всплеснул, балалайку выронил.

— А ты, — говорит, — кто такова будешь, чтобы спрашивать?

— Царевна я, — жаба ему в ответ. — Невиданою кличут.

Тут даже кицуна не до смеха стало. Ресницами хлопать и то позабыла.

— Да как же так?

— Верно говорю, — жаба квакает. — Вот ты царевну видишь?

— Нет, — честно отвечает кицуна.

— И я — нет, — Серый Волк говорит.

— Вот! А она есть! И не одна даже. Трое нас.

Тут и Змея Горыныча интерес взял.

— Сказывай, — молвит, — все как есть.
— А что тут сказывать? Три нас дочери у батюшки-царя было. Вот как мы в возраст вошли, приехал к батюшке колдун. Злющий, аж волосья дыбом, а сам из себя страшный, как глаз на затылке, — раз посмотришь, всю жизнь икать станешь. Подавай, говорит, царь-государь дочерь твою за меня замуж. Мне любая годится. Которую укажешь, ту за себя и возьму. Батюшка с перепугу речи лишился: поди скажи такому, что ему не жениться, а в могилу хорониться впору, он тебя самого туда и уложит. Мы трое друг за дружку хватаемся, пищим: мол, не может ни одна за него замуж идти, такой у нас зарок, чтобы с сестрами вовек не расставаться. Колдун и говорит: «Ну, так и не расставайтесь!» И платочком этак справа налево махнул. Тут с нами эта беда и приключилась. С тем колдун и уехал. Во дворце крик, стон, плач. А тут еще умник какой-то удумал — мол, поцеловать надо царевен в уста сахарные, тут-то они и расколдуются.

— Ох, — поддакивает Горыныч, — это и правда напасть так напасть!

Жаба только вздохнула.

— Верно говоришь. Ведь куда ни ступи — везде целоваться лезут, а ты и квакнуть не можи — мол, для твоего же добра все затевается, а ты мало что зеленая да пупырчатая, так еще и неблагодарная. Замучили меня целовальщики эти, сбежала я из дворца, раз уж я такая-сякая, да в тереме и затворилась.

Тут Серый Волк и встрял:

— Тебя, — молвит, — в которые уста целовали?

Жаба и в толк не возьмет.

— А какая, — спрашивает, — разница?

— А такая, — Волк ей в ответ, — что головы у тебя три, и при каждой свои уста. Вот и выходит, что в одни уста целовать — толку никакого. Во все трое надо разом.

Призадумалась жаба:

— Может, оно и верно, да только где мне такого целовальника сыскать, чтобы о трех устах?

— А что его искать, — смеется Волк, — коли вот он?

И на Змея Горыныча хвостом кажет.

Змей как уразумел, побледнел весь. То был как елки зеленые, а то весь салатовый сделался.

— Да я... — говорит, — да вы... да я... да чтоб я жабу целовал! Не дождитесь! А еще друзья называются!

Жаба изобиделась, надулась вся:

— Я, между прочим, тоже со змием зеленым целоваться не нанималась. Больно много чести. Слыши, царевич, а давай я лучше твоему коню в одно ухо влезу, в другое вылезу? Он же у тебя волшебный...

Сабуро так и попятился. И Сивку-Бурку собой закрывает:

— Товарища верного самурай на влезание в уши не выдаст! Не на то ему уши приделаны, чтобы по ним жабы лазили!

Кицуна тоже давай жабу урезонивать:

— Ты сама посуди — чай, не поучение, не назидание, а как есть жаба, тебе в одно ухо влезть да в другое вылезть не получится. Застрянешь. Намаемся тебя потом из ушей выковыривать.

Пригорюнилась жаба.

— Так, — говорит Волк, — мне эти отговорки слушать надоело. Живо целуйтесь. А то хуже будет.

Испугались Змей да жаба, Волка и послушались. Наклонился Змей, подпрыгнула жаба — поцеловались.

Смотрит Сабуро, смотрят Волк да кицуна — экое диво приключилось! Стоит Змей Горыныч, как стоял, а перед ним о трех головах уж не жаба, а прекрасная Змеяна-Невидана. И глядит на нее Горыныч во все глаза. Вот все шесть.

— Люба ты моя, — говорит, — Невиданушка. Никому я тебя не отдам.

А Змеяна-Невидана и сама с него глаз не сводит. Вот все шесть и не сводит.

— Прости, Иван-царевич, — говорит Змей, — а только это моя невеста, а ты себе другую ищи. Оно, конечно, неладно вышло, что я себе зазнобу по сердцу нашел, а ты остался холост, неженат...

— А иначе и быть не могло, — Волк говорит. — Вы ведь в ту сторону ехали, где женату быть, а не где замужней стать.

И к Сабуро повернулся:

— Ну вот ты мне скажи, как тебе жениться, коли ты не добрый молодец, а вовсе даже красна девица?

Змей Горыныч да Змеяна-Невидана где стояли, там и сели.

А Сабуро зарделась, как сакура махровая, и ресницами хлоп-хлоп — не хуже, чем кицуна!

— Да как же ты, — шепчет, — догадался?

Волку только смех:

— Да чего тут догадываться, коли ты сама мне все про себя и обсказала? Ты коня на скаку остановила? Остановила. В горящую избу вошла? Вошла. Примета верная, не обманет. Это разве лисичке твоей невдомек было.

А кицуна знай усмехается.

— Да мне, — говорит, — с самого начала было вдомек.

А молчала я про то, чтобы судьбу не спугнуть.

Змею со Змеяной любопытно:

— Это какую ж еще судьбу?

— А такую, что Похмельный Подмастерье накудесил!

— У батюшки моего Микады детей долго не было, — начала сказывать Сабуро-царевна.

— Ну, это с царями завсегда так. — Змеяна поддакивает. — Это дело знакомое. Без сильномогучего волшебства — никак.

— Вот и решил мой батюшка Микадо Пьяного Мастера позвать.

— Это правильно, — одобряет Змей. — Оно и у нас так. Ежели, к примеру, яблочко надкусенное испортится или тарелочка заморская работать не желает и всякую ерунду кажет, да хоть бы и отхожее место засорится — придет распьяным-пьяным мастер и все исправит.

— Только вот Мастер был пьян, и фокус не удался. Уж так пьян, что ни на ножках устоять, ни чарку в ручках удержать. Где уж тут волшебствовать! Вот он и выслал взамен себя Похмельного Подмастерья. Батюшка-то сразу не разобрался, принял его со всем почетом, а Подмастерье с похмелья возьми и бухни: родится у тебя, царь Микадо, три сына! А родились двое моих братьев и я. Похмельному

Подмастерью что — соврет, недорого возьмет. А люди всякое толковать станут. Иной скажет, что подменили младшего царевича. А кто и такое слово брякнет — мол, и вовсе дите это не от батюшки народилось, а неведомо от кого. От таких разговоров недолго и лицо потерять. А Микадам без лица никуда. Ни за подданными приглядеть, ни измену вынюхать, чарки и той не выпить. Потому как и глаза, и нос, и рот — все они при лице соблюдаются. Вот и пришлось матушке тайну таить — от всех, а пуще всех от батюшки. Он и знать не знает, что царевна я, а не царевич. Потому и жениться послал.

— Ну, предсказанное исправить — не избу кверху погребом поставить. Выйдешь замуж, станет зять батюшке твоему сыном богочеловеческим, напророченное и исполнится. Вот только где ж нам тебе добра молодца в пару сыскать?

— Али нету? — щурится кицуна.

— Есть, — говорит Волк, — как не быть. Всем взял — и статен, и знатен, и красив, и умен, и храбр, и силен, и во всяком деле умелец. Мечом ли махать, землю ли пахать, песни ли играть, в шашки ли шахматы заморские — во всем как есть первый. А только он у Кощяя Бессмертного в темнице в цепях сидит.

— А если он такой во всем первый, — не верит кицуна, — как же его тогда полонить удалось?

Змей Горыныч аж лапами всплеснул.

— Что ты, — говорит. — Что ты! Это ведь не шутки, это понимать надо. Кощей, он ведь бессмертный. Смерть его на конце иглы, игла в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, сундук на дубе вековом — а дуб тот Кощей пуще глаза своего бережет! Сколько богатырей пытались ту иглу добыть, да зря голову сложили. Такой уж Кощею предел положен, что ни один добрый молодец его не одолеет. Вот он и обнаглел.

— Так я, — Сабуро-царевна говорит, — и не добрый молодец, а вовсе даже красна девица.

— Что ты! — У Змия аж дым из ушей. — Никак не можно! Чтобы красна девица одна-одинешенька Кощяя вовать пошла! Нет уж, мы с тобой пойдем!

Куда Змей, туда и Змеяна. Мыслимое ли дело — любушку своего чешуйчатого на смертный бой без себя отпустить? Вдруг он чего не приметит, о чем не догадается? Три головы — хорошо, а шесть — лучше. Я, мол, с тобой пойду — и весь сказ.

— Да нет, — Сабуро молвит, — с вами меня Кошечка и близко не подпустит. Вы уж лучше меня здесь обождите.

— Ты хоть Волка Серого да лисичку свою с собой возьми для надежности...

— Это можно, — Сабуро говорит.

— Да мы еще тебе по чешуйке дадим — ты их береги, а если понадобимся, потри. Тут же мы и прилетим.

На том и порешили. Змей да Змеяна ждать остались, а Сабуро с Волком Серым да кицуне рыжей отправилась жениха себе добывать. Впереди Серый Волк след тропит, дорогу указывает, за ним Сабуро-царевна на Сивке-Бурке скачет, верная кицуне рядышком бежит.

А Кошечка в те поры посередь замка своего на троне злой-презлой сидел, ровно крапива огородная на грядке. Он от витязя плененного в шашки-шахматы заморские три раза подряд детский мат получил — ясное дело, радости мало. А тут глядит он — близится к его вотчине богатырь незнаемый на коне неслыханном, да с ним еще и волк с лисой диковинной. Обернулся Кошечка черным вороном, полетел на встречу — мигом вблизи очутился. Ударился он оземь, вновь собою сделался, ногу подвернул да шишку на лбу набил.

— Я, — говорит, — и в мыслях не держал зелена вина трехсотлетнего бочонок открывать, да сама мне к нему закуска приехала: добрый молодец на обед, зоопарк — на ужин.

Махнула тут кицуне хвостом, вторым справа — обернулся самурайский доспех кимоно шелковым. Махнула четвертым слева — заблистали у Сабуро-царевны в прическе шпильки золотые, драгоценные. Кошечка как глянул — враз от такой красоты последнего соображения лишился.

А Сабуро-царевна губки алые надула и ресницами хлоп-хлоп — не хуже, чем кицуне.

— Ну вот, — говорит, — обижают меня тут. Я в кои веки замуж собралась — а меня слопать хотят. Нет уж, мне такой

жених обжорливый ненадобен. Верные мои слуги, любезные други — поворачиваем назад!

Мигом Кощей вновь в уме сделался, иное запел:

— Ты прости, душа-девица, это я любя! Нешто ж я дурак — счастье свое съесть?

— Ну, твое счастье али нет, — Сабуро молвит, — мне покуда незнамо. Я ведь давно себе жениха ищу, да никто меня, богатырку, замуж не берет. Боятся. Просыщала я, что есть на свете Кощей Бессмертный, против которого ни один богатырь не сдюжит, вот и приехала — авось хоть он не убоится.

— Не убоюсь! — Кощей кивает. — Вот ничего не убоюсь!

— Да я ж не знала, что ты такой старый да костлявый! Ну сам посуди — куда тебе жениться? На свадьбе плясать пойдешь, костями загремишь — людей насмешишь.

Кощей чуть не плачет:

— А что же делать, светик мой ясный? Я бы и рад, да ведь нельзя же омолодиться...

— Как раз можно, — Сабуро-царевна ответствует. — Вышью я тебе рубаху свадебную заморскими цветами-лотосами, наденешь ты ее и враз омолодишься. Только шить надо не абы какой иглой, а волшебной.

— Точно-точно, — скалит зубы Волк. — Дело верное, даже и не сумлевайся. Враз будешь молоко с кровью... тьфу — то бишь кровь с молоком!

— Сам на себя не надивуешься, — кицуна вторит. — Была бы игла волшебная, а за делом не станет.

Боязно Кощею — одна у него игла волшебная, со смертью на острие, да ведь отродясь он такой красавица не видывал! Страсть как хочется жениться. Опять же — сам сказал, что не убоится ничего, никто за язык не тянул. Это пусть богатыри дрожат, а Кощею себя с ними равнять не-пригоже.

— Есть, — говорит, — у меня такая игла. Да только достать ее мудрено.

— А вот это, — отвечает Сабуро-царевна, — не моя печаль. Хочешь жениться — достанешь.

Делать нечего, пришлось Кощею к заветному дубу дорожку торить. Она за долгие годы репьем позаастала, кра-

пивою. Обстрекался Кощей да репьев понацеплял — однако был он упорен и до дуба добрался. А сундук высоко висит, от земли едва видать. Как тут достанешь? Принялся Кощей дуб тот бурею гнуть, молоньами жечь — а дубу все ни почем, стоит себе и не шелохнется. Кощей ведь сам на него заклятье такое наложил, чтобы ничем этот дуб свалить было нельзя. Некуда деваться, пришлось Кощею на дуб лезть. Лез-лез, ободрался весь, упарился. А кицуна с волком внизу знай животики надрывают со смеху. И то сказать — сколько богатырей сильных Кощей злой смертью умертвил, сколько витязей в темницах держал, сколько народу обездолил — а теперь и на него управа сыскалась. Нашла, значит, коса на камень.

Долез кое-как Кощей до сундука, на том дело и застопорилось. Златая цепь не рвется, не ломается, хитрый замок не открывается. Сам Кощей так их заклял, чтобы ничем ту цепь было не порвать да замки-запоры хитрые не отпереть. Что тут делать станешь? Принялся Кощей с горя сундук гладить. Гладил, гладил, прогрыз в сундуке дырку малую. Обрадовался, стал шибче грызть. День грызет, другой — солнышко уж на закате. Тут заяц из сундука вывалился и озарь шлеп! Пал на него Кощей, пузом к земле прижал, а заяц вывернулся и шасть! Только его и видели. Кощей и наладился за ним вдогонку — день бегал, два, уж и третий минул, а зайца Кощей так и не поймал.

Взмолился слезно:

— Волчинька, серенький, помоги зайца поймать! Век помнить буду, что хочешь для тебя сделаю. Вот хочешь — капкан тебе подарю колдовской, самодумный! Такой, чтобы охотников сам ловил!

А у Волка уже и смеяться сил нету.

— На что мне, — молвит, — твой капкан? Ты сперва зайца поймай, а потом уж охотников. Да хоть бы я тебе зайца и изловил, что толку? Уж если ты зайца на земле не удержал, утку в небесах и подавно не удержишь.

Кощей перед кицуна скатертью стелется:

— Лисонька, рыженькая, поймай да поймай утицу! Я тебе ленты подарю, атласные, золотом шитые, на каждый хвост по ленте!

Кицуне только плечиком повела:

— На что мне твои ленты? За кусты цепляться, бегать мешать — были ленты златошитые, будут тряпицы-лохмотья. Ин ладно, поможем мы тебе. Не то ты еще сто лет провозиешься.

Метнулся Серый Волк в лес. Не успел Кощей и глазом моргнуть — ворочается Волк с добычею. Заветного зайца за шкирку несет. Увидел заяц Кощея, заверещал, дернулся — вылетела из него утица. Кицуне подпрыгнула — и цоп ее за хвост! Испугалась утица, забилась — и выпало из нее яйцо. Да не простое яйцо — золотое, драгоценными камнями изукрашенное. Ухватил его Кощей, сияет что твой самовар.

— Вот, — говорит, — яйцо чародейное. Не кому попало — Фабержею-мастеру работу заказывал!

Фабержеева работа крепкая, да еще и сам Кощей чары накладывал. Уж он это яйцо бил-бил — и об камень, и о железо, и даже о лоб свой — да так и не разбил. Мышку позвал, чтобы хвостиком махнула, — нет, не вышло и у мышки ничего.

— Слушай, — кицуне говорит, — это ведь все-таки яйцо, хоть и Фабержеем снесенное. Ты его сварить не пробовал?

Стал Кощей яйцо варить. Три дня в кипятке варили — не сварил. Три дня в водке варили — не сварил. Рассудил, что яйцо не простое, а значит, простая водка его не возьмет — за царскую принялася. Царская водка сильна — варили в ней Кощей яйцо еще три дня, на третий проела царская водка в Фабержеевой работе да Кощеевом колдовстве дырку малую.

Обрадовался Кощей, стал яйцо трясти — и вытряс-таки из него иглу стальную.

— Вот, — говорит, — невестушка, игла, самая что ни на есть волшебная. Волшебнее не бывает! Шей мне теперь рубаху молодильную!

Махнула кицуне правым хвостом — явилась ткань шелковая. Махнула левым — явились нитки чудесные. Горят, как жар, аж глаза ломит.

Стала Сабуро-царевна шить-вышивать. Шьет — не торопится. А Кощей за ней следит и с иглы своей глаз не сводит. Как тут быть?

Подмигнула кицуна Волку. Махнул Серый Волк хвостом — очутилась у него в лапах балалайка. Махнула и кицуна хвостом, третьим слева — очутился у нее в лапах сямысэн заморский. Приладила она сямысэн яровчатый, тронула струны разрывчатые, запела жалобнешенько. Кицуна поет, Волк подпевает. Хорошо выводят, душевно так. Опять про самураюшку молоденького песню завели. Умильно поют, стараются. Кощей и не выдержал. Что Кощей, что родня его заморская, все они на умильные песни слабы. Сморило его. Уснул Кощей крепким сном.

Вот как он захрапел, переломила Сабуро-царевна иголку стальную со смертью Кощеевой да наземь и бросила.

Вскричал Кощей страшным криком — да так, не пробудясь, прахом и рассыпался. И все его царство заколдованное рассыпалось. Где был замок с темницею, стоит теперь березка с синицею. Березка шумит-качается, синица песни говорит-заливается. А под березкой добрый молодец сидит и на Сабуро-царевну любуется.

— Кто ты, — говорит, — краса несказанная? Лучше тебя на всем белом свете нет, да и быть не может...

А Сабуро-царевна зарделась, как сакура махровая, и ресницами хлоп-хлоп — не хуже, чем кицуне!

— Я, — говорит, — невеста твоя. Коли ты не против, конечно.

А витязю с чего бы противиться? Глядит он на нее во все глаза, да так, словно не в его, а в ее груди сердце его бьется.

Тут Серый Волк подмигнул кицуне и говорит:

— Ну вот, служба наша справлена, теперь и о себе подумать можно.

Крутился Серый Волк посолонь — обернулся добрым молодцем. Крутилась и кицуна — обернулась красной девицей в кимоно шелковом да при шпильках драгоценных. Взял ее Волк за руки белые, да так и замер. Глядит на нее не наглядится, дышит не надышится.

Долго ли они так стояли, про то мне неведомо. Да припомнила царевна про чешуйки змеиные. Достала их, потерла — глядь, а уже и Змей Горыныч со Змеяной-Невиданой в небе обозначились. Подхватили они Волка с кицуне, Сабуро-царевну с витязем, да и с Сивкою-

Буркою, и понесли обратно — за темные леса, за синие моря, за высокие горы, за широкие реки, за тридевятое царство, тридесятое государство, триодиннадцатое графство, тридвенадцатое герцогство, да прямехонько в тричетырнадцатую юрисдикцию: три свадебки играть, жить-поживать да добра наживать. Они и посейчас живут, коли не умерли.

На том устарелле конец, а кто читал — молодец.

Там, где мы есть

1. Упыри и непогода

С утра шел рыбный дождь, а это была дурная примета. Ежели, например, с неба сыплет манная каша, то это к сытному обеду, а вот рыбой и зашибить может, почище града. И падала не какая-нибудь мелкая иваси, а здоровенные рыбины, среди которых Пшемеку, попавшему в самый эпицентр непогоды, встретились:

ставрида и сельдь атлантическая;

рыба-пила, от которой несло убийственным перегаром, рыба-молот и рыба-лопата, попытавшаяся сразу закопаться, но, придавленная палтусом, не успела и перестала жить;

черный марлин, черная акула и черная пиранья, в чьей стае белый амур выглядел угнетаемым меньшинством;

рыба-клоун и рыба-кукушка, успевшая прокукоовать только один раз, так как до земли было недалече;

морской язык, губан и южный нижнерыл;

круглый скат, прямоугольный скат и скат-многогранник;

падала такая экзотика, как финта и уару, и даже рыба фугу; последнюю Пшемек без труда опознал, так как ее подавали в одном восточном ресторане, но вкусившему ее первым попутчику стало нехорошо, и Пшемек есть рыбу не стал;

напоследок свалился пятнистый клыкастый губан, названия которого Пшемек не знал, но, когда рыба шлепнулась ему за шиворот, сразу понял — именно губан и именно клыкастый. А пятнами любой пойдет после произнесен-

ных Пшемеком фраз, в которых смешались польский и латынь, выученная еще на первом курсе академии. Со второго его с треском выгнали за амурные дела с дочкой ректора.

Наконец, рыбный дождь сменился самым обычным, мокрым и проливным, и Пшемек, ругая на всякий лад непогоду и стараясь защитить от влаги футляр со скрипкой, зашел на лужам. Он заприметил корчму издалека — одиночное покосившееся здание стояло на распутье дорог. Душа измученного жаждой и непогодой скрипача возликовала. Окрыленный Пшемек, разбрзыгивая грязь, рванул к спасительному убежищу, предвкушая пиво и курицу с такой зажаренной корочкой, что пальчики оближешь.

Хух! — дымный аромат, в котором смешались табачок из люлек, жарящееся, истекающее соком мясо и еще нечто необъяснимое, присущее лишь корчмам Малороссии, шибанул в нос. Пшемек поспешил занять столик в темном углу.

— Эй, корчмарь!

Посетителей было не так много. Скрипач пробежал взглядом, выискивая хозяина-корчмара, как вдруг... Матка боска, что это?! Вон у краснолицего пьяницы там, где у нормального человека нос иметься должен, свиное рыло торчит. А у тех двух, за соседним столом, что напоминают купцов-неудачников, пропивающих заработанные гроши, хвосты коровьи из-под штанов высовываются и нетерпеливо по полу марш похоронный выстукивают. Пшемек протер глаза — вроде и не пил еще, и палтусом его не так сильно пришибло, чтоб черти мерещились. И не только они — вон у беседующих неподалеку парубков кожа серая, того и гляди, кусками отваливаться начнет, будто они только сегодня из могил повылезали.

Пшемек уже решил делать ноги, не привлекая внимания, как на его плечо опустилась рука.

— Не спеши, мил человек.

Пшемек скосил глаза — длинные пальцы заканчивались скрюченными когтями. Затем скрипач перевел взгляд на владельца руки. Красные глаза на бледном лице смотрели на Пшемека, как обычно смотрят на приготовленную курицу.

«Упырь! — ахнул скрипач. — Колдун местный. Прямо-хонько на их шабаш попал».

— Сыграй что-нибудь душевное такое, чтоб слезу пробило, скрыпаль, — сказал упырь. — Потешь нас перед смертью.

— Чьей? — поинтересовался Пшемек. Голос предательски дал петуха.

— У тебя есть сомнения на этот счет?

Сомнений у Пшемека не было. Он посмотрел на лежащий возле тарелки нож — не ахти какое оружие, но просто так помирать не хотелось. Несмотря на внешнюю хрупкость телосложения, Пшемек побывал за свои двадцать два года не в одной драке — по пьяни, просто так и с ревнивыми мужьями.

— Даже и не думай, — ухмыльнулся упырь, демонстрируя желтые зубы. — Я заколдован, и обычным оружием меня не взять. Играй, ну! Можешь даже спеть напоследок, ежели умеешь.

Когти впились сильнее, пробивая кожу. Из кармана упыря выскочил маленький бесенок, прощокал по столу копытцами, исполнив что-то наподобие гопака, и утащил нож подальше от скрипача.

— К-хем, — прокашлялся Пшемек, дрожащими руками доставая из футляра старую потертую скрипку и прикладывая к струнам смычок. — «Села птаха билокрыла на тополю. Село солнце понад вэчир за поля», — запел он, лихорадочно выискивая пути к спасению.

Упырь как раз убрал когтистую лапу с его плеча, дабы не мешать незамысловатой мелодии. Но путей к спасению не было. Под курткой противным склизким холодом шевелился губан.

— «Покохала, покохала я до болю молодого, молодого скрыпала».

Слеза скатилась по щеке упыря.

«Может, не съедят?» — мелькнула у Пшемека мысль.

Черти за соседним столом пододвинули тарелки и аккуратно разложили столовые приборы.

Вдруг входная дверь распахнулась, и сквозь стену усилившегося дождя возникла огромная фигура, закованная

в польский латный доспех. Шлем на голове вошедшего был выполнен в виде волчьей морды и полностью закрывал лицо.

— Мне тут главный нужен, — пророкотал голос из-под шлема. — Остальные могут убираться под три ветра.

— Это еще кто такой? — удивился упырь. — Какого беса?

— Я тут ни при чем! — пискнул бесенок и спрятался в кармане упыря.

В корчме наступила тишина, в которой были слышны щелчки запрыгнувшего в корчму в поисках камня бычка-подкаменщика. Все присутствующие обратили взоры к вошедшему.

— Так я не понял, это ты, что ли, тут главный? — Незнакомец наклонил голову и явно попытался сплюнуть на пол, забыв, что он в шлеме. — А, трясца твоей матери!

— Убейте сучьего сына! — заорал упырь.

Нечисть вскочила с мест.

— Вот с этого и надо было починать.

Человек в доспехах вытянул откуда-то из-за спины бандолет и выстрелил. Голова упыря лопнула, как перезрелая тыква. Упырь завалился на лавку и сполз вниз.

— Матка боска, — прошептал Пшемек, прячась под стол.

Перед этим он заметил, как незнакомец отбросил в сторону ружье и выхватил саблю. Потом скрипач видел только ноги — разные: с копытами и босые, в рванье и обутые в ладные сапоги, и воспринимал всё на звук. В корчме визжали, стонали, лязгали зубами, звенели сталью и изысканно ругались, заворачивая такие выражения, которым удивился бы преподаватель латыни Моисей Гриппиус, собиратель фольклора малороссийской глубинки, застукивший, подлец, Пшемека с Марией как раз в разгар любовных отношений.

— Гр-р-р!

Голова чертюки-купца свалилась на пол и выпученными глазами свиньи под яблоками уставилась на Пшемека. Скрипач отодвинулся подальше от лужи вытекающей черной крови.

— А, чтоб тебя!

Пшемек переполз под другой угол дальше от дергающейся упавшей лапы. Затем музыкант выбрался на четве-

реньках из-под стола, подобрал скрипку и нырнул обратно. Потом перед ним появилась нога с копытом. Пшемек подхватил упавшую вилку и изо всех сил всадил в жирный мосол, с радостью услышав сверху пронзительный визг.

А потом всё как-то внезапно затихло. К столу подошли ноги в сапогах.

— Вылезь, где ты там?

Пшемек с осторожностью выглянул. Незнакомец стоял весь забрызганный кровью и вытирал саблю о плащ валяющегося рядом чертяки, из чьей ноги торчала вилка.

— А ладно ты его, — кивнул незнакомец, пряча клинок в ножны. — Как звать?

— П-пшемек.

— Налей горло промочить, а? Хе-х — совсем пересохло.

Незнакомец взялся за шлем, пытаясь стащить его с головы. Пшемек метнулся к бочонку с пивом. Затем обернулся и...

— Пся крев!

Кружка дзенькнула о пол, оставляя липкую пивную лужу. На Пшемека смотрела собачья морда с голубыми глазами и высунутым красным языком. С выбритого затылка незнакомца по заросшей жесткой щетиной скуле спускался ярко-рыжий оселедец.

— Ага, — ухмыльнулся незнакомец. — Песиглавец я. Рудый Сирко.

— Киноцефал? — удивился Пшемек.

Сирко вроде кидаться и перегрызать острыми зубами горло не собирался.

— Кто?! Сам ты этот самый... Говорю же — песиглавец.

Сирко взял протянутую кружку и попытался опрокинуть ее содержимое в длинную пасть. Пиво потекло по доспехам.

— А чтоб тебе счастья не было! Не смотри! — гаркнул Сирко Пшемеку.

Скрипач сделал вид, что обернулся, продолжая исподтишка наблюдать, как песиглавец лакает языком пиво из кружки.

— Хех! — сказал Сирко, вытирая ладонью мокрые губы и доспехи на груди. — Совсем другое дело. Эх, жаль,

что я главного завалил. Ведь только спросить собирался. Хоть бери сам себя за руки хватай. Как же теперь мертвого спросишь?

— Э-э-э... — проговорил Пшемек, указывая за спину Сирка.

— Чего? — поднял правое ухо Сирко.

— Э-э-э...

Позади песиглавца вставал упырь. Раны на его голове затягивались прямо на глазах.

— Его обычное оружие не берет! — выпалил Пшемек.

Сирко развернулся, вытаскивая из-за пояса пистоль, и бахахнул в лоб упырю. Голова повторно взорвалась кровавыми осколками, и упырь грохнулся на пол.

— Предупреждать надо, — проворчал Сирко. — После серебряной пули точно не встанет. Тьфу ты! Опять грохнулся.

Песиглавец присел на корточки возле упыря и потыкал его дулом пистоля.

— Готов, кажись.

— Что спросить-то хотел? — поинтересовался Пшемек. — Может, бесенок знает? Тут у него в кармане сидел.

Бесенок выскочил и бросился к выходу. Пшемек метнул вилку и пригвоздил хвост бесовского отродья к полу.

— Молодец! — похвалил песиглавец.

— Не бейте, я все скажу! — завизжал бесенок, тщетно пытаясь освободиться.

— Его знаешь? — Рудый Сирко достал из сумки намалеванный портрет и присел к бесенку.

Бесенок взглянул на портрет и забился в истерическом припадке.

— Не знаю! Не знаю! Отпустите!

— Врет, — утвердительно сообщил скрипач.

— Вру, — согласился внезапно притихший бес. — Но если скажу — не жить мне больше на этом свете.

— Таким, как ты, на том свете только и место, — сказал Сирко и приставил к голове беса дуло пистоля: — Говори!

— Если скажу, с собой возьмете? Под эгиду.

— Под что? — спросил Сирко.

— Мы возьмем, — сообщил Пшемек.

— Не понял, — удивленно приподнял ухо песиглавец. — А с каких это пор появилось «мы»?

— Так я с тобой пойду, — уверенно сказал Пшемек. — Песню сложу про твои подвиги. Храбрый герой в стаинных доспехах сражается с нечистью — когда еще в жизни такой шанс представится? И кажется, что именно тебя я искал для того, чтобы исправить окружающую действительность.

— Чего? — переспросил Сирко.

В его голубых глазах виднелась такая бездонная пустота, что Пшемек только крякнул от досады.

— Хорошо, — наконец кивнул Сирко, задумчиво пожевав кончик оселедца. — Песни я люблю. Будешь петь по вечерам, тешить измученную душу. Ладно, бес, пойдешь с нами. Говори, что собирался!

— К Пас Юку идти надо, он скажет, как найти колдуна! Век мне в аду жариться вместо грешников, ежели вру!

2. Жаба и петух

— Может, спалим бесовскую хату? — предложил Пшемек.

Дождь уже прекратился, но небо всё еще было затянуто свинцовыми тучами.

— Дерево мокрое, легко не сгорит, — задумчиво сказал песиглавец. — Тут магия надобна. Благо, меня моя Васили-сушка кое-чему научила.

Он достал из сумки красное перо, подбросил в воздух и заговорил:

Лети, лети, перышко,
Через вест на ост,
Через зюйд на норд,
Возвращайся, сделав оборот.
Лишь коснешься ты земли —
Будь по-моему вели.
Инсендю! Парацетамолус и Транквилизаторус!
Явись птица-хвеникс!

Захлопали крылья, и на соломенную крышу корчмы приземлился красный петух.

«Кукареку!» — закричал он и пробежался по крыше, размахивая крыльями, из-под которых вылетали искры. Солома занялась, и уже через минуту корчма полыхала горячим пламенем. Стало жарко.

— Отойдем? — предложил Пшемек. — Не устаю дивиться чудесам этого мира. Кто твоя Василисушка — великая чародейка?

— Жаба она, — сказал Сирко. — Вот.

Он запустил руку в сумку и бережно выудил оттуда большую зеленую жабу, называемую в простонародье «ропухой». Затем подбежал к ближайшему придорожному камню, перевернул и схватил не успевшего спрятаться в норке дождевого червя.

— Кушай, любимая!

Сирко сунул червя жабе. Пшемек решил пересмотреть свои планы путешествия вместе с песиглавцем.

— Ты сумасшедший, да?

— Нет, — сказал Сирко. — Василисушка — любовь моей жизни. Нас вместе чародей заколдовал. Он нам воду подсунул из лужи с заколдованного места. Я превратился в этого... Как ты назвал?

— Киноцефала.

— Неплохо звучит. Да, в кино... цефо... В песиглавца. А моя Василисушка — в жабу. Правда, красивая?

Сирко поднял жабу на раскрытых ладонях. Жаба посмотрела на Сирко томным взглядом и щелкнула языком пролетающую мимо муху.

— Я с ней в одну сумку не полезу, — сообщил бес.

— Прыгай ко мне в карман, — сказал Пшемек. — Ты это... — обратился он к Сирку. — Я думал, что ты с рождения такой.

Сирко поднял правое ухо.

— Не-а. Заколданный я.

— Неужели шляхтич?!

— Казак я, — обиделся Сирко. — Это ты у нас лях. А я — казак! По доспехам не суди — я их с одного пана снял. Плохо обо мне отзывался.

Сирко продемонстрировал дырку от пули на панцире в районе сердца.

— А... Э... Думаешь, что, убив колдуна, ты разрушишь заклятье?

— Не знаю. Но, как говорил мой воевода Джуга, по прозвищу Дам-лычку, попытка — не пытка, в лоб не ударят.

В небо с ревом и оставляя в воздухе дымный след, взмыл красный уже слегка прожаренный петух, но тут же приземлился возле друзей. Запахло обедом. Остатки корчмы с шумом обвалились.

— Ты его изгонять не собираешься? — кивнул на петуха Пшемек, за что заработал от птицы обвиняющий взгляд.

— Кабы знать как, — вздохнул Сирко. — Я только первую часть заклинания помню. Да ладно, будет продуктовая заначка на черный день. А что ты говорил по поводу исправления действительности? — поинтересовался он, засовывая в рот кончик оселедца.

— Сядь, — сказал Пшемек, указывая на лежащее бревно. — Разговор будет не быстрый, а очень даже медленный и неторопливый.

Товарищи сели. Петух принял разгребать невдалеке землю, разбрасывая угольки.

— На первом курсе академии, — начал рассказывать Пшемек, — пан Моисей Гриппиус поведал нам об интересной теории мироустройства, что всё, оказывается, существует только тогда, когда его кто-нибудь наблюдает.

Сирко вынул изо рта оселедец и задумчиво на него посмотрел.

— И значит, если на это всё никто не смотрит, то оно и существовать перестает, — продолжил Пшемек. — Следовательно, жизнь вокруг меня является реальностью, потому что я ее наблюдаю. Люди, звери, деревья, камни, лягушки — они все существуют, потому что здесь есть я. Ведь я себя чувствую, значит, я настоящий, а остальные мною выдуманы.

Правое ухо Сирка поднялось и вновь опустилось.

— Я жил и вертелся в собственном окружении, — рассказывал Пшемек, вспоминая Марию, которая больно

охоча была на любовные забавы. — А потом заметил, что многое идет не так, как я хочу. То, что выгнали из академии, — черт с ним, я и сам этого желал, да и Мария уже порядком успела наскучить. Но то, что в мою жизнь начали вмешиваться неприятные мне личности в виде сборщика податей и мужа последней возлюбленной, сломавшего мне мизинец, это означало, что мою теорию надо откорректировать. Значит, вселенная вертится не только вокруг меня. Есть еще кто-то реальный, вносящий помехи в мое мироустройство. Эй, Сирко, проснись!

— Я не сплю, — встрепенулся Сирко, — просто глаза на минуту закрыл.

— Я о чём? — сказал Пшемек.

— О чём? — поинтересовался Сирко.

— О том, что кроме меня есть еще реалец, который пагубно влияет на мою вселенную, пытается ее разрушить и подчинить себе. Я ясно выражаюсь?

— Вполне, — сказал Сирко, снова закрывая глаза.

Ему представлялся вкусный обед из множества блюд, который он однажды вкушал на обеде у князя, куда его взял с собой воевода Дам-лычку. А князь в то время изволили отведать:

на первое — белужью уху,

на второе — красную икру с сельдереем и запеченными патиссонами,

на третье — раков, пойманных на возвышенностях после сезонного свиста, когда их панцирь тонок, а мясо становится нежным, как птичьи языки,

на четвертое — французское блюдо, которое воевода назвал не иначе, как «эта тварь еще дергается и пищит»,

на перекус — вишню «под шафе»,

на закусь — трюфеля, которые сотник Небейбаба чуял за милю, уж очень он до них был охоч.

В животе заурчало. Сирко поднялся с твердым намерением отправиться на поиски еды.

— Подожди! — остановил его Пшемек. — Я думаю, что ты тоже реалец. Уж больно ты неординарная личность, песья морда, чтобы я тебя выдумал.

Сирко вынул пистоль и приставил дуло ко лбу Пшемека.

— Я и обидеться могу на песью морду.

— Да будет тебе, — отвел пистоль в сторону Пшемек. — Я — реалец, ты — реалец, так чего же нам ссориться? У тебя тоже неприятности, а это значит, что у нас может быть общий враг. Бес, расскажи еще раз, где живет твой Пас Юк?

— Ожидает вас дорога дальняя да опасная. Через бамбуковые рощи с белыми медведями в черных масках, через селения со странными узкоглазыми людьми. Позолотите ручку, расскажу с подробностями, которые обычно скрывают от детей младше шестнадцати.

— Я тебе сейчас хвост отстрелю, — достал пистоль Сирко.

— Понял! — поднял лапки бес. — Всё расскажу, только не бейте.

3. Дальняя дорога

Дорога была дальняя да опасная, во время которой Пшемек и Сирко переняли манеру местных жителей называть друг друга не иначе, как братцами, а скрипач еще и сложил стих, именуемый на здешний лад «grenкой»:

Считает кукушка
Одиночества время.
Бросил я камень —
Докуковалась.

4. Братец Пас Юк

— Вона она, хата Пас Юка, — пискнул бес, выглядывая из кармана скрипача.

— Пошли, братец Пшемек? — сказал Сирко, раздвигая заросли бамбука, и, сняв шлем, первым вошел в сумрак покосившегося старого строения.

— Ко-ко-ко? — спросил красный петух.

— А ты здесь останься, — обернулся Сирко. — Спалишь еще хату, неудобно получится.

Петъка взлетел на растущий у хижины банан и находился.

Братец Пас Юк сидел на бамбуковом коврике, скрестив ноги столь витиеватым образом, что Пшемек принял-
ся было про себя разгадывать эту головоломку, но потом мысленно махнул рукой, и на его ум пришли лишь фраза «разрубить гордиев узел» и поза номер шестьдесят четыре из восточного трактата, который они изучали вместе с Марией, прерываясь на практические занятия. Из-под широкополой соломенной шляпы братца Юка торчали длинные шевелящиеся усы. Над его головой висели полотенца с иероглифами «путь меча», «путь направо», «путь налево» и «выхода нет». Перед братцем Юком стояли тарелка с суши и блюдце с соусом.

— Путь к тебе, сэнсэй, был долг и опасен, — поклонился Пшемек. — Явились мы спросить у тебя совета.

Братец Юк пошевелил усами и раскрыл рот. Суши, совершив подъем с переворотом, выпрыгнула из общей кучи и плюхнулась в тарелку с соусом. Затем, старательно обмазавшись, отправилась по воздуху в рот к братцу Юку. Сирко облизнулся.

— Лучше у чёрта спросите, что у тебя в кармане сидит, лях, — пробубнел жующий братец Юк. — И вообще — убрайтесь к чёрту вместе с вашим чёртом.

— Но... — уже было собирался что-то сказать Пшемек, как следующая летящая суши, изменив свою траекторию, бросилась прямиком к его открытому рту.

Песиглавец щелкнул челюстями наперерез и — бац! — проглотил летящий продукт.

— Недурно, — ухмыльнулся братец Юк. — А ну, еще раз! Хоп! Смотри — опять поймал! Вот это реакция! А еще быстрее... Молодец! Хватит, а то всё сожрешь. Лучше говорите, зачем пришли?

Сирко отодвинул Пшемека и вышел вперед.

— Я хочу убить колдуна, который меня заколдовал, — резко сказал он.

Летящая суши остановилась на полпути ко рту Пас Юка и шлепнулась на пол.

— Ладное дело задумал, — сообщил братец Юк через минуту. — Но убить его — занятие непростое. Колдун находится вне наших миров, сидит в высоком замке на же-

лезном троне, выложенном из мечей поверженных врагов. С главной башни, над которой горит его недремлющее око, обозревает он окрестности, и никто не скроется от его взора. Иногда спускается он в миры других реальцев («Я прав!» — толкнул Пшемек локтем в бок Сирка) и ходит в виде одноглазого старика с вороном на плече, ищет, кому бы еще пакость какую устроить.

— Зачем? — поинтересовался Пшемек.

— Колдовать легче, когда вокруг царит хаос. В каждом из миров он принимает новый вид и новое имя. Где-то его называют Сауроном, где-то — Волан-де-Мортом. В вашем мире он выбрал имя Басаврюк. Но имена не важны. Важна его суть. Убить колдуна еще никому не удавалось, так как пистоль у него заговоренный — никогда промаха не знает, пули точно в цель летят. Кроме того, он владеет всеми известными видами борьбы и имеет десять черных поясов. Попасть в его мир — еще сложнее. Для этого надо достичь нирваны и выйти за пределы обычного существования. Для подобного требуется двадцать лет упорных занятий медитацией, но вам такой вариант явно не подойдет.

Братец Юк достал из миски две суши — с красной и синей начинкой и подержал их по одной на каждой ладони.

— Какую выбрать — синюю или красную, как думаете? — задумчиво произнес он.

— Ты не отвлекайся, уважаемый братец, — нетерпеливо сказал Пшемек. — Ты дело говори.

Братец Юк съел обе суши и продолжил:

— Есть еще, конечно, грибы... но эту версию тоже отклоняем. Остается только взгляд волшебного существа, в котором тонет сознание.

5. Загляни в глаза чудовищ

— Как посоветовал братец Юк, надобно нам с тобой, братец Сирко, найти братца Вия, — сказал Пшемек. — Можно еще вырастить василиска, если Петька снесет яйцо, которое высищит твоя жаба, но процесс этот долгий, трудный и научно не доказанный.

- Ко-ко-ко! — возмутился красный петух.
- Во-во — братец Петька тоже против. Значит, остается искать братца Вия.

Искомый объект нашли неожиданно быстро. Буквально на следующий день друзья оказались в деревне, где молодой монах Хо Му отпевал безвременно усопшую дочь местного мандарина. Еще при жизни славилась она колдовством, поэтому в пагоду, где усопшая находилась перед погребением, боялся заходить даже сам мандарин. Для отпевания удалось затащить только братца Му, снабдив его хорошей закусью с выпивкой. С последней получился перебор, потому что братец Му упорно видел зеленых чертей, лезущих из всех темных углов пагоды. Чтобы уберечь рассудок, он сделал, как советовал ему психотерапевт, братец Фре — обвел вокруг себя мелом на полу личное пространство, в которое не проникнет ни один зеленый чертик.

«И помни, — сказал братец Фре, поглаживая седую бороду. — Я всегда мысленно буду рядом. Большой брат следит за тобой».

В последнюю ночь вместе с чертями выползло еще одно порождение психоанализа — братец Вий, у которого была длинная борода и длинные веки. Как говорили в народе, если к тебе явился братец Вий — все, сакура для тебя больше не расцветет.

Хо Му зажмурился. По слухам, после своего появления братец Вий должен просить поднять ему веки, но свидетелей этого дела не оставалось — все, кто заглянули в его глаза, больше не живут. Вдруг раздался грохот выстрела, и Хо Му подпрыгнул от неожиданности. Зеленые черти попрятались по темным углам.

— Подними ему веки, братец Пшемек, — сказал кто-то.

Хо Му открыл глаза и увидел, что возле поверженного братца Вия склонились двое.

— Тяжелый, зараза, — произнес один из них. — Надо бы перевернуть. Подсоби, братец Сирко. Эх-х-х... Взяли. Ну и толстый, чертяка. Он точно готов? Надо же мертвому в глаза заглянуть, чтобы мозги не изжарились. Извини, братец монах, что помешали.

Хо Му увидел поглядевшую на него собачью морду и снова захмурился.

Пшемек приподнял массивное веко братца Вия и заглянул в его оранжевый ромбовидный зрачок. Окружющее исчезло. Осталась лишь бездна кипящего пламени, в которую Пшемек летел сломя голову. Раздавались приведшие из прошлого слова братца Юка: «Посмотрите в глаза мертвого Вия — этого должно хватить. Ваш мозг освободится от оков придуманной вами реальности, и вы окажетесь в безмирие. Но помните — это тоже неправда. Новая псевдореальность попытается засосать вас своей рутиной, но вы не поддавайтесь. Вы должны найти выход вовне».

Посмотри в глаза, я хочу сказать,
Я забуду тебя, я не буду рыдать,
Я хочу узнать, на кого ты меня променял, —

надрывался магнитофон на столе.

Джульбарс положил на грудь Пашке свою тяжелую голову, что тоже не способствовало спокойному сну.

— Пошел вон, псина, — столкнул его с дивана Пашка и перевернулся на другой бок, но сон больше не шел.

По комнате стелился запах жареной курицы, и хотелось есть. Кукушка в настенных часах прокуковала дважды.

— Пашуня, вставай, дорогой, обед готов!

Это Машка с кухни. Надо вставать. Павел поднялся, потянулся и, с третьей попытки попав в шлепанцы, прошел на кухню. За ним с надеждой заполучить косточку потрусила Джульбарс. Машка в розовом платье и бигуди поставила на кухонный стол запеченного целиком бройлера и села на табурет, скрестив ноги.

«Поза номер шестьдесят четыре», — непонятно откуда вспомнил Пашка.

Он подошел к Машке, обнял ее за талию. Под складками халата нащупывались первые жировые отложения, и Пашке стало грустно. А была же жизнь! Как они в корчме чертей порубили! Стоп, нахмурился Пашка, какие черти? Он заметил, что к его майке пристегнута шариковая ручка,

подарок друга из Германии, на которой то пропадало, то появлялось изображение ехидно улыбающегося бесенка. Пашка нагнулся и поцеловал Машку в губы. Потом посмотрел ей в глаза.

Машины зрачки были оранжевого цвета и имели форму ромба. Пашка утонул в них с чувством возникшего дежавю.

6. Стреляй первым

Друзья шли по дороге, освещаемой вечерним солнцем. Впереди, над черным лесом, возвышалась темная башня. Пшемеку вспомнилось, что к ней шли многие, но еще никто не вернулся назад. Не улыбнулась удача даже герою древности, Клиствуду, что так исправно владел мечом под названием «Колт», не дошел он до черной башни. Следом отправился его друг и соперник братец Ли Кли, но что случилось с ним, Пшемек не помнил. Вспоминались только начальные слова песни, сложенной про героев:

Я буду Колтом бить неверных,
А вы, мой друг, разите Ремингтоном.
Пускай о нас слабают рок-балладу,
А не какую-нибудь глупую попсы.

Стены башни были украшены граффити и пиками с надетыми декоративными черепами. Пшемек остановился и задрал голову. Солнце спряталось за деревьями, и из-за башни с осторожностью выглянул месяц.

— Как бы нам его выманить?
— Кого? — спросил Сирко.

В правой руке песиглавец сжимал бандолет, в левой — пистоль, заряженный серебряной пулей, — в отличие от Пшемека он был начеку и готов к бою. Чтобы лучше видеть, он снял шлем.

— Колдуна! — уточнил скрипач. — Не станем же мы просто кричать: «Язываю тебя на бой, сучий сын!»

— А это идея, — сказал Сирко. — Язываю тебя на бой, Басаврюк! — прокричал он, и петух на плече у Пшемека оглушительно прокукарекал.

— Пошел вон, курица! — спихнул его на землю скрипач. — Не думаю, что поможет.

Но Сирко не обратил на его слова внимания.

— Басаврюк! — прокричал он вновь.

— Ук... Ук... Ук... — ответило лесное эхо.

— Я знаю, ты здесь, Басаврюк!

— Ук... Ук... Юк... — поперхнулось эхо.

— Ку-ку, — сказала сумасшедшая кукушка.

— Язываю тебя на бой, Басаврюк, сучий ты сын. Прямо здесь и сейчас! Или ты трусливый слабак, колдун?

Притихшее эхо прислушалось к происходящему.

— Думаешь, он придет? — спросил Пшемек.

Сидящий в кармане бес поскуливал от страха.

— Он уже тут, — оскалился Сирко и стремительно обернулся.

Басаврюк стоял в тени под деревьями. Размеренным медленным шагом он вышел на освещенную луной дорогу. Одет он был в кожаные штаны и куртку, на его голове была шляпа.

«Братец Ли Кли!» — мелькнула у Пшемека мысль.

Скрипач попятился. Ему захотелось спрятаться куда-то далеко-далеко. Желательно в уютную корчму и поближе к пышнотелым девкам.

За поясом Басаврюка блестел пистоль, покрытый заморской витиеватой чеканкой.

— Узнал? — поинтересовался Сирко, прищурившись.

— Узнал, — кивнул колдун. — Тебя называют Псом.

А неплохо у меня тогда получилось!

— Ты должен его расколдовать, Басаврюк. — Пшемек сам удивился собственному голосу, доносящемуся, словно со стороны. «Господи! Кто ж тебя за язык тянет?!» — Расколдуй, иначе Сирко тебя убьет.

— Шутники, — сказал Басаврюк. — Я ничего и никому не должен.

Сирко ухмыльнулся и сплюнул.

— Будем стреляться, колдун, — сказал он, опустил бандолет на землю и засунул заряженный пистоль за пояс.

— Будем, — холодно согласился Басаврюк. — Слушай

кукушку, песиглавец. Когда она прокукует трижды — ты станешь трупом. Считай, музыкант.

Пшемек не сразу понял, что обращаются к нему. А проклятая кукушка не думала останавливаться.

- Ку-ку, — прокукала она.
- Р-р-раз, — сказал Пшемек.
- Ку-ку, — сообщила кукушка.
- Два! — выдохнул скрипач.

И... Тишина.

Замолчала кукушка, задумалась о жизни своей птичьей — без семьи и детей.

Замерли друг против друга непримиримые враги. На доспехах одного из них играют лунные зайчики. Нервно вздрагивает кончик правого уха. В массивной фигуре чувствуется напряжение. Ладонь едва касается рукояти пистоля.

Второй стоит расслабленно. Рука как бы нехотя остановилась над волшебным, не знающим промаха пистолем. Но глаза выдают волнение — они неотрывно следят за противником. Левое веко слегка подергивается.

Тишина.

Только слышно негромкое дыхание. Облачка пара в вечернем холоде вырываются из пасти песиглавца. Едва заметно колышется грудь Басаврюка.

А Пшемек вообще, казалось, забыл, что надо дышать.

- Ку-ку! — очнулась кукушка.

«Три!» — хотел заорать скрипач, но Басаврюк уже вскинул пистоль.

Мысль всё равно успела раньше. «Как он быстр», — смог подумать Пшемек, прежде чем Басаврюк спустил курок.

Ба-бах!

Сирко клацнул зубами и пошатнулся. Сердце испуганного Пшемека остановилось. Песиглавец отступил на шаг назад, поднял голову и встретился взглядом с ухмыляющимся Басаврюком.

— Тьфу! — сказал Сирко, выплевывая пойманную зубами пулю.

Затем он вскинул пистоль и выстрелил в Басаврюка. Се-

ребряная пуля вошла точно между глаз и взорвала затылок колдуна кровавыми брызгами.

— Вот и всё, — устало сказал Сирко после того, как тело Басаврюка упало на землю.

— Кукареку! — победно заорал петух.

Песиглавец сел возле Пшемека на землю, достал люльку, с третьей попытки высек огонь и закурил, выпуская замысловатые облачка дыма. Из кармана скрипача осторожно выглянул бес.

— Мы еще живы? — поинтересовался он. — Не верю. Ой! Гляньте — Басаврюк лежит!

Бес спрыгнул и подбежал к мертвому колдуна.

— Люди, вы Басаврюка завалили! Я всегда в тебя верил Сирко! Я знал! Знал! Сирко? Ты чего не рад? Что с тобой?

— Он не стал человеком, разве не видишь? — тихо сказал Пшемек.

Бесенок внимательно посмотрел на песиглавца.

— И так, по-моему, неплохо. И Василиса у тебя такая замечательная. Даже и не подумаешь, что жаба.

— Вот именно, — поднял голову Сирко. — Я ее выдумал, чтобы не так одиноко было. Нет у меня никакой Василисы. Это самая обыкновенная ропуха из болота. А заклинание я у одного бродячего фокусника узнал.

Песиглавец засунул в сумку руку и вынул из нее зеленую жабу, которая с царственным видом умостилась на широкой ладони.

— Подумайте сами, кто за такого, как я, пойдет? Кому я нужен?

— Ты всем нужен! — воскликнул Пшемек. — Я про тебя такую песню сложу! Все девки, как услышат, твои будут! Пойдем, друг! Пойдем! И не скрывай больше свою мор... гм-м, лицо! Незачем прятаться. Ты такой, какой есть. И лучше Сирка нет на всей земле!

— Ты так думаешь? — поднял правое ухо Сирко.

— Конечно! Пошли! Я один шинок знаю — такое шикарное пиво подают! Не чета здешнему. И я уже первые аккорды песни придумал. Вот послушай...

— Уговорил! — воскликнул Сирко и хлопнул Пшемека по спине. — Доброе, кажешь, пиво?

— Х-хе... Х-хе-е, — восстановил дыхание скрипач. — Провалиться мне на этом месте, ежели вру!

— Тогда чего же мы ждем?! — сказал Сирко. — Пошли!

— Подождите меня! — пропищал бес, запрыгивая в карман скрипача.

Все вместе друзья отправились домой по дороге между мирами. И месяц старался изо всех сил, освещая им дорогу.

Вук Задунайский

Память Воды

Вода помнила все.

Она помнила, как люди рождались и как умирали. Как собирали и как разбрасывали камни. Как строили города и как разрушали их. Ничто не было скрыто от Ее памяти, ничто не терялось там. И все, что Она когда-либо видела, отражалось в Ней, находя новое воплощение: шелест листьев и шум ветра, улыбка младенца и вздох старика, венок, подаренный девушкой своему суженому, и взгляд завистницы, брошенный им вслед. Вода была колыбелью, в которой люди рождались, и могилой, куда они уходили. Если бы люди знали об этом, они бы вели себя по-иному. Но поди ж ты объясни им! Объясни, что все услышанное и увиденное Водой будет... Нет, не писано вилами по воде, а вырублено на скрижалях и непременно сбудется. И быть тому до тех пор, пока мир не изменится окончательно и бесповоротно.

И быть тому везде, где течет Вода — а где нет Ее? Но есть места, где сила Воды возрастает многократно, не находя себе преград ни на земле, ни под землей. Так было в озерном kraю, где Вода царствовала повсеместно. Она разливалась чистыми бездонными озерами и била холодными ключами, текла полноводными реками и занавешивалась мшистыми коврами болот, выпадала снегом и дождем и вздыбливалась льдами по весне, улыбалась янтарными переливами на мелководье и переливалась перламутром в раковинах, рассеивалась туманом в камышовых заводях и клокотала невидимыми подземными потоками, которыми не просто озера соединялись между собой, но мир мертвых сообщался

с миром живых. Отсюда брали начало могучие реки Волга, Двина и Днепр, а также те, что текли на север, к Ильменю.

В озерном краю сила Воды была так велика, что здешние люди не могли не знать про Нее, и те из них, кто хотел обрести жизнь долгую и счастливую, жили так, чтобы не потревожить Ее гладь своими темными делами и помыслами. Ибо знали, что всё не только содеянное, но и задуманное рано или поздно вернется к ним. Находники смеялись над этим, но здесь, в озерном краю, привыкли жить так, чтобы Вода помнила про них только доброе. Привыкли блюсти чистоту Воды. И Вода отвечала им тем же. Не зря же говорили в народе: «Не плюй в колодец».

Вода помнила все.

Редкие гости, — попробуй еще проберись сюда сквозь чащи лесные да болота! — дивились, как хорошо и покойно в этих благословенных местах. Они бы дивились куда меньше, если б знали, что по-другому просто и быть не может. Жители озерного края не ругались и не ссорились понапрасну, и супротив того — старались во всем помочь друг другу. Пахали, сеяли, собирали урожай да избы рубили всем селом. О том, чтобы запирать ворота да калитки, никто и не помышлял, потому что воров в тех краях не было вовсе. Житие в озерном краю было сытым, свободным, размеренным и привольным. Ежели Воду не мутить.

Колосились нивы. Поля давали такие урожаи, о которых в других местах и слыхом не слыхивали. По заливным лугам бродили стада тучных коров, дававших реки молока. Леса были полны дичиной, а озера — рыбой, ее и неводом-то никто не ловил, лучили токмо. Частенько на столах у насељников красовались царская рыбка стерлядка да пироги с вязигой. По пригоркам с наступлением лета высыпала сладкая земляника, а на опушках по осени стояли такие грибы, что их можно было косой косить. Мх в борах усыпали черника с брусникой, а на болотах вызревала багряная клюква. Ветви яблонь ломались под грузом плодов, на реках строили свои хатки бобры, и тут же в чистой воде жили раки. Волны выносили на песок жемчужниц — красавицам на радость. Знай люди, что и в других местах жизнь станет такой же, стоит только блюсти чистоту Воды, они

бы очень удивились, но... Вода говорила только с теми, кто мог и хотел Ее слышать, а таких всегда было не сказать чтобы много. Таких, как Матреша.

Матрещу считали в селе бабой доброй, хорошей и даже полезной, но блаженной какой-то. Прапрапрабабки Матреши когда-то очень давно — людям не объяснить, как давно, но Вода-то помнила все — жили в этих местах, говорили с Водой и слышали Ее, им Она поверила читать прошлое и будущее на своей глади. Среди соплеменников почитались они целительницами и могучими жрицами, поклонявшимися духам Воды. Они поднимались на высокие берега, воздевали руки к небу и разводили ими грозовые тучи. Они поклонялись Воде средь истогнутых волнами валунов, испещрённых древними письменами, которые нынче и прочитать-то никто не мог. Воде не потребно было поклонение, Ей потребно было, чтобы Ее слышали, но люди по-другому не умели.

Потом пришли другие времена и другие боги. На высоких берегах люди стали строить храмы и креститься в них, призывая в помощь иные силы. Воду это не трогало, ведь Ей потребно было только, чтобы Ее слышали, вернее — это нужно было самим людям. Крестясь и ставя свечки, они не должны были мутить Воду, и, пока эта заповедь блюлась, всё шло своим чередом. Ведь даже крестились люди Водой. И омывались тоже. И освящали.

Матреша была не жрицей, как ее прапрапрабабки, а зонхаркой и ведуньей, но от бабушки достался ей редкий дар — слышать голос Воды. Дар тот всегда передавался только женщинам и только по женской линии. Открылся он, когда Матреша была еще совсем ребенком. В тот год один селянин по имени Прохор обманом отобрал у старушки-вдовы луг, огородил его плетнем и срубил там себе избу с баней. И так он лихо это проделал, так нагло, что про случай тот судачили в округе все, кому не лень. Но где найдешь управу на аспида такого? Старушка вроде сама все и отписала, хотя по старости уже и не понимала, что творит.

В тот день в избе отца Матрешиного гости собирались, угощались расстегаями грибными со сбитнем, и, когда заговорили про это дело, Матреша, которой шел тогда всего-

то седьмой годок, возникла вдруг: «Недолго Прохору в избе новой жить, поостерегся бы пламени». Все тогда только посмеялись. Но каково же было удивление, когда спустя пару дней ночью разбудили всех крики громкие и зарево за лесом. Все село высыпало на улицу. Горела новая Прохорова изба. Как сказывали потом, Прохор с сыновьями в тот вечер в баньке парились. То ли медовухи они там перебрали, то ли за печкой плохо смотрели — баня-то и занялась. Еле успели выскочить, красные, как раки. Пока соображали, что к чему, да за водой бегали, от бани и изба занялась. К утру вся выгорела, одни головешки остались.

Тут и вспомнили про Матрешины слова. И задумались. И относиться к ним стали серьезно, хоть и была тогда Матреша дитё дитем. И стали приходить к ней люди со своими горестями. А потом и с болячками — бабка обучила Матрешу, как хвори лечить водой живой да мертвый, да травками всякими. При жжении нутра давала бабуля больным испить живой воды, а потом — сока капустного. Тем, кого запоры мучили, наказывала пить живую воду каждый день, кружками целыми, а кто страдал болезнью медвежьей, того поила мертвой водицей. Раны гнойные сперва промывала водой мертвый, затем — живой, каждый день, и раны затягивались. Лихорадочных также лечила бабуля мертвый водой, как и боль зубовную. А ослабленных хворью поднимала на ноги живой водой да отваром кипрея. От бабки знала Матреша, как добыть нужную ей водицу, в каких источниках была мертвая, в каких — живая. И что в полынье на Крещенье можно было отыскать самую лучшую мертвую воду, потому и купавшиеся в ней не болели никогда, а в озере на Купалу — живую, затем и положено было девкам купаться в ней с парнями вместе. И стояло у Матреши в избе всегда две бочки: одна с живой, другая — с мертвый водой. И всегда дух стоял прянный от трав сухих, по всем стенам развешанным.

Допытывалась Матреша у бабушки своей, когда та еще жива была:

— А что, бабуль, бывало ли так, чтобы Вода забывала о чем-то? Что свершал кто-то дело какое темное и не был за то наказан?

Долго думала бабка, но отвечала:

— Нет, внученька, не припомню я такого. Бывало, что ждала Вода много лет, прежде чем ответить, а и отвечала так, что никто и не понимал, что к чему. Но чтобы забыла Она что-то... Нет, не бывало такого.

А потом еще был случай, после коего селяне совсем уже уверовали в Матрешину силу. Ей тогда было тринадцать. Случилось все в конце лета. Стояли жаркие дни, и все село вышло на жатву — пшеница в тот год уродилась на славу. Работали споро, ведь один пропущенный день в такую пору целого года стоил. Все вывалили в поле — старики и дети, бабы и мужики. Работали — и не заметили, как на западной стороне, за озером, сгустился мрак и донесся дальний гром. «Ох, не успеем!» — пронеслось над полем. Селяне подналегли на работу, снопов становилось все больше, но пшеница стояла еще на большей части поля.

Матреша трудилась наравне со всеми, но в спешке порезала серпом руку, вскрикнула и прижала к губам порез, сочившийся солоноватой кровью. Никто не обратил на нее внимания. Люди спешили, а Матреша будто почувствовала себя сейчас не с ними, а с кем-то другим, живым, большим и страшным, затаившимся на том конце озера. Она и сама потом не могла объяснить, что тогда стряслось с ней. Не замеченная никем, прошла она к краю обрыва, за которым уже вздымались большие серые валы с «барашками» на верху. Порыв ветра надул ее красный сарафан, сорвал косынку с головы и растрепал длинные косы. Но сама она стояла не шелохнувшись, только шептала что-то. Клонились ниц колосья, со скрипом раскачивались могучие сосны. Казалось, сама земля стонет от надвигающейся бури. Сверкнула молния, ударила гром. Селяне уж и не знали, куда им бежать, за что хвататься. Буря застала их в неубранном поле. Они падали на колени и крестились. Дети забивались под снопы и вопили от страха.

Что было дальше, видели все, но никто не понял. Порыв, еще сильнее прежнего, чуть не снес Матрешу с обрыва, но она вскинула руки и закричала что-то — из-за шума ветра никто не услышал, что. Взметнулись косы на ветру, забились сарафан, хоругви подобно. И тут перепуганные селяне

узрели невиданное — черная туча над их головами стала закручиваться, как закручивается пряжа на веретене, только веретено то было невидимым и огромным, во все небо. Крутила Матреша руками на ветру, крутила что было сил. Темно стало, будто ночью, хотя был еще день, а туча закручивалась и закручивалась в небесную воронку. Молнии озаряли небосвод одна за другой, гром слился в один непрерывный грохот. И тут вдруг туча двинулась к северной оконечности озера, в ту сторону, куда закрутила ее Матреша, и там уже пролилась ливнем с градом. На пшеницу не вылилось ни капли.

«Убирайте! Убирайте скорее!» — только успела крикнуть Матреша перед тем, как снова слилась с бурей в единое целое. Так и простояла она на обрыве до кроваво-красного заката, сдерживая тучу — в разевающемся сарафане, простоволосая, воздевшая окровавленные руки к небу и кричавшая что-то, недоступное пониманию людскому. Зато селянам удалось спасти урожай. Туча вернулась только к вечеру, растеряв уже весь свой пыл. Когда все-таки стали падать первые крупные капли, люди уже бежали в лес. Мать накинула на окоченевшую Матрешу платок и чуть ли не силком утащила с обрыва под защиту ветвей. Матрешу потом отпаивали сбитнем всем селом, хотя и начали побаиваться с тех пор. Сама же она...

Говорила всем, что не помнит про то, что стряслось. Ну как было объяснить людям, что это такое — чуять за пленой дождя будто бы биение громового сердца? И когда оно приближается к тебе, вы становитесь единственным целым, его дыхание становится твоим, а твое — принадлежит ему. Любое его движение отдается жаром в затылке и кончиках пальцев, порождая желание подчиниться. Но если обуздать его, можно подчинить само сердце бури. Матреша не умела объяснить такое словами. Боялась, что люди подумают, будто она ведьма. И не ведала, что именно так пра-прабабки ее правили погоду в этих местах, вызывали дождь или, напротив, уводили его подалье, если в том была надобность, о чем свидетельствовали надписи на больших гладких валунах, разбросанных тут же, у обрыва. Когда-то здесь на бдения свои собирались ведуны, коих было не-

мало в тех местах, а сами камни испокон веков стояли в порядке, повторявшем поворот того самого небесного ворота. Но прошли века, камни повалились, переместились, и никто уже не помнил, зачем они тут.

Только Вода помнила все.

Матреша, хотя и обладала даром, была обычной бабой. Пришел день — и отыскался смельчак, не побоявшийся прислать сватов в дом отца ее. Как и всем девушкам, подружки с песнями расплели ей косу и украсили голову свадебным венцом. И потом все было как у всех: Матреша пекла пироги, мочила бруснику в кадушки, сушила грибы, доила корову, варила щи с головизной и ржаной кисель с сытой да рожала деток — трех красавцев сыновей и младшую дочку Настену. От других баб ее отличал только дар слышать Голос Воды да умение исцелять. А еще она подолгу сидела на высоком берегу, среди валунов, испещрённых недоступными пониманию знаками. Или приходила к воде, опускала в нее руки и так замирала. Никто ей в том не препятствовал.

Сыновья подрастили. Люди продолжали идти к Матреше. Раз один парень из села влюбился, да нескладно — в замужнюю женку, с детками уже. Ходил и маялся целый год, росла тьма в душе его день ото дня. Любое чувство — плохое ли, хорошее ли — Вода делала сильным, таким сильным, что невозможно было противиться ему. В один ненастный день парень тот перебрал медовухи — с горя, вестимо, — да пошел на озеро, как сказал — окунуться. Каким-то чудом его потом выудили из Воды рыбаки. Втащили в лодку и выкинули потом на берегу, мокрого и воющего. Кричал он так страшно, что к нему боялись подойти. Насилу Матреша оттащила его к себе в баню, долго потом выхаживала, лечила от недугов телесных и душевных. Парень таки поднялся на ноги. Правда, так и не женился, жил бирюком. Но тут Матреша была уже бессильна.

Бессильна она была и тогда, когда человек сам не хотел себе добра. Говорили не раз деду Андрею — мол, не доведет тебя до добра тяга тащить все, что плохо лежит. Дед только смеялся да разводил руками. Силе Воды сложно

противостоять. И когда желание украсть стало совсем нестерпимым, стал он по ночам прокрадываться в соседский огород за огурцами, где пойман был с поличным и крепко бит оглоблей. А ведь у самого в огороде не пусто было!

Люди казались Матреще непонятливыми. Устала она объяснять им вещи простые настолько, что даже дети схватывали их на лету. В пруду посреди села поселилась дикая утка с утятами. Они часто плавали там, забавно крутя хвостиками, — утка впереди, утюта сзади. Не было зрешища умильнее. Дети часто бегали к пруду «смотреть на утку». А тут один соседский парень — Егорка — повадился на охоту ходить с самострелом. И вот ради забавы взял да и подстрелил утку вместе с утятами ее. И ведь голоден не был, а так, от скуки. Дети прибежали к Матреще в слезах. Когда она прибежала к пруду, дело было уже сделано. Зло снова пришло в мир, и предотвратить его не было никакой возможности.

Вода помнила все.

Удивленное лицо Егоркиной матери и ухмылку его отца. На Матрещу, которая пришла сказать им, чтоб берегли Егорку от заслуженного гнева недоступных их пониманию сил, едва не с кулаками наскочила вся его родня. «Да ты на себя посмотри! Ведьма ведьмой! Как тебя только на службу батюшка пускает! А мы вот такие-сякие хорошие, поклонов больше всех отбиваем и на подарки батюшке не скучимся. Так что ступай со двора с этой своей уткой, без тебя разберемся».

«Ну и разбирайтесь!» — бросила в сердцах Матреща и убежала со двора, хлопнув калиткой. Для нее, крещеной ведуньи, само собой разумеющимся было, что Вода — это Вода, а Бог человеческий — это Бог человеческий и одно не мешает другому. Можно было читать заповеди и того и другого и притом не прослыть отступником ни там, ни там. Что Вода, что Бог побуждали людей к добрым делам и к чистоте помыслов, только Вода окружала людей повсюду, а Христос был внутри них. И когда люди начинали вдруг отделять одно от другого, Матреща сразу чуяла ложь в их сердцах.

Вечером другого дня ее разбудил стук в ворота. Нет, Егоркины родичи не пришли извиниться за глупость свою, они прибежали все растрепанные и с безумными глазами — просить о помощи. Егорка мало что не отходил в мир иной. Матреша накинула платок и побежала во двор, где ее намедни приняли так неучтиво. Она не обиделась — разве на неразумных детей обижаются? Егорка лежал в горнице, на лавке, и тяжко дышал. Его мучили сильный жар и трясучка. Слово за слово — и Матреша поняла, что стряслось.

Намедни Егорка со товарищи взяли лодку и погребли на дальние острова, порыбачить. Дело хорошее. Наловив лещей вдоволь, стали уху варить. Только Егорка что-то есть ее не стал, сказал, мол, — смотреть тошно. А захотелось ему вдруг грибочеков. Прошелся вокруг по леску, набрал грибков, насадил их на прут, на костерке припек — и в рот. Звали его приятели на уху, звали, да только так и не дозвались. Егорка ажно позеленел весь, и стало ему худо, так худо — насили до дома довезли, уже холодающего. И теперь он лежал и помирал. Матреще показали прут с теми самыми грибами. Даже дитё малое узнало бы в них поганки. Но что могло вдруг случиться с человеком, чтобы он, съязмальства зная все грибы, решил вдруг закусить поганками?

Матреще ведом был ответ. На тех, кто мутил Воду, нападало что-то вроде безумия. Они и сами не ведали, что творят. И чем сильнее было в них зло, тем страшнее потом безумие. Иные даже скакали и кричали что-то несусветное, когда безумие обуревало их, и были они в таком раже хуже зверей лесных. И немало зла от того претерпевали порой не токмо сами безумные, но и родня их, и потомки, и даже те, кто случайно оказывался подле. Через полгода Матрешиных стараний Егорка встал на ноги, но был он уже не тем крепким парнем, на которого девки когда-то заглядывались, а тенью прежнего себя — слабым, болезненным, задумчивым. Родители всё по церквям да монастырям его возили, да только сделанного уже не воротишь.

Вода наказывала страшно в отличие от доброго Бога христиан. Как-то в один год в селе вдруг напал мор на детей — кто от болезни преставится, кто утонет, кого волки

в лесу... Прибежали перепуганные селяне к Матреше. Выслушала она их и молила обождать, а сама пошла на берег и просидела там три дня. По возвращении же объявила: «Не надобно рубить боры заповедные на берегах озерных. В тех борах бьют ключи, питающие Воду. Перестанете рубить — и мор уйдет». А как сказала это, так и погрузилась в глубокий сон.

Люди услышали голос Воды. Боры были оставлены в покое, дети в селе больше не умирали. Один только мужик не послушался, пошел рубить лес — так вскоре и сгинул. Сказывали потом, будто подался он к татям лесным, орудовали они кистенями чуть ли не у самого Пскова, да только пойманы были и казнены, как и положено поступать с ворами и душегубами. В озерном же краю наступил покой. Светлые, радостные дни шли один за другим, и не было им перерыва.

Вода помнила все.

Годы текли, как Вода сквозь пальцы. Выросли Матренины сыновья, о женитьбе уже подумывали. Младшая Настена вышла ладной девчушкой, пригожей, и хотя еще совсем дите дитем, а уж соседские парни на нее заглядывались, глаз да глаз за такой. А тут пришли в озерный край находники издалека и принесли тревожные вести. Они бежали от войны.

— Какой такой войны? — вопрошали селяне.

— А вы не знаете, что ль? Война идет! — был им ответ. — У вас тут что, угол медвежий?

— Что есть, то есть, — соглашались селяне. — Медведи у нас тут мало что не по селу ходят, только они никого просто так не задерут. Но война...

Про войну селяне, конечно, слыхивали. Шла она давно уже в таких тридцатых краях, что и не описать словами, и уж подавно никто в тех краях не бывал. Где-то далеко, у моря Варяжского, воевал царь Иоанн землю ливонскую уже лет двадцать как. Такая война — все равно что снег зимой и дождь по осени. Война — дело государево, что до нее крестьянам простым? Но тут было что-то иное — чтобы понять это, достаточно было заглянуть беглецам в глаза.

Их становилось все больше — они понуро брели по дороге, неся свой скарб в узлах, а более удачливые вели под уздцы худых голодных лошаденок, тащивших нагруженные добром подводы.

Селяне жалели беглецов, зазывали их в избы, давали кров и пищу. Ведь не басурмане ж какие, а свои, русаки. А пришельцы волей-неволей поведали им про то, от чего бежали они. Оказалось вдруг, что война идет не у Варяжского моря, а мало что не у ворот — под Великими Луками. Пришло на Русь войско большое, всё ляхи да литвины, во главе с королем ихним и прочими вельможами. Сказывали беглецы, что приступом взяли вражины Великие Луки, пожгли весь город, а всех, кто в городе был, — и женщин, и детей — умертили смертию лютой, трупы же побросали прямо на улицах. Сказывали и хуже того: мол, ходили ведьмы ляшские по тем улицам и брали тела тех, кто при жизни гружен был, да вытапливали из них жир — тут же, среди развалин дымившихся. Дескать, лечил тот жир ото всех болезней, если употреблять его внутрь. Этому селяне совсем уж отказывались верить. Ведь невозможно представить себе, чтобы творилось такое среди христиан.

Страшные вести принесли беглецы. И ни один из них не остался в озерном kraю, все отлеживались, отъедались да шли дальше, на Новгород, а то и подалее. И говорили селянам: «Вы смотрите тут не проспите, а то как бы и с вас жир не вытопили». Не по себе было от тех советов. Загудело село. Собрались селяне на высоком берегу — том самом, где остановила когда-то Матреша тучу, благо трава там была уже собрана в стога — и принялись судить да рядить, что далее делать.

С одной стороны посмотреть, так рассказы беглецов тревожны были донельзя и побуждали немедленно сняться с места и поскорее отправиться в путь. С другой... как же было оставлять избы свои, хозяйства, коровушек и коз — все, что было так добротно и с любовью создано руками предков и своими собственными? Как было оставить благословенный озерный край? А что беглецы ужасов всяких наговорили — так война может и мимо прой-

ти. Места здешние в стороне ото всех дорог лежат, сюда и не доберешься-то толком, сплошь леса густые да болота, подвода еле проходит. Никакое войско не дойдет сюда, да и к чему? Что забыло оно тут, на отшибе-то? Городов тут нет никаких, острогов тоже, войско государево не стоит. Край озерный всегда жил особицей, и мало кто приходил сюда из того мира, где случались войны и бунты. Вода сохранила край этот нетронутым, сохранит и на сей раз. Так порешили селяне и разошлись по избам, успокоенные. Матреша долго держала руки в Воде, но гладь озера была как зеркало души людской, чуть тронутое легкой рябью беспокойства.

Люди ушли от мира, но мир не собирался оставлять людей в покое. Осенью, когда леса оделись в золото и багрянец, а над озером парило сияющее в робких осенних лучах облако, в село явились государевы стрельцы, пешим и конным ходом. Дети высыпали за околицу поглазеть на их страшные бердыши, пищали и большие острые сабли. Черные кафтаны замелькали на фоне осенней листвы, и Матреше почудилось в этом что-то зловещее. Едва явившись, стрельцы тут же собрали всех селян на высоком берегу, и сотник их держал пред ними такую речь:

— Люд православный! Ляшский король Стефан Баторий вторгся в наши земли. Большое войско ведет с собой. Жгут все на пути своем, а христиан православных убивают и в полон берут. Государя нашего, божьего помазанника царя Иоанна, антихристом кличут и хотят свергнуть с престола московского. Разорены уже многие города русские, среди коих Великие Луки и Торопец. Скоро и сюда дойдут. Посему надлежит вам, вольным хлебопашцам, выдать войску государеву для отпора иноземцам подводы, коней, сено и овес для них, а также хлеб и прочую снедь для прокорма войска. Самим же вам надлежит сжигать избы свои и уходить в леса и на дальние выселки, дабы ляхам поганым в лапы не попасться.

При словах сих стон пронесся среди селян. Ибо жизнь их рушилась и грядущее покрыто было сумраком. Да и как бросать избы свои, хозяйства и все нажитое? Да еще

и в преддверии зимы? Об этом даже и думать никто не хотел. Загудели селяне. Сотник же стрелецкий, предвидя такое дело, — видать, не впервой! — добавил:

— Наказывает вам государь выдать посланцам его, то есть нам, подводы, коней и прочее потребное. Про остальное же решайте сами, мы тут сидеть не станем. Другие дела у нас есть, поважнее. Но ежели кого ляхи прибьют, то потом не жалуйтесь. А ежели кто сам к ним в войско пойдет — пусть тоже не жалуется, если саблями его в бою порубим слегка.

На том и порешили. Жалко было отдавать стрельцам требуемое, но еще больше пугало всех грядущее нашествие. Заночевал сотник в избе старосты. От него и узнали, что ляшское войско с королем ихним пошло из Великих Лук на север, прямо к Пскову, через Заволочье. Но часть ляхов под рукой воеводы королевского Филона Кмиты взяла Торопец и идет на Холм. Только изрядный крюк делало то войско, что и непонятно было.

— Что ж тут непонятного-то? — спросил сотник, отхлебнув горячей медовухи. — Идут сюда ляхи не воевать. Грабить идут. И наказывать холопов. Рабы им тоже надобны. И бабы для дел срамных.

Когда стрельцы ушли, забрав то, что было им надобно, остались селяне в замешательстве. То порывались бежать куда глаза глядят, то запирались в избах, перекладывали добро свое да причитали. Но никто так и не сдвинулся с места. Порешили так: все, что есть ценного, припрятать в лесу, на дальних заимках, и сидеть ждать. Как только ляхи явятся — удирать в лес. Летом можно было бы собраться и сразу уйти, но осенью как в лесу прожить, да с детьми? Уговорились еще поставить дозор в бане на окраине села — оттуда всех, кто по дороге идет, видно — и вести там наблюдение по-очередно. Дозорных же вооружить самострелами, — вдруг чего? С наступлением зимы, говорили — скоро поедем, вот только мороз посильнее ударит и санный путь откроется. Когда ударил мороз, говорили — подождем, пока морозы спадут, а то уж больно холодно, до костей пробирает.

Ляхи явились внезапно, откуда их не ждали. Когда лед сковал реки, прошли они по руслам, как по дороге. До-

зорные и не могли за ними там уследить вовремя. На беду, когда они услышали крики да увидели, как чужаки едут по замерзшей Ущине, то пустили в них из-за кустов несколько стрел. Вроде бы даже кто-то из ляхов упал на снег прямо из седла — убитый ли, раненый ли, не разобрали. Вслед дозорным грохнули пищалями, но ни в кого не попало. Впрочем, это уже было неважно. Живыми и нетронутыми в тот день остались лишь те, кого не было в селе, кто ушел навестить родню на дальний конец озера или, заслышав крики, успел убежать, едва накинув тулу, в ближний лес. Что стало с остальными — об этом даже думать боялись потом, не то что говорить.

Ляхи быстро вошли в село и тут же принялись грабить и насильничать. Входили в избы, убивали тех мужиков, кто поднимал на них вилы. Задирали подолы женкам, а визжащих девок так и просто тащили за косы в исподних рубахах по снегу. И смеялись притом. А еще брали в избах и дворах все, что им нравилось. Все делалось деловито и так, как будто творили это ляхи каждый день. И такой крик по селу поднялся! Поняли люди, что напрасно стрельцов не послушались, да поздно было. А ляхи меж тем стали стаскивать все награбленное в одну кучу, а людей сгонять в гурт, как стадо. Тут же сгоняли и мычащую скотину. Горели, дымились подпаленные избы. Успел батюшка добежать до храма, ударил на всю округу тревожный колокольный набат. Услыхали его в соседних селах, встрепенулись, но недолгим он был — убили батюшку из пищалями, так и повис он на вервиях колокольных, качаясь. В храм тоже ворвались ляхи, вынесли все ценное, а храм подожгли. С образов срывали оклады и бросали лики святые в огонь.

И выехал к людям, наконец, предводитель войска ляшского, воевода королевский и староста оршанский, сам Филон Кмита. Грузен он был не в меру, одет богато, по перстню с камнем на каждом пальце имел и восседал на большом коне откормленном. И лицом был он не как черт из пекла, а как обычный человек, и хуже того — ежели одеть его в простую одежду, то не отличить было Кмиту от крестьянина какого, толстоват только. Оно и понятно,

ведь родился он литвином, а не чудищем заморским. А что когда-то литвины и русь были все равно что братья, не все еще позабыли. И так, видать, стыдно было ему пред ляхами за эту свою похожесть, что делал он все, чтобы его в ней не заподозрили. По делам же его впору было Кмите в аду гореть, в самом глубоком котле вариться, и никто не поверил бы, что еще не так давно был он веры православной и только третьего года как перешел в латинскую.

Выехал Кмита пред людьми, посмотрел на них брезгливо так и сказал приспешникам своим:

— Ўсё быдла сабралі!¹

Те заискивающе закивали в ответ.

— Так падзяляйце, чаго ўсталі?² — махнул Кмита рукой.

Люди видели жест тот и поняли, о чем он. И завыли. Ибо означало это, что все, кого можно забрать в полон, будут отобраны и никогда им не встретиться более со своими родичами любимыми. Крик и плач поднялся над селом, но ляхам он не особо мешал. Детей постарше, парней молодых и девок отделяли они от гурта и оттесняли в сторону, остальных же загоняли в большой сарай, где хранилось когда-то сено, стрельцам отданное. Набили туда народа, как огурцов в бочку, не прдохнуть. Люди сперва понять не могли, зачем это, но, когда остатками сена стали ляхи обкладывать стены да затворили ворота на засов, поняли.

— За что?! За что?! — кричали люди и молили пощадить хотя бы детей.

— Як за што? — удивился Кмита. — Забыліся, чые вы халопы? Забыліся, кто ваш гаспадар, якому вы кланяцца павінны? Забыліся, што ў дзённым пераходзе адсюль на поўнач, на беразе стаіць каменны крыж са слупамі Гедзімінавымі, які паставлены на памежжы Вялікага княства ліцвінаў?³

¹ Всё быдло собрали? (Здесь и далее — перевод с белорусского.)

² Так разделяйте, чего встали?

³ Как за что? Забыли, чые вы халопы? Забыли, кто ваш хозяин, которому вы кланяйтесь должны? Забыли, что в дневном переходе отсюда на север, на берегу стоит каменный крест со столбами гедиминовыми, который поставлен на пограничье Великого княжества литвинов?

Притихли люди, только молитву шептали. Ничего этого они не ведали. Веками жили они тут, на своей земле, и ни про каких хозяев да князей литвинских слыхом не слыхали.

Но Вода помнила все.

Крест на высоком берегу Лопастицы и впрямь стоял, только попутал Кмита иль набрехал — с него станется! Были на кресте том вырезаны не столбы гедиминовы, а скол летящий, и поставлен был он тут князем Ростиславом Мстиславичем как знак владений князей русских.

— Запальвай!¹ — крикнул Кмита.

Подобрались ляхи к сараю с зажженными факелами. И тут вдруг выскочила прямо на них будто из-под земли женщина — странная, простоволосая, махавшая руками и истошно кричавшая что-то невнятное. И такая сила была в этом крике, что встали ляхи.

Матрещу — а это была она — можно было считать счастливицей.

Это потом внуки ее рассказывали своим, а те — своим, что семейство их в тот день, когда ляхи сожгли село, спасла Вода. В то утро, не раньше и не позже, старший сын Матрещи подбил остальных сходить к дальней полынье, за налимом. Сказано — сделано. Сыновья пошли, а Настена увязалась за ними, как хвостик. Тут и самой Матреще собираться пришлось — не отправлять же одних кровиночек.

Хороший улов был — только успевали рыбу тянуть. И все налимы как один были крупные, жирные — не оторвешься. Матреща стояла подле, стояла, куталась в тулуп, а потом подошла к полынье да заглянула туда, опустив в руки в Воду. И увидала там... бездну. Темную и бескрайнюю, как черная душа оршанского старосты. И такой холод пронзил Матрещу, что в ужасе отпрянула она от полыни, упав прямо на снег. Подбежали к ней сыновья, подняли, но она тряслась так, что даже сказать не могла, что случилось такое, только зубы стучали. А прия в себя, неровным голосом, срывающимся в крик, строго-настрого наказала Матреща детям своим — домой не возвращаться, идти к дядьке в соседнее

¹ Зажигай!

село, да и там не сидеть и готовиться бежать подале. И не дай Бог пойти за ней следом!

Наказала так, вскочила и побежала по заснеженной тропке, оставив детей своих в изумлении. А на бегу все бормотала какую-то дребедень: «Полынь, полынь, полынь, полынь... Имя звезде полынь... Грех ваш страшен и кара лютая... Веками вариться тому яду... Звезда на небо взойдет и упадет в Воду, и третья часть станет ядом тем... Вода... Вода и огонь... Вода и огонь... Вода превратится в пар... Пар вырвется из каналов... Кипит, кипит в активной зоне... Положит... Положит... Положительный паровой коэф... коэф... Полынь, полынь, полынь...» И когда, теряя силы, добежала она до села, то перешла на крик. И селяне слышали ее, и ляхи, но никто не мог разобрать смысла сих слов.

— Стойте, подождите, не делайте этого! — кричала Матреша. — Полынь, полынь, полынь, полынь... Звезда Полынь на небо взойдет, и треть вод станет ядом... Я накормлю потомство ваше полынью и напою их Водою с желчью... Детям их и детям их детей смерть в души войдёт... Положит... Положительная реа... ктивность... Кави... кавита... тация насосососов... Четвертый, четвертый блок...

— Прыбярыце адсюль гэту курву!¹ — бросил Кмита.

Ляхи замялись:

— Да баба пэўна².

— Якая баба?! Бабы па хатах з дзецьмі сядзяць. Ведзьма гэта!³

Достал Кмита из-за пояса пистоль и выстрелил прямо в Матрешу. Упала она навзничь, продолжая, однако, выкрикивать: «Не делайте этого... Не делайте... Полынь, полынь... Вода, целый столб Воды... Конец... Концевой эфф... фект... Обез... обез... воживание реактора... Отчуждение... Вода и огонь, Вода и огонь... Вода помнит...» Снег окрасился кровью. Затихла Матреша.

¹ Уберите отсюда эту курву!

² Да баба вроде.

³ Какая баба?! Бабы по домам с детьми сидят. Ведьма это!

— Запальвай! — скомандовал Кмита, и ляхи подожгли сарай.

Случившееся в тот день настолько противно было и человечьим законам, и законам Божиим, что, кажется, небо должно было развернуться над преступниками и покарать их самыми глубокими безднами ада. Но небо стояло белым и безмолвным, как саван, никаких громов и молний не было на нем. И даже лед на озере не раскололся под душегубами, когда на другой день покидали они сожженное село. Смолчала Вода. Так и пошли они далее безнаказанно разорять земли Руси. Кмита же похвалялся потом, что сжёг две тысячи сел и захватил большой полон. Взяли ляхи Холм и города другие. Только Псков им не дался. Повоевали там ляхи, потрепали их стрельцы государевы да народ псковский. Загрустили ляхи, да и пошли на мир с царем Иоанном, и каждый остался при своих.

Ушла война. Озерный край стоял разоренным. Люди возвращались в родные места, ужасаясь произошедшим там переменам. Но жизнь не стоит на месте. Доставали останки из гарей и хоронили их в курганах, кои обкладывались валунами понизу, а на вершины сажался можжевельник — древо смерти. Так и стоят те курганы до сих пор вдоль дорог, напоминая о былом. На месте пепелищ рубились новые избы, рождались дети, распахивались застрашающие ольхой да ветлой поля. Но все было уже не так, как прежде. Урожаи стали незавидные, земелька так себе, на такой богатого урожая дождешься раз в десять лет по завету. Да и лес строевой весь куда-то вывелся, оставшийся же был гож на дрова токмо. Ягода стала мельче да кислее. Рыба тоже повывелась, пришлось сложные снасти налаживать, а про стерлядку и вовсе забыли, как она выглядит.

Жизнь медленно возвращалась в эти края. Вернулись и дети Матрешины. Они в тот страшный день добежали до соседнего села и уже там услыхали колокольный набат да увидали столб черного дыма. Потом они с родней своей бежали еще дальше, и еще, пока не добрались ажно до острова Кличен, где и пересидели войну под защитой

волн и стен острожных. Сыновья Матрешины срубили себе избу на старом месте, привели в дом невесток и обзавелись детьми уже, а дочка Настена пока еще ходила в девках и, судя по всему, материнский дар слышать Воду передался ей, как когда-то передался он самой Матреше от бабки ее.

Многое изменилось в озерном kraю. Сила Воды как будто ушла, истаяла. Людям стало казаться, что они Ее не чуют вовсе, что Вода потеряла свою память, свою чистоту. Но ведала Настена, что Вода на месте, только заснула где-то в своих подземных реках, затаилась отчего-то. Иначе как бы Она, века хранившая край, вдруг осталась безучастна к тем страшным делам, кои творились тут? Восстановлен был храм, люди снова ставили там свечи, а голос Воды уже и слышать не хотели. И не ходили к тем, кто слышал его. Настена посидела, посидела без дела, а потом и под венец собралась. Казалось, сила Воды и впрямь покинула те места, а иначе отчего преступившие законы Ее не понесли никакого наказания?

Возможно, так оно и было. А может, и нет — кто знает? Под силу ли людям постичь высший промысел? Войско ляшское вернулось домой с большой добычей. Разбогател Филон Кмита. В награду за верную службу был он произведен королем Стефаном Баторием в звание сенатора и воеводы смоленского — даром, что под Смоленском драпал Кмита так, что только пятки сверкали. А также получил он от короля добрый лен под Киевом. Хорошие то были земли, плодородные, с замком и селами на берегу чистой реки, в Днепр впадавшей. Местечко то называлось в честь полыни, как нарекли ее в местном наречии. И хорошо зажил там Кмита с семейством своим, не особо памятуя про совершенное им где-то далеко. И потомки его расселились широко по той волости. А те потомки, которые родились от законных жен, еще и владели ею. Сам же Кмита с той поры взял себе герб, где к старой Хоругви Кмитов приделаны были шлем да перья павлиньи. И подписывался он отныне в честь своего нового лена не иначе, как Филон Кмита-Чернобыльский.

Тревожные лица людей в белом, похожих на ангелов...
Крики: «Снижение оборотов насосов... Стабилизация
мощности... Жми кнопку! Да жми же! Стержни, стержни
в активную зону! Глуши реактор! Тут все на хрен взор-
вается сейчас! Мощность на пределе!» Удары грома, от
которых, казалось, сотрясается земля... Пламя повсюду...
Стены плавятся. Железо, песок, камни и огонь текут, по-
добно меду... И ползет, выползает на свет белый невиди-
мая смерть...

Вода помнила все.

Вера Камша

Когда коты были босыми

(устарелла о первой любви)

Как сказал классик, надо брать музыку у народа и только обрабатывать ее. Так я и делаю. Поэтому, когда сегодня берешь у композитора — это, собственно говоря, берешь у народа, берешь у народа — берешь у себя... и кто говорит «плагиат», я говорю «традиция».

*Анонимный,
но гениальный композитор*

В королевстве, где все тихо и складно,
Где ни войн, ни катаклизмов, ни бурь,
Появился...

Владимир Высоцкий

Глава первая,

*в которой читатель знакомится
с принцессой Перпетуей и некоторыми традициями
королевства Пурия, а также встречает
весьма подозрительного незнакомца*

Во имя Проппа великого и величайшего и в радость ему, да начнется сия история!

Погоды стояли предсказанные и прекрасные. Жители Санта-Пуры, утирая слезы умиления, с самого утра стекались к королевскому дворцу, у парадного крыльца которо-

го стояла карета, запряженная шестеркой лошадей масти паломино с гривами, убранными в косички причудливого плетения. Лошади взмахами тщательно расчёсанных хвостов отгоняли мух и переминались с ноги на ногу — им не терпелось пуститься в путь. Не терпелось пуститься в путь и эскорту принцессы Перпетуи, отбывавшей собирать цветы в Разбойничий Лес.

Эскорт принцессы — сорок юных особ, все в сверкающих доспехах и розовых плащах, украшенных гербом королевства Пурия (Дева в белых одеждах и возлежащий у ее ног белый же Единорог на белом поле), — уже замер вдоль украшенной мраморными вазами лестницы. За спинами прелестных воительниц высились дюжие оруженосцы. Сама же Перпетуя, крупная блондинка с добродушным румяным лицом, преклонив колена, внимала поучениям венценосных родителей.

На Ее Высочество было пышное белое платье со шлейфом, расшитое розовым жемчугом и отделанное розовыми лентами, на голове — изящная золотая корона, а на ногах — белые туфли на высоких каблуках. В недалеком будущем одежде и аксессуарам принцессы предстояло занять почетное место в витрине парадного будуара королевы одного весьма примечательного государства, однако не будем забегать вперед.

— Запомните же, о возлюбленная дочь наша, — напутствовала юную Перпетую королева Пульхерия, — пурийские принцессы, оказавшись в безвыходном положении, предпочитают бесчестью смерть.

— Да, матушка, — с готовностью согласилась дочь.

— В таком случае, дитя наше, мы благословляем вас, — королева торжественно поцеловала принцессу в лоб, — отправляйтесь. Мы будем молиться за вас.

— Прежде чем углубиться в Разбойничий Лес, — подал голос Его Величество Абессалом Двунадесятый, — не забудьте велеть подругам отпустить оруженосцев и запретить оным заходить далее опушки.

— Я все помню, папенька, — заверила Перпетуя, у которой начинали затекать колени.

— В таком случае мы также благословляем вас. — Его Величество запечатлел родительский поцелуй на девичьем лбу. — Собирайте незабудки, ревзитесь, пойте и пляшите.

— Но никаких вальсов, — вмешалась Ее Величество, — И уж тем более столь омерзительной и непристойной вещи, как танго. Только менуэт, контрданс и ригодон. Да, положили ли вы арфу, ноты и альбом «Целомудренных песен»?

— О да, матушка.

— И еще, — королева густо покраснела, что стало заметно даже сквозь толстый слой белил, — вы стали совсем взрослой и должны узнать, что является самой отвратительной, неприличной и недопустимой вещью в мире. Это — эйяфьядлайёкюдль! Лишь сурово осуждающий эйяфьядлайёкюдль и всех, кто его не осуждает, достоин стать супругом пурийской принцессы. Поняли ли вы это, о дочь наша?

— Да, матушка, — глаза Перпетуи сверкнули, — я не знаю, и не желаю знать, что есть эйяфьядлайёкюдль, но я никогда не вручу свою руку и девственность негодяю, одобряющему оную мерзость.

Как и следовало представительницам пурийского королевского дома, об отвратительных, неприличных и недопустимых вещах мать (в девичестве идеалийская инфANTA) и дочь говорили вполголоса (в коем тем не менее звучало должное полноценное осуждение), предварительно обведя подобающим случаю взглядом окружающих. Взгляд сей выражал крайнее нежелание говорить о столь отвратительных, недопустимых и неприличных вещах, но долг и необходимость осуждения обязывали это делать... в смысле — говорить, а вы что подумали?

— Мы верим вам, дочь наша, — в глазах королевы мелькнула законная материнская гордость, — отправляйтесь. Незабудки ждут вас.

Принцесса поднялась с колен. Тщательнейшим образом выметенный и вымытый тончайшими батистовыми тряпками мрамор парадного крыльца не оставил на юбках принцессы ни единого пятнышка. Четверо одетых в розовое пажей подхватили шлейф белого прогулочного платья,

и дева, опустив глаза, прошествовала по лестнице мимо хранителя высочайшего Времени и хранителя Нравственности, мимо министров и генералов, мимо придворных дам и кавалеров, мимо послов держав стран победившего Добра и наблюдателей от Светлого арбитража Земноводья, мимо проппо-гандистов в полотняных балахонах и проппо-ведников с толстыми томами Вед под мышкой, мимо просто нежных дев и нежных дев, ощущающих себя нежными же юношами, мимо нежных юношей, ощущающих себя мужественными девами, и просто юношей, мечтающих вступить в гвардию, мимо утирающих скучные слезы суровых гвардейцев и плачущих навзрыд старых кормилиц, мимо... Длинная, длинная была лестница, чего уж там! Тем не менее в карету Перпетуя в конце концов все-таки села, а подруги с помощью оруженосцев взгромоздились на разукрашенных розовыми и белыми перьями боевых коней. Кучер взмахнул бичом, и экипаж резво покатился по главной королевской дороге. Сияло солнышко, в небе звенели жаворонки, вдоль дороги росли фиалки, анемоны, левкои, пионы и полевые маргаритки. Поселяне и поселянки в ярких платьях радостно пасли овечек, а при виде кареты выходили на дорогу, исполняли целомудренные песни и угощали принцессу парным молоком.

Перпетуя молоко не любила, однако пила: ведь она была истинной принцессой. Тем не менее, исполняя свой государственный долг, принцесса радовалась, что ее суженым станет наследник трона Верхней Моралии. Последние сорок семь лет в этом дружественном Пурии государстве что-то произошло с коровами, овцами и козами. Нет, они не перестали доиться, но молоко отчего-то скисало прямо в воздухе, даже не достигнув подойника. Ее Величество Пульхерия считала это прискорбное обстоятельство препятствием на пути заключения династического брака, но Его Величество Абессалом Двунадесятый опасений супруги не разделял. Мнение папеньки восторжествовало, и принц Яго-Стэлло-Бэлло-Пелло-Отелло-Вэлло-Донатэлло-Ромуальдо со товарищи выехал на охоту в Черный Лес, дабы, увлекшись преследованием раненого оленя, заблудиться и, проплутав три дня, оказаться в Разбойничьем

Лесу в то мгновение, когда разбойник в последний раз потребует у пленной принцессы ее девственность.

Тут, видимо, следует сказать, что пурийская принцесса могла вручить упомянутую девственность лишь благородному рыцарю, спасшему ее от верной смерти и еще более верного бесчестья. Поскольку Пурия по праву считалась королевством, в котором царят порядок и законность, принцессам по достижении двадцати шести лет приходилось отправляться в особый лес, где на них нападали обитавшие там разбойники. Принцессу с подругами брали в плен, после чего устраивалась отвратительная оргия, во время которой негодяи всячески оскорбляли пленниц и объясняли им, сколь ужасна ожидающая их участь. Предводитель требовал от принцессы выкупить жизнь подруг ценой ее девственности, привязанная к могучему дубу дева последовательно предлагала в уплату золото, королевство и, наконец, свою жизнь, но негодяй оставался непреклонным. В последний момент... Но поскольку этот самый последний момент еще не наступил, вернемся на большую дорогу.

В урочное время карета остановилась у живописного холма, на котором двенадцать поселян в деревянных башмаках, вышитых сорочках и шляпах, украшенных голубиными перьями, с пением разгребали сено. У подножия холма двенадцать поселянок в деревянных башмаках, вышитых сорочках и венках из ромашек, васильков, лютиков и фиалки триколорной с пением пасли ягнят. При виде кортежа крестьяне покинули свои грабли и своих барашков, вышли на дорогу и встали друг против друга, уперев руки в боки.

Ветви растущей вдоль дороги калины крупноцветной раздвинулись, и из зарослей появились: волынщик в вышитой сорочке, деревянных башмаках и клетчатом берете, пожилая поселянка в вышитой сорочке, деревянных башмаках и накрахмаленном чепце, с крынкой в руке и три откормленных поросенка без вышитых сорочек. Поросят, подбадривая деревянными башмаками, загнали обратно в заросли калины крупноцветной, а поселянка, присев перед Ее Высочеством, протянула крынку, каковую принцессы взяла. В крынке было парное молоко.

— По незабудки собирались, сейчас песни орать начнут и танцы народные плясать, — приметив угрожающе взятую на изготовку волынку, догадалось кутившее на близлежащем холме кальян небольшое существо, напоминающее человечка с небритыми ушками, и быстро спряталось в норку, плотно прикрыв за собой дверь. Внимательный наблюдатель заметил бы, как за треугольными окнами опустились зеленые шторы, но поселянам не было до этого решительно никакого дела, как не должно быть дела до странного существа и нашему читателю, благо оное существо, пройдя сквозь многочисленные переводы и пересказы древних саг, баллад, былин и прочих сказаний Земноводья, все равно до неузнаваемости утратило свой первоначальный облик.

Волынка взвыла нечеловеческим голосом, поселяне и поселянки захлопали, затопали, загукали и дружно запели о том, как они сеяли турнепс.

Принцесса, отхлебнув молока, с тоской заглянула в крынку. Она была полна до краев.

— А мы свинок выпустим, выпустим, — пели поселянки народными голосами.

— А мы свинок выловим, выловим, — хищно отвечали поселяне голосами, еще более народными.

Это была предпоследняя встреча на пути к Разбойничьему Лесу. На опушке принцессе должна была попасться старуха с хворостом, которую требовалось перевести через мостик, но это было не страшно, так как молока у старой карги не предполагалось.

Раздался цокот копыт, и из-за поворота дороги появился странно одетый незнакомец, — почти невозможно было понять, имеются ли под длинным, скрывающим фигуру плащом другие предметы туалета, например штаны, однако получившая должное образование Перпетуя мгновенно определила, что перед ней не принц и, видимо, даже не рыцарь. Путник ехал на гнедой лошади, а не на белой, на нем не было лат, на рукаве его не трепетал шарф Прекрасной Дамы — и вообще выглядел всадник весьма подозрительно.

Не вызывающий доверия незнакомец остановил коня, откинул капюшон и с любопытством уставился на карету

и топающих поселян. При ближайшем рассмотрении он оказался еще подозрительней, чем издали. Чело путешественника, обрамленное спутанными светлыми, можно даже сказать, золотыми волосами, не было отмечено печатью мрачных дум, а глаза цвета морской волны не таили в себе благородного страдания. Более того, при виде свиты Перпетуи наглец расхохотался. И это вместо того, чтобы сообщить всем, что его (то есть незнакомца) Прекрасная Дама — самая Прекрасная Дама во всем мире (при встрече с представительницами правящего королевского дома рыцарю надлежало уточнить, что присутствующая представительница королевского дома все же по некоторым своим качествам превосходит Самую Прекрасную из дам. Качества сии были оговорены специальным эдиктом и освящены обычаем... впрочем, мы сильно отклонились от темы!), и тот, кто посмеет в этом усомниться, будет немедленно сражен!

— Сомневаюсь, — фыркнул, да-да, именно фыркнул подозрительный тип, — что хотя бы одна из напяливших на себя эту кухонную утварь кисок, случись что, сможет даже руку поднять.

Не вполне понявшая слово «кисок» Перпетуя несколько растерялась и сделала вид, что созерцает веселящихся подданных.

— А мы свинок закоптим, закоптим, — завлекающе пели поселянки.

— А свинину мы съедим, мы съедим, — плотоядно отвечали поселяне, непроизвольно облизываясь и сглатывая слону. Принцесса тоже представила себе толстый шмат сала, белоснежного, с розовыми прожилочками, с перчиком и чесночком. Если б Перпетуя имела представление о столетнем кальвадосе и о том, как он переливается всеми оттенками золота, она бы и его представила, но пурийские принцессы не только не притрагиваются к спиртному, но и не смотрят на него. Нет, о кальвадосе принцесса не думала, но семь выпитых ранее крынок молока все равно подступали к горлу... Из ступора деву вывел подозрительный незнакомец.

— Моя леди, — теперь беззастенчивый тип нагло разглядывал крынку в руках Перпетуи, — неужели вы все это выпьете?

— Пурийские принцессы издавна пьют парное молоко, — с достоинством ответила Перпетуя, поперхнувшись очередным глотком.

— Так меня занесло аж в Пурию? — Наглец поднял бровь. Брови у него, к слову сказать, были темными, и это тоже было подозрительно. Сама белокурая, Перпетуя знала, что у блондинов светлыми должны быть все волосы, а этот... У принцессы возникло подозрение, что перед ней нижнеморалиец! Заметим, что Нижняя Моралия (в отличие от Моралии Верхней) считается истинным рассадником непозволительных песен, стихов и прочих атрибутов распутства и растления. Мало того, есть сведения, что неблагородные дамы и господа в Нижней Моралии носят кружевное нижнее бельё черного цвета. Принцесса не исключала, что у подозрительного незнакомца под плащом скрывается именно таковое. Короче, негодяя следовало сразу же поставить на место.

— Девственность пурийской принцессы, — отрезала она, — принадлежит ее законному супругу.

— Он будет счастлив, — негодяй сверкнул аквамариновыми глазами, — однако прошу меня извинить, я очень спешу. Мне попалось десятка полтора презабавных созданий, таких, знаете ли, зеленых, клыкастых, в рогатых шлемах. Похоже, у них были ко мне какие-то претензии, но я, сколько за ними ни гнался, так и не смог выяснить — какие именно, а теперь, кажется, сбился со следа. И это — не считая того, что я не терплю молока и пейзанских танцев и песен.

Если у Перпетуи и оставались какие-то сомнения в происхождении незнакомца, то они были рассеяны, как следы дивных кораблей с синими парусами на воде неведомых морей. Лишь уроженцы Нижней Моралии могли с таким невероятным нахальством и неприличным пренебрежением относиться к народным песням, танцам, и — страшно сказать! — парному молоку!

— Вас никто не задерживает, — холодно произнесла Перпетуя, залпом допивая оставшуюся в кринке тепловой белую жидкость.

Глава вторая, *в которой принцесса Перпетуя с подругами углубляется в Разбойничий Лес*

Деревни, зеленеющие нивы, тучные пастбища, веселые пейзане и подозрительный незнакомец остались далеко позади; теперь по обе стороны дороги встал мрачный лес. Вековые ели тянули к дороге темные колючие лапы, на них сидели вороны и воробы, хрипло каркая на два голоса. Дорогу кортежу переползло шесть ужей (с шипением), перешло одиннадцать ежей (с пыхтением) и перебежало двадцать четыре зайца (молча), причём все они двигались строго с востока на запад, что определенно не предвещало ничего хорошего.

Наконец, карета поравнялась с обширным лугом, заросшим слепотой куриной, дурманом обыкновенным, болиголовом крапчатым, борщевиками, в иных мирах носящими имя неведомого в Пурии натурознавца Сосновского, и ядовитым вехом. Возница остановил коней, лакеи спустились с запяток и открыли дверцу кареты. Принцесса выбралась наружу, за ней вылезли четыре пажа, несущие шлейф белого прогулочного платья.

— Ваше Высочество, — объявил старый седой слуга, утирая слезы, а заодно и багровый, в прожилках, нос рукавом белой с розовым позументом ливреи, — мы прибыли.

— Благодарю вас, мои верные слуги, — слегка дрогнувшим голосом (уж больно диким и неуютным казалось место) произнесла принцесса, — мы пойдем собирать незабудки, а также, возможно, ландыши и лесные фиалки. Ждите нас на опушке три дня и три ночи и не вздумайте нас преследовать.

— Мы будем ждать вас, Ваше Высочество, — воскликнули слуги и оруженосцы. Седой лакей трясущимися руками вручил принцессе большую плетеную корзину, выстланную вышитым незабудками белым шелком, и Перпетуя ступила

в высокую траву. За ней двинулись пажи, за коими гуськом потянулись защитницы, принявшие из рук оставленных на обочине оруженосцев смертоубийственную снасть.

Увы, оружие оказалось слишком тяжелым для нежных девичьих рук, трава — мокрой от росы, а тропинка — узкой и ухабистой. Раскрасневшиеся, вспотевшие воительницы уныло брели меж высоких, мрачных борщевиков, не в такт бряцая доспехами и влача за собой щиты с мечами. Только три счастливицы, вооруженные гномозеландскими скирами с ажурными лезвиями, могли шагать, держа свое изящное оружие на весу, остальным приходилось тяжко.

Шлемы немилосердно давили, кольчуги натирали шею, травы цеплялись за шпоры. Особенно свирепствовали выюнок полевой, а также горошки мышиный и воробышний. В довершение всего почуяла поживу комариная камарилья, кровопийцы десятками лезли в прорези для глаз, проникали под панцири и кольчуги. Страдалицы не могли ответить своим мучителям ударом — хваленая гномья броня великолепно защищала летучих упырей от окованных железом кулаков прекрасных дев. Вполномаса девы э-э-э... возносили молитвы святой Инсектициде — заступнице всех от комаров и прочего гнуса невинно страждущих, кою, как известно, летучие изверги сожрали заживо, даже косточек не оставили.

Перпетуе было легче — она отмахивалась от супостатов упомянутой большой плетеной корзиной и утешалась мыслию о том, что в Верхней Моралии столь злоказненные твари не живут. Подол белого прогулочного платья вымок и пошел зелеными пятнами, приподнять же его выше колен дева не могла — в Разбойничьем Лесу жили посторонние мужчины.

Наконец, борщевики расступились, и девы выбрались к лесной речушке, чьи берега заросли калужницей, осокой и рогозом широколистным. Через речку был перекинут трухлявый мостик, на нем уже стояла старуха с небольшой, увитой розовыми лентами вязанкой хвороста. Принцесса прибавила шагу, четыре пажа, придерживая шлейф, обретший расцветку, именуемую в дальних мирах камуфляжной, потрусили следом за Ее Высочеством, немало затрудня

продвижение. Едва угадывающиеся под слоем налипшей глины туфли скользили, элегантные каблуки норовили провалиться в щель между досками, но принцесса до цели все-таки добралась.

— Здравствуйте, бабулечка-красотулечка, не нужна ли вам какая-либо помощь? — Перпетуя мужественно взглянула в глаза старой грымз... простите, бедной старушке.

— Награди тебя небо, прелестное дитя, — произнесла бабулечка-красотулечка (истинный знаток обнаружил бы, что некогда старая ведьма была более чем недурна), — увы, я уже немолода, тяжко мне собирать хворост, а вот в прежние годы...

Старушка углубилась в воспоминания, не замечая свиту принцессы, а сорок фрейлин, увешанных оружием, и четыре пажа, так и не выпустивших шлейф прогулочно-го платья, делали вид, что к стоящей на мостице деве не имеют ну совершенно никакого отношения! Такова была освященная веками древняя традиция, корнями своими уходящая в... Увы, очевидцев того, куда именно уходили корни, уже и не осталось, но, согласно требованиям традиции, носительница хвороста ни в коем случае не должна узнавать юную венценосную особу до того, как та лично не известит о своем происхождении. И старушка, неукоснительно соблюдая обычай, поведала одинокой незнакомке о своей жизни. Юность ее омрачила роковая тайна, но затем все наладилось — добрая женщина никогда не изменяла супругу, не употребляла крепких напитков, вырастила шестерых сыновей и двух дочерей, посадила дерево дуб и убила одиннадцать змей, две из которых были ядовитыми.

— Мне не стыдно за бесцельно прожитые годы, — закончила свой рассказ старушка, — чего и тебе, дитя, желаю. А далеко ли ты, милая, собралась?

— На поляну Незабудок, добрая женщина, — сообщила принцесса, хлопая себя по щеке.

— Опасное это место, — покачала головой старуха, — там уже шестой век собираются лесные тати и устраивают отвратительные оргии с распитием принесенных с собой

спиртных напитков и исполнением непристойных и разуhabистых песен.

— Мы — пурийская принцесса Перпетуя! И не нам бояться жалких лесных татей! — На сей раз дева грозно ударила себя по лбу, уничтожив очередного кровопийцу. — К тому же с нами — наши подруги.

Бедная женщина лишь теперь разглядела сорок вооруженных дев и четырех пажей в розовых одеяниях, покрытых изысканными зелеными пятнами. Она испуганно охнула и всплеснула руками. Если бы не предусмотрительность древнего обычая, предписывающего сразу забирать у старушки вязанку, та неминуемо упала бы в воду.

— Не бойся нас, добная женщина, — ободрила подданную принцесса, — но укажи дорогу.

— Что ж, — бабулечка-красотулечка утерла слезы, — идите, Ваше Высочество, через мостик, а потом все прямо и прямо, к вечеру как раз поспеете.

— Спасибо тебе, — принцесса оборвала жизнь слепня, — пожелай мне удачи и помолись за меня святому Абессалому и святой Пульхерии.

— Конечно, Ваше Высочество, а вы уж извольте, как домой вернетесь, замолвить словечко за меня и моих немалых детушек перед родителями вашими, да благословят их святые Кифа и Мокий. Народу через лес теперь мало ездит, доходы падают, обеднели совсем — никакой возможности налоги платить.

Принцесса заверила старушку, что обязательно напомнит августейшим родителям о том, как тяжело теперь жить в лесу, и с чувством исполненного долга собралась продолжить путь, но тут произошло небольшое недоразумение. Мостик был слишком узким, и принцессе было никоим образом не разойтись с ее подданной. Повернуть назад Перпетуя не могла — мешали чувство долга, каблуки, шлейф и четыре пажа. К счастью, старушка поняла, какие трудности испытывает Ее Высочество, и, еще раз попросив о снижении налогов, спрыгнула с мостика и, приподняв юбки, перешла речку вброд, причем внимательный наблюдатель мог заметить нечто темное и ажурное. Во всяком случае,

разбуженный плеском и вынырнувший из-за коряги наядец долго глядел старухе вслед, после чего со вздохом скрылся в своем убежище. Никто его и не заметил.

Окрыленная близостью цели, принцесса устремилась вперед. За ней двинулись четыре пажа, а за пажами — подруги с двуручными мечами, секирами и иными колющими, режущими и бьющими предметами. Оружием девятнадцатой по счету косоглазенькой девицы по имени Глоксиния служил очаровательный, но тяжелый шипастый шар на цепи, именуемый в весьма отдаленных от Пурии краях моргенштерном. При переходе мостика один из шипов вонзился в доску, и шар застрял. Глоксиния тянула и дергала, стараясь высвободить строптивое оружие, но шар впиявился в трухлявое дерево не хуже, чем пажи — в шлейф Ее Высочества. На помощь Глоксинии бросились ее подруги-воительницы Азалия, Сенполия и Пеларгония. Вчетвером им удалось высвободить злополучный моргенштерн, но прогнившие доски не выдержали, и в мостике образовалась внушительная дыра. Принцесса, четыре пажа и девятнадцать дев оказались на одном берегу, а двадцать одна — на другом.

Перпетуя задумалась. С одной стороны, появляться в Разбойничьем Лесу со столь небольшой охраной было несолидно, с другой стороны, она понимала, сколь невежливым является опоздание, особенно для представительницы пурийского королевского дома. Принцесса вспомнила славные подвиги, совершенные пурийскими королями, королевами, принцами и принцессами, убила двух комаров (одного на шее и еще одного, легкомысленного и усатого, пытавшегося прогрызть шлейф, на месте преступления), подошла к ручью и подняла руку — не ту руку, в которой она держала большую плетеную корзину, выстланную вышитым незабудками белым шелком, а другую, в которой сжимала увитую розовыми лентами вязанку.

— Слушайте же нас, подруги наши. Мы — пурийская принцесса, и мы не отступим. Этой ночью мы будем собирать цветы на Поляне Незабудок, вы же возвращайтесь с миром на дорогу и ждите нас.

— Да здравствует принцесса Перпетуя! — прокричали остающиеся, утирая слезы. Принцесса повернулась и углубилась в лес и вместе с ней углубились: камуфляжный шлейф, четыре пажа, несущие оный, и верные подруги: Азалия с алебардой, Аралия с нерезной секирой, Бугенвалия с арбалетом и ножами метательными и нет, Гайлардия с резной секирой, Гардения с двумя арбалетами и тремя кинжалами, Кальцеолярия с двуручным мечом и щитом, Афеландра с двуручным мечом и щитом, Бильбергия с двуручным мечом и щитом, Диффенбахия с двухлезвийной секирой, Лилия с двуручным мечом и щитом, Пеларгония с резной секирой, Розалия с двуручным мечом и щитом, Сальвия с перекрещенными за спиной двумя луками позднеэльфийской работы и колчаном белооперенных (геральдический пурпурный цвет!) стрел, Сансеверия с полутораручным мечом и щитом, Сенполия с глефой, Физалия с двумя остро отточенными клинками и двумя щитами, Фрезия-первая с копьем и щитом и Фрезия-вторая с боевым молотом. Последней шла девица Глоксиния в некогда белых чулочках. Моргенштерн волочился за хозяйкой, подобно огромному ежу, заметая следы и то и дело застревая в плетях придорожной ежевики.

— Пурпурные августейшие особы никогда не оглядываются и не сворачивают с избранного пути! — повторяла про себя принцесса — и не оглянулась. Она так и не увидала, как вознесшийся из речных глубин волосатый хвост неведомого монструоза молниеносным движением обвил ожесточенное всех машущую руками и особенно громко выкрикивающую прощальные слова девицу Петунью чуть пониже талии и растворился вместе с нею (в смысле — со всей Петунией целиком, а не с её талией) в повисшем над водой реденьком тумане. Никто их более не видел, хотя искали долго и счастливо... усердно. Ходили, правда, слухи, что небезызвестный гроссмейстер тайных операций Лоренцо-Феличе поймал-таки под неким мостом этого самого с хвостом и допросил с пристрастием, — но это уже другой мост и другая история, мы же вынуждены последовать за принцессой Перпетуей в темный Разбойничий Лес.

Глава третья,

*повествующая об отвратительной оргии, а также
о могуществе и благородстве разбойника Гвиневра
Мертвой Головы, и о происхождении и особенностях
поведения козлодоя ушастого*

Принцесса отважно вела поредевший по милости злорадного моргенштерна отряд сквозь лесную чащу. Тени сгущались, последние лучи солнца скрылись в окончательно закрывших небо тучах комаров, сквозь их победное гудение прорывалось уханье проснувшихся сов и филинов, а вдали можно было различить душераздирающие сетования и жалобы голого вепря ІІ — а можно было и не различать...

Перпетуе стало страшно, каблуки подкашивались, многочисленные укусы чесались; перед самым лицом девы, зловеще хохоча, подобно хорунжему фон Роггену над пошлым анекдотом, пронесся огромный ушастый козлодой, редкая птица, обитающая лишь в Разбойничьем Лесу, а за ним — два поменьше. Принцесса вздрогнула; посредством шлейфа прогулочного платья ее дрожь передалась пажам, а затем — телепатически — и подругам.

Комары уже не гудели... То есть нет, комары как раз гудели, но теперь в их гудении слышалась некая изысканная гармония — жужжание все больше напоминало звучание миниатюрного оркестра из десятка весьма расстроенных скрипок, полудюжины треснувших флейт, пары свирелей, одной лютни (ни в коем случае не гитары!) и рояля, выводящего дивную мелодию. Принцесса зажмурила глаза — пользы от них всё равно уже было мало, — на ощупь шагнула вперед и врезалась в огромный пень — она была на Поляне Незабудок!

В мертвленном свете очень кстати объявившейся в небе полной луны дева смогла рассмотреть легендарное место. В паре десятков шагов от коварного пня возвышался огромный дуб, темный, страшный и лохматый, в его листве кто-то возился, а вокруг ствола вилась толстенная цепь, которую в любой военно-морской державе определили бы как якорную. Пред дубом виднелось кострище, вокруг

коего располагались четыре толстых бревна, немалых размеров ящик и странное сооружение, напоминающее небольшой поставленный на попа красного цвета гроб; трава вокруг дерева была скошена и собрана в аккуратные копны. Последнее обстоятельство исторгло из груди принцессы душераздирающий стон. В ветвях что-то прошуршало, в кустах на противоположной стороне поляны раздались звуки рояля, но Перпетуе было не до того. Взволнованная дева ринулась вперед, увлекая за собой продолжающих цепляться за шлейф некогда прогулочного платья пажей.

Тревога оказалась ложной — за дубом тянулись аккуратные грядки, засаженные крупноцветными незабудками, над которыми возносился к луне небольшой, но крепкий дубок, коему предстояло сменить актуальный, каковой, в свою очередь, занял место дуба прошлого, когда тот стал пнем. Но Перпетуя о дубовой преемственности и не подумала, она поудобней перехватила большую плетеную корзину, выстланную вышитым незабудками белым шелком, и взялась за дело.

Там, где проходили принцесса, ее шлейф и ее пажи, оставалась лишь мягкая черная земля, по которой ползали разбуженные и возмущенные гусеницы, улитки и заморские полосатые жуки. Увлеченная принцесса не заметила, как из кустов робко выглянуло некое существо с флейтой, поднесенной к губам. Хотя надо отметить, что в зыбком свете луны существо было малозаметно... к тому же, видимо, очень пугливо, так как, выглянув, почти тотчас исчезло.

Корзина стремительно наполнялась. Когда принцесса сорвала последний пучок незабудок с четвертой по счету грядки, в лесу раздался леденящий душу свист, еще более леденящий вопль «Йеееххх!» и на поляну вышли сорок разбойников во главе со своим атаманом.

Предполагаемый нижнеморалиец оказался прав — ни одна из дев-воительниц не смогла защитить еще не поруганную честь своей госпожи. Только моргенштерн Глоксинии (моргенштерны — они все такие!) по собственному почину оказал нападающим ожесточенное сопротивление: сначала зацепился за брошенную Перпетуей большую плетеную корзину, наполненную крупными незабудками,

и нахлобучил оную на голову пытавшемуся взять его в плен разбойнику, а потом, неведомо как подпрыгнув, обмотался цепью за дубовый сук и, раскачиваясь подобно иномировому маятнику Фуко, дорого продал свою свободу, уложив ряд станичников точными ударами по темечку.

Три сотрясения мозга и один приступ клаустрофобии — такова была цена, которую обитатели Разбойничьего Леса заплатили за плениение пурийской принцессы и ее дев-защитниц.

Перпетую схватили и привязали к вековому дубу, кора которого хранила следы многочисленных вервий, участвовавших в матримониальных мистериях пурийских принцесс. Устроившись поудобнее и убедившись, что при привязывании не произошло непроизвольного самозадирания юбки, пленица с любопытством огляделась.

У самых ее ног располагался ящик с самым обычным песком, а поразившее ее сооружение оказалось покрашенной в красный цвет доской с ножками, на которой висели: багор, лопата, маленькая лопатка, топорик и два красных конических ведра.

Отобранное у дев-воительниц оружие — кроме коварного моргенштерна, к которому никто не посмел приблизиться, — сложили у подножия разбойничьего дерева аккуратными кучками (мечи к мечам, щиты к щитам, древковое оружие к древковому оружию). Связанных валькирий устроили штабелем по другую сторону костра. Выросшая в уважении к чужому труду Перпетя невольно залюбовалась быстрыми и слаженными действиями душегубов. Когда основные работы были завершены, от утиравших лбы лесных братьев отделился один. Он был среднего роста, деликатного телосложения с невыразительным лицом, обрамленным невыразительной же бородкой и усами весьма заурядного цвета. Одет разбойник был в застегнутый на пять роговых пуговиц костюм из зеленой замши, под которым никоим образом не могло быть черного кружевного белья.

Скорее впалую, чем выпуклую грудь разбойника украшала достойная, расшитая рогатыми огнедышащими чере-

пами перевязь, на которой висел оправленный в желтый металл рог. За спиной татя был лук, на пояссе — меч, за поясом — нож, на ногах — сапоги со шпорами, на голове — охотничья шляпа с пером ушастого козлодоя, а на плече сидел сам козлодой немалых размеров и хлопал ушами, в одном из которых виднелась круглая серьга.

Разбойник подошел к Перпетуе и отвесил учтивый поклон.

— Приветствую уважаемую принцессу на Поляне Незабудок. Ваше Высочество, разрешите представиться. Гвиневр двадцать восьмой, прозванный Мертвой Головой за свою жестокость, двуличность, подлость, безбожие, окаянство, склонность к сыроедению и прочие дурные качества.

Принцесса хотела сделать книксен, но, во-первых, она очень устала, во-вторых, у нее сломался каблук, и, в-третьих, она была привязана к толстому дубу, так что ей пришлось ограничиться кивком и извинением за невольную неучтивость.

— Я понимаю положение, в коем оказались Ваше Высочество, — великодушно промолвил разбойник, голос у него был тонкий и печальный, и принцессе захотелось сделать ему что-нибудь хорошее, например, напоить парным молоком, — и не настаиваю на соблюдении этикета в мелочах. Как вы находите погоды? Вам не кажется, что для этого времени суток и года несколько прохладно?

— Да, — согласилась Перпетуя, — но прохладные ночи и обилие солнца днем благотворно влияют на созревание ягод и фруктов.

— Несомненно, — согласился разбойник. — Могу ли я поинтересоваться, почему Ваше Высочество сопровождают девятнадцать девиц вместо сорока, положенных по уставу?

— Мостик на краю леса сломался, — принцесса почла за благо утаить роль моргенштерна в сём печальном событии, — и часть моих верных подруг остались ждать на дальнем берегу.

— Это весьма прискорбно, — заметил разбойничий предводитель, — однако же делать нечего. Есть ли у вас,

Ваше Высочество, какие-нибудь пожелания и предложения — или мы можем сразу приступать к отвратительной оргии?

Перпетуя хотела попросить что-нибудь от комаров, но вовремя вспомнила, что обязана гордо молчать, пока от нее не потребуют ее девственность, — и замолкла.

— В таком случае — мы начинаем, — сказал Гвиневр, и разбойники занялись приготовлением к оргии. Двое чистили репу, четверо — картофель, трое — морковь, один шинковал капусту белокочанную, и еще один крошил кинжалом лук репчатый. Перпетуя видела, как из глаз негодяя ручьем льются слезы, но ничем не могла ему помочь, так же как и еще четвертым несчастным, что с рыданиями рубили головы и ноги связанным петухам породы леггорн.

Работа кипела, с доски сняли оба ведра, багор, лопату, лопатку и топорик и положили у кострища, после чего разожгли огонь. В землю у торцов бревен воткнули шесты, между ними протянули веревочки, на которые повесили флагги с рогатым огнедышащим черепом, достали несколько вышитых незабудками и черепами скатертей и расстелили их между бревнами, а сверху расставили тарелки и тарелочки, на которых разложили нацинкованные овощи и сорок одну окровавленную курью ногу.

Когда основные приготовления были завершены, на самом высоком шесте подняли личный штандарт Гвиневра Мертвой Головы. Сам Гвиневр ненадолго отлучился и вернулся, неся нечто, тщательно завернутое в войлок. Когда неизвестный предмет с большими предосторожностями развернули, Перпетуя увидела большой череп, с рогами и клыками, вроде бы тот самый, что был вышит на штандарте, перевязи, флагжах и скатертях, и вместе с тем чем-то неуловимым отличающийся от изображений. Череп заботливо смазали, увили рога собранными Перпетуей незабудками, поместили в разверстую пасть свечу и насадили на дубовую ветвь над головой принцессы. Оставшиеся незабудки были расставлены в восемь небольших деревянных вазочек и использованы для украшения стола. Гвиневр обошел вокруг скатертей, пожевал губами, словно чего-то подсчитывая, вздохнул и грустным голосом произнес:

— А теперь — спиртное.

Разбойники прикатили большую бочку и принесли сорок одну кружку, на каждой из которых была наклеена небольшая картинка. Четыре кружки, помеченные малинкой, ежиком, зеленым мухомором и улыбающейся улиткой в венке из незабудок, были унесены. Видимо, они принадлежали жертвам моргенштерна. Гвиневр вздохнул еще печальней, чем прежде, и приказал разливать. Оргия началась, лесные братья с видимым отвращением подняли кружки, встали, отставив локти, выпили, содрогнувшись от омерзения и торопливо сунули во рты репу, картофель, морковь, капусту и репчатый лук. К окровавленным петушьим ногам никто не притронулся.

Гвиневр тяжело вздохнул и вышел на середину посыпанной песком площадки. Лесные братья взялись за руки и пошли вокруг своего атамана, каковой откашлялся, утер губы носовым платочком с вышитым рогатым огнедышащим черепом, проверил, не выпал ли из петлицы букетик незабудок, и запел о том, как он одинок, горд и никем не понят.

Песня Перпетуе понравилась, хотя дева не была уверена, что неизвестный поэт должным образом изучил грамматику и синтаксис. С другой стороны, возможно, в разухабистых и неприличных песнях следует совершать орфографические, стилистические и политические ошибки, иначе какие же они неприличные? Потом принцесса вспомнила, что подобные произведения не могут нравиться представительнице пурийского королевского дома, и вернулась к предписываемому традицией созерцанию гнусного зрелища.

Разбойники как раз вернулись к столу. Гвиневр наполнил кружки и хотел что-то сказать, но тут станичник с перевязанным горлом заглянул в свою кружку, затем в кружки к соседям и надул губы.

— В чем дело, Кровавая Рука? — тихо и грустно спросил Гвиневр.

— Почему у меня больше, чем у Черного Сердца и Беспощадного Ножа?

— И ничего не больше! — закричал некто с голубым щенком на кружке, видимо, бывший либо Черным Сердцем, либо Беспощадным Ножом.

— Врет он все, — подскочил еще один брат, на чьем сосуде для питья красовалось улыбающееся солнышко, — и вообще! Кровавая Рука обзвывал атамана квакшой, сиречь лягвой зеленой древесной, вот! И еще червем дождевым и жуком заморским полосатым, тем, что к картофелю особую страсть питает!

— Счас как дам, — вскричал Кровавая Рука, — а кто в сонный час ест клубнику на дальней гряде?! А кто говорит, что Мертвая Голова не злодей и не маньяк?

— Ябеда-корябеда! — ответствовал то ли Беспощадный Нож, то ли Черное Сердце и стукнул Кровавую Руку кружкой по голове.

— Дурак! Все расска... — разоблачение не состоялось, так как голубой щенок впился правдолюбу в палец. Тот вцепился в волосы обидчику-солнышку, солнышко рухнуло на белобрысого душегуба с заячьей губой и лягушкой на кружке. Заячья губа схватил вазочку с незабудками и бросил в смирино сидящего долговязого татя. Тать взревел базом и нечаянно стукнул локтем соседа, который поперхнулся нашиккованной капустой белокочанной, прокашлялся и бросился на невольного обидчика. Драка сделалась всеобщей. Перпетуя не знала, было ли так задумано с самого начала или что-то у злодеев пошло не так, но ей было очень интересно — в ее родной Санта-Пуре драк не было.

От созерцания побоища деву отвлек тихий и грустный голос, странным образом перекрывший плач, крики, скрежет, рев, звон железа, треск разрываемой материи и стук, происходящий от соприкосновения деревянных блюд, тарелок и тарелочек с головами и прочими частями тела дерущихся, судя по тону, изготовленными из того же материала. Принцесса вздрогнула и вернулась к страшной действительности. Рядом с ней стоял Гвиневр Мертвая Голова.

— Как вы находитите драку, Ваше Высочество?

— Очень мило, — честно сказала принцесса.

— Я рад, что вам нравится, — тихо и грустно сказал Гвиневр, — но не пора ли нам заняться делом. Ваше Высочество, Вы и ваши подруги находититесь в моей власти, а я беспощаден и развратен. Мне нужна ваша девственность, согласны ли вы отдать ее мне по доброй воле?

Перпетуе подумалось, что душегуб поднял вопрос о девственности преждевременно. Ночь выдалась ясная, и изучавшая астрономию Перпетуя видела, что сейчас не более десяти вечера, а спаситель, согласно традиции, должен был появиться ровно в полночь. Тем не менее вопрос был задан, и дева гордо и непреклонно произнесла:

— Пурийские принцессы отдают свою девственность лишь законному супругу. Не могли бы вы взять в обмен на жизнь моих подруг золото или драгоценные камни?

— Мне нужна лишь ваша девственность, — тихо и грустно произнес Гвиневр Мертвая Голова, расстегивая верхнюю роговую пуговицу. — Вынужден предупредить, что в случае отказа ваши подруги станут жертвами моих самых низменных желаний.

И снова принцессе подумалось, что Гвиневр несколько поторопился. До прибытия принца оставалось около двух часов, а если мерзавец, насильник и душегуб в расстегивании дойдет до третьей пуговицы, может сложиться крайне неприличная ситуация. И принцесса быстро проговорила:

— Милорд, не могли бы вы рассказать о вашей очаровательной птичке.

— Охотно, моя леди. Эти дивные создания обладают тонким слухом и не принадлежат нашему миру. Они появились в Разбойничьем Лесу при моем предке, Гвиневре Четвертом. Прежде ушастые козлодои обладали даром речи и могли пронзять пространство и время, но мир изменился. Простите, я вас ненадолго покину.

— Конечно, сударь. — Принцесса украдкой глянула вверх, судя по звездам, было около одиннадцати.

Немного успокоившись насчет спасения, дева вспомнила о разбойниках. Те вновь образовали круг, но за руки не держались и песен не пели, зато Гвиневр медленно вращалась вокруг своей оси в том же направлении, что и звездное небо (с востока на запад), пристально вглядываясь в лица подчиненных и через равные промежутки времени вопрошая: «Кто первый начал?»

Лесные братья отнекивались, отмалчивались, тыкали пальцами друг в друга и хлюпали носами. Не сознавался никто. Сделав четыре полных оборота, Гвиневр расставил

ноги, упер руки в боки и выпятил грудь, отчего та стала не- сколько менее впалой.

— Считаю до пяти. Если на счет «пять» преступник не покается, я... — атаман многозначительно замолк. Над поляной настала жуткая тишина, комары и те замолкли. Принцесса взглянула в небо, ждать оставалось минут сорок.

— ...если на счет «пять» никто не признается, посажу на жареное мясо и вино!

— Нет! — дружно возопили разбойники. — Пощади!

— Раз! — холодно и беспощадно произнес Гвиневр Мертвая Голова.

Лесные братья повалились на колени и взрыдали столь громко, что обладающий тонким слухом козлодой сорвался с атаманского плеча и исчез в черных небесах.

— Два!

Плач разбойников стал еще громче. Они стенали столь жалобно, что, казалось, растрогалась сама луна, но Гвиневр недаром слыл безжалостным и беспощадным.

— Три. Четыре. ПЯТЬ!

Разбойники встретили свою судьбу дифференцированно. Девятнадцать продолжило рыдать, семеро лишилось чувств, и один забился в припадке.

— Милорд, — честно восхитилась принцесса, — вы беспощадны!

— Да, — скромно согласился разбойник. — Только мое глубокое и неподдельное уважение к Его Величеству Авессалому Двунадесятому и Ее Величеству королеве Пульхерии не позволяет мне захватить власть в государстве, а затем завоевать сопредельные страны.

— Что вы говорите? — вежливо спросила Перпетуя. До появления спасителя оставалось совсем немного.

— Я всегда отвечаю за свои слова, — сказал Гвиневр, расстегивая первую роговую пуговицу, — Ваше Высочество, если вы не отадите мне свою девственность, я возьму ее сам.

— Пурийские принцессы отдают свою девственность лишь законному супругу. А каким именно способом вы захватили бы власть в Пурии, а затем завоевали бы сопредельные страны?

— Если бы не испытывал чувства глубочайшего уважения к вашим венценосным родителям, — педантично уточнил разбойник, расстегивая вторую роговую пуговицу, — я в считаные дни подчинил бы себе всех столичных грабителей, душителей, воров и скопщиков краденого и стал бы ночным хозяином города. Затем я бы обложил данью всех богатых купцов и трактирщиков, мои шпионы наводнили бы округу, после чего я бы устроил ночь длинных ножей...

— Продолжайте, милорд. — Перпетуя взглянула на небо, полночь уже наступила, но принц задерживался.

— Ваше Высочество, беседовать с вами весьма приятно, но вы должны мне отдать свою девственность. Иначе прибывшие с вами невинные девы умрут мучительной смертью, предварительно став жертвами моих самых низменных желаний, — произнес Гвиневр, расстегивая первые две пряжки кожаной перевязи, и добавил обреченным голосом: — И, поскольку низменность моих желаний непредставима умом смертного, ваши пажи разделят сию скорбную участь.

Ее Высочество не совсем поняла, как пажи могут разделить скорбную участь, но в глазах потомственного душегуба при последних словах промелькнули такой ужас и отвращение, что можно было лишь восхищаться его преданностью своему злодейскому долгу. Принцессе, впрочем, было не до восторгов — она уже начала волноваться.

— Пурийская принцесса вручит свою девственность лишь законному супругу, — механически произнесла Перпетуя, — так вы говорили о...

— О том, как я захватил бы власть, если бы не испытывал глубочайшего уважения к вашим августейшим родителям? Став ночным хозяином Санта-Пуры, я бы перенес свое внимание на дворец, — разбойник расстегнул третью и последнюю пряжку, — так вы вручите мне свою девственность?

— Пурийская принцесса вручит свою девственность лишь законному супругу. — Перпетуя с возрастающей тревогой взглянула на небо.

— Тогда ваши подруги и пажи умрут мучительной смертью, а вы будете обеспе... обечсе... обещены, — заметил

разбойник, снимая перевязь и аккуратно вешая на крюк, где раньше висела малая лопатка, которую в иных мирах определили бы как саперную. — Так вот, я бы гнусным шантажом и угрозой предать огласке порочащие их сведения вынудил придворных исполнять мои приказания. Вы меня понимаете?

— Да, милорд. — Принцесса поддерживала беседу из последних сил. Ей пришла в голову ужасная мысль, что Его Высочество или же ее собственный августейший папенька перепутали дату. Тем не менее, несмотря на волнение, дева выявила в плане Гвиневра несколько слабых мест. В Пурпуре все приближенные ко двору лица были добродетельны, никто из них не имел мрачных тайн, к тому же любое новое лицо, появившееся в столице, неминуемо попадало в волшебное зеркало, подаренное основателю династии ее покровителем¹ Гамлетом Пегим, одним из наиболее известных и уважаемых земноводских магов. Более известным и более уважаемым считался лишь Мерин, простите, Мерлин Сивый, в последнее время отошедший от дел и занятый исключительно написанием мемуаров.

— Лорд Гвиневр, — не стала темнить принцесса, — при захвате власти вас бы ожидали определенные трудности. Дело в том, что у моего батюшки есть волшебное зеркало...

— Это не имеет значения, — обреченно заверил атаман, вертя третью пуговицу, но не расстегивая ее. — Я являюсь великим магом и владею древними знаниями. Ваше Высочество, я последний раз предлагаю вам...

К счастью, в ветвях что-то зашуршало, дуб сотрясся, и с него рухнул заветный череп и посыпались желуди, листья, сухие ветки и веточки, два старых птичьих гнезда

¹ Гамлет Пегий открыл первому из пурпурских королей формулу Добра и Зла, а именно что $З + Д = 0$, то есть одно является отсутствием другого. Следовательно, $Д = 0 - З$, то есть для торжества Добра следует искоренить Зло. Именно для обнаружения Зла и служило вышеупомянутое зеркало. Больше оно не годилось ни на что. Однажды тетка Его Величества принцесса Эрминтруда попробовала увидеть в нем жениха, но ее взору предстало нечто совершенно неприличное, а именно хорунжий фон Рогген, коий, до того как появиться в зеркале, почитался личностью мифической, то есть на самом деле несуществующей.

и одно новое, в котором находился недавно исполнивший братский долг кукушонок. В ответ с небес пал козлодой ушастый и возопил человеческим голосом:

— Геррман где? Где Геррман?

Незнакомое имя вызвало странную тревогу и напомнило о том, что полночь миновала, а принц-спаситель не появился.

Ситуация была архитяжелой. Гвиневр Мертвая Голова был обязан лишить принцессу невинности. Принцесса была обязана сохранить оную до венца. Отсутствующий принц был обязан спасти принцессу и ее свиту от насильника и душителя. Положение усугублял заговоривший козлодой, что не переставал возмущаться отсутствием непунктуального Германа. Надежд становилось все меньше. Гвиневр, укоризненно глядя на Перпетую, вновь взялся за пуговицу, и тут кусты на краю поляны раздвинулись и оттуда вышел незнакомец в темном плаще.

— Ничего себе! — весело сказал он и при этом самым неподобающим образом присвистнул, что было не только подозрительно, но и неприлично.

Глава четвертая,

*повествующая о нежданном появлении
подозрительного незнакомца и долгожданном
появлении принца Яго-Стэлло-Бэлло-Пелло-
Отелло-Вэлло-Донатэлло-Ромуальдо*

Как известно, существуют два освященных веками способа спасения невинных, но прекрасных дев из рук гнусных и жестоких негодяев. Можно вызвать главного негодяя на поединок, победить, повернуться к поверженному врагу спиной и преклонить колено пред спасенной, дабы поверженный мерзавец получил возможность вероломно нанести благородному победителю ряд ударов кинжалом в область печени, почек и желчного пузыря. Получив оные, герой просит извинения у дамы и вступает в неравный бой с вероломным злодеем и его подлыми приспешниками, коих и побеждает, после чего падает без чувств и перевязы-

вается оборкой от нижней юбки, сшитой из лучшего полотна.

Второй модус операнди, хоть и не столь изыскан, позволяет обойтись без перевязки, а посему в Пурии предпочитают именно его¹. Герой застает ничего не подозревающих душегубов врасплох и вступает в схватку со всеми поочередно, постепенно сокращая их численность, пока не остается один, который позорно бежит на случайно оказавшейся рядом оседланной лошади. Именно так долженствовало поступить высокоморалийскому принцу, которому с противоположной стороны дуба была спущена веревочная лестница. Воспользовавшись ею, можно было забраться на дерево и с него обрушиться на пирующих негодяев, однако вновь прибывший растоптал благородные традиции, как голый вепрь ЪI — опенки. Над оскорблённой поляной повисла возмущенная тишина, не растерялся лишь ушастый козлодой.

— Как стоишь, как морду держишь? — хриплым ефрейторским басом рявкнул он и издевательски захотел. Слова козлодоя вывели Гвиневра из оцепенения, маг-разбойник, поняв, что вышедший из леса незнакомец крайне подозителен, немедленно начертал трясущимися руками пентаграмму, живо напоминающую морскую звезду, угодившую в бочку со спиртным. Покончив с чертежом, Гвиневр изобразил магический жест, которому в ряде дурно воспитанных миров отчего-то придают неприличный смысл, и произнес что-то непонятное, причем эхо трижды повторило последнее слово, прозвучавшее то ли как «АББА», то ли как «АГГА». И то и другое не имело никакого смысла, но когда это волшебные слова имели смысл?

Пентаграмма полыхнула грязно-зеленым, световая волна цвета шлейфа прогулочного платья принцессы Перпетуи после прогулки по пресеченной местности прокатилась через всю поляну, накрыла подозрительного незнакомца и с чавканьем угасла, а Мертвая Голова, как и положено,

¹ Для того чтобы оторвать оборку от нижней юбки, спасенная вынуждена задирать верхнюю, а обнажать ноги перед посторонним мужчиной, даже истекающим кровью, — верх неприличия.

рухнул наземь, пораженный отдачей от произнесенного заклятья. Лишенный законного наследства козлодой разобиженко запорхал над поляной, выкрикивая слова, Перпетуе опять-таки непонятные и, по-видимому, иномировые.

Таинственный незнакомец присвистнул еще раз и отбросил капюшон, в свете луны блеснули золотистые волосы. Так и есть! Блондин с большой дороги! В другое время подобное открытие принцессу бы не обрадовало, но на сей раз дурно воспитанный незнакомец, пусть и невольно, принес ощутимую пользу. Лежащего без чувств Гвиневра вполне можно считать поверженным, следовательно, он больше не обязан лишать невинности августейшую пленницу и жестоко убивать ее подруг.

Глаза принцессы сами собой повернулись в сторону верных защитниц, но оных на месте не оказалось. Равно как четырех пажей, тридцати шести здоровых разбойников и четырех покалеченных коварным моргенштерном. Вместо них на поляне сидело множество жаб, лягушек, чесночниц и квакш самого разного цвета (от банального буро-зеленого до ярко-оранжевого и фиолетового в крапинку) и размера (от воробышного яйца до винного бочонка). Меж возникших среди незабудок амфибий особенно выделялись четыре, плоские и мордатые. Они не были идентифицированы прилежно изучавшей зоологию принцессой как пипы суринаамские только по причине отсутствия в Земноводье этого самого Суринаама. Перпетуя, как и положено настоящей пурийской принцессе, при виде такого количества бесхвостых гадов немедленно потеряла сознание.

Первое, что она увидела, прия в себя, — это военно-морские глаза подозрительного блондина, а также все остальные части его лица. Затем Перпетуя с ужасом обнаружила, что лежит на личном штандарте Гвиневра Мертвой Головы и платье на ней расшнуровано!

— Выпейте, моя леди. — Подозрительный блондин сунул в рот принцессе горлышко фляги, Перпетуя, будучи девой воспитанной, честно проглотила предложенное питье, оказавшееся удивительно мерзким. На глаза навернулись слезы, а в горле и груди отчего-то стало горячо.

— Да, моя леди, это вам не парное молоко, — заметил незнакомец, убирая флягу, — а настоящая галльская чача. Я бы даже рискнул назвать ее коњаком, будь в нашей Галлии провинция с таким именем. Что ж, можете считать себя спасенной. Садитесь, а я приготовлю ужин.

Теперь принцесса могла бы поклясться, что подозрительный блондин явился из Нижней Моралии, потому что только нижнеморалиец способен спасти деву столь вульгарным образом. Тем не менее она сочла уместным поблагодарить негодяя по всем правилам.

— Пустое, — подозрительный тип махнул рукой, — все вышло совершенно случайно. Я никого не трогал, ехал по дороге, и тут под копыта моей лошади бросилась какая-то полураздетая дура с визгом, что за ней гонятся разбойники. Я подумал, что это могли быть те, зеленые и клыкастые, у которых ко мне есть какие-то претензии, и это таки оказались они! Ну, доложу вам, они и бегают. Так я и не понял, что им от меня надо. Я вернулся за лошадью и нарвался на ваших подруг, которые сидели у кареты и рыдали, а потом прицепились ко мне, чтобы я пришел к вам на помощь. Честное слово, легче было вас спасти, чем от них отделаться.

Негодяй вытащил нечто острое и длинное и принял ловко насаживать на него куриные ноги, чем вызвал неудовольствие пронзающей пространство и время птицы.

— Куррры врредно. Жаррить Врредно! Сырроедение! Вегетаррьянство, — вопил ушастый козлодой, кружка над костром. — Тррезвость — норрма жизни! Ррррррис! Морррррковь!!! Ррррепа! Харррре Кррррришна!

Кусок куриной ноги, пущенный умелой рукой, угодил птице в пузо. Полетели перья и пух. Моргенштерн на дубовом суку одобрительно качнулся и заговорщицки сверкнул. Адепт здорового образа жизни камнем рухнул вниз, но Перпетуя даже не успела возмутиться жестокому обращению с животным, как падающий козлодой подхватил мясо и, тяжело взмахивая крыльями, направился к дубу, где и занялся ужином, позабыв и о трезвости, и о вегетарьянстве.

— Вот и славно, — заметил блондин, продолжая манипуляции с будущим ужином. Перпетуя невольно улыбнулась

в ответ, и тут раздался горестный квак. Стыд и боль пронзили сердце принцессы. Она здесь в расшнурованном плаще беседует с подозрительным блондином, в то время как на ее подруг, пажей и лесных братьев обрушилось страшное несчастье!

— Милорд! — воскликнула дева. — Не знаете ли вы, что за беда постигла мою свиту?

— Беда? — переспросил нижнеморалиец, приложив мясо над прогоревшими угольями, — а что с ними такое?

— Они, — голос принцессы дрогнул, — они превратились в бесхвостых гадов, именуемых также амфибиями.

Квак повторился. Он был очень-очень горестным и мелодичным. Принцессе почудилось, что к плачу бесхвостых гадов присоединились скрипки и даже рояль, хотя откуда было взяться роялю в кустах на краю уединенной лесной поляны?

Блондин покачал головой и повернул вертел.

— Я мало понимаю в магии, моя леди, но даже я вижу, что какой-то дурак пустил в ход заклинание из арсенала Великой Жабы.

— Великой Жабы, — не поняла принцесса, — кто это?

— Неужели не знаете? — удивился подозрительный не-знакомец. — Ах да, конечно, в Пурии, Верхней Моралии и других странах победившего Добра о некоторых вещах предпочитают умалчивать. Да будет вам известно, моя кисонька...

— Я не ваша, — встрепенулась принцесса, — и никогда ей не буду. Пурийская принцесса отдаст свою девственность только...

Перпетуя осеклась, так как налицо был ужаснейший юридический казус. С одной стороны, она обязана стать женой верхнеморалийского принца, о чем существует договор между ее августейшими родителями и матушкой жениха вдовствующей королевой Викторией-Валерией-Варфоломеей, с другой — пурийская принцесса обязана выйти замуж за своего спасителя, а спаситель вот он, сидит, жарит мясо и нагло сияет глазами цвета морской войны.

— Увы, Ваше Высочество, — бытность или не бытность кисонькой от вашего желания не зависит. Вы — несомнен-

ная кисонька, и вам с этим придется жить. Напомните, чтобы я минут через десять перевернул... Так вот, принцесса. Существует Мировая, она же Великая Жаба, коей подчиняются сотни и тысячи малых жаб. Ее цель — передушить все человечество, а также гоблинство, гномство, эльфийство, мажество и тролльство. Зачем это ей нужно, ума не приложу, но она очень хочет.

— Великая Жаба? — Перпетуя растерялась. Принцесса росла в глубочайшей уверенности, что главным мировым злодеем является обитающий в Физиогноморде Черный Властелин, чей Недреманный Нос неусыпно приюхивается к тому, чем пахнет в странах победившего Добра.

— Этот болван? — подозрительный блондин пожал плечами. — Толку-то от него. Только и умеет, что чихать на всех. А вот Мировая Жаба, если верить Сивому Мерлину, везде и нигде, и победить ее невозможно.

Воображение принцессы немедленно нарисовало Великую Жабу — огромную, бородавчатую и пупырчатую. Жаба сидела на вершине самой высокой горы, свирепо вращала лишенными бровей и ресниц глазами, захватывала огромным языком, похожим на сотканный из тьмы и огня хлыст, звезды, луны и солнца и отправляла оные светила в пасть, дабы Земноводье навеки кануло во Тьму. Перпетуе стало так страшно, что она невольно придвинулась к подозрительному незнакомцу. Тот чему-то усмехнулся, перевернул мясо и вытер руки о штандарт все еще лежащего без чувств разбойника. Запах жарящихся куриных ног был столь упителен, что принцесса позабыла и о жабопревращенных подругах, и о страшном чудовище, существование коего от нее скрывали.

Только воспитание мешало принцессе спросить, когда можно приступить к трапезе. Блондин же, позабыв и о мясе и о собеседнице, напряженно всматривался в кусты на краю поляны, но не в те, откуда по-прежнему доносились сладостные звуки рояля, а в прямо им противоположные.

— О! — Военно-морские глаза сузились. — Это еще что такое?

— Дурррак, — предположил вновь круживший над поляной козлодой ушастый и уточнил: — Крррруглый.

— Весьма вероятно, — протянул предположительный нижнеморалиец, разглядывая выползшее на свет существо.

Выползший был ростом с сидящую собаку крупной породы и при этом совершенно неприличен. То есть до такой степени, что его сочли бы неприличным даже в Нижней Моралии. Дело в том, что на незнакомце не было ни верхней одежды, ни белья белого достойного, ни хотя бы черного непристойного, а лишь собственные темные волосики, в некоторых местах довольно густо, а в некоторых — негусто покрывающие тельце неприличного мужчины.

Перпетуя помнила, что именно брюнеты являются наиболее опасной разновидностью мужчин, и поэтому непривычно еще раз придвинулась к белокурому нахалу, который если и носил черное белье, то под длинным, вполне пристойным, пусть и подозрительным плащом. Что делать дальше, дева не знала — ей никогда не говорили, как должна себя вести пурийская принцесса, встретившая в лесу голого брюнета. Интуиция подсказывала, что самым правильным было бы лишиться чувств, но обморок принцессы по этикету сопровождается серией малых обмороков фрейлин, а от этих самых фрейлин сейчас было мало прошу. Ну только подумайте, сколь неприлично выглядит жаба в обмороке!

В конце концов Перпетуя решила, что самым правильным будет завизжать, и завизжала, что послужило сигналом для девятнадцати жабопревращенных подруг, которые во всем брали пример с Ее Высочества.

Сопровождаемый душераздирающим кваканьем визг удался на славу. Лежащий без чувств после казуса с пентаграммой Гвиневр Мертвая Голова не просто пришел в себя, но подскочил высоко вверх, а неприличный незнакомец, напротив, упал лицом в незабудки, скрыв таким образом наиболее неприличную часть своего тела, а именно — нос (а вы что подумали?).

При виде этого живущие уже на протяжении шести веков в окрестностях Поляны Незабудок мини-эльфы (все мы помним, что настоящие эльфы либо высоки и прекрасны, либо малы и крылаты), горестно вздохнув, принялись собирать свои мини-пожитки. Перпетуя же перевела дух

и вопросительно взглянула на своего спасителя. Тот пожал плечами, поднял с песка многострадальный личный штандарт Гвиневра Мертвой Головы, подошел к лежащему ничком неприличному брюнету, поднял, хорошенко встряхнул, приводя в чувство, завернул во флаг и положил к ногам принцессы.

— Ваше Высочество, — произнес он вкрадчивым голосом, — разрешите представить вам Яго-Стэлло-Бэлло-Пелло-Отелло-Вэлло-Донатэлло-Ромуальдо Моралеса-и-Моралеса, наследного принца Верхней Моралии.

— Я зрю, что ты меня, мерзавец, знаешь! — вскричал Яго-Стэлло-Бэлло-Пелло-Отелло-Вэлло-Донатэлло-Ромуальдо Моралес-и-Моралес, придерживая поросшей черными волосиками лапкой вымазанный куриным жиром штандарт.

— Первый раз вижу, — ответствовал ядовитый блондин, — сужу исключительно по приметам. Вряд ли во всем Земноводье найдется второй подобный недомерок и передурок.

— Ты — негодяй, мерзавец и развратник, — возмутился Яго-Стэлло (в целях экономии времени читателя и бумаги далее мы будем именовать сего достойного принца несколько усеченным образом), —

ты похищаешь благородных дев
и похоти предаться хочешь с ними.
Так вот зачем девиц ты похищаешь,
насильник мерзостный и пакостный притом.

— А по морде? — вкрадчиво осведомился насильник.

— А по моррде? — возопил козлодой, пролетая над принцем. — По моррде? Канделябрром!

— Тут нет канделябра, — махнул рукой насильник.

— Осмелюсь дожить, — встрял Гвиневр Мертвая Голова, на лбу которой стремительно набухала огромная лиловая шишка, — я за слова этой птицы никакой ответственности не несу. Мало ли чего он нахватался, пронзая пространство и время.

— Отррррекся? Брут пррротивный, — припечатал козлодой, нагло усаживаясь на плечо аморального блондина.

— Ты недостоин целовать лесную землю, — продолжил успокоенный на предмет канделябра принц, не обращая никакого внимания на козлодоевы инсинации, —

по коей ножки девственниц ступают,
ты промышляешь мерзким душегубством,
и я тебя намерен покарать.

— Вот как? — покачал головой подозрительный спаситель. — Какой кошмар!

— Кошмарррр! — затряс ушами козлодой. — Позорррр, Пожарррр! Курра сгорррела!

Судьба куры живо заинтересовала проголодавшуюся Перпетую, и она с тоской взглянула на ножки, дожарить которые подозрительному блондину помешало появление неприличного мужчины, на поверку оказавшегося ее оговренным родителями законным спасителем, но от кого? От Гвиневра ее уже спасли, хоть и неправильно, а в способности Яго-Стэлло-Бэлло-Пелло-Отелло-Вэлло-Дона-тэлло-Ромуальдо Моралеса-и-Моралеса (здесь мы вынуждены привести полное имя принца, так как Перпетую даже в мыслях называла всех известных ей венценосных особ полными именами. Она бы даже короля и принцев Нижней Моралии так называла, но августейшие родители сочли неприличным сообщать дочери имена сих растленных типов) спасти ее от подозрительного блондина принцесса очень сильно сомневалась.

Едва смолкли крики козлодоя, в дело вступил Яго-Стэлло. Далее, чтобы опять-таки не утомлять читателя, заметим, что пронзающая пространство и время птица и высокоморалийский принц говорили строго по очереди. Когда замолкал Яго-Стэлло, вступал козлодой. Когда козлодой замыкался, начинал Яго-Стэлло, причем козлодой обращался исключительно к принцу, а принц — к подозрительному блондину.

Подозрительный блондин в беседе участия не принимал, потому что не мог — он смеялся, нет, он возмутительным образом хохотал, даже, не побоимся этого слова, — ржал (неприлично звучит, но и действие было столь же непри-

лично!). Что до жабодев, жаборазбойников и жабопажей, то они были слишком хорошо воспитаны, чтобы самочинно встrevать в беседу, которую ведет венценосная особа, хотя б ее, особы, собеседником была всего лишь птица.

Я должен защитить ея невинность
И наказать носителей порока, —

говорила венценосная особа.

Бери же меч, ты, негодяй презренный!
Молчишь? Трясешься? Хочешь убежать?
Но я тебе укрыться не позволю.
Молись, развратник, нынче ты умрешь!

И тут Перпетуя вспомнила! Моралийские принцы строго придерживались старой традиции, ныне забытой даже в Пурии. Освобождая принцесс, сражая драконов и уничтожая разбойников, троллей и орков, они изъяснялись исключительно стихами. Поэтическими талантами представители дома Моралесов не обладали, зато они были весьма усердны и, отправляясь на борьбу со Злом, заучивали сочиненные состоящими на государственной службе поэтами тематические стихи.

Без сомнения, Яго-Стэлло-Бэлло-Пелло-Отелло-Вэлло-Донатэлло-Ромуальдо Моралес-и-Моралес принял неизвестного блондина за Гвиневра Мертвую Голову и, несмотря на постигшее его в дороге несчастье, исполняет свой долг, произнося полагающийся в данном случае стих:

Ничто тебя уже спасти не сможет,
Лишь если дева добрая, как ангел,
Простит тебя в беззлобии своем,
Я пощажу тебя, развратник низкий!

— Рazzзврат! Безобрзазие! Пррредохраняться!
— Что? Молиши о пощаде? Не дождешься!
— Боюсь, что не дождусь, что ты заткнешься. — Подозрительный тип, наконец, справился с неуместным смехом и тряхнул верхнеморалийца. — Ты, чучело, замолкни поживее. Тьфу ты, сам стихами заговорил. Да слушай же ты, несчастье мохнорукое! Принцессу уже освободили.

Я освободил, пока ты в голом виде по лесам скакал. Давай, вези ее к алтарю, а у меня — дела. Мне, знаешь ли, нужно выяснить, какие претензии ко мне имеют некие зеленые и клыкастые существа в рогатых шлемах, но они очень быстро бегают.

— Так вы не Гвиневр Мертвая Голова? — Яго-Стэлло близоруко сощурился.

— Нет, — отрезал негодяй, подзывая свистом своего не рыцарского, хоть и очень хорошего коня, — Гвиневр вон там, под деревом. С шишкой на лбу.

— Моя леди, — незнакомец изысканно поклонился Перпетуе, — оставляю вас на попечении вашего будущего супруга и обращаю ваше внимание на то, что мясо вполне прожарилось.

Негодяй ловко стряхнул поддумянившиеся кури ноги на одну из тарелок и вытер вертел вышитой незабудками и черепами скатеркой, что исторгло из впалой, но волосатой груди Гвиневра тихий и грустный стон. Наглец улыбнулся нагло и цинично и вбросил вертел в ножны. Козлодой взмыл вверх и, видимо, вспомнив о перепавшей ему курьей ноге, запорхал над собиравшимся в дальний путь подозрительным блондином.

— Добррый рррыцарь. Не бррросай бедного Йорррика. — Птица отчаянно мотала ушами и ныла: — Милосеррдия, милорррд, милосеррдия!

— Предатель, — тихо и грустно сказал разбойник то ли козлодою, то ли вовсе непонятно кому.

— Черт с тобой, птичка бомжия, — хмыкнул подозрительный блондин, — поехали.

Козлодой Йорик взмахнул крылами, издавательски хохоча, и, блестя серьгой в ухе, пронесся над бывшим хозяином, поступив с ним, подобно обычному голубю. Гвиневр утерся. Яго-Стэлло шевелил губами, видимо, подбирая приличествующее слушаю стихотворение. Незнакомец тронул коня, гнедой шагнул вперед, и тут вокруг его левой задней ноги обвилась цепь неутомимого моргенштерна, чудесным образом оказавшегося на пути подозрительного блондина. Блондин воззрился на шипастое чудище.

— Какая прелесть, — наконец произнес он.

— Пррррелест! — немедленно встрял козлодой Йорик. — Прррелестная прррелест! Сопрррем?

Незнакомец немного подумал и обернулся к принцессе, нагло подмигнув ей военно-морским глазом.

— Пожалуй, я возьму это с собой. На память о нашей незабываемой встрече.

— Считайте это моим подарком, милорд, — произнесла воспитанная Перпетуя, не веря тому, что они так легко избавились от зловредного оружия.

— Подарочек, — взвыл Йорик, — ко дню рождения! Прррелест!

Мерзавец свесился с седла и одной рукой прихватил пресловутый моргенштерн, который на сей раз и не подумал выказывать коварство и двуличие. Принцессе показалось, что железный еж по-кошачьи мурлыкнул и уютно свернулся в седле позади своего нового хозяина. Тот снова тронул коня, но передумал и оглянулся.

— Пожалуй, мне следует сообщить вам свое имя. — Блондин подмигнул принцессе вторым военно-морским глазом. — Я — дон Хуан-Хосе-Хорхе-Хесус-Хильберто-Хоакин-Хавьер Проходимес, и что-то подсказывает мне, что я так просто от вас не отдаюсь.

Глава пятая,

повествующая о том, как принц Яго-Стэлло-Бэлло-Пелло-Отелло-Вэлло-Донатэлло-Ромуальдо обвинил принцессу Перпетую в легкомыслии, и о том, как Разбойничий Лес перестал быть таковым

Подозрительный незнакомец, хотя какой он, к Мефистофелю, незнакомец, если он представился?! Короче, подозрительный дон Проходимес скрылся в кустах вместе с гнедым нерыцарским конем, окольцованым через ухо козлодоем Йориком и коварным моргенштерном. Одновременно, но в другом направлении, тронулась в путь и диспора мини-эльфов. Говорят, их исход с Поляны Незабудок увидел во сне некий иномировой художник, по праву

признанный великим. Художник даже написал по этому поводу прославившую его в веках картину.

Увы, будучи так называемым критическим реалистом, мастер творчески переосмыслил сцену транспортировки мини-эльфийского рояля. Сохранив общую композицию и показав напряжение, с которым дивные создания тащат на себе любимый музыкальный инструмент, иномировой гений их увеличил, обескрыл, обородил, одел в лохмотья, вывел за пределы видимости сам рояль и перенес место действие из темного леса на берег реки, отчего создается ложное впечатление, что обескрылые эльфы тянут на себе корабль. Тем не менее картина удалась, но вернемся на Поляну Незабудок.

Принцесса Перпетуя, как и положено истинной пурийской принцессе, и не собиралась думать о нахальном блондине, тем паче тот исчез, растаял, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты. Хотя опять-таки разве можно назвать нижнеморалийского авантюриста в черном кружевном белье гением ЧИСТОЙ красоты, каким бы красивым он ни был?! Дон Проходимес, если уж на то пошло, был гением нечистой, подозрительной красоты, и именно на это обстоятельство указал Перпетуе ее жених, какового мы далее будем именовать не Яго-Стэлло, но Яготелло.

— Ваше Высочество, — принц с трудом сдерживал благородное негодование и праведный гнев, — ваше поведение вызывает, мягко говоря, недоумение. Я, рискуя жизнью и здоровьем, являюсь вас спасать и что я вижу?! Вместо того чтобы стойко противостоять гнусным намерениям разбойника и душегуба, будучи привязанной к вековому дубу, вы в расшнурованном, — Яготелло набрал в грудь воздуха, — подчеркиваю, в расшнурованном верхнем платье беседуете с крайне подозрительным типом. Конечно, я не допускаю мысли о том, что пурийская принцесса позволит себе нечто непозволительное, но могут пойти слухи! Слухи, моя леди! А на репутации супруги принца из дома Моралесов не должно быть ни единого пятнышка. Вы же...

Перпетуе стало обидно. Она исполнила свой долг, не испугавшись ни борщевиков, ни комаров, ни дурных примет, ни даже сломанного мостика, потеряла подруг и па-

жей, сломала каблук, и вот... Ее Высочество готова была убить гадкого блондина, который гнусным образом сбежал, оставив ее на милость ревнивого жениха. А ей теперь выговаривают за дона Проходимеса, можно подумать, она его сюда звала! И вообще...

Что «вообще», принцесса не знала, но в носу у нее защипало, ей ужасно захотелось заплакать, а Яготелло все перечислял ее прегрешения.

— ...явившись на Поляну Незабудок с непозволительно малочисленным эскортом и допустив превращение оного в жаб, — возмущался суженый, — вы поставили в неловкое положение не только себя, но и лорда разбойника...

Разбойник грустно кивнул, подтверждая правдивость слов принца.

— Я, конечно, далек от мысли о том, что это было сделано нарочно, — бубнил верхнеморалиец, — дабы оставаться наедине с подозрительным молодым человеком, чья внешняя привлекательность, без сомнения, является обратной стороной его внутренней порочности. Истинная красота есть красота духовная, богатый внутренний мир и высокие моральные принципы, а не бесстыжие зеленые глаза и золотые локоны, которые простительно иметь лишь эльфам, коим сей господин, вне всякого сомнения, не является.

Тут Яготелло был прав, глаза у подозрительного блондина были хоть и бесстыжими, но не зелеными, а скорее аквамариновыми. Кроме того, ни один эльф не стал бы разъезжать по дорогам на гнедой ОСЕДЛАННОЙ лошади, употреблять галльскую чачу и жарить мясо (принцесса с тоской взглянула на такие аппетитные и такие недоступные петушки ножки). И уж тем более представитель дивного народа воздержался бы от гнусных выпадов в адрес народных танцев и песен и парного молока и не стал бы произносить столь некуртуазное слово, как «недомерок».

— Я полагал, — теперь волосики жениха стояли дыбом не только на руках, но и на голове, — что пурийские принцессы отличаются от прочих представительниц женского пола. Увы, им так же застит глаза смазливая внешность! Я почитаю своим долгом написать матушке, дабы она к на-

шему приезду издала специальный эдикт, запрещающий въезд в Верхнюю Моралию высоким блондинам с зелеными глазами, если те не смогут доказать свое законное эльфийское происхождение. Ваше поведение, моя леди, не оставляет мне другого выхода. В то время как я, рискуя жизнью, спешил к вам на помощь...

Об этом Яготелло уже говорил, говорил он и о недопустимости ее поведения, и о безусловной порочности злосчастного блондина, но верхнеморалийский наследник был не из тех, кто сдерживает возмущение при виде отвратительных явлений, а тут налицо было несколько таковых. Самым же отвратительным, по его мнению, был подозрительный блондин.

Перпетуя была подавлена и уничтожена. Близилось утро, звезды меркли и гасли, облака пылали, по полям расстипался белый пар, на землю пала роса, шлейф принцессы отсырел, мясо остыло, а жених все не унимался. Принцесса слушала, опустив голову, и думала, как хорошо было бы стать маленькой зеленой лягушкой. Тогда никто бы не стал обвинять ее в заигрывании с подозрительным доном Продхимесом, ее бы не кусали комары, она сама бы их кушала, и можно было бы обойтись и без каблука, и без мужа. Ее б все жалели и оплакивали, а сейчас ругают. За что?! Принцесса не выдержала, из глаз у нее полились слезы.

— Плачь, несчастная, — воздел руку Яготелло, — плачь! Но твои слезы не смоют твоих прегрешений. Ты не оправдала возложенного на тебя высокого доверия. Ты забыла свой долг. Я знаю, о чем ты думаешь, — ты думаешь о НЕМ! Об этом...

Исполненная праведного гнева речь была прервана двумя проживавшими на главном дубе Разбойничьего Леса дриадами, самым решительным образом вставшими на защиту Перпетуи. Одна из дубовладелиц набрала желудей и первым же броском угодила Яготелле в раскрытый для обличения рот. Вторая же свесилась с дерева, уперла руки в боки и напустилась на временно онемевшего принца.

— Гриб ты червивый, — дриада росла на разбойничьем дубу и не церемонилась в выражениях, — сморчок, строчок, пылевик, ложный опенок, пафиопедилюм пятнистый!

Поганец бледный! На себя б оборотился, гнилушка червивая! Внутренняя красота ему, псевдобульбе, нужна!

Да в человеке, чтоб ты знал, все должно быть прекрасно — и мысли, и лицо, и одежда. А у тебя? Мысли у тебя — похабные, рожа — поганая, а одежка и вовсе! Платье ему расшнурованное не нравится? Так возьми и зашнурой, бугенвиллея голая! Только сначала штаны надень, цикас по-никающий! Мало того, что шлялся полночи незнамо где, мало того, что приперся спасать девушку из приличной семьи в чем мать родила, так еще и пузыри пускаешь! Да кому ты нужен такой? Да за тебя ни одна уважающая себя поганка не пойдет! А еще туда же! Придирается!

— Катарантус! — припечатала вторая дриада, и Перпетуя покраснела, решив, что за этим энергичным, но не совсем понятным словом скрывается какое-то совершенно жуткое (и весьма вероятно непристойное!) определение ее жениха.

Обалдевший от такого напора Яготелло забормотал, что ничего плохого не думал, не сомневался и вообще не имел в виду, после чего торопливо предложил Перпетуе свои услуги по части зашнуровывания верхнего платья. Принцесса кивнула. Жених потянул за тесемки, но увы — его сил явно не хватало, и неудивительно. Обычно корсет принцессы зашнуровывали четыре оруженосца (для оказания подобной услуги королеве Пульхерии требовалось восемь воинов).

Верхнеморалиец приналег, но корсет не поддался ни на волосок. На помощь принцу поспешил Гвиневр Мертвая Голова, все еще не пришедший в себя после жабьего заклятия и столкновения с древесным сучком. Вдвоем принц и разбойник кое-как свели концы непослушного корсета с концами, хотя королева Пульхерия вряд ли б осталась довольна их работой.

Когда с платьем было покончено, осмелевшая принцесса предложила обоим шнурователям позавтракать. Те согласились. Мясо, разумеется, остыло, но Перпетуя была слишком голодна и расстроена, чтоб обращать внимание на такие мелочи. Яготелло хотел было что-то сказать, но взглянул на дуб, в вершине которого затаились дриады,

и промолчал. Гвиневр Мертвая Голова от мяса отказался, но скушал немного капусты белокочанной и взялся за морковь.

Завтрак прошел в молчании, нарушаемом лишь тоскливым кваком жабопревращенных и комариным гудением, в котором уже не проступала дивная мелодия. Взошло солнце. Именно в этот момент, согласно протоколу, принцессе следовало поклясться в верности спасителю, вырвавшему ее из лап свирепых разбойников, после чего деве надлежало быть поднятой в седло белого коня, на коем жених и невеста отправлялись в Верхнюю Моралию. Дорога с учетом остановок занимала около двух недель.

Днем путники принимали поздравления от поселян и поселянок и пили парное молоко, вечером разбивали лагерь у прелестного ручья или на берегу живописного озера, играли на арфе, кормили лебедей, плели венки и пели целомудренные песни, после чего ложились спать, укрывшись одним плащом, но положив меж собой меч. Увы, на сей раз традиции были безобразнейшим образом нарушены.

Арфа принцессы и сборник «Целомудренных песен» остались по ту сторону речки, а спаситель, хоть и подозрительный, но имевший плащ, коня и вертел, могший с некоторой натяжкой сойти за меч, уехал. Принцесса же осталась с задрапированным в разбойничий штандарт Яготелло, который мало того, что никого не спас, еще и не имел при себе должного имущества, спросить же, куда оно дельо, Перпетуе было неудобно.

Конечно, после жабопревращения эскорта принцессы на поляне осталось немало оружия, но дева видела, что ее нареченный способен удержать в руках разве что гномозелландскую ажурную секиру, которая именно в силу своей ажурности категорически не годилась для разделения укрытых одним плащом жениха и невесты. Принцесса вздохнула и впервые пожалела о проклятущем моргенштерне, который выполнил бы разделительную миссию как нельзя лучше. О том, который раз она пожалела о проклятущем блондине, история умалчивает.

Принцесса посмотрела на лорда-разбойника, тихо и печально жующего окровавленную репу, а затем на принца,

выковыривающего из зубиков мясные волокна. Солнышко сияло, избежавшие принцессиной корзины незабудки нежно и доверчиво улыбались дневному светилу, щебетали птички, порхали мотыльки, ползали улитки и жуки, гудели пчелы, а Перпетуя чувствовала себя самой несчастной принцессой на свете.

Спасли ее пажи, то есть не пажи, а пипы несурина-
ские, вспомнившие о своем долге и дружно вцепивши-
ся в шлейф камуфляжно-прогулочного платья. Перпетуя
встала и не терпящим возражения голосом сказала:

— Мы должны позаботиться о наших заколдованных
подданных.

— И о моих столь же заколдованных подельниках, — до-
бавил Гвиневр Мертвая Голова, дожевывая хвостик от репы.

Принцесса задумалась. Наиболее правильным было б
отослать несчастных к великому магу Мерлину Сивому, но
в последнее время никто не знал, где означенный Мерлин
обретается. В той же мере не было известно, где находится
Гамлет Пегий, во всем бравший пример с Мерлина Сиво-
го. Оставались Оберон Чалый и Гамилькар Чубарый, но,
во-первых, они в последнее время вызывали определенные
подозрения, а во-вторых, тоже где-то шля... простите, от-
сутствовали по уважительным причинам.

— Надо доставить жабопревращенных в Санта-Пуру, —
решила принцесса.

— Мы не можем задерживаться, — возразил Яготелло, —
мамочка будет волноваться.

— Ты и так задержался, клоп луговой, — подала голос
нагло подслушивавшая дриада. — Мамочка у него... Дура
она, твоя мамочка!

Далее дриада заявила, что почтенной матушке Яго-Стэл-
ло-Бэлло-Пелло вообще не следовало допускать его появ-
ления на свет, но изложено это было в столь гнусной фор-
ме, что мы сочли уместным опустить прямую речь, передав
читателю лишь самый ее смысл.

— Червец мучнистый, — внесла свою лепту и вторая
дриада.

При виде зеленоглазых (!) обитательниц дуба принц
съежился, еще больше уменьшившись в размерах, и занял

выгодную стратегическую позицию позади своей невесты, некогда белая юбка которой могла надежно укрыть еще парочку яготелл. К счастью, этого не требовалось, так как в Верхней Моралии во избежание возможного инцеста строго-настрого запрещалось иметь братьев и сестер, тем более близнецов. Нельзя сказать, что отступление будущего супруга за ее юбки подняло нареченного в глазах Перпетуи, но она была доброй девушкой и честно загородила суженого, в разбойничий штандарт ряженного, от вредных дриад, каковые не преминули указать ей на непростительную мягкотелость.

— Дура, — без обиняков заявила разговорчивая. — Тлю надо давить вовремя, иначе въестся — не отделаешься.

— Щитовка-бродяжка... — добавила молчаливая дриада, но по своей лаконичности не пояснила, относится ли это к заслонявшей собой жениха принцессе, упомянутому жениху или же к кому-то из сопровождавших принцессу жабопревращенных щитоносци.

Озадаченная Перпетуя не заметила, как за ее спиной зашевелился Яготелло.

— Я рассматриваю это как оскорбление, — завопил принц и даже слегка увеличился в размерах, но на многоопытных дриад вонль верхнеморалийского наследника действовал отнюдь не так, как тот рассчитывал.

— Сам ты оскорбление природы, — рявкнула разговорчивая дриада и, явно подражая дону Проходимесу, добавила: — Пшел вон!

Перпетуя ахнула. Гвиневр Мертвая Голова вздрогнул и на всякий случай попятился от ствола.

— Да я сам тут не останусь, — гордо заявил Яготелло из-за юбки Перпетуи.

— А я не оставлю своих верных слуг в таком печальном положении, — подталкиваемая чувством долга и заботой о народе Пурии, заявила Перпетуя.

— Так и быть, — смилиостивилась дриада, — полчаса на сборы! И пшли вон! Хотя ты можешь остаться. К нам тут один фавн заходит, очень миленький. Можем познакомить...

Про фавнов принцесса читала, то есть не совсем о фавнах, а о том, что общаться с оными пурийским принцес-

сам неприлично. Перпетуя вздохнула и поплелась туда, где между куч оружия копошились ее верные подруги. Кое-кто из них мог бы поместиться в большую плетеную корзину, устланную вышитыми незабудками белым шелком, но как их отличить от гнусных разбойников?

Гвиневр и Яготелло остались у прогоревшего костра, но не тут-то было!

— Так и будете за юбку прятаться и от работы отлынивать? — грозно вопросила дриада, красноречиво пересыпая из рук в руку пригоршню желудей. — Сказано же: пшли вон! Все! И ты, рожа твоя разбойничья, тоже. На-до-ел! Не душегуб, а недоразумение! Ни оргий от тебя путных, ни песен, ни басен! Короче, был у нас Лес Разбойничий, а будет Заповедный и Дремучий! Если кого к себе и пустим, так настоящего мужчину, а не...

Дальнейшую речь дриады мы опять-таки опускаем, упомянем лишь, что лесная дева упомянула гинуру оранжевую, дизиготеку, каллистемон и, страшно сказать, офиопогон и пахиоподиум!

Гвиневр Мертвая Голова понял, что на Поляне Незабудок ему больше не жить, тихо и грустно вздохнул и принес две картинки, на одной из которых был изображен разрезанный пополам цветок с пестиком, а на другой такой же, но с тычинками. Атаман вкопал оба знака по разные стороны дуба, и жабопревращенные распрыгались на две кучки. Вокруг тычинок собралось 36 жаб, лягушек, квакш и чесночниц, вокруг пестика — 18. Еще четыре (которых так и тянет записать пипами, но какая ж пипа без Суринаама?!) не пошли ни направо, ни налево, а продолжали висеть на многострадальном шлейфе, а одна амфибия и вовсе исчезла бесследно. Ее звали, но увы...

Когда разделение жабопревращенных по полу... простите, по пестико-тычиночному признаку было завершено, Гвиневр Мертвая Голова снял с противопожарной доски два конических ведра, надел рабочие рукавицы и сложил в них жаб, квакш, лягушек и чесночниц, самоидентифицировавшихся как особи мужск... простите, тычиночного пола, а Перпетуя усадила в большую плетеную корзину четырнадцать небольших жаб, заявивших себя как пести-

ковые. Здесь, впрочем, нельзя исключить ошибку или же злонамеренный обман, так как полагаться на добросовестность жабопревращенных несколько опрометчиво. Тем же амфибиям, что не влезли в ведра и корзину по причине чрезмерных размеров, было предложено следовать своим ходом за Ее Высочеством и лордом-атаманом. И они последовали.

Поляна Незабудок опустела, но ненадолго. Кусты лещины обыкновенной на ее краю расступились, и из них вышло семейство голого вепря ІІ — сам вепрь, вепрева вдовая мамаша, шесть вепревых жен, пять тещ, два тестя и три дюжины вепренят. Все они были неприлично голыми, что, безусловно, повергло бы в ужас принцессу Перпетую, а может, и не повергло, так как вид обнаженного вепря был далеко не столь непристоен, чем вид, ну, вы сами понимаете кого...

Напрочь лишенные черного кружевного белья вепри, плача и стеная (возможно, именно по этой причине), проследовали к погасшему костру, где прервали стенания ради приема пищи. Они урчали, чавкали и хрюкали, короче вели себя по-свински. Хотя что взять с вепря? Голый он или, скажем, в орденах и в лентах, в душе он все равно свинья свиньей. В мгновенье ока все, что осталось от отвратительной оргии съедобного, а заодно осыпавшиеся с дуба желуди (включая побывавший во рту у принца и выплюнутый оным), было слопано, а несъедобное — затоптано. Исполнив свой свинский долг, семейство голого вепря ІІ, плача и стеная, но уже не столь горестно, торжественно удалилось.

С дуба свесились обе дриады, брезгливо оглядели загаженную поляну, переглянулись, укоризненно покачали головами и вновь скрылись в ветвях. Лишь тогда одна-какая косоглазая лягушка рискнула покинуть свое убежище в куче оставленного оружия. Новоиспеченная амфибия не пожелала возвращаться в Санта-Пуру, так как обладала мировоззрением, которое в иных мирах иногда называют восточным. Жабопревращенная решила навеки остаться в лесу, слиться с диким миром, стать его частью и медитировать, медитировать, медитировать...

**Глава шестая,
повествующая о том, как принцесса Перпетуя
и ее спутники вышли из леса,
встретили гостеприимных поселян
и воссоединились с оставленными
на опушке подругами**

Временно упущенные из поля зрения читателя принцессы Перпетуя с корзиной, ее суженый — верхнеморалийский принц Яготелло, и потомственный душегуб Гвиневр Мертвая Голова, несущий два красных конических ведра, сопровождаемые некоторым количеством прыгающих амфибий большого размера, направились к лесной речке.

Принцесса, помнившая о печальной судьбе, постигшей трухлявый мостик, гадала, сможет ли она перебраться через речку, не задирая подола некогда белого прогулочного платья, на шлейфе которого продолжали висеть четыре пипы несуринамские. Ведь рядом было двое мужчин, пусть знакомых, но, без сомнения, глубоко бы ее осудивших за столь непристойное действие, и более того — даже мысли!

Конечно, по правилам суженому следовало переносить невесту через все препятствия на руках (в глубине души Перпетуя подозревала, что подозрительный дон Проходимес так бы и поступил), но принцесса понимала, что поднять ее было бы для верхнеморалийского принца делом невозможным, соответственно — недопустимым и, пожалуй, даже неприличным.

От скорбных дум принцессу оторвало звучание омерзительного слова, сказанного, однако, с должным осуждением. И слово это было «эйяфъядлайёкюдль».

— Эйяфъядлайёкюдль — это отвратительно и омерзительно, — с чувством говорил Яготелло.

— А также непристойно и безобразно, — соглашался разбойник.

— И противно самой человеческой природе, — провозглашал принц.

— И самым плачевным образом оказывается на потомстве, — не грустно, но яростно воскликнул благородный разбойник, выпячивая впалую грудь.

— И способствует вырождению, — уточнял Яготелло, привстав от возмущения на цыпочки и взмахнув рукой. При этом он опрометчиво выпустил штандарт, который не замедлил упасть.

Перпетуя при виде обнаженной натуры немедленно отвернулась, как и следовало пурийской принцессе, когда она видит, как некто из достойных всяческого уважения людей непреднамеренно совершает нечто неприличное. Увы, мы не можем поручаться за поведение девы, окажись на месте Яготелло подозрительный дон Проходимес, возможно, Перпетуя не утерпела бы и взглянула, как выглядит пресловутое черное и кружевное, ну вы сами понимаете, что. Но в том-то и беда, что дон Проходимес на месте принца оказаться не мог.

Итак, принцесса смотрела на росший у края тропинки цветок печеночницы благородной и думала о... От недостойных размышлений принцессу отвлек тихий и грустный голос.

— В знак моего уважения к вам, — доверительно сообщил Ее Высочеству незаметно подошедший Гвиневр Мертвая Голова, — а также к вашим августейшим родителям я решил показать вам потайной брод через реку. Но, Ваше Высочество, учтите, что я делаю это исключительно ради вас, и прошу вас не говорить об этом вашему жениху, к которому я хоть и испытываю уважение, но отнюдь не такое глубокое, как к вам и вашим августейшим родителям. Более того, некоторые особенности поведения уважаемого принца мне представляются не совсем приятными.

— Благодарю вас, милорд Гвиневр, — произнесла принцесса с искренней радостью. Она полностью разделяла мнение Гвиневра о некоторых особенностях своего жениха.

— Извольте следовать за мной, — произнес лорд-разбойник и свернул в заросли крушины обыкновенной. Перпетуя поудобней перехватила корзину и пошла следом, стараясь не слушать идущего сзади жениха и с теплотой вспоминая комаров, зудевших только в вечерние часы и готовых удовлетвориться небольшой порцией крови.

Будь сейчас вечер, комариный звон глушил бы верхнеморалийское бубнение, а зуд от укусов не давал сосредо-

точиться на жениховской речи. Увы, солнце стояло еще высоко, а чем больше принцесса старалась не слушать, тем назойливей влетали в уши слова о неподобающем поведении, легкомыслии и обязанностях. Принцесса вздохнула и обо что-то споткнулась. Что-то оказалось палкой, очень хорошей. Ее можно было бы поднять, стукнуть жениха по голове, и он бы заткн... умолк. Пусть не навсегда, но на какое-то время. Дева с грустью перешагнула через несостоявшееся спасение, и в этот миг Гвиневр остановился, качнув красными ведрами. Принцесса посмотрела вперед и увидела настоящий потайной брод.

Речка здесь была чуть шире, чем в месте встречи с бабулечкой-красотулечкой. Вдали виднелись хорошо ухоженные огороды, засаженные капустой белокочанной, чуть ниже переправы поселянка в невышитой сорочке, неприлично подоткнутой юбке и без венка на голове стирала белье, а посреди самого брода пили воду две курицы, вода доходила им до колен. Не будь у прогулочного платья шлейфа или же не утратить пажи человеческий облик, принцесса преодолела бы преграду, не нарушив приличий, но сейчас, да еще с полной корзиной фрейлин, это было весьма затруднительно. То есть весьма затруднительно, если не подбирать шлейф, но подбирать его на глазах мужчин было крайне неприличным, тем более она еще не дала своему жениху клятву верности и не была уверена, что даст. Перпетуя совсем растерялась, и тут из лесу вышел молодой поселянин в деревянных башмаках, но без шляпы и в невышитой сорочке. Волосы юноши были скорее белобрысыми, нежели золотыми, брови и ресницы — светлыми, нос курносым, а глаза голубыми и круглыми. Ничего подозрительного в нем принцесса, к своему глубокому сожа... то есть, простите, облегчению, не обнаружила.

При виде Его Высочества, завернутого в измятый, перепачканный куриным жиром и сажей разбойничий штандарт, а также разбойника с двумя красными коническими ведрами, поселянин остановился и открыл рот. Это было вопиющей невоспитанностью, но Перпетуя решила не гневаться. Она улыбнулась и сказала:

— Добрый юноша, не перенесешь ли ты меня на тот берег?

Добрый юноша перестал разглядывать Яготелло и устался на Перпетую.

— А ты ниче, — поселянин ухмыльнулся, — все на месте. Токмо замурзанная. По грибы ходила?

Принцесса вздохнула и крепче вцепилась в большую плетеную корзину. В корзине квакнуло сначала тихо, потом громче.

— По лягухи?! — И без того круглые голубые глазки неподозрительного блондина стали еще круглее. — Ты че?! Из этих, как их, лягвоядцев?

Про лягвоядцев Перпетую знала. В странах победившего Добра лягвоядцы сlyли лучшими портными, сапожниками и парикмахерами. Именно они сшили принцессе белое прогулочное платье и сделали туфли на высоких каблуках. И во что они превратились!

Принцесса глянула на камуфляжный подол и часто-часто захлопала глазами, безуспешно пытаясь удержать рвущиеся наружу слезы.

— Ты че? — пробормотал поселянин. — Ты, того... это-го... Да не реви ты...

— Де богу, — хлюпнула распухшим носом принцесса, — все бедя обижают... Никто бедя де любит...

— Что?! — возопил Яготелло, но быстро опомнился и перешел на приличествующий принцу слог.

Я потрясен изменою коварной,
Моя невеста, чудо чистоты,
Увлечена презренным негодяем...

— Дурак, да? — перебил поселянин. — Заткнись, не то как врежу.

Яготелло поверил доброму юноше и заткнулся. Поселянин подхватил всхлипывающую Перпетую под коленки и ступил в воду. Дева закрыла глаза, так было проще вообразить, что ее через ручей переносит загадочный блон... то есть, разумеется, венценосный жених. Руки у поселянина были сильными, шел он уверенно, и принцессе было ну совершенно не страшно, только вот речка быстро кончилась.

Пришлось открывать глаза и смотреть на белобрысого ухмыляющегося пейзанина в невышитой сорочке. Зато теперь между ней и Яготелло лежала полоса сверкающей на солнце воды. Жених в штандарте и разбойник с ведрами метались по противоположному берегу, не решаясь, однако, войти в воду.

— Может, к деду зайдем? — с сочувствием произнес поселянин. — Умоешься хоть.

Умыться Перпетуя хотела, а еще она хотела избавиться от камуфляжного шлейфа и каблуков, а потом чего-нибудь скушать и выпить. Не молока!

— А... — дева из последних сил пыталась сохранить величие и инкогнито, — а кто твой дед, добрый юноша, и далеко ли он живет?

— Тама. — Парень ткнул пальцем в противоположную от речки и нареченного сторону. — Крышу с петухом видишь? Трактир у их. Давай своих лягух, поднесу, не бойсь, не съем.

Немного поколебавшись, Перпетуя вручила спутнику большую плетеную корзину с подругами; рассмотреть под ними вышитый незабудками белый шелк не представлялось возможным, да поселянин и не рассматривал. Пригоревшись к шагу хромающей (сломанный каблук — это ужасно, хоть и не столь ужасно, как некоторые женихи), добрый юноша сообщил, что у деда есть настоящая шпага, которую он привез издалека и повесил на стене. Дед строг, но справедлив, носит только черное платье с белым воротником и очень любит бабку и пиво. На заданный Перпетуей уточняющий вопрос пейзанин спокойно сообщил, что черное платье является верхним, после чего дева утратила к нему (платью) всякий интерес, но с удовольствием выслушала, что дед, не будучи рыцарем, тем не менее является убежденным сторонником спасения прекрасных дам от опасностей самого разного толка.

Правдивость юноши получила подтверждение, когда принцессу проводили в обширную залу, чей пол покрывали тряпочные коврики, а стены — многочисленные картины. Золотоволосый рыцарь на белом коне разрубал пополам незолотоволосого рыцаря, а рядом стояла дева в белом.

Золотоволосый рыцарь на белом коне поражал копьем огнедышащее чудище, а рядом стояла дева в белом. Золотоволосый рыцарь на белом коне истреблял тьмы и тьмы зеленых человечков с рожками и кривыми ножками, а рядом стояла дева в белом. Принцесса поняла, что зеленые имели к рыцарю какие-то претензии, непонятно почему вздохнула и принялась смотреть дальше. Лучшей оказалась третья картина во втором ряду, где золотоволосый рыцарь на белом коне вез куда-то деву в белом прогулочном платье. Очень душевно было нарисовано, хотя Перпетуе в последнее время больше нравились гнедые лошади.

Принцесса вздохнула еще раз, и тут ее дважды узнали.

— Ваше Высочество! — со слезами воскликнул непонятно как здесь оказавшийся старый верный слуга в белой ливрее и с носом в прожилках, каковой за время разлуки стал еще краснее.

— Ваше Высочество! Радость-то какая! — утерла слезу бабулечка-красотулечка. — А я уж не чаяла еще раз вас повидать.

— Так ты че? — не понял добрый юноша. — Тово? Принцесса? А этот тогда че разбухтелся? Его ж того, казнить надо!

В ответ Перпетуя смогла лишь горестно шмыгнуть носиком, к счастью, старушка оказалась догадливой. Она увлекла августейшую гостью в свою комнату, где умело избавила от камуфляжного платья с пажами и покрытых глиной туфель, а также оказала еще целый ряд важных и полезных услуг, после чего уложила на очень хорошую кровать и с наилучшими пожеланиями вышла. Дева свернулась калачиком, успела подумать, сколь хорошо, что рядом не лежит жених, хоть бы и отделенный мечом, и уснула. Ей снились бабулечка-красотулечка в чем-то непонятно-черном, странным образом оказавшийся на небе вместо луны моргенштерн, козлодой Йорик и... Но мы ведь не обещали в подробностях пересказывать девичьи сны, нам важно, что проснувшуюся принцессу ожидали вычищенные туфли с прибитым каблуком и очаровательное, расшитое мелким жемчугом сиреневое платье без шлейфа. Пожалуй, оно было не хуже сшитого лягвоядцами белого прогулочного и к тому

же позволяло обходиться без пажей. Непонятным было лишь появление сего туалета в мирной глуши. Последнее обстоятельство Перпетую сочла уместным прояснить.

— Память, — ответствовала бабулечка-красотулечка, утирая слезу и затягивая августейшей гостью корсет. Как ни странно, это у доброй женщины выходило лучше, чем у четырех оруженосцев, не говоря уж про сэра Гвиневра и Яготелло, о судьбе коего следовало спросить, но принцесса этого не сделала, хоть и понимала, что поступает дурно и, возможно, даже неприлично. Впрочем, вопрос в любом случае не имел смысла: уже на подходе к комнате с золотоволосыми рыцарями на белых конях принцесса услышала голос жениха. Жених обличал.

— Увы, — тянул Яготелло, по-прежнему задрапированный в штандарт внимающего обличениям душегуба, — сей подозрительный путник оказал самое дурное влияние на...

Дриады были далеко, защитить Перпетую было некому. Бедная девушка сжала зубы и приготовилась терпеть, но тут дверь распахнулась, и в помещение ворвалось поддюжины поселянок в деревянных башмаках, вышитых полотняных сорочках и венках из ромашки полевой и василька обыкновенного, и поддюжины же поселян в вышитых полотняных сорочках, деревянных башмаках и шляпах, украшенных голубиными перьями.

Поселяне встали по одну сторону, поселянки соответственно по другую. В окно влез волынщик в деревянных башмаках, вышитой сорочке и клетчатом берете и втащил за собой толстую поселянку в крахмальном чепце, деревянных башмаках и вышитой полотняной сорочке. Поселянка держала в руках крынку, вне всякого сомнения — с парным молоком.

Принцесса заметалась. С одной стороны, она еще не дала клятву верности и, значит, должна выпить все сама, с другой стороны... Обдумать другую сторону Перпетую не успела — Яготелло выхватил у пейзанки крынку, припал к ней, сделал огромный глоток и вдруг швырнул крынку об пол, после чего с криком «Все ложь, все обман!» затопал ногами. Дева принюхалась. В помещении отчетливо пахло простоквашей. Перпетую глянула на пол и заметила среди

осколков и белой пахучей лужи черные комочки. Это были трупы скоропостижно скончавшихся мух.

Взвыла волынка. Поселяне и поселянки уперли руки в боки.

— Эх, редиска, редиска, редиска моя, — запели поселянки.

— В миске толстая сосиска, сосиска моя, — радостно откликнулись поселяне, а Гвиневр, прижимая к груди два красных конических ведра, запел тонким и грустным голосом о том, где, как и зачем его следует класть. Обеспокоенность лорда-разбойника не удивляла, ведь дуба у него больше не было.

Вокруг пели про сосиску, редиску и то, что Гвиневра нужно полюбить, только Перпетуе любить разбойника не хотелось. Мысль о побеге пришла деве в голову совершенно неожиданно, но сразу же всецело ею завладела.

Сбегая от жениха, можно вести себя неприлично, можно не пить молока, поднимать подол, переходить реки вброд и разговаривать с подозрительными незнакомцами. Принцесса воровато оглянулась: поселяне надвигались на поселянок, требуя сосисок и намекая на что-то еще, не совсем принцессе понятное, поселянки в ответ предлагали редиску, волынщик дудел, словом, момент был самый подходящий, и Перпетуя украдкой шмыгнула за дверь. Оказавшись на дворе, дева присела на ступеньку и принялась решать, возвращаться ей или же отправляться. Вернувшись в Санта-Пуру или же в лес, она могла пожаловаться либо родителям на непунктуальность жениха, либо дриадам на его же (жениха) несправедливость. Отправиться же получалось или с женихом в Верхнюю Моралию, или в одиночестве на поиски дона Проходимеса. Последний вариант принцессу привлекал более других, но она не знала, куда двинул неугомонный блондин, да и сам он, похоже, не знал. Единственным ориентиром были те, зеленые и клыкастые, которые имели к дону Проходимесу какие-то претензии. Может быть, поискать их?

Перед глазами принцессы всплыл рисунок из «Полного определителя всех существ, созданий и фантомов, в Земноводье бытийствующих». Там под изображением под-

ходящего по всем параметрам существа значилось «орк обыкновенный, он же *Orcus vulgaris*».

Книга утверждала, что *Orcus vulgaris* груб, невоспитан, склонен к каннибализму и дешевым и грубым зреющим. Морда лица у него зеленая (реже — желтая или же коричневая), уши — острые, зубы — тоже. Обитают орки в Физиогноморде, ходят ордами, живут прайдами, промышляют охотой и грабежами и периодически кушают друг друга. На этом познания Перпетуи исчерпывались, так как считалось, что в странах победившего Добра сии создания не живут. Но ведь кто-то же попался дону Проходимесу!

Из раздумий принцессу вывела та часть ее собственной свиты, что по милости зловредного моргенштерна не смогла углубиться в Разбойничий Лес.

— Ваше Высочество! Вы спасены! О, сколь мы счастливы видеть вас живой, свободной и в столь идущем вам плаТЬе! — орали девы, заглушая льющуюся из окон народную песню с припевом «Зельц мой, зельц мой, лёри-лёри-лей». Принцесса вздохнула: выбора больше не было, и это когда она почти решилась искать негодного блондина. Всегда он так, одно слово, негодяй!

— Ваше Высочество, где же ваш благородный спаситель? — выкрикнула девица Гортензия.

— О да, — подхватили все, — где он? Где прекрасный герой, вырвавший Ваше Высочество из лап ужасного разбойника? Мы жаждем его узреть!

И они узрели! Более того, узрели они и разбойника, ибо Яготелло и сэр Гвиневр вышли на крыльцо вместе. Шесть воительниц при виде завернутого в штандарт принца и тяжко вздыхающего маньяка с красными коническими ведрами побледнели, девять — покраснели, пять — позеленели, а девица Аспидистра, с высоты своего роста разглядевшая, что находится в ведрах, завизжала, и визг сей сделал бы честь лучшей из принцесс. Яготелло и Гвиневр дружно зажали уши, лишенные же поддержки штандарт и ведра немедленно подчинились неодолимой силе, в иных мирах именуемой всемирным тяготением.

Жабопревращенные градом посыпались наземь, причем амфибии из тычиночного ведра устремились под крыльцо,

а из пестикового — пошлепали к девам. Девы, не зная, кто пред ними, издали уже множественный визг, усугубленный неприличным зреищем, кое являл лишенный штандарта Яготелло.

Пейзане прекратили петь о зельце и тоже высыпали на двор, при этом сбитый крутым бедром поселянки в вышитой полотняной сорочке жених скатился по ступеням к ногам Хойи, самой упитанной из спутниц Перпетуи.

— Какая мерзость, — низким голосом произнесла Хойя.

— Ах, как это неприлично, — пискнула ее троюродная сестра Спирея, — кто это?

— Жених, — сказала честная Перпетуя и обреченно уточнила: — принц Яго-Стэл...

— Не верю! — голосом неизвестного в Пурии, но тем не менее великого наставника лицедеев перебила Хойя. — Таких принцев не бывает.

— Воистину, — поддакнула Спирея, — у принца должен быть конь.

— Белый, — уточнила Аспидистра, — а также меч, щит, плащ и...

Аспидистра замолкла, и Перпетуя решила, что воительница хотела назвать то, что порядочные принцы носят под плащом, но постеснялась.

— И потом он совсем не прекрасный, — разочарованно протянула Гортензия, — ну ни чуточки!

— Красота есть зло, — отрезал сидевший на земле Яготелло, при этом странным и неприличным образом оказавшись у него на голове лягушка согласно квакнула, — главное — богатый внутренний мир и высокая нравственность. Только легкомысленным и безответственным особам застит глаза смазливая внешность...

Про смазливую внешность и несовместность оной с высокой нравственностью Перпетуя слышала неоднократно, но остановить Яго, клеймящего безнравственных красавцев и заглядывающих на оных легкомысленных невест, было труднее, нежели Хойе пройти сквозь игольное ушко.

— Это неправильный жених, — торопливо зашептала Перпетуе девица Магнолия, — и из него получится неправильный муж.

— Самозванец! — пропыхтела Хойя. — У него даже мечи нет!

В ответ принцесса вздохнула столь же тяжко, сколь лорд разбойник. Яготелло мог утратить коня, меч, верхнюю одежду и даже нечерное и некружевное белье, но скинувшее молоко и умершие мухи не оставляли сомнения в его личности. Жених был наследником Верхнеморалийского трона, и поделать с этим ничего было нельзя.

— В то время, как я, спеша исполнить свой долг, подвергся нападению приспешников Тьмы, — зудел принц, — утратил коня, оружие, одежду и товарищей, едва не был съеден верховыми шакалами и спасся исключительно благодаря вмешательству провидения, принцесса Перпетуя допустила вопиющую...

Про «вопиющую» Перпетуя тоже слышала, а вот про то, что на принца напали ездящие на шакалах, — нет. Что делали эти нехорошие создания в стране победившего Добра? А если что-то делали, то почему не съели попавшегося им жениха, неужели он такой невкусный?! Силы Зла проявили вопиющую халатность и пренебрегли своими прямыми обязанностями. Ух, попадись ей эти ездящие, она бы с ними поговорила...

Принцесса так развелновалась, что губы у нее затряслись, а руки помимо воли сжались в кулаки. Как ни странно, этот ее жест возымел действие. Жених прекратил обличать и отступил за спину лорда-разбойника, который, в свою очередь, отступил за незаметно присоединившегося к собравшимся гладковыбритого мужчину в черном платье с очень белым воротником.

— Я ни мгновенья не останусь здесь, средь оскорбителей и оскорбительниц, — провозгласил из укрытия Яготелло и принялся развивать свою мысль. Он развивал ее и развивал, находя горькие, проникновенные, презрительные и клеймительные слова для всех присутствующих, начав со злостно нарушающей режим питания Хойи и продвигаясь по часовой стрелке в сторону разинувшего рот доброго юноши. Своей речью Яготелло удалось посрамить величайшего иномирового страдальца и обличителя Чацкого, однако Перпетуя почти не слушала.

Сердце принцессы бешено стучало, она понимала, что рано или поздно принц обличит всех, после чего ей, именно ей, придется выбирать между Санта-Пурой с мамой, папой, подругами, пажами и лучшими платьями от лягвоядцев, и призрачной надеждой догнать, встретить... найти... Тот, кому приходилось в срочном порядке решать: упитанная индейка в руках или же сокол в небе, причем сокол призрачный, возможно, даже несуществующий принцессу поймет, а остальные пожмут плечами и скажут что-то покровительственно-умное. Ну и черт с ними.

— Ваше Высочество, — Перпетуя сделала шаг и книксен, — нам в самом деле лучше не задерживаться. В моем багаже есть почти все необходимое для продолжения нашего путешествия, включая разделительный меч. Я испытываю сомнения лишь насчет, на предмет...

Дева замялась, не зная, как приличным образом обозначить те неприличные предметы туалета, которых у нее и ее подруг не имелось и не могло иметься, но которых лишился ее суженый, вынужденный вследствие этого обходиться посредством штандарта. Видимо, взгляд Перпетуи был красноречив, потому что человек в черном поднял двумя пальцами упомянутый штандарт, развернул, бегло осмотрел и бросил подбежавшему подавальщику.

— В помойку. Ваше Высочество, в нашем доме хранится комплект белых рыцарских одежд всех известных размеров. Я счастлив предложить один из них вашему спасителю.

— Благодарю вас, добный человек, — прошептала Перпетуя, перед глазами которой немедленно возник золотоволосый рыцарь в белых одеждах и на гнедом коне. — Не укажешь ли ты нам заодно дорогу в... к...

— Отсюда ведет лишь один тракт, — спокойно объяснил по всем признакам дед доброго юноши, — к Купедонову камню, а дальше на нем все написано.

— Мы выезжаем немедленно, — объявил Яготелло, с некоторым сожалением озирая тех, кого не успел обличить.

— Если вы поторопитесь, — улыбнулась также вышедшая на крыльце бабулечка-красотулечка, — то к вечеру догоните побывавшего здесь утром молодого человека на

гнедом коне и с ушастой птицей. Времена сейчас опасные, в одиночку лучше не ездить.

И опять принцессе померещилось, что из-под добротной полосатой юбки бабулечки показалось что-то черное и зыбкое. Показалось и исчезло. Впрочем, Перпетуя была взволнована, а это способствует видениям и, не побоимся этого слова, галлюцинациям. Взволнованы, впрочем, были все.

— Я не желаю слышать о негодяях на гнедых лошадях, — негодовал Яготелло.

— Он че, взаправду принц? — недоумевал добрый юноша.

— Ваше Высочество, останьтесь с нами, — настаивали сохранившие человеческий облик подруги.

— Ква... — обоснованно сетовали на судьбу жабодевы, о которых Перпетуя совсем забыла!

— Их надо отвезти в Санта-Пуру, — твердо сказала принцесса, — к Лоренцо-Феличе, он поможет.

— О нет! — завизжала девица Аспидистра. — Жабы! Бородавки... Я этого не вынесу!

— Мы этого не вынесем, — подхватили Спирея с Хойей, и Перпетуя подумала, что правильно делает, что уходит. Стань лягушкой она, от нее бы тоже отреклись.

— Их отвезет Гвиневр, — решил белый воротник. — Сегодня же.

Гвиневр Мертвая Голова вышел вперед и с достоинством поклонился.

На этом лорд-разбойник и порученные его заботам лица (или что там у бесхвостых гадов?) исчезают из нашего повествования за ненадобностью. Тем не менее, мы полагаем, читателю будет интересно узнать о дальнейшей судьбе этих во всех отношениях достойных персонажей. Мужчина в черном не ошибся в кандидатуре сопровождающего — разбойник успешно добрался до Санта-Пуры, где гроссмейстер тайных операций Лоренцо-Феличе разобрался-таки в механизме жабопревращающего заклятия (дело было в чисто геометрических ошибках и личности заклинателя). О том, что случилось дальше, рассказывают по-разному.

Есть мнение, что сам Гвиневр, двое или трое его подельников и несколько очарованных лордом-разбойником девиц перебрались с помощью все того же Лоренцо-Феличе в лучший мир, знаменитый тем, что бывшие никем там в сжатые сроки становятся всем, чем хотят. На новом месте Гвиневр за неделю прошел путь от никого до главы организованной преступности в одной империи, одновременно став серым кардиналом в другой. В процессе становления он и его соратницы обрели способность перемещаться по пересеченной местности с огромной скоростью, покрывая за сутки огромные же расстояния, и теперь пронзают пространство и время не хуже козлодоя ушастого, правда, лишь в одном-единственном доступном им мире, в другие их почему-то не пускают. Кстати, юные девы в этом лучшем (для них) мире, оставаясь хрупкими и изысканными, запросто таскают двуручные и даже трехручные мечи, в одиночку побеждают до двух десятков бывалых воинов-мужчин и при этом совершенно не потеют, не пачкают одежду и сохраняют в порядке прическу.

Согласно другой версии, Гвиневр остался в Санта-Пуре и теперь управляет трактиром иномировой галльской кухни (в виду имеется та Галлия, где чачу можно смело называть коньяком и за это ничего не будет). Истинным же владельцем заведения является Лоренцо-Феличе, который поддерживает порядок путем превращения злодеев и лиц, к ним приравненных, в лягушек с последующим изъятием из их голов жабьих камней и передачей остального для кулинарного использования. Гвиневр же лишь из глубочайшего уважения к министру покоя и порядка не становится серым кардиналом Пурии и по-прежнему всеми фибрами своей души ненавидит эйяфьялайёкюдль, но вернемся к нашему повествованию.

Верный слуга с прожилочным носом, утирая слезы рукавом белой ливреи, привел особым образом оседланного коня масти паломино, чьи грива и хвост были убранны в косички причудливого плетения. Подруги-воительницы заломили руки, а поселяне грозно запели про выплывающие из-за острова ярко разрисованные лодки. Перпетуе стало страшно и захотелось домой, к папе, маме и гроссмейстеру

тайных операций. На время, пока лягвоядцы сошьют подходящую обувь, потому что пускаться на поиски счастья в туфлях на высоких каблуках, один из которых сломан, — безумие. Да, она возвращается в Санта-Пуру...

— Ваше Высочество, — бабулечка-красотулечка сверкнула юными, до странности светлыми голубыми глазами и поставила перед Перпетуей пару прелестных сиреневых туфелек на невысоких устойчивых каблучках и с украшенными фиалками пряжками. — Примерьте.

Перпетуя примерила, туфли подошли просто изумительно, и повода для отступления не осталось.

Глава седьмая,

*повествующая о встрече с купедоном, о том,
как принцесса Перпетуя и принц Яго-Стэлло-
Бэлло-Пелло-Отелло-Вэлло-Донатэлло-Ромуальдо
подверглись нападению сил Зла,
а также о новом появлении
подозрительного блондина и о том,
какие претензии к оному имели порождения Зла*

На развилке дорог стоял огромный камень с таинственными надписями, прочесть которые было невозможно, потому что на камне сидел внушительных размеров купедон и ел блины, а перед ним было разложено несколько искусно составленных букетов гладиолусов и роз.

Раньше Перпетуя с подобными созданиями не встречалась, но ошибиться было невозможно: перед ней был пятнистый, он же блиноядный, купедон, как и положено купедону толстый, желтый, с большими черными пятнами, тоненьким хвостиком с помпончиком на конце и маленькими крыльышками. В точности такой, как в «Полном определителе».

При виде путников купедон быстро прожевал очередной блин и ловко слез с камня.

— О милорд, — лоснящийся от масла палец ткнул в сторону Яготелло, — сегодня такая прекрасная погода. Подарите своей очаровательной спутнице цветы! Недорого...

Перпетуя не то чтобы хотела получить букет, ей хотелось избавиться от жениха и отыскать... Неважно! Сердце женщины исполнено загадок и противоречий, и мы не можем исключить возможности того, что, купив моралиец суженой цветы, та стала бы относиться к нему несколько лучше. Яготелло, однако, цветов не купил.

— Поведение принцессы Перпетуи было весьма предосудительно, — заявил он, — и с моей стороны было бы неправильно тратить государственные средства на поощрение особы, склонной к легкомыслию и нарушению долга.

Услышав о государственных средствах, Перпетуя немногого удивилась, ведь у принца, когда он появился в Разбойничьем Лесу, их не имелось. Все, что ныне находилось в распоряжении Яготелло, включая кошелек и разделительный меч, имело пурийское происхождение, но принцесса знала, что говорить и даже думать о вещах меркантильных юной деве постыдно, и промолчала.

— Дарение цветов должно быть обосновано, — принц строго глянул на нареченную, — оно должно производиться по уважительной причине, либо в определенные дни, как то именины или же день прилета личного Аиста, либо в связи с каким-то разовым, но важным событием, к каковым можно отнести свадьбу, коронацию и похороны.

Купедон пожал пухлыми плечами, повернулся, влез обратно на камень и взялся за блин. По его мнению, вопрос был исчерпан, но Яготелло полагал иначе.

— Покупка букетов без должного повода, — подвел итог Его Высочество, — наносит ущерб финансовому положению семьи и живой природе, частью которой являются цветущие растения. И уж тем более не подобает дарить их в том случае, когда дама ведет себя предосудительно.

Купедон проглотил блин и покачал головой:

— Дамам следует дарить цветы в любом случае. Дамы без цветов блекнут, а мужчины, лишающие своих дам гладиолусов и роз, лысеют и теряют потенцию.

— В Верхней Моралии потенции нет! — отрезал Яготелло. — Но даже будь она, я бы не стал поощрять женское легкомыслие.

Что такое «потенция», Перпетуя не знала, но купедоны считались созданиями куртуазными и несклонными к лексике, в иных мирах именуемой ненормативной, а принцы Моралии были самыми воспитанными условно молодыми людьми во всем Земноводье.

Принцесса не сомневалась, что все употребляемые ими слова являются приличными, несмотря на странное и подозрительное звучание. В конце концов, существует реестр вещей и понятий, кои воспитанная принцесса узнает лишь после замужества, несомненно, к ним относится и «потенция».

Дева с непонятной тоской взглянула на розовые розы и оранжевые гладиолусы, которые ей не подарили из-за ее легкомыслия и отсутствия должного повода, и сделала купедону книксен.

— Господин купедон, не могли бы вы указать нам дорогу к...?

Купедон взмахнул крыльшками и хвостиком:

— Могу, моя леди, но я бы посоветовал вам предоставить вашего спутника его планиде. Вам я предлагаю остаться здесь, цветов и блинов нам хватит, а по дороге периодически проезжают мужчины, с которыми я отпущу вас с чистой совестью. Поверьте, дорогая, ваш спутник не лжет. Там, куда вы едете, действительно нет потенции.

— А что это такое? — не удержалась принцесса, хотя подозревала, что задает неприличный вопрос, к тому же она отнюдь не собиралась доезжать до Верхней Моралии.

— Потенция, — пятнистый или блиноядный купедон вновь взмахнул хвостиком и крыльшками, — важная, хоть и неопределяющая составляющая полноценной любви, которая есть величайшее благо. Разумеется, не считая блинов. Без любви, цветов и блинов жизнь становится серой, блеклой, бесцветной и бессмысленной, любовь движет горами и зажигает звезды, она...

Принцесса замерла, предчувствуя, что стоит на пороге величайшей из тайн, но все испортил Яготелло.

— Ваше Высочество, — на лице наследника Верхней Моралии читался гнев царственный, праведный, — как вы можете внимать сим отвратительным речам?! Вы, дочь, внучка

и правнучка пурийских королев и наша невеста! Я в последний раз обращаю ваше внимание на предосудительность подобного поведения. В следующий раз...

Пролетавшая мимо большая муха остановилась, словно ударившись о невидимую стену, и пала мертвой у ног Яготелло. Купедон торопливо дожевал блин, сгреб в охапку цветы, замерцал и исчез, оставив зависшую в воздухе гримасу величайшего отвращения. Таково свойство этих блиноядцев, по некоторым сведениям находящихся в отдаленном родстве с небезызвестными котами, но не имеющими никакого отношения к вооруженным луками голым крылатым младенцам, которых в иных мирах именуют ку-пидонами.

Итак, Перпетуя и ее жених остались одни. Чтобы немного отвлечься от речей суженого, принцесса попыталась разобрать надпись на опустевшем камне. Выяснилось, что прямо вход был строго воспрещен, а дорога направо считалась опасной, поскольку проходила в непосредственной близости от Вшивых пустошей. Что находилось слева, принцесса прочесть не успела, так как из лесу вывалилось десятка два *Orcus vulgaris*.

Они в самом деле были зелеными и клыкастыми. Их головы украшали рогатые шлемы, в руках они сжимали изогнутые некие плоские штуки, а на грудях (хоть и менее впалых, чем у лорда Гвиневра, но отнюдь не выпуклых) багровело изображение Недреманного Носа.

Будь Перпетуя одна или с кем-нибудь другим, она бы испугалась, но сейчас наследница Пурии была рада любому поводу, позволяющему не слушать жениха, к тому же поблизости мог оказаться дон Проходимес, желающий выяснить насчет претензий.

Принцесса вежливо поздоровалась с вышедшими из леса и сделала книксен. Такое поведение Ее Высочества произвело впечатление на главного орка, на невысоком челе которого отразилась напряженная работа мысли. Затем чело расправилось, а губы растянулись, явив миру преогромные дурно вычищенные клыки.

— Хороший фрейляйн, — провозгласил орк. — Зер гуд! — и добавил: — Курка, яйка, млеко есть?

Принцесса с радостью бы угостила зеленого рогача парным молоком, но поселяне и поселянки остались позади, а рядом с принцессой был лишь жених, в присутствии которого молоко немедленно скисало. Правда, на живописной лужайке за поворотом пасся конь масти паломино, но во выюках не было ничего из перечисленного, а разделятельный меч, арфа и целомудренные песни в пищу не годились. Принцесса вздохнула.

— Милорд орк, к сожалению, у меня нет ни молока, ни яиц, ни куриц.

Как ни странно, это заявление было воспринято спокойно.

— Орк-зольдат — кавалир, — сказал главный орк, еще раз показывая зубы, которые повергли в ужас почитателей великих богов Орбита, Дирола и Блендамеда. — Их бин Орк-оберст Шварцкопф.

Перпетуя сделала книксен еще раз. Орк-оберст нагнулся, поднял оброненный исчезнувшим купедоном гладиолус, подал принцессе и встал рядом с ней, недвусмысленным образом выставив локоть. Перпетуе осталось лишь опереться о руку исчадия Зла, которое оказалось хоть и ниже Дона Проходимеса, но заметно выше Его Высочества. Принцесса не знала, как следует себя вести в случае пленения во время нахождения в обществе жениха. Руководства по этикету такого случая не предусмотрели ввиду полной невозможности, но после того, как по милости моргенштерна эскорт принцессы был разделен на две неравные части, все пошло вкривь и вкось. А может, все пошло вкривь и вкось еще раньше, когда на большой дороге появился подозрительный блондин. Уж он-то, без сомнения, купил бы невесте цветы и не позволил застать себя врасплох, как этот... жених!

Ее Высочество прислушалась — сзади шушукались и звенели оружием младшие по званию, Яготелло слышно не было, и принцесса сочла, что, раз жених не протестует, она имеет полное право вести себя так же.

Физиognомордцы бойко топали сначала по темнеющему лесу, потом по полю, посреди которого возвышалась невыносимо одинокая гора. Перпетуя попыталась вспом-

нить, выходили ли когда-нибудь пурийские принцессы замуж за орков, троллей или иных представителей сил Зла, но прецедента не было. Затем принцессе стало не до замужества — ей пришло в голову, что при подъеме потребуется зadirать юбку, а это не понравится пока еще жениху и может быть неправильно истолковано орками. К счастью, лезть в гору не понадобилось. Исчадия Физиогноморда направились к огромной дыре у самого подножия. Перpetуя вспомнила, что в этих краях находятся пресловутые Жмурдийские чертоги, созданные безумным гномьим правителем Жмурди Эльфофилем. Жмурди где-то нашел руководством по эльфийскому быту — Феличе-Лоренцо полагал, что книгу подбросили нарочно, — и был так поражен утонченно-воздушной архитектурой, что решил взвести себе что-нибудь эльфийское. И возвел.

Подземные выработки превратились в галереи, связанные бесконечными лестницами, лесенками, колоннадами, акведуками, аркадами, карнизами, балкончиками, мостами, мостиками и мосточками. Коренастые подгорные жители, непривычные к промышленному альпинизму, то и дело срывались вниз, смертность росла, добыча драгоценных и цветных металлов падала. Лет через сорок гномы взбунтовались и навсегда покинули испорченную гору, а свергнутый Жмурди с горя сошел с ума и умер. По некоторым сведениям, его дух до сих пор бродит ажурными подземными мостиками и винтовыми ажурными же лесенками и призывает ушедших подданных покаяться, обещая им полное прощение.

Орки обошлись с красотами Жмурдии, как и положено существам ограниченным и дурно воспитанным. Они развалили то, что еще не развалилось, а на стенах написали что-то непонятное и нарисовали что-то неприличное. От подгорного дворца уцелела лишь утыканная сталагмитами, увешанная сталактитами и освещенная странного вида грибами прихожая. У стен громоздились какие-то мешки и бочки, такие же бочки, но поставленные на попа, перегораживали пещеру пополам. Справа от входа темнела огромная куча самых разнообразных вещей, наверху которой возлежала пятнистая остроконечная шляпа, а между входом

и бочками торчал шестигранный обелиск на кубическом постаменте, показавшийся Перпетуе ужасно неприличным. Кроме обелиска, в прихожей торчало с полсотни орков.

Орк-оберст Шварцкопф повернулся к своей спутнице:

— Просить фройляйн меня прощать. Я имель бросать жребий на заловленный трофей.

Принцесса кивнула и высвободила руку, что делать дальше, она не знала. Жених попал в плен вместе с ней и явно не мог справиться чуть ли не с сотней противников, а дон Проходимес... Ах, дон Проходимес уехал, оставался Орк-оберст, каковой щелкнул каблуками давно, а возможно, и никогда не чищенных сапог и, чеканя шаг, направился к неприличному обелиску. Туда же двое орков повлекли в кои-то веки утратившего дар речи Яготелло.

Милорд Шварцкопф оказался не единственным орочьим вожаком, равно как верхнеморалийский принц был отнюдь не единственным пленником. В неверном грибном свете дева разглядела по меньшей мере пятерых. Двое невысоких широкоплечих здоровяков ругались хриплыми простонародными голосами, третий, в пятнистом балахоне, хранил в самом деле гордое молчание, а на четвертом и пятом были такие же плащи, как у дона Проходимеса. Сердце Перпетуи замерло, но потом она заметила торчащие из-под капюшонов неопрятные бородки и сначала успокоилась, а потом — наоборот.

Орки у обелиска что-то обсуждали, затем кто-то снял с головы рогатый шлем, и оказалось, что он лыс, как колено или ряд известных иномировых негодяев и дураков. Принцесса задумалась, является ли отсутствие волос, перьев или шерсти на голове обязательным для всех созданий данного вида или именно этот орк никогда не дарил дамам цветов, из-за чего облысел и утратил потенцию? Задумавшаяся Перпетуя пропустила, что именно делали орки-оберсты, и пришла в себя, только когда вернувшийся Шварцкопф подвел ее к высокой бочке, объяснил, что ей следует сесть, и сел сам. Принцесса послушалась, хотя сидеть на бочках принцессам и не пристало.

Бочка стояла на самом краю пропасти, через которую был перекинут тонюсенький мостик без перил, ведущий

в глубь Жмурдийских чертогов, где, по слухам, обитало что-то нехорошее. Хуже всего, однако, было, что стена обрывалась в бездну не просто так, а невысоким, заваленным обглоданными костями уступом, на котором бесновался цепной тролль — одноглазый, огромный и очень-очень голодный. Перпетуя вспомнила, что этот подвид троллей именуется бурым обыкновенным и имеет ускоренный обмен веществ.

Тролль взревел, Шварцкопф поднял руку, и могучий орк (на два, если не на три пальца выше остальных!) схватил упирающегося Яготелло, подтащил к краю пропасти и столкнул вниз, бросив следом щит и меч.

— Мяааасо! — утробно взревел тролль обыкновенный. — Ням-ням! — и обеспокоенно добавил: — Мaaaало!

— Мама! — взвизгнул принц. Тролль принюхался, еще раз взревел, но как-то скорбно, и вдобавок сморщился.

Яготелло стремительно вскочил, бросился к небольшому углублению в стене и с необыкновенной скоростью начал закапываться. Во все стороны полетели куски костей. Тролль бросился к исчезающему мясу, орки и гоблины за свистели и затопали ногами. Зубы тролля клацнули над самой пяткой жертвы и схватили давно обглоданную челюсть. Чудовище взвыло — оно хотело мяса, а мясо закопалось. Перпетуя с детства любила животных и совершенно не любила жениха. Ей стало жаль бедного, голодного бурого тролля, но положение принцессы было таково, что она никоим образом не могла прийти к нему на помощь. Ее Высочество взволнованно повернулась к Шварцкопфу, чтобы попросить того облегчить страдания голодящего.

— Милорд Шварцкопф, — произнесла Перпетуя дрожащим голоском, — нельзя его покормить?

— Это есть глупость, — произнес тот несколько напряженно. Тролль обыкновенный утробно взревел и посмотрел наверх.

К Шварцкопфу подскочил другой орк-оберст и что-то рявкнул, указывая пальцем на Перпетую. Его слова утонули во всеобщем реве. Несколько зеленокожих воителей вскочили со своих бочек и окружили принцессу и ее покровителя.

— Нас на фрейляйн променяль, — выкрикнул какой-то особенно зеленый.

— Сам на морген фрау сталь, — подхватил второй.

— Твой трофей есть закопанный, а мы хотеть зреши!

Перпетуя не сразу поняла, что речь о ней. Девушка выросла в окружении всеобщей любви, с ней были вежливы все, кроме комаров. Даже лорд-разбойник и то обращался к ней «Ваше Высочество». Если честно, за двадцать шесть лет по-настоящему Перпетую обидел только ныне закопавшийся жених, теперь же она стояла одна-одинешенька перед толпой злобных орков, которые имели к ней какие-то претензии. Принцесса некстати вспомнила, что к дону Проходимесу орки их (претензии) тоже имели, но коварный блондин куда-то задевался, хотя, будь он настоящим героем и паладином... Эх!

На всякий случай принцесса глянула вниз. Нет, она, разумеется, не ожидала, что Яготелло станет ее спасать, но, может быть, тролль уже покушал и тогда ее не тронут хотя бы до ужина.

Увы, тролль по-прежнему старательно рыл землю, и это было очень плохо. Принцесса с ужасом взглянула на орка-оберста. В ее глазах застыли слезы, орк-оберст это заметил и сам прослезился.

— Дисциплин не есть зер гут, — произнес он дрогнувшим голосом. — Я имель поднимать дисциплин и бросать фрейляйн яма. Я приносиль глубокий извинений, но я не имель другой выход.

Тролль прекратил выкапывать принца и задрал башку. Вывороченные ноздри раздувались, а из пасти высунулся зеленый растроенный язык, с которого капала оранжевая слюна. Язык облизнул черные губы, скрылся в пасти и вновь высунулся.

— Ямка, ямка, родна матка, — с чувством провозгласил орк-оберст, — зер больша унд широка, не видала ты подарка от зеленого орка.

Перпетуя не могла отвести глаз от тролльего языка. Что делать пурийской принцессе, которую собираются бросить в яму с троллем бурым обыкновенным, она не представляла. На всякий случай девушка сделала книксен и по-

просила милорда Шварцкопфа не бросать ее вниз. Тот вздохнул и покачал головой.

— Их бин командир. Как это говорить? Батяня! Батяня орк-оберст. Мои киндер хотеть смотреть кушающий тролль. Я иметь бросать фрейляйн в яма. Я плакаль...

Оберст-орк шагнул к Перпетуе, протянув зеленые руки; принцесса видела слезы, татуировку с Недреманным Носом на запястье и обкусанные когти. Это было омерзительно, и дева отскочила к краю пропасти. Если будет нужно, она прыгнет вниз сама, но не позволит себя трогать этим гадким, зеленым и, без сомнения, немытым порождениям Зла. А напоследок она завизжит, хуже от этого точно не будет!

Перпетуя сделала шаг в сторону, готовясь к последнему в жизни визгу, но тут раздался топот, и в пещеру ввалилось десятка полтора новых орков. Принцесса сразу поняла, что у них неприятности. Воители пыхтели и сопели, из-под рогатых шлемов катился пот и стекал по физиономиям, на которых простирали темные пятна, так что лица вновь прибывших напоминали расцветкой подол брошенного на постоялом дворе прогулочного платья. Камуфляжные орки громко кричали, принцессе почудилось то ли «компот», то ли «капот», но она совершенно не знала орочьего и могла ошибиться.

Лысый орк проорал какой-то приказ. Зеленые воители, позабыв и про деву, и про тролля, торопливо выстроились в шеренгу. Воспользовавшись поднявшейся суматохой, Перпетуя отступила за сталагмит и правильно сделала — вверху что-то просвистело, и на пол пещеры посыпались сшибленные рога.

— Ррррразмахнулся — стррррит, — раздался свыше довольно-таки противный голос, — отмахнулся — авеню!

Сердце Перпетуи часто-часто забилось. Она узнала козлодоя Йорика! Принцесса поправила волосы, торопливо обдернула сиреневое, расшитое мелким жемчугом платье и высунулась из-за сталагмита как раз вовремя, чтобы увидеть, как в пещеру ворвался чуть не опоздавший блондин.

Кто-то из орков что-то рыкнул и не очень уверенно замахнулся плоской железной штукой. Дон Проходимес

лениво шевельнул рукой, огромный моргенштерн взмыл в воздух, пронесся над головами орков, сшибая оставшиеся рога, и вернулся к хозяину, который подхватил его изящным жестом.

— Смирно! — рявкнул он, и девушка задрожала от сладостных воспоминаний о том, как дон Проходимес спасал ее от разбойников. А спаситель оглядел притихших физиогномордцев и улыбнулся.

— Добрый вечер, — в грибном свете глаза блондинаискрились, как у кошки, — как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Итак, у вас ко мне претензии? Я хочу знать, какие.

В орочьих рядах произошло незначительное шевеление. Перпетуе показалось, что кто-то решил претензии все-таки предъявить, но стоящие рядом сочли это излишним. Повисла гнетущая тишина.

— Я, кажется, задал вопрос, — долгожданный блондин поудобнее перехватил шипастое чудовище, окинул комомых орков глазами цвета морской войны и узрел спасенную деву. Глаза Перпетуи, как и положено, большие и голубые, несколько раз самопроизвольно хлопнули, а рот столь же самопроизвольно приоткрылся, образовав совершенно очаровательную буковку «О».

— Моя леди, — негодяй тяжело вздохнул, — какая восхитительная неожиданность.

Глава восьмая,

повествующая о решении принцессы Перпетуи, битве с Подгорным Злом и появлении великого мага Гамлета Легого

Пурийская принцесса становится женой своего спасителя, даже если это спаситель со стороны. Папенька и маменька, конечно, удивляются, но они свято чтут традиции и законы. Если спасение от лорда Гвиневра еще могло быть случайностью, то победа над физиогномордцами не оставляла места для уверток — спаситель подоспел в последний момент, и он был тот же, что и в прошлый раз.

Будь это кто-либо другой, возник бы серьезнейший юридический казус, а так все в порядке. Перпетуя с восторгом есть, разумеется, с глубоким прискорбием поняла, что просто обязана выйти замуж за дона Проходимеса!

— Милорд, — произнесла она ритуальную фразу, — вы спасли мою жизнь и мою честь. Сейчас я запечатлею на вашем челе поцелуй.

— Моя леди, — блондин подался, чтобы не сказать «шарахнулся» в сторону, — своим избавлением вы обязаны слушаю и вашему подарку. Если вам нужно на чем-нибудь запечатлеть поцелуй, поцелуйте... мой моргенштерн.

Да, вопреки опасениям дон Проходимес оказался настоящим рыцарем, ведь только рыцарь, отправляясь в странствия, мог принять обет, запрещающий принимать поцелуи спасенных дев. Конечно, меч был бы еще элегантней, но меча у дона Проходимеса не имелось.

Принцесса потупила глаза, как того требовал этикет, и чмокнула моргенштерн в том месте, где к шару крепится цепь. Металл показался теплым и не таким уж и жестким. Дон Проходимес меж тем, как и положено, занялся освобождением примеченных Перпетуей пленников. В первой паре принцесса сразу же заподозрила диндилонов-севера. Диндилоны были известны тем, что никогда и ни при каких обстоятельствах не мыли голову, по этой примете их и узнавали. В незапамятные времена гордое племя диндилонов отказалось склониться пред пеномоющими и перхборющими Проктором и Гэмблусом. В отместку оскорбленные божества смыли с лица земли диндилоны историческую родину. Уцелевшие были обречены вечно скитаться в чужих землях, и немытость их голов вошла в поговорку в той же мере, что и гномы бороды. Кстати, среди бывших орочных трофеев оказались и гномы — старый и помоложе, последним же был красивый старик в пятнистом балахоне. Познакомиться со спасенными поближе не удалось, так как из-за края пропасти раздался неблагозвучный вопль:

— Мама!

— Где мама? — заинтересовался дон Проходимес. — Чья мама?

И, не дождавшись ответа, пошел на звук, благо тот все нарастал и нарастал. Перпетуя двинулась следом, а за ней, сохраняя дистанцию, двинулись освобожденные пленники и часть однорогих и безрогих порождений Зла. Любознательный блондин подошел к обрыву, глянул вниз и присвистнул. Внизу было страшно. Тролль таки выкопал принца и теперь держал его за шиворот. Принц визжал, троллю это не нравилось, он тряс башкой и затыкал свободной рукой одно из ушей, не желая тем не менее выпускать добычу. Дон Проходимес поморщился и сунул принцессе моргенштерн, оказавшийся на удивление легким.

— Постерегите этот кактус, леди, — шепнул он и легко спрыгнул на груду костей. Принцесса даже не успела объяснить, что ничего не имеет против тролля, если, разумеется, ее не будут к нему бросать, и что тролль не плохой, а просто очень голодный. Не успела дева сказать и то, что... Ну, одним словом... То есть в том смысле... Ну, в общем, если тролль скушает ее бывшего жениха, то она, Перпетуя, не так уж и расстроится. Так ему и надо, если он ни разу не выручил свою суженую! То ли дело дон Проходимес, которому за двойное спасение можно простить даже черное кружевное белье. Интересно, станет ли он настаивать, чтобы его супруга включила в приданое такое же, и как она будет выглядеть в черных кружевах?

От размышлений о том, что ей предстоит носить после свадьбы, Перпетую отвлек моргенштерн, задергавшийся у нее в руках с явным намерением вырваться. Такое поведение было верхом неприличия! Пурия по праву считалась цивилизованной страной, где применяли лишь рыцарское оружие, к коему варварское безобразие, именуемое в иных мирах бумерангом, не могло быть отнесено ни в коем случае, моргенштерн же себя вел именно по-бумеранжии. Он раскачивался, замирал в самых странных позах, взлетал вверх, изображая цепью столь же странные фигуры, — и все это без малейшего усилия со стороны Перпетуи!

Дева судорожно сжала железную цепь, оглянулась и увидела орков обычных, про которых она совсем забыла. Физиогномордцы стояли вроде бы и смирно, однако взгляд четверых или пятерых принцессе очень не понравился.

Перпетуя отнюдь не была уверена, что совладает с клыкастыми злодеями, если те замыслят предательство, но тут раздался голос, звучащий вкрадчиво, вежливо и оттого еще более страшно.

— Таки смигно! — сказал голос. — Или вы думаете, что если молодой человек занят делом, вы можете делать ему гадости? Вы себе думаете обмануть стагика Моггенштегна?

Перпетуя ошалело уставилась на цепохвостый шар. Не было сомнений, говорил именно он, и как говорил!

— Подойдите ближе, — прошипел Моргенштерн, и орки робко шагнули вперед, — еще ближе... А теперь слушайте!

— Мы слюшать герр Моргенштерн, — заверили исчадья Зла и стали еще зеленей. Моргенштерн дважды свернул и развернул цепь и прошелестел:

— Да будет вам известно, молодые нёлюди, что стагик Могенштегн в юности носил фамилию Эскалибугг, а в дгугих кгаях был известен как Нагсила...

При последних словах орки отшатнулись, пусть и не так сильно, как это сделали бы их коллеги из иного мира, услыхав про Элберет. Лишь Орк-оберст Шварцкопф остался стоять, где стоял, поднеся руку к чудом уцелевшему рогу.

— Герр Моргенштерн, — доложил он, — оркен-команден следовать из Физиогноморд с диверсионен рейд на светлый сторона.

— И таки зачем? — сурово вопросил Моргенштерн, а его цепь изогнулась в форме вопросительного знака.

— Их бин Зольдат, — потупился орк. — Я имель приказ.

— Исполнение пгеступных пгиказов, молодой нечеловек, — укоризненно качнул цепью Моргенштерн, — не освобождает от ответственности!

Перпетуя окончательно уверилась, что на старика Моргенштерна можно положиться. В фигуральном смысле, разумеется, попробуйте-ка улечься на здоровенный шипастый шар, который к тому же ни минуты не висит спокойно. Итак, принцесса позволила себе оторваться от орков и посмотреть вниз. Дева ожидала увидеть схватку дона Проходимеса с голодным троллем и хотела объяснить спасителю, что вовсе не настаивает на спасении Яготелло...

но слова о равной ценности жизни принцев и троллей бурых, обыкновенных застряли у принцессы в горле, когда она заметила НЕЧТО, поднимавшееся из бездны в клубах всебесцветного дыма. НЕЧТО всплывало медленно и величественно, давая себя рассмотреть.

Оно было огромно, озорно, стозевно, рогато, копытно, покрыто белой блистающей шерстью и совершенно неизвестно Перпетуе, а может быть, и науке. При этом неведомое чудовище лаяло, рычало, сопело, хрюпело, свистело наподобие флейты пикколо и распространяло сразу два запаха. Один был солоновато-волнистый, от второго же, легкого пудрового с примесью восточных нот и тонкого аромата мускуса, принцессе стало дурно.

— Ой! Кто есть это? — пролепетал какой-то орк.

— Бббббарлог! — дрожащим голосом заявил гном помоложе.

— Дурак! — оборвал его гном постарше. — Барлоги не чавкают! Зеленые идиоты разбудили Древнее Зло!

— А конкретнее? — строго спросил Моргенштерн, звякнув цепью.

— Конкретнее никто не знает, — выдохнул гном. — Свидетелей Оно не оставляет.

— Вот! Новый поворрррот! — прокомментировал Йорик и заткнулся.

— И таки шо он нам несет? — вопросил Моргенштерн, свивая и развивая цепь.

— Ничего хорошего, — предположил первый диндилдон, и второй согласно кивнул.

Между тем тварь, добравшись до уступа, явно вознамерилась закусить троллем бурым обыкновенным. Несчастный прижался к стене, дрожа как осиновый лист и даже не думая сопротивляться. Чудище, грозно рыча и плотоядно облизываясь, неспешно подступало к обреченному троллю, следующим был Яготелло... Бывший от монстра дальше всех дон Проходимес вполне успевал выбраться из ямы, однако вместо этого схватил Яготелло за ворот и, как это ни прискорбно, за штаны и подбросил вверх, но то ли не рассчитал сил, то ли принц оказался тяжелее, чем казалось. Яготелло до края не долетел и наверняка бы свалился на-

зад, если б не молчаливый диндильтон, который умудрился свеситься вниз и ухватить принца за уши, но тоже едва не сорвался, однако был ухвачен Орк-оберстом, в свою очередь зафиксированным обоими гномами. Образовалось неустойчивое равновесие, но было оно недолгим. Козлодой Йорик с непонятным возгласом «Br-rassica г-г-тарка» на полном лету врезался в грудь младшего гнома, тот, не разжимая рук, повалился на спину, увлекая за собой гнома старшего, Орк-оберста, диндильтона и Яготелло. Получилась внушительная куча, кою в иных мирах неизвестно на каком основании именуют малой, и наверху был принц Яготелло.

— Это покушение, — с ходу заявил он, — на нашу особу, и замыслил его...

Обличительную речь самым решительным образом прервал Моргенштерн. Мудрый стариk легонько стукнул верхнеморалийца по темечку концом цепи и им же отбросил под ближайший сталагмит, после чего все вновь смогли заняться чудовищем. Вернее, занимался им исключительно дон Проходимес, занявший активную жизненную позицию между монстром и троллем. Остальные просто смотрели, зато все их симпатии были на стороне блондина, и неудивительно. Дон Проходимес просто великолепно управлялся с непонятно где раздобытой резной гномозелландской секирой, раз за разом обрушивая ее на морду гада.

— Так его! — подбадривали бойца диндильтоны. — Знай наших!

— Бей гада! — не отставали гномы.
— Бгаво! — одобрял Моргенштерн.
— Вперед, — требовал козлодой, — отбросим агрессорра!

Дон Проходимес вперед и лез, хотя чудище сверкало и плевалось огнем, а его хвост, украшенный длинным мантикорым жалом, яростно колотил по земле, разбрасывая обглоданные кости и песок.

— Это алмазни мантикор есть! — встрял кто-то из орков.
— Тьфу! — отмахнулся гном. — Где ты у мантикор такие рога видел? Оно похоже...

— Плевать, на кого оно похоже! — прорычал пятнистый старец, до того молчавший. — Оно же их сожрет сейчас! Сначала их, потом нас!

При этих словах большинство орков, толкая друг друга, устремились к выходу, а гномы с диндилонаами попятались за неприличный обелиск, где к ним присоединился с десяток неудравших зеленомордых во главе со Шварцкопфом. У обрыва остались только Перпетуя с Моргенштерном и пятнистый старец.

— О Helsinkideclaration! — прошептал он, вглядываясь вниз. — Это же Добро! Причем наиболее агрессивная разновидность... И какой крупный экземпляр! Будь проклят запрет, лишивший нас права его задевать.

— Добро? — не поняла Перпетуя. — А почему оно с рогами?

— Демократия! — объяснил козлодой, взмывая к потолку. — Торжество! Каррамба! Полундра! Манямба!

— Значит, ми есть Древнее Добро разбудившие, — ошалело прошептал Орк-оберст за неприличным обелиском.

— Говорила мне мама, — пробормотал один из диндилонов, — не буди лихо, пока оно тихо.

— Именно, — согласился пятнистый. — Кто спящих собак будит, кто — барлогов, кто — национальное и религиозное самосознание, результат один. А Добру-то, между прочим, несладко приходится...

— А таки кому сейчас легко? — буркнул Моргенштерн.

— Билорд Боргенштерд, — всхлипнула Перпетуя, — почему бы не побогаете?

Моргенштерн звякнул цепью, причем в звяке отчетливо слышалось что-то экспрессивно-неприличное.

— Нарсил не может посягнуть на Добро, хотя очень хочет, — объяснил старец. — Потому что Эскалибур. И я хочу, но не могу. Могут, но не вполне хотят орки с троллем, а гномы и диндилоны могут, хотят, но боятся.

— И ничего-ничего нельзя сделать?

— Нельзя.

— А побговать? — вмешался Моргенштерн.

— Говорю же, нельз... Эврика!!! Но, сударыня, все зависит от вас. Вам ведь было его жаль?

— Пурийская принцесса, — всхлипнула Перпетуя, — где должна...

— Сейчас не до этикета! Было или нет?! Ты желала ему удачи? Не хотела его смерти? Так поцелуй его!

Принцесса посмотрела на платье. Оно было без шлейфа и пажей, но для лазанья по скалам все равно не годилось.

— Не думай об этом. — Старец шевельнул вдруг засветившимися пальцами. — Твое дело — поцелуй!

— Бесаме, — провыл козлодой, — мучо!!!

— Комосипуэсэстаночеляультимавес, — откликнулись светоносные грибы на стенах, воссияв даже ярче Добра. Перпетуя ощутила легкость необычайную, запел совершенно невозможный здесь соловей, взошла луна и заполнила собой сад, под ней расцвели голубые цветы, обернулись грибами и погасли. Под ногами принцессы что-то неприятно захрустело и оказалось смешанными с оружием костями.

— Целуй, — гремел маг. — Промедление смерти подобно!

Перпетуя затравленно завертела головой. Позади была стена с вделанным в нее кольцом от трольей цепи, впереди дрожала бурая туша, из-за которой раздавались стук, рык, рев и нервный голос флейты. Дон Проходимес держался, но, чтоб добраться до него, нужно было выскочить из-за тролля.

— Тролля, — раздалось сверху, — тролля целуй!

— Тррролля! — проорал козлодой. — Тррролля! Скорее!

Бурая спина дернулась и затряслась сильнее.

— Куда? — пискнула принцесса. — Куда его целовать?!

— Куда придется! — велели с обрыва. — Быстро!

— Аллюрр трри крреста...

Козлодой орал, Добро выло и свистело, тролль трясясь, маг указывал. Перпетуя облизнула губы, как могла, высоко подпрыгнула, чмокнула тролля под лопатку и совершенно неэлегантно потеряла сознание. В себя она пришла уже почему-то наверху, рядом с пятнистым. Даже не пытаясь подняться на ноги, дева подползла к краю бездны и заглянула в нее. Битва продолжалась. Дон Проходимес вертелся

вокруг беснующегося Добра, пытаясь достать чудовище секирой и одновременно уворачиваясь от потоков пламени и струй чего-то нехорошего. И он больше не был один! Наше монстра, крепко держась за сияющие рога, сидел кто-то стройный масти паломино и с косичками причудливого плетения.

— Я отвлеку его! — прокричал непонятный наездник. — Сейчас!

— Гражданин, пррройдемте, — орал и козлодой, выписывая восьмерки перед оскаленной мордой Добра, но его голос тонул в реве, рычании, хрипении, свисте и негодующем вопле некстати очнувшегося Яготелло:

— Это совершенно неприлично!!!

Паломино снова выкрикнул, на этот раз что-то невнятное, и тут же наружу, раздвигая камни, кости и железки, стремительно полезли ощетинившиеся шипами розовые кусты и варварского вида кактусы. Добро яростно взревело, но рассвирепевшие растения вцепились в белоснежную шерсть монстра, ограничив того в маневре. На розовых кустах к тому же с дикой скоростью набухали и распускались белоснежные бутоны, и это было неспроста: Добро немедленно принялось оглушительно чихать.

— Аллергия, — благоговейно прошептал старец. Будто в ответ Добро вновь оглушительно чихнуло и затрясло башкой, прекратив свои атаки, чем дон Проходимес не преминул воспользоваться. Взмах секиры — и рогатая голова, клацая зубами, покатилась по уступу, после чего развеялась всебесцветным дымом. Увы, на ее месте уже красовалась другая, аналогичная, — чудище недаром прозывали стозевным.

Дон Проходимес и соскочивший на землю паломино попробовали подсечь сдерживаемой колючками твари ноги. Твари это не нравилось, но не более того.

Как впоследствии выяснилось, рубка не тех частей тела была постоянной ошибкой борцов с данной разновидностью Добра. Кто-то полагал, что жизненно важным органом оного является сердце, кто грешил на голову, кто — на душу. Были и такие, кто искал у Добра несуществующие крылья или полагал, что оно думает ногами, а то и местом,

исконно почитающимся неприличным. Все они ошибались.

— Голова, ноги, — бормотал Моргенштерн. — Тьфу!

И неожиданно громким командирским басом взревел:

— Хвост!!! Хвост главное!!!! Пгищемите ему хвост!

Над сражающимися пронесся Козлодой Йорик, отчаянно вопя:

— Хвост!!! Рррруби хвост, рррребята!! И в соррртир!!!

Теперь уже две секиры послушно взметнулись, и нечто, похожее на змею, забилось в конвульсиях, заливая кактусы и розы неожиданно буро-зеленой кровью. Обесхвощенное Добро, стремительно сокращаясь в размерах, бросилось в Бездну, где и исчезло. Краски потускнели, флейта умолкла.

— Молодца!!! — радостно прокричал младший гном.

— Это зер подвиг есть! — расплылся в улыбке Орк-оберст.

И тут на краю обрыва воздвигся Яготелло. Наследник Верхнеморалийского престола обвиняющим жестом указывал на стоящих среди роз победителей.

— Вы посмели посягнуть на Добро, — произнес он и слегка скорректировал направление указующего перста. Стало ясно, что обличение в большей мере относится к дону Проходимесу. — Вы переходите границы, превышаете полномочия и выходите за рамки. Вы — авантюрист и аморальный тип! Вы не задумываетесь о последствиях своих действий, вы подаете дурной пример, оскорбляете святыни и посягаете на исконные ценности, вы...

— Тьфу, — хлопнул цепью Моргенштерн, — опять за свое!

— Этот принц весьма последователен в своей непоследовательности, — согласился старец, — что ж, первое вторжение Добра успешно отбито. Но это отнюдь не означает, что оно, отрастив новый хвост, не попытается прорваться в другом месте. Время, требующееся для регенерации хвоста, неизвестно, но вряд ли оно будет большим. Кстати, разрешите представиться, Гамлет Пегий к вашим услугам...

Глава девятая,

*повествующая о некоторых гастрономических
сложностях и о том, куда направились герои после
приема пищи*

Слава лягвоядцев оказалась не столь уж и заслуженной. Пусть платья и туфли их работы соответствовали требованиям этикета, они рвались, пачкались и совершенно не годились для лежания на ужасно грязном полу и тем более для спусков в бездну. Не смени Перпетуя лягвоядское прогулочное платье, она бы выглядела сейчас столь неприлично, что от нее бы шарахнулся даже тролль бурый обыкновенный. Как он, кстати, себя чувствует после поцелуя? Перпетуя глянула вниз — на уступе средь костей и измятых кактусов грустным колечком свернулась одинокая цепь, чье существование отныне утратило всякий смысл. Тролль исчез и наверху, и, что гораздо хуже, исчез и несносный блондин. Моргенштерн с козлодоем тоже пропали, пропали все. Покинутая Жмурдия выглядела растерянно и печально, ее все бросили, предали, покинули, не оценили, а ведь она так нуждалась в понимании, в участии, в любви, наконец! Перпетуя полностью разделяла чувства несчастной пещеры, ведь ее тоже... Дева не удержалась от всхлипа, и тот слился с сочувственным вздохом Жмурдии.

— Я так тебя понимаю, — шептала цепь, — я отдавала ему всю себя, а он...

— Я тебя понимаю, как никто, — уверял сталагмит, — я им верил, а они...

— Кому понять тебя, как не нам? — вопрошали грибы. — Мы дарили им свет наших сердец, а они...

— Цыц! — прикрикнул кто-то, и шепот разом смолк. — Сердца у них... Это у грибов-то! Протри глазки, милая, все не так уж и плохо.

Перпетуя послушно смахнула слезы, и тут же немалая часть пропавших нашлась. Ближе всех к принцессе оказался Гамлет Пегий с форменным посохом и в пятнистой шляпе, прежде венчавшей груду орочьих трофеев. Теперь физиогномордцы куда-то делись, и в развороченной ку-

че оживленно копались гномы, диндилоны и жених. Дон Проходимес не копался, так что деву все равно не оценили, не поняли, бросили, предали...

— Прекратил бы ты свои штучки, Жмурди. — Маг легонько стукнул посохом. — Хуже ведь будет.

В ответ раздался тяжкий вздох, принцесса повернулась на звук — об ажурный балкончик под потолком опирался кто-то кругленький и мерцающий. Упитанное тельце обтягивала туника с цветочным орнаментом, продетую сквозь кованую решетку ногу сорок шестого иномирового размера оплетали серебристые шнуры с кистями, а голову украшал изысканный обруч с зеленым камнем, который очень бы пошел дону Проходимесу. Ну, или какому-нибудь другому дону.

— Оставь деву мне, — проныл мерцающий, — и предоставь нас нашим утратам и разочарованиям. Мы вместе будем оплакивать дивное и скорбеть о недоступной мечте...

— Обойдешься, — перебил Гамлет Пегий. — Хочешь общества, ступай к своим.

— К гномам? — Круглый лик стал недоуменно-скорбным. — Ты предлагаешь мне воссоединиться с гномами?!

— Именно, — подтвердил маг.

— С этими вульгарными, грубыми, примитивными, низкорослыми, меркантильными, неадекватными, небритыми, неблагодарными, невоспитанными, неделикатными, неинтеллигентными, некрасивыми, некультурными, нелояльными, не...

— Идем, милая. — Маг заслонил обличителя, в речи которого Перпетуе почудилось что-то знакомое. — Жмурди при жизни был глуп, а теперь стал еще и опасен. Он и меня-то в тоску вгоняет, а ведь я последний раз влюблялся сорок восемь лет назад.

— Пурийские принцессы не влюбляются, — не слишком уверенно произнесла Перпетуя. — Милорд, вы не знаете, куда девался Моргенштерн? Я немного беспокоюсь, ведь он был моим подданным.

— Эскалибур может за себя постоять, — рассеянно откликнулся Гамлет, незаметно увлекая деву к куче. — И не за

себя тоже... Он куда-то отправился со своим юным другом и его птицей, причем совершенно добровольно.

— Куда? — спросила Перпетуя, прежде чем вспомнила, что задавать подобные вопросы принцессам не пристало. Дева поспешно сделала вид, что следит за диндиленом, сосредоточенно тащившим из-под груды глеф и непарных сапог зеленый мешок с ремнями.

— Милая, — Гамлет помог диндилену концом посоха, — ты что-то спросила?

— О нет. — Перпетуя мило покраснела.

— А мне послышалось...

Выйти из неловкого положения помог изумительно красивый незнакомец, со смущенной улыбкой присоединившийся к обществу. Судя по причудливым косичкам масти паломино, именно он сперва оседлал Добро, а потом вырастил колючки. Настоящим блондином красавец тем не менее не являлся, и вообще у него были почти острые уши!

— Я очень прошу меня извинить, — произнес паломино, — не собираетесь ли вы покушать?

— Хорошая мысль, — одобрил маг, — и своевременная.

— Жрать хочешь? — участливо спросил, отрываясь от раскопок, старший гном.

— Да, — вежливо подтвердил паломино, — я очень хочу кушать.

— Все хотят, — кивнул Гамлет, — но принимать пищу лучше на свежем воздухе, вымыв руки перед едой. У входа течет отличный форелевый ручей.

— А я как раз котелок нашел, — похвастался младший гном. — Это судьба.

— У нас оленье карпаччо завалялось. — Диндилен взвалил на спину изъятый наконец из кучи мешок. — Вы любите карпаччо?

— О да! — сказал паломино и прослезился. — Карпаччо я люблю больше всего на свете. Никто не любит карпаччо так, как люблю его я. Я люблю карпаччо, как соловей — розу, мотылек — свечу, птица — небо. Я...

О любви обладатель косичек говорил долго и очень красиво, но это была не та любовь, на которую намекал купедон, совсем не та! К тому же при столкновении с дей-

ствительностью она кончилась. Деликатно откусив кусочек чего-то бурого, паломино чуть-чуть пожевал, схватился за горло, вскочил и бросился в кусты шелюги, также именуемой красной вербой.

— Протухло? — предположил гном, поднимая и обнюхивая упавший кусок. — Нет вроде... Хотя у эльфов это, обаяние не чета нашему. Одно слово, дивный народ!

— Обоняние, — поправил диндильтон, обнюхивая кусок побольше. — Порядок!

— Я очень прошу меня простить. — На глазах вернувшегося эльфа — так вот они какие! — были слезы. — Но нет ли у вас чего-нибудь покушать, кроме карпаччо?

— Солонину будешь? — с некоторым сомнением предложил гном. — Другому б не дал, но уж больно хорошо ты этого Злыдня уездил!

— Добрыдня, — уточнил маг, внимательно вглядываясь в кусты, противоположные тем, в которые удалялся эльф. — Это была мутация Добра.

— Я очень, очень люблю солонину. — Паломино протянул руку с прекрасно отполированными ногтями. — Солонина — это прекрасно, восхитительно, чарующ-кхе-кхекхе...

Поспешное бегство убедительно доказало, что эльфы солонину не едят.

— Мясная фобия, — предположил Гамлет и перевел взор на ручей, отчего на берег незамедлительно выпрыгнуло шесть радостных форелей.

— Вообще-то эльфы все трескают, — в голосе старшего гнома слышалось сомнение. — И рыбу, и мясо, но этот какой-то... Эй, парень, рыбку станешь?

— Вы спасаете мне жизнь, — на глаза вторично вернувшегося паломино третично навернулись слезы, — именно о рыбке я мечтал последние годы...

Так и не прекративших радоваться форелей запекли, и все повторилось — благодарности, изящное откусывание, кашель, бегство, смущенное возвращение.

— Да, — маг взглядом перевернул последнюю из запекаемых форелин, — это фобия. Как ни прискорбно, нашему

другу придется утолять голод растительной пищей, причем в большом количестве.

— Спасибо, — поблагодарил нерыбоядный эльф, — я так и поступлю.

Следующих произнесенных голодающим слов Перпетуя не поняла, но из земли немедленно полезли могучие стебли, затем в пазухах листьев возникло нечто, напоминающее неприличный обелиск без постамента, но с приятным султанчиком на конце. Нечто росло, желтело и становилось все привлекательней.

— Давайте его сварим, — предложили гномы, гномы вообще любят все варить. Особенно железо.

Паломино застенчиво улыбнулся и выдернул ближайшее растение — корни были усыпаны клубнями, здоровенными, как кулак Орка-оберста.

— Давайте их запечем, — предложил диндильтон. Диндильтоны не носят с собой кастрюль и потому предпочитают все запекать.

Эльф кивнул, возможно, это было невежливо, но все его силы уходили на борьбу за урожай. Скушавшая целую форель Перпетуя рассеянно следила за созреванием клубнезерновых и думала, что ей делать дальше. На свежем воздухе разум принцессы обрел бышую ясность, и дева поняла, что дон Проходимес действует в строгом соответствии с лучшими традициями, категорически отвергая профанацию и упрощения последних веков.

Рыцарь, спасший деву более высокого происхождения, нежели его собственное, должен оставить ее в надежных руках и удалиться в неизвестном направлении. Деве же надлежит по возвращении в отчий дом в присутствии родителей отказать не спасшим ее женихам и начать чахнуть. По прошествии некоего срока, по поводу коего имели место определенные разночтения, опасающиеся за жизнь дочери родители соглашались вручить ее руку спасителю и рассылали герольдов на поиски оного. Обнаруженный в уединенной лесной или же горной хижине спаситель доставлялся к постели чахнущей девы, которая при виде возлюбленного исцелялась, после чего воссоединившаяся пара принимала поздравления горожан и горожанок. Вся

процедура от начала до конца занимала не меньше года, но Перпетуя была готова ждать, благо зачахание — зачахивание? зачахнение? — несовместимо с парным молоком и народными песнями. Приняв решение, принцесса успокоилась и прислушалась к общему разговору. Обсуждали новое растение и пользу от него.

— Вещь, — констатировал старший гном, обгладывая желтую мозаичную штуковину. — Как ее звать-то?

— Кукурфель, — рассеянно сообщил маг, зачем-то глядываясь в кусты. — Друзья мои, Жмурдия свободна, пора решать, что нам делать дальше.

— Нам надо домой, — объявила принцесса. — То есть, добрые люди, не проводите ли вы одинокую девицу до Санта-Пуры? Мой отец достойно вас наградит.

— Мой путь и так лежал в Санта-Пуру, — быстро и по правилам сказал маг, — вверьтесь мне, дитя мое, и вы обнимете своего родителя.

— Я вверяю вам свою жизнь, — с облегчением ответствовала принцесса, отнюдь не стремившаяся путешествовать в обществе гномов, диндилонов и растительноядного эльфа.

— Мы остаемся, — решил старший гном, берясь за вторую штуковину. — Нужно проинспектировать Жмурдию на предмет возрождения, оценить объем работ и составить смету. Одна побелка, купорос...

— А мы уйдем на север, — сказали диндилоны, и им все поверили, потому что диндилоны всегда уходят на север.

— А я? — заморгал эльф. — Вы, случайно, не знаете, где я живу?

— Идем с нами, — решил диндилон с мешком. — Мы все равно хотели к вашим заскочить? За карпаччо.

— О, благодарю вас, — эльф утер слезу кончиком косички причудливого плетения, — я так давно мечтаю прижать пылающую грудь к аналогичной, пусть незнакомой, но родной.

— Разврат! — квакнуло сзади, и Перпетуя увидела уже почти бывшего жениха. Яготелло успел сменить белый заимствованный плащ на белый же, но с гербом Верхней Моралии — белый, без единого темного пера аист на бе-

лом же фоне и в венце из белых лилий попирает черную змею разврата.

За плечом принца висел огромный двуручный меч с белой целомудренной рукоятью, а голову венчал шлем с султаном из аистиных перьев. Казалось, из головы принца растет хвост.

— О, я сражен изменою коварной, —

начало было знакомым или почти знакомым, —

Моя невеста, чудо чистоты,

Увлечена коварным негодяем.

Что ж, нас рассудит меч, но прежде

Мне имя, злой растлитель, назови...

— Простите, — эльф выглядел несколько удивленным, — я не совсем уверен, но очень возможно, что имя мое — Картофиэль. Понимаете, все так смутно... Ваше лицо мне, несомненно, знакомо, особенно в профиль, но я совершенно забыл обстоятельства нашей встречи. Неужели они вам столь неприятны?

Дальнейший диалог мы опускаем, поскольку он во многом повторяет диалог Яготелло с козлодоем ушастым. Разница состоит лишь в том, что Картофиэль ни разу не опустился до вульгарных, оскорбляющих слух дев выкриков. Дева, впрочем, не вслушивалась, поскольку перед ней встал непростой вопрос. Перпетуе ужасно не хотелось путешествовать в обществе не спасшего ее жениха, но означенный жених был необходим для отказа в присутствии царственных родителей. В случае отсутствия Яготелло отказ откладывался на неопределенный срок, а вместе с отказом откладывались зачахивание (Перпетуя остановилась именно на этом термине), поиски спасителя, целомудренный поцелуй и восставание с одра болезни. Ждать более необходимого принцессе не хотелось, и она, как могла, спокойно произнесла:

— Милорд Картофиэль, мы благодарим вас за помощь, оказанную в битве...

Здесь принцесса осеклась, так как этикет требовал конкретизировать, уточнить, с кем велась битва и какую помощь и кому оказал благодаримый, однако затрагивать эти темы в присутствии Яготелло было небезопасно. Верх-

неморалиец выступал на стороне Добра, как бы оно ни стремилось всех скушать, а к дону Проходимесу имел серьезные претензии. К счастью, вроде бы и не следивший за беседой Гамлет Пегий все понял. Маг стукнул посохом и произнес надлежащим тоном:

— Милое дитя, нам пора. Ваше высочество, Яго-Стэлло-Бэлло-Пелло-Отэлло-Вэлло-Донатэлло-Ромуальдо Моралес-и-Моралес, намерены ли вы сопровождать деву к ее отцу, дабы утрясти осложнения, разрешить недоразумения и учредить понимание?

Яготелло был намерен.

— Вот и славно, — одобрил Гамлет, не отрывая взгляда от зарослей шелюги. — Картофиэль, уходя, доешь сотворенный тобой гибрид.

— Весь? — не понял эльф. — Я, конечно, на дорогу покушаю, но...

— Весь! — сверкнул очами старец. — Если сие клубнезерновое попадется на глаза Глупому властелину, он истребит все злаки и овощи и засадит мир одним лишь кукурфелем.

— Бедный кукурфель, — прошептала Перпетуя, которой было жаль обреченное растение. Увы, Глупый властелин только и делает, что искореняет и засаживает, причем посадки или дохнут, или начинают муттировать. Добро ведь тоже когда-то...

— Нельзя такую прелесть изводить, — внезапно вмешался младший гном. — Мы его замаскируем, и оно станет нашим тайным знанием.

— Гномы не огородничают, — удивился маг.

— Именно, — подтвердил старший гном. — Поэтому никто ничего не заподозрит и ни о чем не спросит. Никто никогда не спрашивает, что кушают гномы в своих подземельях, и это очень обидно.

— А мы скуем тебе кольцо, — потупился младший гном. — Волшебное.

— Будь по-вашему, — решил Гамлет Пегий. — Но если поблизости объявится Глупый властелин, вы уничтожите кукурфель до последнего клубня. Клянитесь.

— Клянемся великим молотом, великим горном, великой наковальней и великим месторождением железной руды, — сказали гномы, и им поверили, ведь если клянущимся гно-

мам не поверить сразу, они будут развивать и конкретизировать свою клятву от простого к сложному, пока не дойдут до последнего имеющегося в их распоряжении гвоздя.

Пора было уходить, Перпетуя встала с травы, очередной раз благословив бабулечку-красотулечку за сиреневое, расшитое мелким жемчугом платье и туфли на устойчивых ка-блучках, и сделала книксен.

— Спасибо вам, дорогие друзья, — с должной сердечностью произнесла принцесса, — мы с суженым будем рады видеть вас на нашей свадьбе.

— Но, — уточнил Яготелло, — лишь тех, кто не является коварным соблазнителем и растлителем.

— Ку-ку, — откликнулось из зарослей, но что имела в виду кукушка, если это, конечно, была она, так и осталось не-выясненным.

Глава десятая,

повествующая о встрече с драконом, привычках, образе жизни и серьезных намерениях последнего, а также о не имеющей аналогов битве и неожиданной при всей своей предсказуемости встрече

О странствиях юных и так или иначе избранных особ в обществе мудрых магов повествует множество хроник, летописей и саг, а о состоянии пурийских дорог достаточно сказано в начале нашей истории. При желании читатель легко восстановит пропущенные нами для экономии его, читателя, времени незначительные события и разговоры, которые вели Перпетуя и Гамлет Пегий. Яготелло участия в беседах не принимал, поскольку передвигался отдельно, в повозке, запряженной парой крепких, мохоногих пони мышастой масти.

Изначально в повозке путешествовал Гамлет, но Яготелло обнаружил в орочьей куче значительное количество принадлежавших ему и его фамилии предметов. Лошадь масти паломино, доставившая нареченных к купедонову камню и благополучно нашедшаяся после освобождения Жмурдии, не вынесла бы тройного груза, и перед верхне-

моралийцем встал непростой выбор между невестой и семейно-государственным достоянием. Что-то (разумеется — на время!) можно было бы и оставить, но Яготелло больше не считал Пурию безопасной, ведь по ее дорогам разъезжали подозрительные блондинки, а по лесам разгуливали орки. И те и другие могли незаконно и злонамеренно завладеть как девой, так и материальными ценностями. Положение казалось безвыходным, пока маг не предложил принцу пересесть в повозку. Яготелло охотно согласился, кратко (инструктаж занял немногим более двадцати минут) объяснив Перпетуе, как будущей принцессе Верхней Моралии надлежит себя вести, путешествуя на одной лошади с посторонним магом. Думавшая о... То есть не думавшая о Яготелло дева кивнула, и принц забрался в нагруженную доверху повозку. Пожалуй, будь наследник Верхней Моралии хоть немного крупнее, пара крепких пони могла бы и не справиться, а так все сложилось наилучшим образом.

Дорога Перпетуе нравилась — новое сиреневое платье не мялось и не пачкалось, окрестности были красивыми, погода — приятной, а лошадь — спокойной. Неудивительно, что дева принялась думать и додумалась до того, что на дорогу от Жмурдии до Санта-Пуры должно уйти столько же времени, сколько от Санта-Пуры до Жмурдии. Естественно, за вычетом остановок для принятия молока, прослушивания народных песен, попадания в запланированный и нежданный плен и прочих трудностей.

Мы уже говорили, что Перпетуя получила очень хорошее королевское образование, а один из основополагающих принципов хорошего королевского воспитания, заложенный величайшим педагогом-августологом Митрофанью Скотини, гласит, что венценосные особы ни в коем случае не должны опускаться до того, чем заняты узкие специалисты, как то: повара, портные, камердинеры, кучеры etc. Принцесса и не опускалась, но к середине четвертого дня пути ей пришло в голову, что Гамлет Пегий тоже получил очень хорошее королевское образование и именно поэтому не знает, где расположена Санта-Пура. Настораживало и отсутствие вдоль дороги сгребающих сено и пасущих овечек пейзан, вчера это радовало, сегодня

стало вызывать подозрения, кои усугубляла странная манера Гамлета то и дело вглядываться в придорожные заросли. Прецеденты похищения принцесс коварными магами, как изначально темными, так и перешедшими на сторону Зла, были известны, однако тогда коварные негодяи умыкали дев, так сказать, пер се, без вооруженных двуручными мечами женихов. Сомнения требовалось разрешить, и Перпетуя спросила:

— Милорд Гамлет, вам не кажется, что мы сбились с пути?

— Отнюдь нет. — Маг пригладил пегую бороду и перевел взгляд на деву. — А в чем дело?

— Меня терзают смутные сомнения, — призналась Перпетуя. — Мы очень долго едем, нас не приветствуют пейзане, а вы смотрите в кусты.

— У тебя, милая, дидактический ум, — видимо, похвалил Гамлет. — Мы едем в Санта-Пуру, только в обход, а в кусты я вглядываюсь, потому что нас инкогнито сопровождает заинтересованное... заинтересованный... гм, не будем вдаваться в частности.

Перпетуя опустила глаза и мило покраснела — ей пришло на ум совершенно конкретное заинтересованное лицо, правда, пробираться сквозь заросли верхом непросто, но некоторые блондинки легких путей не ищут.

— Кстати, — маг поскреб ногтем укращавший посох пятнистый шар, — здесь неподалеку живет мой знакомый. Мне надо его повидать, к счастью, он всегда дома.

— Ваш знакомый — маг?

— Старина Тритий, как и все драконы, не чужд магии, но профессионалом я бы его не назвал.

— Драконы? — ахнула Перпетуя. — Ваш друг дракон?!

— Ну да, — с легким раздражением подтвердил Гамлет Пегий. — Сперва он может показаться вам странным, но не удивляйтесь и не спорьте ни с ним, ни со мной. Все, что будет нами сделано, будет сделано во благо и во избежание, а потом мы поедем в Санта-Пуру. Очень быстро поедем.

— Хорошо, милорд, — согласилась Перпетуя, поскольку непосещение дракона означало путешествие на одной лошади с Яготелло, а это серьезно затрудняло последующий

отказ. — Но почему я не знала, что у границ Пурии про-живает дракон?

— Признание этого факта причинило бы многим се-рьезные неудобства, — объяснил маг. — Согласно деклара-ции победившего Добра, драконы подлежат уничтожению или же изгнанию, причем весь процесс должен проходить за счет принимающей стороны и в строгом соответствии с протоколом Всеобщей Конвенции по драконоборчеству. Вашему батюшке, как ближайшему соседу Трития, при-шлось бы проводить ежегодные драконоборческие конфе-ренции и обеспечивать имеющих право прибыть в любое время дня и ночи драконоборцев дорогостоящим инвента-рем, а в случае их гибели или жеувечья выплачивать ком-пенсации и пенсии. Кроме того, согласно новейшим ис-следованиям, близость дракона способствует росту темных настроений в обществе. Чтобы с ними бороться, в при-легающую к дракону державу направляются специально обученные наблюдатели, по запросу которых в случае не-обходности вводится ограниченный добротворческий контингент. Опять-таки за счет принимающей стороны.

— Я поняла, — задумчиво произнесла Перпетуя, припо-миная, как вздыхал Абессалом Двунадесятый, подписывая счета от лягвоядцев. — Дракон по соседству — это очень дорого, но ведь папа не может его спрятать, значит, он сам прячется?

— Тритию претят навязчивость, глупость и показуха, а драконоборцы в подавляющем большинстве навязчивы и глупы.

— Так о драконе никто, кроме папы и вас, не знает?!

— Ну отчего же, — маг улыбнулся, — о нем знают все заинтересованные лица, но предпочитают сие знание не афишировать. Надеюсь, ты не станешь исключением.

— Я никому не скажу, — пообещала принцесса, — папе и так придется тратиться на приданое, но вот Его Высо-чество...

— Господин Моралес-и-Моралес, как наследник стра-ны победившего Добра, сообщив о драконе, обязан лично истребить оного, в противном случае он будет предан по-рицанию и лишится наследства. Кстати, милая, ты имеешь

полное право отказать принцу, уклонившемуся от схватки с драконом, но в этом случае тебе придется обещать свою руку тому, кто этого дракона победит. Я знал самое малое трех принцесс, поступивших подобным образом, но две из них желали избегнуть семейной жизни, а третья захотела убить дракона сама. Увы...

— Он ее съел? — дрогнувшим голосом спросила дева.

— Нет, он на ней женился, и это... гм, породило множество проблем. Главным образом в связи с неординарностью и активной жизненной позицией потомства. Еще более активной, чем у родителей, но мы почти у цели.

Дракон обитал в возвышающейся посреди поля одиночной горе, которая отличалась от Жмурдии разве что ухоженностью прилегающих территорий. Когда впереди в яркой зелени забелели овечки, Перпетуя вздрогнула и спросила о народных танцах и парном молоке.

— Не бойся, милая, — успокоил Пегий, — мы здесь инкогнито, к тому же во владениях дракона августейшим путникам предлагаются иные зрелища и напитки.

Успокоившаяся Перпетуя уточнила, не относится ли к таким напиткам галльская чача, узнала, что относится, и тут взор девы по непонятным причинам затуманился. Пребывая в затуманенном состоянии, принцесса не обратила внимания ни на подъездные пути, ни на обслуживающий персонал, ни на открывающийся с горной дороги величественный вид. Исполненную возмущения и осуждения речь Яготелло она тоже не разобрала — Перпетуя незаметно для себя освоила столь необходимое в долгой и несчастливой семейной жизни искусство пропускать мимо ушей чужие бурчание, ворчанье и нудение. Внимание вернулось к принцессе лишь при виде дракона, обедающего по случаю хорошей погоды на свежем воздухе.

«Старина Тритий» восседал за накрытым крахмальной скатертью и отлично сервированным столом, который обслуживали гномы в сереньких комбинезонах и шапочках с козырьками. Шейные и спинной гребни чудовища блестели и переливались, конец хвоста и крылья были аккуратно зачехлены, а на груди белела салфетка с монограммой. Дракон кашал и одновременно читал, что, как было совер-

шенно точно известно Ее Высочеству, во-первых, неприлично, во-вторых, крайне вредно для пищеварения.

Перед правой головой лежало руководство «Как своевременно распознать весьма опасного Георгия и лиц, к нему приравненных, а также наиболее действенные способы защиты от оных», левая же голова изучала нечто географическое или же поэтическое со скромным названием «Кама с утра». Зато средняя была, видимо, воспитана лучше других и думала о своем здоровье — ее глаза скрывала повязка.

При виде гостей правая голова проглотила двадцать одну котлету, дохнула дымом и строго сказала:

— Добро пожаловать, дорогой друг. Располагайся. Будь, как дома.

— Является ли сопровождающая тебя девица принцесской? — вмешалась в разговор левая голова, только что осушившая стакан компота, который (стакан, не компот) мог бы послужить Яготелло стоячей ванной.

— Является, — подтвердил, сядь на специальный подъемный стул, Гамлет Пегий.

— Не зовут ли вашу знакомую Ариадной или же Еленой, а ее суженого Персеем или же Георгием? — вопросила голова с завязанными глазами, которую для удобства мы далее будем называть Судебной.

— А также Жоржем, Джорджем, Еорием, Юрием, Георгом, Ежи или Дьердем? — педантично уточнила левая голова, которую мы отныне, опять-таки для удобства, назовем Законодательной.

— В Верхней Моралии Георгииев нет! — гордо ответствовал Яготелло, ничего не подозревавший об антиматrimonиальном решении нареченной на свой счет.

— Меня зовут Перпетуя, — на всякий случай уточнила принцесса и сделала книксен, — а моего суженого зовут... не Георгий.

— Мое имя, — принц привстал на цыпочки, — Яго-Стэлло-Бэлло-Пелло-Отэлло-Вэлло-Донатэлло-Ромуальдо Моралес-и-Моралес.

— В таком случае, — решительно произнесла правая голова, которую, следуя логике, следует именовать Исполнительной, — я рекомендую вам, Ваше Высочество, отказать

означенному Моралесу и выйти замуж за меня. Я материально обеспечен, принадлежу к хорошей фамилии и к тому же чертовски привлекателен, особенно когда парю в пронизанных утренним светом облаках.

— Это правда, — подтвердил Гамлет Пегий. — Следить за летящим драконом приятно и полезно для зрения.

Дракон, кряхтя, вытер губы, кряхтя, снял салфетку, кряхтя, поднялся из-за стола, кряхтя, отвесил принцессе весьма учтивый поклон и, указав на ранее закрытый его особой зев пещеры, произнес:

— Невеста, пройдемте.

Перпетуя не возражала. Она обещала Гамлету не противоречить, не желала сверх необходимого смотреть на Яготелло, и к тому же ей было интересно взглянуть на драконье жилье. В пещере, несмотря на её размеры, было уютно. Горел камин, у которого стояло несколько глубоких кресел разного размера, на стенах висели картины с котятами, портреты неизвестных в Пурии бородатых мужчин в очках на шнурочках, макраме и коллекция холодного оружия, в углах лежали аккуратные кучи сокровищ, а в прихотливо расставленных кадках росли кактусы-цереусы, пальмы финиковые, олеандры, очитки Моргана и даже одна монстера деликатесная.

— Вам предоставляется слово, — доброжелательно сообщила Законодательная голова, — регламент жесткий, говорите по существу.

Дева задумалась. Дракон хотел по существу, значит, одного «нет» ему будет мало, а формулировки, приводимые в «Справочнике для совершеннолетних принцесс», не годились из-за особенностей милорда Трития. Прецедента, когда пурийская принцесса отказалась бы дракону, не имелось, разве что... У дракона были три головы, и, хотя прочие части тела присутствовали у него в единственном числе, могли сказать (и сказали бы!), что она состоит в браке с тремя мужьями сразу, до чего не докатились даже в Нижней Моралии... В Нижней Моралии?! И как только она сразу не подумала?! Спасение накладывает нерушимые узы, а уж двойное...

— Господин дракон, — с облегчением выпалила Перпетуя, — я другому отдана и буду век ему верна.

Исполнительная голова выдохнула облачко дыма, Судебная наморщила лоб, но заговорила Законодательная.

— Подождать один век с учетом хорошего обслуживания и интересной книги вполне реально, — изрекла она. — Попутно следует отметить, что книга не только источник знания, но и лучший подарок. Ставлю на голосование. Я за то, чтобы вернуться к обсуждаемому вопросу через сто лет.

— Я против, — фыркнула Исполнительная.

— Снимите с меня повязку, — пророкотала Судебная, — и поднимите мне веки.

Подбежавшие гномы тут же установили лестницу, и один, на рукаве которого красовалось крылатое огненное око, быстро, однако без суеты, полез наверх.

Принцесса ожидала чего-то страшного и попятилась к выходу, но гном просто развязал и свернул повязку, поднял дракону веки и закрепил их специальными держателями. Глаза у Судебной головы оказались довольно красивыми, и хоть и не цвета морской войны, но определенно с прозеленью.

— Удовлетворительно, — объявила голова, обозрев принцессу, — вполне удовлетворительно. Рост, вес, возраст, происхождение соответствуют требованиям, но, исходя из особенности человеческой натуры, следует предположить, что через сто лет невеста утратит промысловое значение.

— Решение принято, — твердо сказала Исполнительная. — Свадьбу назначаю на третий вторник текущего месяца. Препятствия на пути к браку подлежат немедленному устраниению.

— Нет! — раздалось сзади, и в уют пещеры ворвался Яготелло, весь в белом, причем особенно белым казался не виденный Перпетуей ранее длинный узкий шарф. — Не дам! Я буду жаловаться! Не имеете права! Это моя невеста! Я...

— Брысь! — рявкнула Исполнительная голова. — Чебурашка!

— Ваш вопрос не включен в повестку дня, — отрезала Законодательная.

— Приговор окончательный и обжалованию не подлежит, — припечатала Судебная и приказала: — Очистите зал.

— Нет! — Яготелло странно и неприлично подпрыгнул, раскидывая руки, словно намеревался обхватить свою невесту сзади. Лицо принца налилось кровью, глаза вылезали из орбит, но семеро крепких гномов в серой униформе с надписью на рукаве «Дракон юбер аллес» и символикой, которую в иных мирах определили бы как военно-воздушную, завели руки негодующего Яготелло за спину и повели вон. Перпетуя с удивлением обнаружила, что ее суженый не так уж и мал ростом — он был выше двух из семерых гномов на целый палец. У двери принц рванулся и проорал что-то экспрессивное и непонятное, как соловьиная трель. Снежно-белым росчерком взметнулся шарфик...

— ...квинтер-винтер жаба! — ответило эхо, на мгновение замолкло и повторило еще трижды: — Жаба! Жаба!! Жаба!!!

Извивающийся шарфик окутало алмазное сияние, стремительно сменившееся уже знакомым Перпетуе буро-зеленым, когда же погасло и оно, принцесса не упала в обморок лишь потому, что пурийский придворный этикет не предусматривает подобного случая. Зато он регламентирует поведение похищенной чудовищем девы, за которую выходит сражаться доблестный рыцарь. Деве полагается одну руку прижать к груди, другой во избежание задирания придерживать юбку и, замирая и дрожа, смотреть на побоище, периодически взывая к высшим силам. Перпетуя возвзывала, но непроизвольно и совсем по другой причине.

Воспитанная в классических представлениях о драконоборчестве, принцесса полагала, что броне вышедшего на бой с драконом рыцаря надлежит сверкать, алому или в крайнем случае белому плащу — гордо реять по ветру, так же как рыцарскому султану и гриве белоснежного... ну или гнедого скакуна. В руках рыцаря должно быть специальное драконье копье, а у пояса — волшебный меч, лучше всего Эскалибур.

Нежданно бросивший вызов матrimониально озабоченному чудовищу Яготелло являл собой зрелище совсем иного плана. Начнем с того, что верхнеморалийский принц

вышел, то есть выехал на поединок с одним лишь копьем крайне необычного вида. Древко у него было более или менее традиционным, но само оно напоминало если не огромную вику, то атрибут морских божеств целого ряда миров. Доспехов суженого Перпетуя рассмотреть не могла, так как их скрывал и не думавший реять камуфляжный плащ, дополнительно испещренный странными символами, как то: круги красные, квадраты черные, треугольники розовые и голубые.

Самым же странным был скакун принца, являвший собой золотую неоседланную жабу огромных размеров. Жаба рыла землю копы... то есть, простите, грозно подскакивала на месте, вставала на дыбы и молотила передними лапами по воздуху наподобие кулачного бойца. Словом, она всячески рвалаась в бой, чем выгодно отличалась от явно испытывавшего сомнения наездника. Дракон пожал плечами, Законодательная голова зевнула, Исполнительная приподняла губу и показала клык, Судебная обернулась к магу. Тот, в свою очередь, энергично разрубил ладонью перед собой воздух и громко произнес что-то вроде «покс» или «бокс».

Принц дернулся, Перпетуе показалось, что он желает спешиться и удалиться, но боевая амфибия уже бросилась вперед. Неудачно — Исполнительная голова исторгла из себя мощную струю пены, в которой атака и захлебнулась.

Яготелло снесло с жабьей спины и выкинуло на прилегающую к пещере террасу, для него бой был окончен, однако амфибия отступать не собиралась, чему немало способствовало то, что дракон, вступив в бой, сдвинулся с места, открыв жабьему взору груду драгоценностей у дальней стены. Жаба припала к земле, тяжело поводя боками, от волнения она заметно посинела со спины. Перпетуе показалось, что на груди жабы проступает руна в форме верхнеморалийского драконьего копья, хотя скорее всего амфибия, укрепляясь духом, вспоминала иномировой остров Барбадос, где синее море омывает золотой песок и где ей удалось придуши... привлечь на свою сторону столь достойных и уважаемых людей, Стид Боннет и Сэм Лорд.

— Кварамба! — завопила жаба, подтверждая кварибск... то есть, конечно же, карибское сродство, и попыталась в обход дракона прорваться к золоту. — Квапитал!

— А Тельцом была бы краше, — заметила Судебная голова. — Никому не кажется, что налицо попытка рейдерства?

— НаКВАпления! — ревела жаба. — КВАлюта! Анти-КВАриат!!!

— Да, — зевнула Законодательная. — Полное попрание права нашей собственности.

— Принимаем меры? — деловито осведомилась Исполнительная.

— ЭксКВАприирию! КВАнализирию! ПриКВАтизирию!

Взмыг в чудовищном прыжке, жаба вцепилась в горло Исполнительной голове и принялась ее душить.

— По правилам стоило бы обратиться в международный суд, — заметила Судебная голова и чихнула.

— Не поддержат, — проявила пессимизм Законодательная.

— Зато проявим лояльность...

— Квашли квы с квашим судом! — Жаба, увы, не отличалась воспитанностью. — КВАаучер квам!

— У меня же зуб вчера болел, — посетовала Судебная, хватая душительницу за левую заднюю лапу в тактичной попытке отодрать от Исполнительной шеи.

— Кварсары не квапитуируют!

Жабу подвела дурно выбранная позиция. Вцепись она выше, все могло бы сложиться иначе, но нынешнее положение не лишило Исполнительную голову свободы маневра, чем та и воспользовалась, дунув в жабью морду уже знакомой Перпетуе пеной. Ослепленная душительница высвободила одну лапу, наверное, она хотела протереть глаза...

Какая именно из голов оторвала отвлекшуюся амфибию от Исполнительной шеи и вышвырнула вон, принцесса не увидела, поскольку, опасаясь за сиреневое, расшитое мелким жемчугом платье, как раз покидала пещеру. Мимо пронеслось что-то огромное, не меньше сундука для прогулочных туалетов, и шлепнулось между девой и суженым, на котором больше не было ни плаща с тайными знаками, ни белоснежного шарфика.

— Квараул! — отплевывалась жаба. — Кваварство! Дисквалифицировать!

— Я возмущен, — вторил принц, не обнаруживая тем не менее намерений вернуться в бой, — я оскорблен, я в гневе...

Моя невеста, чудо чистоты,
Увлечена драконом беззаконным,
И я не склонен это замолчать...

Перпетуя торопливо отвернулась. После таких обвинений смотреть на вышедшего на террасу дракона было бы неприлично, пришлось уставиться на почти обтекшую жабу. Та поймала взгляд принцессы и слегка посветлела всем телом.

— Слухи о моей КВАнчине неадекватны и провокационны, — заверила она с непривычным акцентом, встала перед драконом и начала надуваться. Она надувалась и надувалась, становилась больше и больше, при таких габаритах ее бы не удалось так просто отодрать... То есть не удалось бы, если б ее плотность росла вместе с объемом.

Вспомнившая основы физической физиологии магических существ Перпетуя поняла, что внутрижабное давление вот-вот превысит допустимое. Нужно было бежать, однако ноги принцессы словно приросли к месту, а дракон продолжал лениво спорить сам с собой. Принятие мер или обращение в суд? Обращение в суд или принятие мер?

— Кванзай!!! Ква...

Передувшаяся жаба лопнула, как лопнула бы Сицилия, если б Средиземное — именно Средиземное, а отнюдь не Средиземское! — море ворвалось в Этну. Подхваченную взрывной волной Перпетую подняло в воздух и понесло прочь. Все, что смогла сделать в этом положении дева, так это придержать подол и завилять, но визг сразу же отстал. Принцесса, постепенно снижаясь, в полной, пронизанной солнцем тишине пролетела над зреющими нивами, светлыми рощами, зелеными лугами, удивительно неприятными серыми пустошами, дремучим лесом, таинственными холмами и почти шлепнулась на дорогу, увидев прямо перед собой вздыбившуюся гнедую лошадь.

— О святые великомученики и страстотерпцы Портос, Арамис и примкнувший к ним д'Артаньян, — возопил всадник, — сколь много в сей местности на лесных дорогах взволнованных дев, спасающихся от злодеев под копытами коня моего.

К голосу неизвестного путника, показавшемуся принцессе подозрительно знакомым, присоединились два других, громких, неблагозвучных и опять-таки знакомых:

— Каррра, мон шеррр, каррра.

— Таки добрый день!

Принцесса подняла взор. Пред ней был дон Проходимес с ушастым козлодоем на плече и Моргенштерном у седла.

*Глава одиннадцатая, предпоследняя,
повествующая о заповедной Свинороще
и подозрительном происхождении
подозрительного блондина, встречах,
разлуках, чудесах селекции и хорошем отношении
к лошадям и плохом к жениху*

— Ты прав, Йорик, — вздохнул блондин, — она и есть. Карма. Что же, моя рыбонька, произошло с вами на сей раз и куда делся ваш неподражаемый жених?

— Дракон, — коротко сообщила принцесса, слишком озабоченная состоянием платья, чтобы немедленно и последовательно изложить историю своего появления.

— И чего ему от вас надо?

— Ну... — Принцесса извернулась, оглядывая свой тыл, и ничего непоправимого, к счастью, не обнаружила. Сиреневый атлас был чист и даже не очень помят. — Вы можете его победить?

— Не тянет как-то, — с предельной искренностью сообщил дон Проходимес. — Я по возможности стараюсь не причинять никому серьезного ущерба, видимо, моя бабушка согрешила-таки с рыцарем-джедаем. Она, знаете ли, была еще та... Неважно! Видели ли вы парящего дракона, моя леди?

Перпетуя покачала головой. Оставалось проверить оборки, спину и прическу, но как это сделать без зеркала?!

— Парящий дракон — это прекрасно, — заверил блондин. — Так где, говорите, ваша свита?

— У дракона...

Поскольку ничего нового рассказ Перпетуи, между нами говоря, довольно-таки бессвязный, не содержал, мы его опускаем, равно как и уточняющие вопросы, большинство которых пришлось на долю Моргенштерна.

— Шлимазл! — наконец припечатал он, несомненно имея в виду Его Высочество, чем несколько удивил Перпетую. Шлем с султаном из перьев белого верхнеморалийского аиста Яго-Стэлло в самом деле не шел, но откуда сие было знать хоть бы и Эскалибуру, ведь блондин со спутниками исчез из Жмурдии раньше, чем его высочество вернул свою собственность.

— И таки что мы с этим будем делать? — не мог успокоиться Моргенштерн.

— Страдать, — огрызнулся дон Проходимес. — Моя леди, постерегите пока эту птицу, мне надо кое-кого... проводить. Йорик, чтоб никакой... ненормативщины!

— Это непррилично, вам говорят, — немедленно загорал козлодой, кружа над девой. — Я устрретил вас и усе... и сердце бьется в упоенье...

Отсутствием дона Проходимеса воспользовалась, чтобы проверить то, что в присутствии странствующих рыцарей не проверяют. Окончательно убедившись, что подарки бабулечки-красотулечки перенесли полет лучше, чем изделия лягвоядцев прогулку по некошеной траве, дева задумалась о том, кого это дон Проходимес собрался провожать. К сожалению, принцесса допускала, что подозрительный блондин являлся коварным соблазнителем и, возможно, даже растлителем. А если коварный соблазнитель не соблазняет, значит, он... уже соблазнил другую! В то время, когда она тряслась на одной лошади с магом и выслушивала всякие глупости от дракона, этот негодяй...

Дальнейшие мысли и подозрения Ее Высочества мы опускаем, ибо они совершенно не оригинальны. Нам важно, что Перпетуя шмыгнула носиком и в сопровождении не прекращавшего куртуазные выкрики козлодоя помчалась к живой изгороди, за которой исчез негодяй

и мерзавец. Ее еще могли бы задержать туфли на высоких каблуках и шлейф с пажами, но они канули в прошлое, а настоящее заволокло обидой и слезами. Принцесса легким галопом преодолела лужок, заросший отлично сочетающимся с сиреневым платьем клевером, протиснулась в кем-то прогрызенную дыру и... увидела Орка-оберста Шварцкопфа, произносящего речь перед строем двурогих, безрогих и однорогих орков. Чуть поодаль рядом со своим гнедым поигрывал Моргенштерном дон Проходимес и даже не думал никого соблазнять! Принцесса счастливо вздохнула, вытерла слезы и осознала, что ведет себя совершенно неподобающе. Дева решила немедленно удалиться в дыру и набрать клевера, дабы вернувшийся рыцарь увидел ее резвящейся на лужайке и совершенно не помышляющей о всяких блондинах, но все сорвал козлодой.

Измученная куртуазностью птица на полете, который в техногенных мирах называют бреющим, пронеслась над физиогномордским строем и с воплем «Оррки — дуррки!» шмякнулась на плечо хозяину.

Дон Проходимес немедленно обернулся, мало того, обернулся Орк-оберст; принцессе осталось лишь приблизиться и сделать книксен. Ответом было щелканье каблуками, правда теперь уже вычищенных сапог.

— Я есть счастлив, — с чувством произнес Шварцкопф, — что фрейляйн не кормить страшный тролль, но я есть страдающ, что обоядная наша страсть неутоленной оставаться должна. Я никогда не видеть фрейляйн вновь, и я ее никогда не забывать!

— Я... — принцесса почувствовала, что краснеет, — я желаю вам счастья, здоровья и... и...

Над головой девы и Орка-оберста захлопали крылья.

— Прекратить страдания! Не Верртерр! — удивительно к месту потребовал Йорик и заорал уже всем физиогномордцам: — Бррррысь, пррротивные!

Орки застыли в нерешительности, поглядывая то на старика Моргенштерна, то на дона Проходимеса. Было совершенно очевидно, что им очень хочется послушаться козлодоя, но они опасаются последствий. Дон Проходи-

мес почесал Моргенштерна между шипами так, словно это была кошка, и ослепительно улыбнулся.

— Претензий нет? — Блондин выдержал паузу. Претензий не было. — Очень хорошо. Всем спасибо, все свободны. В Физиогноморд шагом марш. Запевай!

Ко-озлодой, — затянул высоким страдальческим голосом однорогий орк, — мой козлодой,

Голо-о-осистый козлодой,

Ты куда, куда-а летишь,

С кем всю ночку протре...

— Таки что? — резко перебил Моргентшерн.

— ...аоуэээ, про... про... проговоришь, — нашелся запевала.

Ко-о-о-злодой, — грянули орки, сперва маршируя на месте, а затем приходя в поступательное движение, — мой козлодой, го-о-олоси-и-истый ко-о-о-злодой...

Далее воспоследовал разухабистый свист, переходящий в разухабистую же мелодию. Лорду Гвиневру подобное даже и не снилось, что и неудивительно: говоря по совести, он был довольно-таки посредственным душегубом и совершенно не соответствовал занимаемой должности.

Орки убрались, тщеславный козлодой их сопровождал до конца песни про себя, потом вернулся и принялся парить над головами.

— Перреерррыв, — орал он, — тррапезный! Вечеррний! Поррра!

— Пожалуй, — согласился дон Проходимес. — Моя леди, вы согласны на отбивные? Свиные?

— Я их очень, очень люблю, — прошептала принцесса, всей душой желая когда-нибудь заменить слово «их» на «тебя».

— Отлично. — Блондин почему-то нахмурился. — Физиогномордцев я, конечно, выставил, но оставлять вас одну на большой дороге неправильно. С другой стороны, мясо надо еще добыть... Проклятье, надо было отправить за ним орков!

— Я пойду с вами, — решила принцесса и, встретив удивленный взгляд, с обоснованной гордостью добавила: — Я без шлейфа, я пройду!

— Не в шлейфе дело. Моя леди, что вы знаете о Свинороцах?

— Они заповедные, — припомнила Перпетуя, — их охраняют огромные клыкастые чудовища. В Свинороцах нет ни Добра, ни Зла, поэтому их нельзя уничтожить. В них нельзя входить, и из них никто не выходит.

— Почему, моя леди?

— Потому что, когда нет ни Добра, ни Зла, это... это...

— Это можно есть, — объяснил кошмарный блондин. — А выбора у нас нет, орков я выпроваживал по безлюдью, пейзан с овечками тут не водится, а вы с собой даже пажей не прихватили.

— Юморрр, — объяснил козлодой и напомнил: — Окоррок!

— Я войду в Свинорощу, — отрезала дева с той же экспрессией, с коей она прощалась с подругами, вступая в Разбойничий Лес.

— Однако, — поднял бровь блондин, и сердце принцессы возликовало: она *его* все-таки удивила! Размышления о том, чем бы еще поразить привередливого спасителя, немедленно захватили Перпетую целиком, благо помалкивал не только дон Проходимес, но и его спутники. Они, видимо, ощущали приближение отсутствия Добра и Зла. Вечерело, гнедой конь бойко рысил меж золотистых холмов, над которыми Перпетуя очень может быть недавно пролетала. А может, и не пролетала, главное, она оказалась там, где нужно, однако любой успех следует развить и упрочить.

— Урра, — прервал перспективное матримониальное планирование Йорик, — дозрррело.

И оно в самом деле дозрело, хотя сперва принцесса ничего не поняла — понять в самом деле было затруднительно! В почти круглой впадине с пологими склонами торчало до сотни здоровенных разлапистых деревьев. Дуб из Разбойничьего Леса в сравнении с ними казался тоненькой рябинкой, а баобабов, более или менее сопоставимых по габаритам с великанами Свинорощи, Перпетуя по понятным причинам не видела. Странные деревья росли друг от друга на приличном расстоянии, подлеска и кустов между

ними не имелось, и принцесса почти сразу разглядела немалую тушу, ворочающуюся меж корней второго с края ствола. Живший в иные времена и в ином мире Коломан Зупан идентифицировал бы ее как мангалицу, однако принцесса поняла лишь то, что перед ней странно шерстистая свинья. Вообще-то это был боров, но отличия между боровом и свиньей, равно как между мерином и кобылой, etc, воспитатели принцессы из целомудренных соображений замалчивали. Впрочем, речь не о них, а о борове. Боров подрывал. Старательно, с душой, если, конечно, так можно выразиться о свинье сальной породы. Летели комья, раздавалось деловитое хрюканье, тряслась склоненная до земли толстенная ветвь...

— Готов? — негромко спросил дон Проходимес.

— Всегда готов, — с достоинством подтвердил Моргенштерн.

Созерцать кровопролитие принцессам в целом не рекомендуется, однако для охоты на благородную дичь делается исключение. Окажись под деревом дикий вепрь, все было бы в полном порядке, однако налицо была явная домашняя скотина. Скотиной должно заниматься пейзанам, ну и где они? Принцесса недоумевала, а дон Проходимес с Моргенштерном, не прерывая оживленной беседы и не думая скрываться, надвигались на занятого своим делом борова, затем блондин небрежно взмахнул рукой, шипастый шар подпрыгнул на всю длину цепи и обрушился на свинячью башку.

— Таки с одного удара, — удовлетворенно произнес Моргенштерн, обвиваясь вокруг чего-то цепью. Только тут увлеченная происходящим у корней принцесса разглядела, что будущая отбивная была не сама по себе — из ее спины, будто из яблока, торчал черешок! Мало того, на дереве зрели и другие плоды, обещавшие вырасти в полноценных свиней. Одни пока напоминали гигантские, покрытые шерстью кабачки, у других отчетливо проступали ноги и уши, два или три шевелились и даже похрюкивали, а один, лишь немногим уступавший размером жертве Моргенштерна, уже полностью сформировался и тянулся раздвоенными копытами к земле.

— Хочет подрывать. — Моргенштерн брезгливо дернулся, освобожденная ветка резко распрымилась и зашумела. — Одно слово, хазер!

— Корни подрывают многие, — развел мысль дон Проходимес, оттаскивая тушу, — но не все при этом растут на этом же дереве. О, зацветает уже!

Перпетуя взгляделась — обломанный черешок еще сочился прозрачным соком, а рядом вовсю набухал бутон, розовый, как одежды пажей, сопровождавших принцессу в Разбойничий Лес. Цветы дева любила и вообще, и как принцесса, но получить цветок свинодрева не хотелось совершенно. Дон Проходимес это понял и не подарил.

Заботы последующего часа типичны для всех путников и многократно описаны во множестве книг и дневников, отметим лишь, что со стороны не столь и далекой Свиророши доносилось шуршание, похрюкивание и иногда чай-то топот, как легкий, так и не очень. Перпетуя подозревала, что топают сторожевые чудовища, но спутники их почему-то не опасались.

Обустраивал лагерь и разводил огонь дон Проходимес, принцесса в работах не участвовала, да ее и не просили, для этого спаситель был достаточно воспитан, а козлодой — недогадлив.

— Моя леди, а вы уверены, что не желаете выйти замуж за дракона? — спросил дон Проходимес, когда они, наконец, устроились возле огня, — ведь это вполне достойная партия. Драконы, как правило, хорошо обеспечены, умны и при желании занимают видное положение в обществе.

— Пурийская принцесса не может иметь трехглавого мужа, — выкрутилась Перпетуя, решившая не выяснить отношений, пока совместная поездка на гнедой лошади не превысит по времени совместную поездку на лошади масти паломино. — Дон Проходимес, когда мы с вами встретились вновь, вы упомянули своих предков. Я поняла, что вы — побочный потомок некоего сэра Джедая?

— Возможно, — кивнул тот, заканчивая нарезать мясо на порционные куски. — История сия долгая, путаная и печальная. Джедай, с которым, судя по некоторым моим странностям, согрешила моя бабушка, мирно ехал по

своим делам... Нет, положительно он был моим предком, иным образом особенности и регулярность наших встреч не объяснить!

— Сэр Джедай ехал, — дрожащим голоском переспросила принцесса, — ехал, и?

— Моя леди, это несколько неприлично.

— Но мне хочется знать. Пожалуйста...

— Извольте. Однажды Джедай увидел повешенную леди в совершенно разорванном платье и не смог отвернуться, как поступил бы всякий воспитанный человек. Леди удалось оживить, и дальше они отправились вдвоем, выдавая себя за брата с сестрой. Через пару месяцев им подвернулся вельможа, который счел несущественным, что леди какое-то время провисела в людном месте, будучи не совсем одетой, и попросил ее руки. Джедай с облегчением скрепя сердце и со слезопролитием передал спасенную мужу... Простите, мне, чтобы отбить мясо, надо найти подходящий камень.

— Таки зачем? — раздалось совсем рядом. — Давайте ваше мясо сюда и не мучьте ребенка!

— Ты и это можешь? — удивился пока еще не до конца суженый. — Невероятно!

— О, молодой человек, молодой человек. Ваш дедушка, кто бы он ни был, еще ходил пешком под стол и под себя, а имя Моргенштерна уже звучало... — Моргенштерн явно ударился (а что еще может сделать шипастый шар на цепи?) в воспоминания, и блеск его полированной поверхности затуманился. — Тогда я был высок и хорош собой, близкие друзья и подруги ласково звали меня Эскалибуром, а иногда даже Нарсилом, но что было, то было... Чего вы тянете? Вы хотите ужинать или я? Где ваша свинина и где-таки ваша история?

— Момент. — Блондин быстро переложил куски поближе к Моргенштерну, и тот немедленно принялся постукивать по ним концом цепи. — Господин, столь неудачно повесивший мою бабушку, оказался ее первым мужем и как-то дал о себе знать. Отыскать негодяя, чтобы избавить горячо любимую супругу от проблем, у дедушки не вышло, хуже того, во время поисков он подхватил какую-то бо-

лезнь и скончался. Поползли слухи, бабушке это надоело, и она исчезла, поручив моего будущего папу заботам деверя. Лучше б она этого не делала!

— Дядя выбросил племянника на улицу и завладел наследством? — догадалась хорошо знакомая с опекунскими традициями Перпетуя. — А он вырос и отомстил?

— Если бы! Папа с детства мечтал о дальних странствиях, но разве с провинцией на шее постранствуешь? Дядюшка же ни в какую не желал оспаривать у племянника имущество и титул, а потом в дело влез еще и король. Его Величество приравнял покушение на убийство к разводу, причем по вине супруга, и положение отца стало безнадежным.

Мало того, вскоре у короля случились крупные неприятности, и папа поклялся оставаться с ним до самыя смерти. Сформулируй он «до победы или же до смерти», у папы бы еще оставался шанс, но на момент клятвы положение роялистов казалось безнадежным, особенно после гибели дяди...

— Ой, вей! — Моргенштерн отвлекся от свинины, которую отбивал. — И что было дальше?

— К счастью для короля и отечества, на помощь сбежалась куча рыцарей, которым Его Величество когда-то поверил, помог, вернул невесту, одолжил трешку до поступления очередного оброка. Мятеж подавили, но папе пришлось заменить королю убитого дядю и жениться на принцессе.

— Веррность сюзерену укрррашает! — провозгласил Йорик. Дон Проходимес поморщился, Моргенштерн промолчал, но вид у него при этом был самый что ни на есть глумливый.

— Так вы — принц?! — Не будь Перпетуя столь хорошо воспитана, она бы захлопала в ладости.

— Я — дон Проходимес, моя леди, и я странствую за себя и за моего несчастного отца. Жаль, у нас нет хлеба...

— Таки нечего было отпускать молодого человека, который вам стольким обязан! — возмутился Моргенштерн. — Диндиллоны для эльфа неподходящая компания, а вы таки сидите без кукуфеля!

— Мне очень жаль, — подала голос все еще находящаяся под впечатлением жуткого рассказа Перпетуя. — Очень жаль... что милорд Картофиэль не с нами и не может нам помочь.

— Прошу меня простить, — стройная фигура, грациозно разводя руками, шагнула к костру, — я внезапно заблудился, утратил ориентацию, не могли бы... О, это вы?! Сколь я счастлив вновь встретить...

— Так и мы счастливы, — обрадовался за всех Моргенштерн, — нам нужен кукуфель, но какими судьбами?

— Прррронзил, — объяснил козлодой. — Прространство прронзил! По призыву!

— Вы хотите кушать? — уточнил Картофиэль, что-то шепча и вглядываясь в землю. — Я тоже.

Здесь мы отметим, что за минувшее время пронзительный эльф немало отточил свои растениеводческие способности и смог предложить дорогим друзьям, помимо уже знакомого им кукуфеля, некую «помидошечку», дающую вместо плодов желтых, напоминающих неприличный обелиск, плоды красные, круглые, похожие на герб одной далекой восточной державы. Ужин удался на славу, кукуфель с помидошечкой были употреблены полностью, однако мяса жареного и особенно сырого осталось много. Картофиэль его не ел, а возможности рыцаря, девы и птицы были ограниченны.

— На сегодня с меня хватит, — дон Проходимес зевнул, что, согласно «Куртуазному языку жестов и намеков», означало готовность спать под одним плащом, — надеюсь, в этих полях больше нет дев.

Словно в ответ, со стороны Свинорощи раздался дробный топоток. Нет, дорогие читательницы, не волнуйтесь, это были не девы.

Из ночной тьмы к костру выбежал крапчатый жеребенок, топнул ножкой и улыбнулся, показав трогательные детские клычки.

— Он хочет кушать, — расплылся в ответной улыбке Картофиэль, — маленький мой, я сейчас!

— Не будет он твою траву есть, — блондин тоже поднялся, — он за мясом пришел.

— Ааааа, — испустив красивейший стон, Картофиэль схватился за сердце, тоже очень изысканно. — Лошадка?!

— Огромное клыкастое сторожевое чудовище. — Вредный дон подмигнул принцессе, это было крайне невежливо, но ужасно приятно. — Моя леди, не хотите покормить лошадку котлеткой?

— О да, милорд. — Дева торопливо засучила рукава сиреневого платья, и те прекрасно засучились. — Я так люблю кормить...

Принцесса все сильнее надеялась, что скоро, очень скоро вместо «кормить» скажет «тебя», хотя умные женщины во множестве миров говорят любимым мужчинам «я так люблю кормить ТЕБЯ», и это отлично укрепляет чувства. Правда, среди упомянутых женщин процент формальных принцесс исчезающе мал.

— Так ты кушаешь мясо? — Картофиэль утер слезу, но желание доставить жеребенку радость превысило непривильное отвращение к тому, что эту радость принесет. — Тогда на, мой сладкий!

Лошадка, благодарно взмахнув еще не распушившимся хвостиком, приняла угощение и исчезла в темноте, чтобы через несколько минут вернуться с крапчатой же мамашей.

— Кажется, — совершенно без сожаления заметил дон Проходимес, кромсая окорок, — излишков у нас не останется.

Клыкастые гости думали так же, они встряхивали гривами, дружелюбно фыркали, тыкались носами в плечо и вообще вели себя ужасно мило. Мясо стремительно убывало, эльф, касаясь окровавленных кусков, больше не вздрагивал, и он очень нравился кобыле. Время летело незаметно, но вдруг крапчатая всхрапнула и прижала уши, а жеребенок немедленно оказался за спиной у матери.

— Волки? — не очень уверенно спросила принцесса, придвигаясь к дону Проходимесу, который, в свою очередь, придинулся к Моргенштерну. Ну почему, когда все хорошо, обязательно приносит кого-то плохого?! Разозлившаяся дева пошарила взглядом вокруг себя в поисках палки, но нашла лишь большую свинячью кость с копыт-

цем. Этим вполне можно было треснуть, а руки у Перпетуи и так были в крови. Принцесса подняла совершенно не подобающее воспитанной воительнице оружие, и тут из темноты донеслось:

Я возмущен изменою коварной,
Моя невеста, чудо чистоты,
Вкушает мясо в обществе мерзавца...

— Холерра! — выразил общее мнение Йорик, а Перпетуе захотелось заплакать. Или убить. Или заплакать и убить.

Глава двенадцатая,
*повествующая о ночном броске сквозь
Вшивые пустоши, неожиданных встречах,
великих тайнах, фатальных ошибках
и чудовищных совпадениях*

Все обличительные монологи похожи, поэтому мы не станем воспроизводить речь, с коей вышедший из сумрака принц направился к своей сжимавшей свинью кость нареченной. Отметим лишь, что, хотя вид Яготелло имел потрепанный, цвет его одежд вновь стал белым, без примеси буро-зеленого, а плащ со странными символами, равно как и сверкающий шарфик, исчезли. Воссоединение представителей двух династических домов вышло тягостным и неловким. Эльф горестно вздохнул, Моргенштерн нехорошо блеснул, козлодой нахохлился и брякнул что-то неразборчивое, а дон Проходимес принял седлать гнедого.

— Что ж, — заметил он, в смысле дон Проходимес, а не гнедой, — едем.

- Куда? — грустно спросила принцесса.
- Разбираться с драконом, как вы и хотели.
- Милорд, — дева попыталась поймать взгляд военно-морских глаз, — а вы... вы знаете, что делать с... драконом?
- Понятия не имею, — ответствовал пока еще двойной спаситель, — Моргенштерн что-нибудь придумает.
- Нет, я таки вас умоляю... — Упомянутый Моргенштерн незамедлительно махнул цепью. — Как гоняться за орками обычновенными — так Моргенштерн может и по-

молчать, а как думать — так все кивают на Моргенштерна. Моргенштерн то, Моргенштерн это... Моргенштерн вам шо — Эйнштейн, Эйзенштейн и Круценштерн, шоб все время придумывать? Шо вы там себе думаете?

— Не думаете... — констатировал шипастый шар после минутной паузы. — Эх, ну и шо б вы делали без старого Моргенштерна?

— Боюсь, подрался бы, — с отвращением произнес подозрительный блондин, — хотя и безо всякого удовольствия.

— Вот оно, полное отсутствие нравственности, — встрял Яготелло. — Убить дракона — священная обязанность каждого рыцаря. Говорить при этом об удовольствии способен только...

Как все получилось, Перпетуя толком не поняла, просто рука принцессы взметнулась вверх, и окровавленная кость — дева держала свое оружие за копыто — обрушилась на жениховский лоб, оставив на нем жуткое багровое пятно. Жених издал совершенно неидентифицируемый звук и часто-часто заморгал.

Возможно, читатель решит, что, соприкоснувшись с костью из заповедной Свинорощи, где нет ни Добра, ни Зла, телом и душой преданный Добру Яготелло заколдовался или же, напротив, лишился защиты, но он всего лишь обалдел. Тем не менее порыв принцессы не пропал — воспользовавшись состоянием принца, дон Проходимес нанес оному разящий удар, кое-где именуемый звучным термином «оплеуха». Сраженный Яготелло рухнул к ножкам высунившегося из-за выюков жеребенка, и тот в силу детского любопытства обнюхал лежащего, после чего обиженно фыркнул и попятился.

— Маленький не станет это кушать, — Картофиэль был напряжен и задумчив, словно пытался вспомнить что-то очень личное, — это можно кушать только с очень-очень большого голода, и то будет очень-очень неприятно.

— Нельзя его есть, — блондин ловко спеленал бесчувственного верхнеморалийца, — без него Вшивые пустоши не перейти. Ваше Высочество, вы точно не возражаете против второй встречи с драконом?

— Нет. — Перпетуя задумчиво посмотрела на кость. — Если он... передумает... не будет настаивать... поймет.

— Должен понять, ведь глупых драконов уже не осталось, — то ли ободрил, то ли пожаловался дон Проходимес и что-то шепнул эльфу, который кивнул и канул во мрак. — Отсюда до Драконьей горы напрямик не так уж и далеко, только напрямик никто не ездит. А мы попробуем!

— О Вшивых пустоشاх, — припомнила принцесса, — на купедоновом камне пишут очень плохо, а больше я ничего не знаю.

— Еще бы! Я не сторонник замалчивания, но о некоторых вещах если и узнавать, то задним числом. — Блондин обернулся к вернувшемуся в обществе крапчатой Картофиэлю. — Что решила наша леди?

— Роза думает, что вы гений, — эльф с нежностью взглянул на кобылу, и та в ответ улыбнулась, — и она бы нам помогла, но Роза прежде всего мама, а Розочка растет, ей надо много и хорошо кушать. Если по ту сторону мерзкого места есть большая еда, они пойдут, если нет, то Роза сможет лишь следующей весной.

— Мы, — подала голос Перпетуя, — пурийская принцесса, и мы не забываем услуг нам... Роза, милая, хорошая, ну, пожалуйста! Я найду вам покушать, только, только...

Кто был более сентиментален и жалостлив — растительноядный эльф или же плотоядная кобыла, мы не знаем, но Роза тряхнула гривой и подошла поближе, позволяя повесить себе на шею что-то вроде торбы, из которой торчали голова и ноги Яготелло. Розочка встала рядом с мамой и топнула ножкой, она была готова. Эльф издал сюсюкающий звук и вскочил крапчатой на спину, только косички в свете костра блеснули. Костер, к слову сказать, из соображений противопожарной безопасности пришлось затоптать.

— Когда начнутся пустоши, — объяснил дон Проходимес, пристраивая принцессу впереди себя, — мы поедем довольно быстро. Ночью ничего особо противного не разглядишь, и все же закройте глаза, думайте о чем-нибудь хорошем и молчите.

Перпетуя обещала, более того, она так и поступила. Сперва деве удавались мысли о том, как хорошо ехать

сквозь ночь на одной лошади со своим дважды спасителем, да еще в платье, которое не пачкается и не мнется, но потихоньку приятные думы стали гаснуть, уступая место тому чувству, которое так и тянет выразить визгом высшей категории. И все-таки принцесса не завизжала. Сначала она кусала губы, потом губ стало мало, пришлось прикусывать язык и щеку. Когда и это не помогло, Перпетуя приоткрыла один глаз, ничего не увидела, зато в голове зазвенело что-то похожее на отвратительную песню, под которую выплясывали самые гнусные в мире пейзане.

«Вшивый, вшивый лебедь, — билось в ушах, — вшивый-вшивый лебедь, вшивый-вшивый, вшивый... вшивый...»

Чтобы избавиться от наваждения, дева была готова почти на все, вот «почти» все и решило. Она заверила дона Проходимеса, что выдержит, значит, она выдержит!

«Вшивый, вшивый лебедь»... но она обещала! «Вшивый, вшивый лебедь», но он увидит, что пурийская принцесса... «Вшивый, вшивый...» Она думает о хорошем! В мире столько хорошего! «Вшивый-вшивый...» Молоко! Парное! Пейзане! Подруги! Сиреневое платье... «Вшивый-вшивый...» Лошадки! Купедон! Блины! Цветы! «Вшивый...» Потенция! Любовь!

— Все! — Дон Проходимес остановил гнедого. — Прокосчили! Теперь можно и поспать.

— Даже не покушав? — удивился Картофиэль, видимо, потерявший в пути много энергии.

— А это по желанию, — зевнул блондин, но костер развел и коней обиходил.

— Я возмущен предательством коварным, — приступил к обличению распакованный Яготелло, попутно завладевая светлой попоной, в которой его перевозили, — моя невеста, чудо чистоты...

Перпетуя могла бы уточнить, что еще неизвестно, чьей невестой она является, однако дева слишком устала, а кость с копытом была утрачена.

Ночлег под одним плащом с доном Проходимесом и разделительным Моргенштерном в сложившейся ситуации исключался, и принцесса одиноко легла под одиноким же деревом. Несмотря на пережитые потрясения и уста-

лость, ей не спалось. Земля была жесткой, подложенный под голову выюк не желал становиться подушкой, однако больше всего мешала неопределенность, как лирическая, так и юридическая. От разбойников и орков принцес-су спас дон Проходимес, причем побочным продуктом жмурдийского подвига стало освобождение наследника Моралесов-и-Моралесов. При этом дон Проходимес на глазах верхнеморалийца вступил в бой с Добром, что по-читалось преступным. Тем не менее Светлый арбитраж, со-берись он сразу же после Жмурдии, обязал бы деву отдать руку двукратному спасителю, возможно, разделив с ним изгнание — тут многое зависело от Гамлета Пегого, который обещал подтвердить перерождение данного экземпляра Добра.

Изгнание Перпетую не пугало, ей даже казалось, что внуk сэра Джедая в этом случае женится с большей охотой, но дальнейшие события все перепутали. Угодившая в плен к холостому дракону принцессы доставалась драконоборцу (в случае победы последнего, само собой), однако считать себя плененной честная дева не могла, ведь они с Гамле-том заехали в гости по доброй воле. Тем не менее Три-тий сделал ей предложение, она отказалась, сославшись на обязательства перед доном Проходимесом, но Яго-Стэлло принял это на свой счет и вызвал дракона на бой. К сча-стью, принц не победил, а дева покинула Драконью гору без какого-либо ущерба для себя, платья и туфель, и вот здесь-то и крылась основная сложность! Перпетую сдуло с террасы потому, что взорвалась жаба, некоторое время исполнявшая обязанности скакуна Яго-Стэлло. Арбитраж мог признать, что амфибия продолжила бой именно в та-ком качестве, ведь прецеденты, когда рыцарские скакуны сражались, хотя их хозяева были ранены и даже убиты,ши-роко известны. В этом случае спасение от проходящего по высшей злоторческой категории дракона перевесит спасение от не столь вредоносных разбойника и орков, разве что... Разве что Тритий засвидетельствует, что взрыв жабы только распалил его страсть, и он намеревался либо пу-ститься в погоню, либо, что еще лучше, затмить крыльями небо над Санта-Пурой и под угрозой сожжения столицы

потребовать у короля дочь. И лишь появление дона Продимеса, вынудившего чудовище отступить, спасло город и принцессу. Да, это выход, причем единственный!

Перпетуя отдавала себе отчет в том, что пурийской принцессе неприлично объяснять нюансы брачных кодексов стран победившего Добра чужаку, к тому же, весьма вероятно, нижнеморалийцу, носящему под... Не важно, чем, главное — неприлично, но почему бы не поговорить с кем-нибудь умудренным и явно обходящимся без черных кружев? Стараясь не шуметь, дева перебралась к почти прогоревшему костру, возле которого свернулся не нуждавшийся в отдыхе Моргенштерн. Как навести беседу на интересующий ее предмет, принцесса не представляла, но старик был проницателен и откровенен — холодное оружие ударно-дробящего действия вообще не любит недомовок.

— Видите ли, деточка, — заявил без обиняков Моргенштерн, — мой юный друг вам не подходит. Он не создан для блаженства, его душа, прошу заметить, очень добрая душа, таки совершенно чужда покою! Нет, конечно, он не Байрон, он другой, гораздо менее эгоистичный, но от этого лично вам легче не станет. Он, видите ли, ищет бури, как будто в этих самых бурях есть покой, и это при том, что погодные перепады дурно сказываются на здоровье... Но разве мой юный друг думает о здоровье?

Из глаз принцессы хлынули слезы, носик покраснел и распух. В полуслучае этого было не разглядеть, но Моргенштерну все равно стало ее жаль. В сущности, он был оружием добрым и даже (местами) сентиментальным. Старик шевельнул цепью и утешающе произнес:

— Поверьте, деточка, сколь бы он ни любил вас, если привыкнет, немедленно разлюбит.

— Но... — насторожилась Перпетуя, — он меня любит? Хоть немножечко?

Моргенштерн задумался. Будь дева поопытней, она бы поняла, что Эскалибур в отставке прикидывает, как лучше сорвать, но пурийская принцесса была наивна, простодушна и чиста душой. Моргенштерн это понял и убежденно произнес:

— Он таки любит вас. Любовью брата и, может быть, еще нежней...

— Нежней? — мурлыкнула принцесса.

— Я сказал «может быть», — сварливо поправил Моргенштерн, — а может и не быть... Тыфу! И это таки победившее Добро?! Оно таки думает, старик Эскалибур истреблял темные полчища и рубил головы великанам, чтобы всякие поцы... Я хотел сказать, принцы, копались в чужих бебехах?

Перпетуя оглянулась и увидела Яго-Стэлло. Закутанный в чепрак верхнеморалиец что-то тащил из переметной сумы и даже вытащил. Раздавшееся чавканье утонуло в хлопанье крыльев бдительного Йорика.

— Позорр, — возмущался козлодой, — окоррок! Воровство!

Дальнейший диалог Яготелло и козлодоя в целом повторяет их же беседу в Разбойничьем Лесу, а посему опускается. Что до мяса, то за исключением надкусанной части — ее Картофиэль попросил обрезать — оно досталось прибежавшей на крики Розочке, так что завтракали наспех выращенным и оттого розовым кукуфелем.

— Это из-за утренней зари, — объяснил эльф, — я любовался рассветом и непроизвольно окрасил клубни, а рассветом я любовался, чтобы забыть то, что ощущил ночью.

— Я не забуду оскорблений, — не слишком уверенно пригрозил Яготелло, — что были мне нанесены...

— Пррасхититель, — немедленно ответствовал оставшийся без свинины Йорик. Склока возобновилась, козлодой был прав по сути, но некоторые из применяемых им иномировых слов наверняка были неприличными, по крайней мере Перпетуя, стань она птицей, употребила бы в адрес жениха именно таковые. Увы, принцесса, памятуя об арбитраже, не могла проявить предвзятость, пришлось завязать отвлеченную беседу.

— Дон Проходимес, — дева по возможности изящно отложила розовый початок, — не могли бы вы рассказать о том ужасном месте, через которое мы проскочили ночью?

— О да, — поддержал эльф, — иначе я не найду покоя и мне будет сниться цветок, чьи лепестки сотканы из... Нет, я не могу произнести это вслух!

— Не ты один, — улыбнулся блондин. — Упоминать Вшивые пустоши в странах победившего Добра не принято, потому что случившееся там на счет Зла не запишешь, разве что...

— Что? — переспросила принцесса, невольно придвигаясь поближе, скажем так, к Моргенштерну.

— На Зло удобно списывать неприятности, которые проистекают из желания избыть то, что было назначено Злом. В данном случае таковыми объявили мясо.

— Мясо я не кушаю, — твердо сказал эльф, — но Розочка без него не может, значит, мясо не зло!

— Я вас умоляю, — подал голос Моргенштерн. — Не стань звероконей, и в мире не уцелеет ни единого свинодрева, все самоподдроются!

— Свиней могут собирать пейзане, — предложила принцесса, которой вчерашние отбивные очень понравились, — только Свинорощи заповедные...

— Мы говорим о пустошах, — напомнил Картофиэль и погрустнел.

— Сперва там было королевство как королевство, — блондин подмигнул принцессе, — но потом королеву охмурили адепты учения имени большой белой звезды в созвездии Кифары. Королева перешла на растительную пищу сама и повелела предать всех, пожирающих мясо, острому кизму как убийц и падальщиков. Добросотворяющей концепции это не противоречило, а ничего особо ценного в будущих пустошах не имелось, так что никто не вмешался.

Местные обитатели — те, кто не сбежал и не умер, постепенно принародились и стали гордиться чистотой своих организмов, а заодно — презирать соседей. Соседи не возражали, травоядное королевство казалось смешным и безопасным, но потом туда забрели странствующие проппогандисты и, в свою очередь, доказали, что людская кровь не святее изумрудного сока трав. Они-то имели в виду, что растениям тоже бывает страшно, больно и грустно, но король, тогда уже был король, понял их по-своему и попробовал перевести подданных на землю и воду. Дело успешно двигалось к летальному концу, но вмешались пропповедники, принявшие имя опять-таки белой звезды Уропигиум

в созвездии Птицы. Из их проппо-ведей король уяснил, что греха нет лишь при питании теми, кто сам тебя ест, и заключил договор о взаимном питании с соответствующими, гм, инсектами. Так и живут.

— И ничего нельзя сделать? — Принцесса непроизвольно поежилась и почесала руку. — Добросотворители должны...

— Сперва они должны найти либо Зло, либо то, что возжелают.

— Наоборот! — буркнул Моргенштерн. — Как возжелают хоть жену, хоть вола, хоть осла, про насыщенные углеводороды я вовсе молчу, так и Зло сразу отыщут, и ну искоренять... С конфискацией. Я вам что, от хорошей жизни имя с внешностью сменил? Не от хорошей! Эх, знали бы мы, когда разили темные рати...

Бывший Эскалибур гневно хлопнул цепью, и солнце немедленно померкло, а травы пригнулись к земле.

— Вот он! — Дон Проходимес вскочил и, явно любуясь, уставился в небо. — Я ведь говорил вам, моя леди, что летящий дракон — это прекрасно?

— Да, милорд, — подтвердила принцесса, придерживая юбку, потому что придерживать юбку в сложных ситуациях есть первый долг пурийской принцессы. Первый долг сопровождающего принцессу рыцаря в случае появления чудовища — дать оному отпор, но дон Проходимес ничего подобного делать явно не собирался, а про Яготелло дева как-то забыла. Удивляться этому не приходится — если летящий дракон прекрасен, то садящийся незабываем. Впрочем, для того, чтобы вспоминать драконов, нужно пережить встречу с оными.

— Доброе утро, милая. — Гамлет Пегий умело сошел на землю по подставленный драконом лапе. — Ты меня удивила — расчеты показывали, что тебя унесло дальше.

Принцесса принялась объяснять, что с ней случилось, однако дошла лишь до оков и песни про Козлодоя, потому что Розочка решила обнюхать дракона. И обнюхала.

— Маленькой скоро пора кушать. — Картофиэль был не на шутку озабочен. — И маме Розе тоже...

— В таком случае, — решила Судебная голова, в то время как Исполнительная с Законодательной наперебой сюсю-

кали с и не думавшим бояться жеребенком, — имеет смысл использовать освободившееся от поисков улетевших время для пикника. За? Против? Воздержавшиеся?

— Принято. — Исполнительная голова приостановила сюсюканье и закрыла глаза, дабы связаться с гномами обслуживания и отдать соответствующие распоряжения.

— Спасибо, милорд Тритий. — Принцесса сделала книксен и с неожиданным любопытством добавила: — Милорд Гамлет говорил, что в ваших владениях пейзане угощают гостей иными напитками и поют иные песни.

— Нам претит необработанный фольклор, — подтвердила правоту мага Исполнительная голова, — что до напитков, то вам заказан подлинный «Байкал» из страны, которую они потеряли. Теперь это огромная редкость, но у нас некоторый запас имеется.

Поблагодарить принцесса не успела, равно как и сказать, что Дон Проходимес пьет галльскую чачу.

— Я возмущен, — привычно раздалось позади, — я весь в негодованье,

Моя невеста, чудо чистоты,
Готова пить кошмарные напитки.
И где мое имущество родное,
Что я доверил вам оберегать?

— Ваша жаба по вашей же вине взорвалась, — сухо сказал маг, — нанеся хозяину помещения ущерб, который вам следует возместить.

— Я обоснованно и аргументированно отвергаю эти инсинации, — перешел на сухую прозу Яготелло, — поскольку истинным виновником инцидента, повлекшего за собой взрыв, является...

Мы не будем повторять аргументы принца, поскольку они широко применяются в самых разных мирах, к тому же их не слушал никто, кроме Судебной головы, да и та отвлеклась, чтобы попросить у Дона Проходимеса автограф.

— Видите ли, — немножко смущенно объяснила она, — мы собираем сувениры, так или иначе связанные с различного рода Георгиями, а вы все-таки немножко Хорхе.

— Я по натуре не драконоборец, — засмеялся дон Прододимес, но подпись поставил. — Вот с вашей жабой я было поговорил...

— Это было бы принципиальной ошибкой, — сообщила Законодательная голова. — Вы нам крайне симпатичны, поэтому запомните: никогда и ни при каких обстоятельствах не вступайте в переговоры с Мировой Жабой и ее доверенными лицами...

Тут мы на всякий случай отметим, что, по имеющимся данным, Мировая Жаба действует исподтишка, нашептывая человеку, гоблину, гному, эльфу либо же магу, что ему чего-то не хватает потому, что этим «чем-то» обладает кто-то другой. Если человек, гоблин, гном, эльф или же маг поддался — все! К нему тут же прикрепляется одна из малых вспомогательных жаб и принимается по капле выдливать душу. Жаба давит, пока не освободится достаточный объем, после чего заполняет оный объем собой, попутно растворяя и впитывая остатки души. И ходят жабоудавленники средь людей, полагая себя людьми, те же, кто с ними рядом, не догадываются, что это не их родичи, друзья, соседи, знакомые, а малые воплощения Великой Жабы.

По странному куризу природы драконство жабы эманации практически не воспринимает. Возможно, причина кроется в том, что ежели у дракона чего-то нет, то он либо сам это «что-то» добывает, либо пребывает в уверенности, что означенное «что-то» ему просто без надобности, но вернемся к нашему повествованию.

Гномы обслуживания в сжатые сроки доставили к месту будущего пикника (окруженная молодыми сосновыми, кустами рябинника рябинолистного и шиповника целебного поляна) все необходимое, включая питание для плотоядных лошадей и имущество Яготелло. Здесь, правда, произошла накладка, так как принц пытался утверждать, что сдавал на хранение три запряженные крепкими пони мышастой масти тележки, однако недоразумение удалось разрешить, и мероприятие объявили открытым.

После прочувствованной триединой речи хозяина подали закуски, а на середину поляны выбежала толстая пожилая поселянка. Перепетую очень удивило отсутствие

крынки с молоком и накрахмаленного чепца, вместо которого был венок из полевых цветов. В кустах грустно и нежно вздохнуло что-то басовитое, известное нам как виолончель. Поселянка без крынки тяжело подпрыгнула, прижала руку к груди и громко запела о том, как она юна, неопытна и шаловлива. Через семь с половиной минут из кустов рябинника рябинолистного выбрался кругленький человечек в зеленой охотничьей шляпе с фазаным пером и сообщил о своей любви к природе и о том, как он заблудился. Через шесть минут заблудившийся увидел пожилую поселянку без крынки и выразил удивление ее юной красотой; поселянка в ответ восхитилась красотой неизвестного юноши, после чего они запели вдвоем.

Перпетуя поняла, что другой возможности поговорить с глазу на глаз может и не представиться, и тихонько прокрались к разлегшемуся на траве дону Проходимесу. Дон Проходимес улыбнулся, приоткрыл один глаз и быстро сел.

— Я думал, это Розочка, — шепотом объяснил он. — Моя леди, вы любите оперу?

Перпетуя чуть было не призналась, что любит отнюдь не какую-то там оперу, но сдержалась и перешла к делу.

— Вы два раза меня спасли, — с легким волнением начала дева, — в Разбойничьем Лесу и в Жмурдии, а пурийская принцесса может отдать руку лишь своему спасителю, то есть вам.

Блондин задумчиво молчал, и дева отважно добавила:

— Кроме того, мы ехали на одном коне, и вы расшнуровали мой корсет.

— Хорош бы я был, — возмутился дон Проходимес, — не оказав первую помощь человеку в обмороке!

— Но вы оказали!

— Я привык. Моя леди, я с удручающим постоянством спасаю дев и дам. Почему так выходит, не знаю — видимо, дело в дорогах, которые нас выбирают. Увы, я один, спасенных незамужних особ много, а непройденных дорог и несделанных ошибок еще больше. Конечно, если б я был султан...

— Вы еще и не байрон, — вспомнила слова Моргенштерна Перпетуя. — Мне говорили, но ведь дороги можно проходить вместе. Как прошлой ночью...

— Послушайте-ка, — внезапно велел блондин, и принцесса честно вслушалась. Человек в зеленой шляпе уговаривал поселянку без крынки ехать в край далекий, та отказывалась, но как-то неискренне.

— Она поедет, — подтвердил подозрения принцессы дон Проходимес, — и утопится, потому что в краю далеком у него есть жена и... не только.

— Но у вас же ее нет!

— Нет, но топятся не только из-за жен. Вы, моя леди, очень домашняя, а я должен надышаться пылью и туманами за отца и старшего брата. Мне не унаться, вам не одичать, поверьте, лучше вспоминать с нежностью, чем смотреть с ненавистью...

Именно об этом Моргенштерн и предупреждал. Принцесса вздохнула и пропустила, как поселянка бросила венок в кусты и попала в эльфа, но заметила, как человек в зеленой шляпе встал на одно колено и поморщился. Наверное, ему попалась шишка.

— До свидания, — тихо сказала принцесса.

— Погодите, — поморщился блондин. — Моя леди, я повидал всяких женихов, но ваш — нечто запредельное, лучше от него избавиться прямо сейчас. Давайте я вам помогу, мне нетрудно, зато вы потом составите счастье кого-нибудь симпатичного.

— Спасибо, милорд. — Перпетуя сделала книксен. — Пурийские принцессы избавляются от нежелательных женихов сами.

— Если у вас не выйдет, — дон Проходимес вновь улегся на траву, — не стесняйтесь.

— Я — пурийская принцесса, — договорить дева не рискнула, потому что к глазам подступили слезы, а плакать перед подозрительными блондинами неприлично.

Перпетуя повернулась и быстро — спасибо бабулечкенным туфлям — помчалась куда глядят глаза. В таком состоянии девы могут здайти очень далеко, но принцессе повезло, она почти сразу налетела на что-то чешуйчатое, оказавшееся задней частью дракона, уклоняющегося от созерцания им же самим затеянного зрелица, но тут же обернувшегося левой головой.

— Вы не любите оперу? — удивилась голова.

— А кто это? — пробормотала принцесса, внезапно осознав, что драконы прекрасно обеспечены и при желании могут занять видное положение в обществе.

— Опера, — информировала вторая голова, обернувшаяся вслед за первой, — род музыкально-драматического произведения, основанный на синтезе слова, сценического действия и музыки.

— Я не люблю оперу, — с ходу решила принцесса. — Как может нравиться, когда в краю далеком топятся? Милорд Тритий, в прошлый раз вы просили моей руки. Я согласна... как вы и хотели... в следующий вторник.

— Непредвиденно, — последняя голова тоже обернулась, так что теперь на деву смотрели все три. — Гамлет, друг наш, вы подобного не предусмотрели.

— После взрыва жабы события развивались неконтролируемо. — Маг огорченно развел руками. — Милая, я вынужден просить у тебя прощения. Старина Тритий сделал тебе предложение по моему совету, в связи с чрезвычайной ситуацией и будучи уверен в твоем отказе. К сожалению, мы не нашли другого способа закрыть прорыв... Ты ведь заметила, что я следил за кустами?

— Да.

— Проявление в Жмурдии мутированшего Добра неслучайно, — принялся объяснять маг, хотя принцесса его ни о чем не спросила. — Это был авангард, если б его не удалось отбросить, в пробитую брешь всей своею мощью устремилась бы Мировая Жаба. Добро удалось развоплотить, однако Жаба предусмотрела и такую возможность. Пробойная сила монстра сконцентрировалась в отсеченном хвосте, который оказался способен действовать в автономном режиме. Его целью было найти обитателя нашего мира, максимальноозвучного эманациям Жабы, и, вступив с ним в резонанс, дать проявлению жабы подобие тела. Удайся этот замысел, мы бы оказались в ловушке, ведь единственным известным оружием, способным уничтожить материальное воплощение Жабы, когда оно входит в силу, является драконий пламень. Применение же драконьего пламени, любое, будет использовано лагерем Добра как казус белли, а единственной победившей стороной

в новой войне будет Жаба. Между нами говоря, она и так близка к победе, по крайней мере — над Добром в его нынешнем виде.

— Добро непобедимо, — пробормотала Перпетуя и отодвинулась подальше от мага, который внезапно стал казаться подозрительным. В самом деле, откуда он знает такие вещи?

— Не бойся, милая, — Гамлет улыбнулся, — со мной все в порядке, да и с тобой тоже.

Принцесса не нашлась что ответить, только смотрела на дракона и хлопала глазами. Законодательная голова откашлялась и пояснила:

— Мы не собирались принуждать вас к браку, нашей целью было пробудить в вашем женихе агрессивного собственника, усугубив его мужские амбиции зреющим сокровищем. К этому времени он уже был избран хвостом, каковой, вступив с ним в резонанс, воплотил Жабу. Наш расчет оказался верен — воплощение не устояло перед двойным искушением — завладеть сокровищами и превзойти габаритами дракона. Амбиции пока еще уступали возможностям, в результате чего произошел перегрев жабоэго и самоуничтожение.

— Мир получил передышку, — вздохнула Исполнительная голова, — но вряд ли она будет долгой.

— Следует знать, — подала голос Законодательная, — что параметры воплощения зависят от степени жабоподчиненности резонатора. Мы очень сожалеем, но ваш нареченный практически задушен. Теперь же...

— Теперь же, — подхватили остальные головы, — мы приносим свои глубочайшие извинения за введение в заблуждение на предмет наших матrimониальных намерений. Мы испытываем к вам глубочайшую симпатию и считаем своим долгом оказывать вам посильную помощь и карать ваших обидчиков.

— Кроме дона Проходимеса, — педантично уточнила Судебная голова, — поскольку наша симпатия к нему еще глубже. Нечасто встретишь Георгия, несклонного к бездумному драконоборчеству.

— И не надо! — выпалила принцесса, но потом все-таки сделала книксен. — Благодарю за чудесный вечер, милорд

Третий. Особено за синтез... музыкальный и... драматический. Прошу меня простить, мне надо переговорить с ми-лордом Картофиэлем.

— Только не просите его, гм, жениться, — предостерег маг. — Он, видите ли...

— Я понимаю, — вскинула голову Перпетуя, — он тоже не хочет на мне жениться. Никто не хочет.

— Неудачная формулировка, — отрезала Законодательная голова. — Желания данного эльфа вторичны по причине отсутствия возможностей.

— Видимо, милая, — положительно, этот маг не мог не объяснять! — тебя очень напугал тролль-людоед и ты не-произвольно скорректировала заклятие «Трансформирующего Поцелуя Истинной Принцессы», которое я, будучи лишен возможности напрямую выступить против мутации Добра, делегировал тебе. Ты же подсознательно вспомнила создание травоядное, мирное и исключительно дружелюбное, а именно оставленного у купедонова камня мери-на масти паломино.

Могу лишь приветствовать твой выбор — лошади настолько чисты сердцем, что им не грозит перерождение. Собственно, потому наше сообщество, поняв, что происходит с победившим Добром, и защищило свою магическую суть с помощью «лошадиных» прозвищ, но я что-то болтаю и болтаю... Главное, милая, что предусмотренный заклятием абстрактный эльфийский воитель обрел ряд параметров конкретной лошади.

— Милорд Картофиэль — тролль? — слабым голосом ужаснулась принцесса. — Бурый? Обыкновенный?

— Уже нет, — покачал головой маг. — Картофиэль — уникальный растительноядный добронравный эльф с волосами масти паломино.

— Пер-р-рэзагр-р-узка системы, — объяснил вне всяко-го сомнения подслушивавший козлодой и уточнил: — Полная!

Но его никто не понял.

— Я пойду, — пробормотала принцесса. Маг был прав, выходить замуж за бывшего тролля пурийская принцесса права не имела. — Я пойду...

— Вывод основан на ложных предпосылках, — не согласилась Законодательная голова.

— Женитьба отнюдь не является обязательным фактором для временного совместного проживания, — уточнила Судебная.

— Оставайтесь, — предложила Исполнительная. — Прокормим, оденем, обучим, а потом появится кто-нибудь, кому мы с чистой совестью сможем препоручить...

Отпустить с чистой совестью... Препоручить с чистой совестью... Составить счастье кого-то симпатичного... Сговорились они, что ли?! Купедон, дракон и этот?!

Принцесса вновь бросилась бежать куда глаза глядят, и вновь бег ее был хоть и безумен, но не слишком долг. Деву вынесло на оперную поляну с вытрясающей черное полотенце пейзанкой, которая как раз собиралась топиться. В кустах неподалеку от принцессы ждал круглый человек, сменивший зеленую шляпу на корону, а дальше, под молодой сосновой, бывший тролль Картофиэль гладил Розочку и о чем-то шептался с доном Проходимесом. Приближаясь к последнему после всего было совершено неприлично, но Перпетуя ну невыносимо соскучилась по жеребенку. Она просто не могла не подойти, а подойдя, совершенно случайно услышала, что эльф уезжает, но еще не знает куда.

— Я хочу свободы и покоя, — объяснял он, — и еще, чтоб темный дуб склонялся и шумел. И чтобы желуди...

— Отлично, — одобрил дон Проходимес, — я покажу тебе местечко, где все это есть.

— Я буду очень-очень признателен, — заверил эльф, — но в первую очередь мы должны подумать, что станет кушать Розочка.

— Ы! — фыркнул блондин.

Столь вульгарного выкрика принцесса не ожидала даже теперь, хотя, если вдуматься, нижнеморалийцы способны на все!

— Там расплодились вепри Ы, — развел свою мысль блондин, — будет просто прекрасно, если у тварей появится, наконец, ощутимый повод для стенания. Правда, тогда они скорее всего заткнутся... Моя леди? Вы передумали?

— Я вам помешала? — ответила вопросом на вопрос принцесса, хотя этому ее никто вроде бы и не учил.

— Отнюдь нет. — Бессердечный блондин бесчувственно улыбнулся. — Я приглашал нашего друга и его крапчатых красавиц в известный нам с вами лес. После выдворения душегубов там стало гораздо приличней... Никогда не мог понять, как дриады терпят под своим дубом это занудство. Да, Картофиэль, соседки у вас с Розочкой будут просто замечательные.

Перпетуе стало окончательно обидно. Ну и пусть убираются к своим дриадам! Оба!! Немедленно!!! Странное дело, о лесных девах принцесса сохранила исключительно добрые воспоминания, но сама мысль, что они... Что с ними... Нет, тролль масти паломино с косичками причудливого плетения может сидеть на любом дубу с любой дриадой, но *этом...*

Мы не знаем, что стало бы следующим шагом принцессы — третье бегство или же второе рукоприкладство, поскольку деву отвлекли. Заржала Розочка, и из кустов под звуки виолончели выступил представительный мужчина приятной наружности в пенсне и с характерной бородкой. Тут мы должны отметить, что аккомпанемент предназначался бывшему носителю зеленой шляпы, который как раз пал на колени и прижал к губам черное полотенце, после чего заголосил о том, сколь нехорошо с его стороны было погубить дивный дикий цветок.

— Ваше Высочество, — вновь прибывший (к слову сказать, всем музыкальным инструментам он предпочитал рояль) с достоинством поклонился, — я прибыл за вами.

— Милорд, — простонала Перпетуя, — милорд Лоренцо-Феличе!

Да, это был он, гроссмейстер тайных операций, министр покоя и порядка, единственный родной человек, способный понять... И Лоренцо-Феличе немедленно понял, о чем с присущей ему прямотой, и объявил:

— Ваше Высочество, — министр снял и протер пенсне, что у него являлось знаком сочувствия и, не побоимся этого слова, сострадания, — я понимаю все. Идемте.

— Милая, я тебя провожу, — заметил вышедший из противоположных кустов Гамлет. — На всякий случай.

- Разумеется, — заморгал эльф. — Мы все проводим...
- Нет! — Принцесса злобно уставилась в военно-морские глаза. — Не смейте нас провожать!
- Как вам угодно, моя леди, — согласился негодяй, нет, не так: НЕГОДЯЙ. — Желаю вам доброго пути и в его конце счастья.
- Да-да, — подтвердил Картофиэль. — Мы все желаем. И Розочка... Правда, маленькая?
- И тут принцессу прорвало.
- Милорд Гамлет! — прорычала дева.
- Да, милая?
- Когда мы уйдем, вас не затруднит объяснить дону Проходимесу, что такое... что такое, — и принцесса четко, громко и отчаянно произнесла самое неприличное и ужасное из ведомых ей слов: — Эйя-фья-длайе-кюдль?
- Конечно, милая, — заверил маг, но окончательно все запутал козлодой, рухнувший на плечо негодяю и непонятно с какой радости заоравший:
- *Видишь — гибнет, серрррдце гибнет в огнедышащей лаве любви!*
- Козлодойский вопль еще звучал, а поляна с жеребенком, эльфом, магом и негодяем уже исчезла. Пурийская принцесса Перпетуя в сиреневом, расшитом мелким жемчугом платье и сиреневых же туфельках на невысоких каблучках стояла на белой мраморной лестнице родного дворца и плакала навзрыд.
- Глава тринадцатая,
самая короткая и самая последняя,
повествующая о тайне рода Моралесов-и-
Моралесов, окончательном и бесповоротном выборе
принцессы Перпетуи, а также о том,
как выглядит всебесцветный занавес изнутри**

На то, чтобы утрясти осложнения, возникшие между Пурией и Верхней Моралией в результате опоздания Яготелло в Разбойничий Лес и спровоцированных этим опозданием событий, ушло четыре месяца. Привлекать Светлый

арбитраж не потребовалось — верхнеморалийская сторона согласилась с тем, что Его Высочество поставил Ее Высочество и лорда Гвиневра в трудное и крайне неловкое положение. В свою очередь, Пурия признала, что принцесса поступила опрометчиво, согласившись посетить дракона, чем спровоцировала принца на не проработанное должным образом спасение. Обе державы подтвердили свою приверженность принципам победившего Добра и не нашли весомых причин для отказа от запланированного союза. Спасение принцессы сочли состоявшимся, к вопросу драконоборчества и драконососедства решили вернуться в более подходящей с экономической точки зрения ситуации, а поспешное возвращение невесты в родительский дом объяснили простудой. Кою, как известно, лечат теплым молоком, что в присутствии верхнеморалийского жениха становилось невозможным.

Брачный договор серьезных изменений не претерпел, зато был полностью переписан сценарий передачи невесты жениху. Во избежание случайностей встречу нареченных перенесли на пурийско-верхнеморалийскую границу к знаменитым Белым Вратам, куда принцессу доставляла пурийская сторона. Страдающая об исчезнувшем спасителе дева замечала из окна кареты куст расцветших белых хризантем и изъяляла желание лично сорвать вобравший в себя всю горечь разлуки цветок. У куста принцесса случайно встречала пропо-ведника, который открывал ей роковую тайну. Дева выражала готовность бросить вызов судьбе и воссоединиться с возлюбленным, какой бы рок над ним ни тяготел, после чего появившийся из хризантем спаситель вводил отважную деву в Белые Врата, о которых следует сказать особо.

Это блестательное сооружение возникло тогда же, когда начались муки с молоком и радости с отсутствием насекомых. Абсолютно белое, оно является единственным местом, где чужеземец может переступить границу Высокой Морали и то, если его введет местный уроженец. Проникнуть в эту страну иным путем невозможно, поскольку она отвергает, отторгает и отвращает тех, чей моральный уровень по шкале высокоученных братьев Си-

нуса и Косинуса ниже единицы. Однако поспешим к кусту хризантем...

Точно в назначенный срок принцесса Перпетуя отпустила четверых одетых в розовое новых пажей, несших шлейф нового же белого прогулочного платья, и протянула руку к цветку. Раздались звуки волынки, и перед девой предстал седовласый старец в одеждах столь светло-серых, что их можно было бы охарактеризовать как белые.

— Кто вы? — заученно спросила Перпетуя, равнодушно отметив, что проппо-ведник одет как маг и у него под мышкой нет тома Вед.

— Ваше Высочество, — старец доверительно понизил голос, — мое имя — Мерлин, и я поступаю против всяческих правил, однако почитаю своим долгом объяснить вам ряд вещей. Вы, несомненно, уже поняли, что наследник Высокой Моралии не способен стать предметом девических грез, однако его вины в этом нет. Эту фамилию преследует рок, нанося один предательский удар за другим. Я еще узнаю, кто позаботился о том, чтобы кортеж принца стал добычей физиогномордцев, и кто подстроил дальнейшую череду унижающих его человеческое, мужское и августейшее достоинство событий.

— Жаба, — равнодушно объяснила принцесса, — Мировая Жаба...

— Может быть, — недовольно поморщился Мерлин, — а может и не быть. Особенno если сопоставить злоключения его высочества и появление на вашем пути некоего более чем подозрительного блондина, однако не будем об этом! Ваше Высочество, я доверяю вам тайну.

— Я сохраню ее, — все так же равнодушно пообещала Перпетуя.

— Женщины не умеют молчать, но у меня нет выбора. Слушайте. Один мой друг, тоже маг, прожил свою, очень долгую по людским меркам, жизнь в абсолютной моральной чистоте и научных занятиях, но на склоне лет влюбился. Испытав всю низость женского коварства и так и не утолив свою страсть, маг оставил ученые занятия и в поисках забвения занял место воспитателя одного из первых вельмож некоего королевства. Мальчик рано осиротел, и мой друг

заменил ему родителей. Он очень привязался к воспитаннику и возлагал на него большие надежды, но природа взяла свое. Юный граф, ему не было и тридцати, встретил девицу, по его собственным словам, прекрасную, как сама любовь. Негодяйка не просто нравилась, она опьяняла, и воспитанный в строгой нравственности юноша оказался беззащитен. Отринув и приличия, и советы своего наставника, он женился на безродной бесприданнице, но затем у него открылись глаза. Граф понял, и страшно понял, что отдал имя, душу и честь ужасному созданию, лишенному даже намека на нравственность. Мальчик пришел в неистовство, он совершенно разорвал платье на предательнице и повесил ее на придорожном дереве. В прежние времена подобный поступок вызвал бы восхищение, но мир переменился, и во многих странах — к счастью, Пурия не из их числа — за нравственность наказывают, как за преступления.

Положение графа было тяжелым, но воспитатель своего питомца не оставил. Тело графини исчезло, а у графа имелся побочный брат, испытывавший позорную тягу к спиртному и военной службе. Маг наслал на родственников, друзей и соседей ученика легкое помрачение, и те приняли вступившего под чужим именем в королевскую охрану пьяницу за решившего порвать с прошлым графа. Труднее было найти место для человека столь выдающейся добродетели, и тут маг вспомнил о Верхней Моралии, самой судьбой предназначенной для того, чтобы принять его ученика. Бывший граф, приняв имя Моралеса-и-Моралеса, сделался королем, подняв нравственность своих подданных на недосягаемую высоту, но судьба подготовила ему новый удар. Он узнал, что его жена не только жива, но и сожительствует с неким лордом, ничего не подозревающим о ее прошлом.

Самым же страшным было то, что Верхняя Моралия не могла обрести законного наследника, ведь перед лицом морали король был женат, а двоеженство является самой отвратительной, неприличной и недопустимой вещью в мире.

— Эйяфьядлайёкюдль! — вскричала Перпетуя, и в ее голосе прозвучало полноценное осуждение. Бабушка не-

годяя была негодяйкой, и если б ее как следует повесили, по дорогам бы не разъезжали подозрительные блондины... И не спасали, когда их никто не просит, потому что... потому что... лучше бы ее съел тролль... Бурый! Обыкновенный! А теперь у тролля косички и лошадки, у дона Проходимеса — Моргенштерн с дриадами, а она... Она будет другому отдана, вот прямо сейчас и будет...

— У вас неожиданные, но яркие ассоциации, — маг выглядел удивленным, но явно довольным, — и вы нетерпимы к разврату. Верхней Моралии нужна именно такая королева, однако слушайте дальше. Король через надежных людей воззвал к якобы мужу своей жены. Увы, его надежды не оправдались: обезумевший от страсти глупец и не подумал восстановить справедливость и покарать порок. Пришлось вмешаться учителю, однако злодейка вновь бесследно исчезла. Все, чем маг смог помочь своему ученику, — это посыпать ему белоснежных, приносящих наследников аистов. Увы, либо в заклятие вкрадась неточность, либо, что гораздо вернее, его каким-то образом смогла исказить коварная графиня. В Верхней Моралии не стало молока и многих видов насекомых, а дарованные аистами принцы и принцессы, в полной мере унаследовав высокую нравственность основателя династии, обладают неказистой внешностью. Последнее обстоятельство дает злым языкам повод утверждать, что Моралесы-и-Моралесы отрицают разврат только из-за невозможности предаться таковому. Но брак с пурпурной принцессой положит этому конец.

— Да, — все еще кипя, подтвердила принцесса.

— Тогда в добрый путь, и помните, вам не о чем жалеть! Не о чем. Не о чем...

— Не о чем, — повторила принцесса и внезапно увидела то, о чем пурпурные принцессы не жалеют. Вечереет, загораются звезды, гномы обслуживания собирают на стол. Законодательная и Судебная головы Трития в ожидании ужина беседуют с Гамлетом о проппо-ведниках и проппо-гандистах, Исполнительная дочитывает про утреннюю Каму, эльф Картофиэль журит расшалившуюся Розочку, а дон Проходимес валяется на спине рядом с уютно свернувшимся Моргенштерном и жует травинку. В краю дале-

ком ему не нужен никто. Негодяй! Какой же он все-таки негодяй...

— Я готова! — резко бросила Перпетуя и поняла, что место мага уже занял Яготелло с хризантемой, а в шлейф вцепились успевшие вернуться пажи. Жених что-то говорил, его волосики топорщились, а нос дергался. Он не станет дарить ей цветов без должного повода, облысеет и потеряет эту, как ее... Ну и пусть! Зато в роду Моралесов-и-Моралесов нет эйфъядлайёкюдлей! Это очень, очень достойная партия. Она станет королевой Верхней Моралии, ее все будут уважать, а дон Проходимес умрет где-нибудь в канаве. Или утонет. Или подхватит свинку, и ему будет некому подать стакан воды, потому что ни Моргенштерна, ни гнедого за водой не пошлешь, а козлодой его бросит, бросит, бросит!!!

Ее Высочество Перпетуя Пурийская не заметила, как домчалась до врат. Что-то торжественно звяло, вспыхнула надпись: «Скажи «Нет разврату!» и входи!»

Так просто! И потом его действительно нет и не будет. Не будет вообще ничего! Все пропало!

— Дет разврату, — всхлипнула принцесса, скособочиваясь, дабы опереться на руку венценосного жениха. — Дет!

Врата дохнули серым, как мышь, водородом и величественно распахнулись. Раздались звуки хорала, дорогу заступили долговязые моралиссимусы в белоснежных ливреях и головных уборах, напоминающих аистиные клювы. За их спинами дрожал и клубился всебесцветный занавес.

— Разврату — нет! — выщелкивали моралиссимусы. — Мораль! Мораль! Мораль!

— Что превыше всего? — гаркнула парящая перед занавесом необъятная тетка в белом и с белым же хлыстом. Вдовствующая королева, чей моральный уровень был столь высок, что земля ее не носила уже лет восемь.

— Бораль, — прошептала Перпетуя, и розовых пажей сменили белые, а всебесцветный занавес величественно пополз вверх.

— Что оправдывает все?

— Бораль, — сказала дева, и моралиссимусы расступились, после чего стала видна всебесцветная дорожка, ве-

дущая к Высокому Моральному обелиску, точной копии того, что в Жмурдии показался принцессе неприличным. Что ж, значит, она ошибалась и в этом.

— Громче, — потребовала королева-мать. — Отчетливей. Принципиальней. Бескompromissней.

— Бораль! — заорала принцесса, вступая на ведущую к обелиску всебесцветную дорожку. — Борале-Боралисимо!!!

— Дуууура, — раздалось с небес и сзади, но Перпетя так и не поняла, был ли то дракон, козлодой Йорик, ветер или же тот самый Глас Вопиющий, про который слышали все, но которого лично не слышал никто. Принцесса обернулась, однако занавес уже вернулся на прежнее место, и на нем медленно проступала какая-то надпись. Перпетя задержалась, в глубине души надеясь увидеть «Скажи «Разврату — да» и выходи», но во всебесцветном мареве клубилось: «Выходъ восъпърещенъ!»

На сей скорбной, но высокоторжественной и высоко-моральной ноте нам бы следовало закончить свое повествование, однако дальнейшее развитие событий вынуждает добавить

Эпилог,

из коего явственно следует, что бесповоротность и окончательность могут таковыми лишь казаться

Видение, посетившее Перпетью у куста хризантем, было в целом правдивым, но в деталях с истиной расходилось.

На самом деле, когда принцессе сообщали роковую тайну, подросшая Розочка, потряхивая гривкой, вовсю мусолила вепрево колено, эльф и дриады умилялись, а дон Проходимес нигде не валялся, ничего не жевал и вообще находился в другом месте, а именно в гостях у дракона. Гномы только что подали кофе с галльской чачей, под которую так приятно теоретизировать и обобщать. Что до Моргенштерна, то старик свернулся клубком у камина и тихонько напевал «Штэйт а бохэр, штэйт ун трахт...» Разговор о сущности Добра его не занимал.

— Что мы знаем о Добре? — вопрошала Законодательная голова.

— *Наришэр бөхэр, вос дарфсту фрэйгн?*¹ — мурлыкал Моршенштерн.

— Ничего, — признавала свою некомпетентность Исполнительная голова.

— И то не все, — уточняла Судебная.

— Тем не менее это уже кое-что, — не соглашался тоже заглянувший к старине Тритио Гамлет.

— Отмечаем, что о Добре мы знаем кое-что, — фиксировала Законодательная.

Ученую беседу прервал пронзивший пространство и слегка время Йорик. Козлодой хлопнулся на стол между магом и драконом, проорав: «И пошла она к нему, как в тюррьму!»

Выслушав козлодоя, Тритий в три глотки произнес слово, разбудившее в одном из миров вулкан с труднопроизносимым именем, Гамлет торопливо рас прощался и исчез, дон Проходимес от души хлебнул чачи, а от камина донеслось:

— *А нары кэн бэйнкен, вэйнэн он трэрн!*²

Спустя несколько часов волшебное зеркало пурийских королей зафиксировало, как некто, похожий на Гамлета Пегого, отвешивает полноценную оплеуху кому-то, похожему на Мерлина Сивого. Отметим, что побитый минут на пять лишился светло-серых одежд и благородных седин, съежился, обзавелся неприличным носом и обрел подозрительное сходство с представителями правящей династии Высокой Моралии. Туда мы и направимся.

В тот миг, когда длань Гамлета достигла лица Мерлина, пребывающая в целомудренном предсвадебном одиночестве Перпетуя услышала странный скрип. Затем крышка огромного, украшенного причудливой резьбой сундука белого дерева начала медленно и страшно приподниматься. Принцесса сжалась в комок на огромной, застеленной множеством перин и одеял кровати — открываящийся

¹ Дурачок, зачем ты спрашиваешь?

² Сердце может тосковать, плакать без слёз!

сундук был жуток. Куда страшней разбойников, бездны и тем более дракона. Ну почему, почему она временно не осталась в пещере?!

Черная щель становилась все шире, усиливался и скрип; Перпетуя, не выдержав, юркнула с головой под стеганое белое одеяло и там вспомнила, что пурийские принцессы в случае опасности лишаются чувств, визжат, хранят гордое молчание, но не закапываются!

Дева поспешила выбраться наружу и не поверила собственным глазам. В раскрытом сундуке стояла молодая блондинка в чем-то невесомом, волнующем черном, ажурном... Это было прекра... то есть, конечно же, ужасно и непристойно. Настолько ужасно, что Перпетуя утратила (временно) дар речи.

— Ваше Высочество, — непонятная красавица смахнула со щеки прозрачную, как росинка, слезку и легко выпрыгнула из белого ящика, — радость-то какая!..

Опытный мужчина счел бы, что гостье лет двадцать шесть — двадцать семь, и сел бы в лужу. Перпетуя опытом не обладала, она просто села и захлопала глазами.

— Ой, — мяукнула принцесса, — бабулеч... Ой! Вы... вы же не знаете!

— Да знаю я все, — махнула прелестной ручкой бывшая бабулечка. — Что мое платьице видит и слышит, то и я знаю.

— Ой! Платье... — Перпетуя соскочила с кровати и бросилась к сундуку — лежавшее сверху сиреневое, расшитое мелким жемчугом платье исчезло. Она бы тоже исчезла, если б могла, только никому она не нужна, никому...

— А ну-ка прекрати, — прикрикнула... как же ее называть? — Да, зови меня Шарлотта. Под этим имечком мне повезло встретить в самом деле хорошего человека. Тебе тоже когда-нибудь повезет, если не скучсишься.

— Не... что? — растерялась дева, — что вы сказали?!

— Я сказала «если не скучсишься», — весело повторила Шарлотта, — не сквасишься, не скиснешь, ну и так далее... Странно, моего внука ты как-то понимала.

— Внука? — То, что у бабулечки Шарлотты есть голубоглазый внук, принцесса помнила. Как и то, что добрый

юноша перенес ее через речку, хотел врезать жениху и привел к деду. Ну и к бабке, само собой. — Он как раз понятно говорил.

— Я про другого, — объяснила красавица, накручивая на палец белокурый локон. — Про Хуана-Хосе.

Вот теперь все стало на свои места! Сохраненные вне всяких сомнений ценой чудовищных преступлений красота и молодость, колдовские вещи, непонятные слова, появление в страшном сундуке...

— Графиня! — Принцесса в ужасе отскочила от преступницы. — Графиня...

— Да, — подмигнула та, забираясь с ногами (!) на кресло. — Что поделать, глупа была и с активной жизненной позицией, вот и вляпалась... Хотя граф в те поры был хорош! Брюнет, глаза карие, лицо овальное, чистое, нос — прямой, уши небольшие, аккуратные. Одевался со вкусом, стихи читал, на одно колено становился и все так благородно, элегантно... Много ли в шестнадцать нашей сестре надо, особенно если всякой ерунды начитаться, а я еще росла в пещере.

— Вы мстите, — пурпурные принцессы не позволяют преступницам себя сбивать с толку и заморачивать. — Вы — проклятие рода Моралесов, а меня хотите сделать своим орудием!

— Я хочу, чтоб тут молоко не кисло! У меня-то все устаканилось, лучше не придумаешь, а королевство двое придурков, почитай, загубили, причем в некотором роде из-за меня. Нет-нет, да и вспомнишь. Ужасно неприятно!

— А что? — В Перпетуе подняла голову любопытно... природная любознательность. — Что вы совершили? Такое преступное, что...

— Что меня повесили? — весело подсказала Шарлотта, и Перпетуя окончательно уверилась, что дон Проходимес с ужасным созданием в близком родстве. — Я захотела порадовать любимого мужа и вышла к нему вот в этом вот самом бельишке.

— И... все?!

— Все.

— Но... Это же... красиво!

— Именно. Но этот мери... Мерлин втёмяшил моему благоверному, что женская красота по определению аморальна, а те, кто ее намеренно усугубляют, исчадия и беспричины. Я возразила, между прочем, вполне аргументированно, со ссылками на лучшие умы человечества и драконства, а этот.. граф вывалил на меня кучу злобненькой чуши. Тут-то до меня и дошло, с кем я связалась. Короче, когда муженек принял меня вешать, я, хоть и кипела, поняла, что все к лучшему. И что по дороге рано или поздно проедет кто-нибудь приличный.

— Сэр Джедай?

— Тогда он был еще падаваном. Как же мы с ним ржали над напыщенными болванами! Потом я встретила своего лорда.

— А как же, — произносить неприличное слово принцессы в этот раз не рискнула, — как же... Ваш муж был жив, а вы — с другим!

— Вообще-то надо было его пристукнуть, — признала Шарлотта, — но мне было неудобно.

— Но он же вас повесил!

— Мне это повредить не могло. Понимаешь, пристукнуть, когда ты сильнее, всегда неудобно... О, сюда плывут! Учи, я подслушиваю.

Как вместо Шарлотты в кресле получилось платьице в сундуке, Перпетуя не поняла. Она как раз размышляла об этом, когда в спальню вплыла королева-мать, сменившая белый церемониальный туалет на домашний аналогичного цвета.

— Мы понимаем ваше волнение, — изрекла она, повисая над ковром с аистами, — и потому не ставим вам на вид, а лишь предупреждаем. Зажженный ночью без веской причины огонь способствует возникновению развратных дум у зажегшего и может быть неверно истолкован теми, кто его случайно увидит. Вы нас поняли?

Все, что пришло в голову принцессе, — это сделать выручивший ее при первой встрече с орками обычновенными книксен. Это помогло — Виктория-Валерия не стала развивать тему разврата иочных огней.

— Мы видим, — лицо Ея, именно Ея, Величества выразило столь совершенное осуждение, что Перпетуя невольно

восхитилась. Будь пурийской принцессе ведома зависть, она бы и ее испытала, но чего не было, того не было, — ваши мысли заняты платьями, что по определению подрывает мораль. Выбирая между соблюдением традиции и отторжением нетрадиционного платья, которое было вами надето, мы хотим на это надеяться, в связи с необратимой порчей приличествующего невесте нашего сына туалета, мы избрали традицию. Одежда, в коей вы были спасены от дракона, будет храниться в вашем будуаре, однако мы не считаем возможным помещать ее в открытую витрину. Вы поняли?

Принцесса сделала еще один книксен и непонятно с чего задумалась о том, как приятно иногда стать зверолошадью. В связи с нахлынувшими мечтами дева пропустила мимо ушей большую часть августейших назиданий, во время коих тем не менее уверенно сделала одиннадцать книксенов. Наконец Валерия-Виктория возвысила голос.

— Вы подаете определенные надежды, — объявила она, — поскольку вдумчиво воспринимаете справедливую критику. Думаю, не позднее чем через двенадцать, в крайнем случае четырнадцать лет вас можно будет допустить к ритуалу призыва аиста. Прежде же, чем вас покинуть, мы напоминаем вам, что Верхняя Моралия имеет особое мнение в отношении свиты супруги наследника и формирует оную исключительно из должным образом подготовленных моралисс. Это в ваших же интересах, поскольку фрейлины и придворные дамы даже в странах победившего Добра регулярно совершают преступления против нравственности. Сопроводите меня, откройте дверь и потушите свет.

Когда Перпетуя вернулась в спальню, там не было ни платьица, ни Шарлотты. Почти всю комнату занимал дракон цвета морской войны. Он был заметно меньше старины Трития, но больше и сундука, и даже кровати со всеми ее перинами. Как и когда он влез, куда делась мебель, дева не поняла. Дракон взмахнул крыльями, однако ничего не взлетело, не шмякнулось и не всколыхнулось, напротив, вернулась мебель. И Шарлотта.

— Извини, — бросила она, — разозлилась. Куча моральная! А ведь была инфантка как инфантка... По земле ходила,

смеялась, гадала, перед зеркалом вертелась. Талия у дурынды была, никаких корсетов не нужно.

— Королеву заколдовали?! — Перпетуя испугалась не столько за будущую свекровь, сколько за себя.

— Сама она себя заколдовала, — отмахнулась Шарлотта. — Мы пока по старинке классифицируем, а в других мирах самозаколдовывание выделили в отдельную область, даже название придумали. Деградация. Ты когда отсюда убираться думаешь?

Когда?! Перед мысленным взором Перпетуи заклубилась убивающая надежду надпись «Выходъ вострѣщенъ!», но ведь графиня ее не видела!

— Отсюда не уйти, — горько сказала принцесса. — Занавес. Всебесцветный.

— Чушь! — фыркнула, именно фыркнула, гостья. — С моими туфельками выберешься, было бы желание. Всего и делов стукнуть каблуком о каблук и захочет кудато попасть. Только чур по-настоящему захочет.

По-настоящему Перпетуя хотела, как же она хотела! Только в краю далеком пурийская принцесса оказалась не нужна! И в близком тоже... А в Санта-Пуре ее переоденут и отправят назад уже в других туфлях, лягвоядских! А если не назад, то все равно кудато-нибудь, где принцы, пажи, арбитражи и вообще...

— Декуда бде попадать! — прорыдала принцесса. — Декуда! Доба бедя опять... А де доба только жалеют... купедод, дракод, дод Хуад...

— Хуанито славный, — глаза Шарлоты затуманились, — и немного сумасшедший. Весь в меня, какой я из пещеры вылетела! Но ведь главное паршивец понял — тебя нельзя жалеть, так что он тебя еще и от себя спас. Его бы где-то носило, а ты бы по потолку бегала и всякие ужасы придумывала... То убийц, то наяд или огненных дев каких-нибудь.

Перпетуя вспомнила про дриад, покраснела и быстро спросила, куда делся дракон и почему ничего не сломалось.

— Потому что меня тут нет, — объяснила Шарлотта, — я сейчас дома, капусту со свиными ножками тушу. Это очень весело, тушить капусту, а вот смотреть, во что не са-

мая скверная принцесса себя превратила... Тут трансформируешься!

— Так вы... дракон?

— Только по отцу, мама была принцессой, и ей пришло в голову победить дракона. В каком-то смысле ей это удалось. Мне в том же возрасте захотелось большой и чистой любви, меня попытались повесить.

— Наверное, это очень обидно.

— Ничуть, ведь я избавилась от дурака.

— Но... но... — принцесса из последних сил цеплялась за привитые с детства истины, — вы все равно были муж и жена, пока граф не умер. Он ведь умер?

— Не совсем, ведь глупость его живет, только я перестала быть его, когда он поднял на меня руку. Драконы обручальных колец не признают, когда они дают супружескую клятву, у них на плече проступают особые знаки. Они никогда не повторяются, ведь все счастливые пары счастливы по-своему. Эти знаки нельзя стереть, они исчезают сами, когда уходит любовь или кто-то совершаet непростимую пакость, а вот смерти любовь не по зубам. Смотри!

Шарлотта спустила черное кружево, и Перпетуя увидела словно бы окутанную туманом лилию и рядом ромашку.

— Вот они, — негромко сказала дочь дракона. — Лорд и трактирщик... Я любила, я люблю, я не знаю, что придет потом. Что-нибудь будет, и оно тоже станет моим. Так когда ты отсюда уберешься? Или станешь двенадцать лет аиста ждать?

— Аиста? — переспросила принцесса, спускаясь с драконьих небес на землю, которая не носила вдовствующую королеву. — Зачем мне аист?

— Тебе — незачем, — отрезала Шарлотта. — Котенка подходящего я давно добыла и младшему зятю подкинула. Бедняге тогда с полгода оставалось, не больше. Он все понимал и даже завещание сочинил. На первый взгляд — дурацкое, а разобраться, так некоторым королям поучиться б не мешало! Когда три сына, и все разные, главное не напутать, что — кому на пользу пойдет, а что — во вред. Родители частенько на детей не ту жизнь вешают, а те бе-

рут и тащат. С моим старшеньким так и вышло. Нет, король он дельный, кто спорит, только радости никакой, разве что ночами летает иногда.

— Король и умеет летать?!

— Так все потомки драконов до четвертого колена умеют. Дальше как повезет, но твоя малышня всяко полетит...

— В роду пурийских королей драконов не было, — с некоторым сожалением произнесла принцесса. — Я могу нарисовать генеалогическое древо, только... Ох! Я же должна погасить свет!

— Ты должна зажечь свет, который неправильно погасили. Да, в твоем роду драконов нет, но ты можешь выйти за моего внука. Не за Хуанито, за Жанно, ты ему сразу понравилась.

— Когда? — не поняла дева, знаяшая всех неженатых принцев по имени. Жана среди таковых не числилось.

— Когда он тебя через речку пер, потому я тебе платьице и отдала. Уж больно все совпало: чудушко это моральное, Хуанито, а потом и Жанно. Хуанито, тот со своей судьбой в кошки-мышки сам играет, а вы с Жанно уютные, вам кот нужен, ну, так он есть! Чеширский бобтейл, я за него пару алмазных подвесок отвалила, но оно того стоит! С такой улыбкой людоеда охмуришь, не только короля, а твой папа отнюдь не людоед, а для монарха вообще душка.

Да, папа душка. И еще он Авессалом Двунадесятый, и у него светлый арбитраж, выявленный по соседству дракон и куча других сложностей.

— Я не могу сбежать, — принцесса грустно вытащила из сундука сиреневые туфельки, погладила пряжки в виде фиалок и положила себе на колени. — Я — пурийская принцесса, у папы будут сложности, вплоть до введения добросовторительных сил.

— Не бери себе в голову, как говорит новый дружок Хуанито. Страны победившего Добра драконов, как ты могла убедиться, не замечают. Это просто, пока драконы не замечают их, но ведь могут и заметить. Пока ты сидела в Санта-Пуре, Хуанито объезжал нашу родню по папиной линии...

— Он меня все-таки любит, — осенило Перпетую. — Любовью брата и, может быть, еще нежней!

— Любовью кузена, — уточнила дочь дракона и принцессы. — Будущего. Ну, решила?

Перпетую окинула взглядом кровать со множеством перин и одеял, сундук белого дерева, ковер с вытканными аистами и кресло, в котором ждала ответа красавица в черном кружевном белье.

— Я решила, — твердо сказала принцесса, надевая прелестные сиреневые туфельки на устойчивых каблучках.

Ина Голдин

Джинн

За что взяли старого Лом-Али, сперва никто не понял. Приехали, как водится, на «уазике» с самого утра, застучали в калитку, опешившему старику дали с порога в лоб — и в машину. К обеду новость разнеслась по селу. Вдовая Фатима, соседка, раскричалась, мол, в Ханкалу его повезли. Какая Ханкала? Зачем Ханкала? Послушай женщин. Стариk последние дни по земле дохаживает, с него уж и спросу нет. Да и оружия в руки ни в ту, ни в другую войну не брал, плевался только. А все ж таки... в последнее время, и верно, странным стал Лом-Али. Дом этот затеял строить — мол, не он, а племянник, а какие у старика племянники, откуда? А Фатима женщинам давай рассказывать: к нему ночью бородатые спускались, не иначе — с гор, еды попросить — дом-то у Лом-Али в самом конце улицы. А ей, Фатиме, в кухонное окно видно было: выходил кто-то ночью во двор, молодой, высокий, борода вот досюда. Валла, выходил. А только ей, Фатиме, интересно было б знать, кто ж на старика в структуры настучал, у кого ж совести-то хватило...

Навела шороху, одним словом. Собрались люди, пошли к участковому. Участковый вышел — молодой, важный. Хватит кричать, говорит, забрали вашего деда не куда-нибудь, а в Грозный. Джинны у него завелись на старости лет, вот будут теперь выводить, исламскую медицину применять. Сказал и ушел к себе — обедать, что за село, поесть нормально не дадут. Озадаченную толпу оставил у дверей. Вот поди, чего не бывает, скажи им раньше — джинны, так только со смеxу бы покатились. Припомнили старого председателя, Тамерлана Адамовича, коммуниста, тот бы,

услышав про такие дела, всем бы прописал исламской медицины — мало б не показалось.

А только что правда, то правда — в мечеть Лом-Али не ходит. И раньше был не больно верующий, а как сына убили — говорят, и вовсе отрекся от Аллаха. А духи, они смотрят, где черно и пусто, чтоб там и поселиться. Судачили они так чуть не до пяти часов, хуже женщин, честно слово. Потом уж разошлись молиться.

Лом-Али не молился давно, с тех пор как Аслан захромал и упал во дворе. Аслану было шесть, а теперь бы стало... а, что считать. Вместо этого старик начал клясть себя за глупость, щупая потихоньку отбитые ребра. Надо сказать, с ним еще вежливо обошлись: по бокам наваляли, но в общем старость уважили.

То ли еще будет, припомнил он старую песенку. То ли еще будет, ой-ой-ой.

Старик подтянул под себя ноги. Правое колено опять разболелось от сырости. Может, после молитвы явятся — поговорить. А он что им скажет? Что лампу потер?

Лампу он нашел в сарае у двоюродного брата. Старую керосинку. Дом Лом-Али разрушило снарядом, спасибо, Беслан с невесткой к себе жить позвали. Теперь оба на кладбище, а он вот остался... Электричество в тот день пропало — еще днем вдовая Фатима разахалась на весь двор, что вот, холодильник не работает. Вечером мужчины во двор повысыпали — света дома нет, телевизор не включить. Вспоминали: с девяносто четвертого такого не было, когда ребята Гелаева подстанцию подзорвали. Лом-Али тоже на улице поотирался, послушал. Фатима начала домой зазывать — свечи, мол, есть, и на столе горячее — ушел, спрятался. Лампа лежала себе в картонной коробке. Запыленная. Коробку открыл, чихнул — тыху! Пока ходил за тряпкой, подумал: хорошо живем, раз о керосинке так долго не вспоминали. Ну что; поплевал на тряпку, вонючего керосину принес и зажег. А потом вернулся за чем-то в сарай и обомлел.

В углу, прикрываясь темнотой, как одеялом, сидел человек. Голый, худой и бородатый. Напугался Лом-Али, что

греха таить. Хотя ему, старому, казалось бы — чего бояться? Самое страшное пережил.

— Ты, — говорит, — откуда? С гор спустился? А голый отчего?

— Какие тебе горы, добрый человек? Из этой проклятой лампы я явился. Освободил ты меня, теперь тебе служить буду.

Голос — будто из кувшина, тонкий, дребезжащий. Это Лом-Али не понравилось. Раскричался: какая лампа? Что ты мне тут придумываешь, боишься правду сказать?

Парень поднял голову — а в глазах пламя.

— Твоя лампа-то, почтеннейший. Как тебя зовут, добрый человек? Скажи, что мне для тебя исполнить, — тогда поймешь, что правду я говорю.

Старик проворчал:

— Ты бы, что ли, ток в селе наладил.

Тот и рад стараться. Вырвал из бороды волосок, пошептал — и раз — включилась над головой лампочка, телевизор заговорил новостным голосом. Лом-Али в окно посмотрел — по всему селу окна позажигались. А джинн сидит на корточках, весь замурзанный, и ухмыляется.

— А ну тебя, да, — отмахнулся Лом-Али. — Это подстанцию отремонтировали, а ты угадал.

Теперь джинну пришла пора хмуриться.

— Что ж ты меня обижаешь, добрый человек, в силах моих сомневаешься? Скажи, что еще хочешь! Горы с места сдвину, если прикажешь, вот такая моя сила!

— Что ж ты такой сильный, а одеться не смог?

Тот качнул бородой: как скажешь, мол. И глянь — полностью одет. Тут уж Лом-Али испугался не на шутку. Оставил его в сарае, ничего больше говорить не стал. Только чаю принес с бутербродами и ушел, понадеялся, проснется — и этого не будет.

А только глаза его, оранжевые, горящие, никак из памяти не выходили.

Утром встал, в сарай наведался — там! Будто только старика и ждал.

— Что прикажешь, хозяин? Ты меня вчера от своих щедрот ужином угостили, позволь же теперь мне тебе стол накрыть.

И давай. Накрыл — столько всего оказалось на столе, что некоторых блюд старики даже названия не знали. Коробок с одеждой в дом принес — дорогое все, от таких марок, что только в Москве, наверное, и бывают. Хотел в огороде порядок навести — но тут Лом-Али его остановил, что люди потом скажут?

А желание у него было, на самом кончике языка вертеться, но произнести он его не смел.

— А верни мне дом, — сказал он вместо этого.

Отцовский дом, где жили они с хозяйкой, где после ее смерти Лом-Али остался с сыном. Хороший, на совесть построенный, еще дед его возводил, а отец после возвращения из Казахстана пороги обивал, чтоб вернуть его себе. И хозяйке там нравилось. А после прямого попадания снарядом ничего от дома не осталось. Может, будь Асланчик жив, Лом-Али поплевал бы на руки да отстроил, а так — зачем?

А сейчас вот вспомнился тот дом, и окна в сад, и ковры на стенах.

— Твое слово — закон, — сказал джинн и снова дернул волосок. Лом-Али теперь уж жалел, что сказал: возникнет вот так дом из ниоткуда, и как это объяснять?

Но джинн, оказывается, и сам был неглуп. Ничего ниоткуда не возникло; а приехала к полудню в село строительная бригада со стройматериалами и со всеми документами — и подтверждением на собственность земли, и разрешением на строительство, и что там еще бывает. И давай дружно землю вымерять. Люди стеклись, что за дом, чей дом — непонятно. Лом-Али решил — скажу потом, мол, племянник в городе разбогател да решил дядю уважить.

Только от желания этого джинн слегка побледнел и в лампу спать ушел. Оно и спокойнее.

Дом еще не был достроен, а уже напоминал отцовский. И как-то вечером, когда бригада ужинать пошла, старики туда пробрались. А внутри — наваждение какое-то — все уже готово, стоит, как раньше было. Лом-Али прошел по дому — все казалось настоящим, как до войны. Вот телевизор, еще черно-белый, дядя с Украины привез. Хозяйка на-

вострилась сериалы мексиканские по нему смотреть. А вот кофейник старый, мамин еще кофейник — после снаряда пытался Лом-Али его отыскать, а нашел лишь осколки.

От всего этого только сердце больше заломило.

— Что ты смотришь на меня, старик? Я же вижу, что хочешь попросить. Чтоб мертвого на этот свет вернул.

— Не можешь?

— Мочь-то я все могу, только со смертью связываться не хочется. Ты уж выбери, добрый человек, кого-то одного.

Лом-Али про себя знал, что и выбирать не надо. Он горевал по хозяйке, умершей родами, но благодаря бойкому, ясноглазому Аслану скоро утешился. А вот когда Асланчика похоронил — могилу его землей забросал, а рана в душе до сих пор разверстая стоит. Да и маленький был Асланчик, верни его — может, смерть и не заметит...

А потом как-то среди дня прибежала Зейнаб, двоюродного брата внука. Бежит, вся в слезах, платок набок сбился. Что такое?

— Беда у меня, дедушка! Замуж выдавать хотят, а я не пойду, не пойду и все!

Молоком напоил, успокоил. Зейнаб слезы вытерла и рассказала: сватался к ней на днях один из таких, в черной форме. Сам старый, противный, но в семье хвалился: отдайте дочь за меня, горя знать не будет. В мехах ходить станет, на Канары, в Таиланд кататься. У отца если и нашлись слова, так в горле застыли — против черной формы не пойдешь, всей семье плохо будет. Сам плакал и уговаривал: иди, дочка.

— Лом-Али, дедушка! Тебя все уважают, скажи вот, что делать?

Думал, думал старик. Потом еще молока ей налил и пошел за джинном, который опять в сарае прятался. Он был только рад стараться. И через какое-то время мальчишки прибежали, кричат: такой-то в аварии на дороге разбился, видно, пьяный был, не вписался в поворот.

Что ж, кому-то горе, а у Зейнаб глаза просветели, даже спина распрямилась. Только не надолго. После похорон семья погибшего решила виноватых искать, да и нашла. Ре-

шили они, будто Зейнаб аварию подстроила, чтоб замуж не ходить, да не одна, конечно, а с сообщниками. Пришли за девушкой, хорошо, брат дома был. Он ее за руку — и бежать, и прямо в недостроенный новый дом Лом-Али. Приехал спецназ, дом оцепили. По новостям показали вечером: мол, террористы там укрылись, операцию будут проводить.

Заплакал Лом-Али:

— Злой ты, джинн. Что это за подарки? Вот, теперь стрельба будет, смерть будет. Давай сделай теперь так, чтоб они миром разошлись, да?

Джинн с лица спал, но волосок послушно выдral и зашептал. Уже и новости давно кончились, и заговорили о другом, а он все нашептывал себе в бороду. А Лом-Али прислушивался к той стороне, где стояло оцепление. Загремело — вот, вздохнул, и надо было отстраивать...

А утром в магазине рассказывали — когда спецназ в дом ворвался, там никого и не было. Будто испарились. А может, дезу кто-то скормил тому спецназу, новому дому завидовал. Сколько ни спрашивал старик у джинна — куда тот девчонку дел, — так и не признался.

Лом-Али ходил вокруг да около, ходил, да сказал наконец:

— Еще одна просьба у меня есть. Исполнишь? Аслана своего хочу обратно.

Посмотрел старик на джинна — а тот уж иссиня-белый. Ладно, думает, последнее, что прошу, потом скажу — пусть уходит на все четыре стороны.

Тот поглядел печально:

— Твоя воля — моя воля.

Но ничего не случилось.

Только уж совсем вечером в калитку постучали. Открыл Лом-Али — а там стоит высокий парень с рюкзаком, одетый по-городскому. Старик долго его разглядывал, пытаясь понять: кто это, может, из хозяйкиных племянников кто приехал навестить?

А как посмотрел в его глаза ясные — так и понял.

— Аслан... — не выдержал голос, сорвался.

— Что такое, отец? Смотришь на меня, как будто призрака увидел.

Обнял его Лом-Али — так бы и не отпускал больше.

А Аслан смеется:

— Ты меня обнимаешь, дада, будто я с войны приехал, а не с учебы...

Так и вернулся сын Лом-Али домой. И даже не заметил, что дом не тот. А в селе и не удивились, что парень жив. Видно, так джинн все подстроил. Старик его долго благодарили. А тот нахмурился что-то и обратно в лампу залез. Лом-Али бы его оттуда вытащил — да только не до того стало. Пытался сына на работу устроить — а какая тут работа... Надо было плонуть, отправить его в столицу, раз уж ученый, — да только никак не мог старик с ним расстаться. А Аслан по селу ходил, с людьми разговаривал и все мрачней и мрачней становился. И раз пришел Лом-Али домой — а сын его уходить собрался. В горы.

— Куда в горы? — всполошился Лом-Али. — Какие горы, сынок, да ты в своем уме? Ты хоть знаешь, кто по тем горам ходит? Звери, не люди. Не та война сейчас, сын, не надо тебе туда...

— А тут люди разве? Посмотри, что творится, — а никто и пальцем не пошевелит...

И кричал, и умолял старик, и за руки хватал, а только известно: юношу дома удерживать — все равно что огонь упрашивать не гореть. Во второй раз лишился сына Лом-Али, да только теперь было еще горше. На джинна он и смотреть не мог больше.

А через несколько дней и за самим стариком приехали. Сидя в «уазике», он гадал, куда его везут. Оказалось — в грозненский участок...

Вечером пришел допрашивать большой начальник. Вежливый, морда лоснится, звездочки на погонах светятся. Лом-Али того начальника знал, когда он еще пешком под стол ходил. Тот и об этом вспомнил:

— Дада, — говорит, — что происходит? Что за вещи о тебе в селе рассказывают? Говорят, дом ты себе решил построить...

— Решить-то решил, а только вы опять его с землей сровняли...

— А другие говорят: Зейнаб молоденькую сглазил, чтоб другому не досталась. Не стыдно в твои-то годы? С ведьмовством связался? Сам же знаешь — это теперь дело подсудное. И на дом откуда у тебя деньги? Племянника у тебя нет никакого, я же проверял... Кругом ты одинокий, дада, как тебя не пожалеть? Давай договоримся — ты мне скажешь, где деньги брал, а я тебя отпущу — к чему твои седины позорить?

Смотрел-смотрел на него Лом-Али. А потом кивнул на лампу, что на столе стояла.

— Потри ее как следует. Выйдет джинн, с ним и будешь договариваться.

Начальник пятнами пошел.

— Значит, вот ты как. А я-то с тобой по-доброму. Ну учти, я и по-другому могу...

На счастье Лом-Али, дверь распахнулась:

— В мэрию требуют нашего одержимого.

Так его и ввели в главный зал. Провели между креслами: с одной стороны старики сидят, с другой — муллы, те, что джиннов изгоняют.

— Вот, — говорят, — Лом-Али Мусаев, одержимый джиннами.

И поставили его посреди зала, будто пугало какое. Сам старик наказал себе: про джинна больше не болтать. Сам он хорошего вроде хотел — и такое получилось. А если кто-то вроде того начальника лампу старую заполучит — что это будет?

Молчал Лом-Али, пока старейшины его стыдили и пока муллы, выступив, суры читали. Только на одну секунду не выдержал он, подумал: да хоть бы мне сквозь землю провалиться, чем так позориться.

И только подумал — а уже сидит на дне колодца. По стенкам мокрицы ползают, а напротив джинн сидит.

— Что ж ты мне устроил, добрый человек? Я тебя ждал...
Хоть маленького желания ждал, а ты взял и молчишь. Зачем
так пугаешь, благодетель?

— Домой хочу, — только и сказал Лом-Али.

Оказавшись дома, первым делом пошел в сарай за лам-
пой — да и разбил ее. А то, не ровен час, с обыском на-
грянут.

— Ты, — говорит, — джинн, иди куда глаза глядят. Только
структурам на глаза не попадайся. А лучше — никому не
попадайся.

— А ты что будешь делать, добрый человек?

— Жить буду, как и жил. А что еще?

— Мне откуда знать, — говорит джинн. — А только, мо-
жет, ты, старик, не те желания загадывал.

Так сказал и пошел по дороге. Лом-Али его окликнул:

— Куда ты пойдешь?

Тот не обернулся, только плечами пожал.

— Аслана моего береги, — беспомощно сказал старик, —
не дай своей совести изменить.

— Вот так отпустил, — проворчал джинн себе под нос, —
вот так волю дал, благодетель.

Больше с тех пор ничего подозрительного в селе не слу-
чалось. Лом-Али вернулся в братний дом. Его собственный
так лопухами и зарос. А только иногда рассказывают в се-
ле, что Аслан поглядел на ваххабитов, плонул и ушел от
них. Хотели парня проучить, да только он уже границу
перешел — а как, на какие деньги — никто не знает. А за
границей встретился с Зейнаб и так ее полюбил, что тут
и женился, и убежище в Европе они уже вместе получали.
Да только рассказывает это все вдовая Фатима, а ей, валла,
веры никакой.

О'Рэйн

Долгий день в «Эдеме»

Начало

Казалось, что отправиться с Келли в маленькое путешествие напоследок — хорошая, годная затея.

Можно было, конечно, сказать «прости-прощай, на данном этапе моей жизни мне важно быть свободным» и не выезжать из Саутгемптона.

Ну или как-то так сказать, у Ильи был целый список подходящих фраз в блокноте, в трех закладках — «начало», «углубление», «разрыв». У «разрыва» были подкатегории «нежный» и «жоский!».

Фразы Илья выписывал из книжек, из Интернета, из фильмов. Писал тонким карандашом меленько, как Гумберт Гумберт, потому что немного стыдился этой своей продуманной подготовки к жизненным моментам, подразумевавшим глубокие и искренние душевые движения, а не цитаты из «Плейбоя» и с пикаперских сайтов.

Келли была особенной, очень — его первой женщиной. Для Келли он решил смягчить травматичность разрыва широким жестом — мини-брейк в Корнуолле, день в проекте «Эдем», о котором она ему все уши прожужжала. Растения со всего мира, зеленая энергия, дзен, гринпис.

Илье виделось так — она заезжает за ним утром пораньше, на своей дурацкой желтой машинке с пластиковыми ресницами на фарах. Если трафик нормальный, то к полудню они уже закинут сумки в гостиницу и погуляют по «Эдему». Он будет сначала радоваться, держать ее за руку, потом начнет мрачнеть на глазах, она спросит, он поотне-

кивается, потом, за ужином в средиземноморском биоме (он посмотрел картинки, ресторанчик выглядел офигенно) признается в эмоциональной опустошенности, в том, что не может сейчас дать ей такой любви, какой она достойна... Потом гостиница, прощальный секс, утром разбудить ее по-особенному, пусть кончит пару раз, потом он заплачет, а она уедет одна. На автобусе можно домой добраться.

Отличный «нежный» разрыв отношений, хоть описание на сайт выкладывай, под ником «женолюб1990». Хотя нет, дурацкий ник, фу.

— Красивая статуя, — сказала Келли, рассматривая высокую лошадь, сделанную из сухих веток и корней. — Сложная форма, а сведена из разрозненных кривых кусков. Так естественно. Тебе нравится, Илья?

Илья грустно кивнул, опуская глаза и трагически вздыхая. Келли чуть нахмурилась, но тут же взяла его за руку.

— Я чувствую себя такой эгоисткой, — сказала она. — Уехала на практику на полгода, а ты тут тосковал, работал, одинокий. Слушай, я тебе там привезла пару сувениров и финского хлеба, вы же, русские, любите ржаной, да?

Совестливый мальчик Илья поморщился от укола вины — думала о нем, подарки притащила. Но циничный плейбой Илья обрадовался — сама заговорила о поездке, что он один оставался, вот за это мы и зацепимся.

На самом-то деле эти полгода он провел прекрасно.

Шесть недель — две подружки-украинки, приехавшие на языковую практику (она удалась).

Два месяца — англичаночка, постарше его лет на пять, очень красивая (в отличие от Келли) и нежная, и готовила вкусно, и ноги брила (опять же в отличие от Келли).

Еще две недели — полька, ну да эта сама ушла, даже блокнот раскрывать не пришлось, она была как он сам, молодая удачливая охотница.

Ну и последняя, Йара, что на мертвом языке народа тупи означало «госпожа вод». Но с ней пока не сложилось — только болтали, обнимались, танцевать ходили пару раз, покурили какой-то травы бразильской. Илья от страсти с ума сходил, и сейчас, стоило ее только представить, становилось горячо...

— Приветствуем вас в «Эдеме», — сказал мужик на кассе. — Событие сезона — ожившие мифические существа! В биоме «джунгли» — монстры и боги из фольклора Африки и Южной Америки. В средиземноморском — европейская мифология. Вот вам поисковая брошюра — если вы их всех отыщете, то на выходе получите сюрприз из нашего сувенирного магазина. Хорошего вам дня.

— Ой, пойдем сначала на автоматы посмотрим.

Илья поплелся за Келли к огромному кубу, где манекены разыгрывали познавательную пантомиму «Если с планеты исчезнут все растения». С растениями семья была довольная, а без них — голая и очень удивленная, а потом все быстренько ложились и помирали. Буш у матери семейства был выполнен из длинной рыжей пряжи. Илья вспомнил старый советский мультик, где голодная собака после ядерной войны ломилась в дом, а страшный робот ее не пускал, и вообще все было довольно грустно, со стихом в конце про дождь и рассвет.

— Пойдем, — сказала Келли. — К биомам спускаться долго, но там столько всего интересного! И статуи из земли и травы, и зеркала, и подвесные террасы из пеньки. И растения, Илья, столько растений, как и правда в раю.

Она была так возбуждена, так счастлива, что Илья почувствовал себя очень плохим человеком и от этого сильно на Келли разозлился. Шел за нею и методично отмечал, как у нее вокруг талии колышется жир, растягивая футболку, какую прическу она сделала дурацкую — два хвостика, будто ей восемь лет, блин, и как от нее несильно, но раздражающее пахнет потом — день выдался жаркий.

«Надо было все же не ехать, — запоздало пожалел он. — Пришел бы с цветами и пакетом индийской жратвы. Посидели бы, там бы все и объявил. Вышел бы от нее через пару часов свободным человеком».

Келли кружилась, показывала на цветы, улыбалась. Дорожка серпантином уходила на дно бывшего глиняного карьера, а теперь — жемчужины Южной Англии, парка века, где в гигантских белых полушариях биомов, собранных из надувных пластиковых ячеек, разводились все растения, используемые человечеством от начала времен. Вокруг

прыгали, смеялись и повизгивали дети — дергали за веревку кланяющегося металлического великана, карабкались на брюхо гигантской пчелы. Келли тоже дергала, и тоже ставила ногу на пчелу, и заставляла Илью ее фотографировать, и просила каких-то старичков фотографировать их вместе.

Гнев и раздражение нарастали в Илье, как будто кто-то надувал в его груди воздушный шар с едким газом, от этого было трудно дышать и горло сводило.

— Джунгли! — воскликнула Келли, когда они вошли в душную, влажную жару тропического биома. Запахи были резкими, чужими. Где-то журчала вода, слышался отдаленный бубнеж других посетителей, работали механизмы. Свет, чуть приглушенный пластиком биома, тут же выпивался тысячами зеленых поверхностей вокруг — мясистыми листьями каких-то съедобных фикусов, опахалами пальм, мелкими листочками акаций. Свет был пищей, и она жадно, наперегонки, поглощалась.

Везде были таблички, Илья узнал, что цветы ванили опыляются вручную, что плоды хлебного дерева вкусны и калорийны, что какао-бобы вызревают внутри желтых штуковин, похожих на большие ребристые лимоны.

— Ну, Илья, ну что ты все читаешь, — сказала Келли. — Я пойду вперед, я чувствую здесь такую легкость, такую стремительность — будто сама принадлежу джунглям, их стихии!

«Как бегемот», — устало подумал ей вслед Илья, чувствуя облегчение уже оттого, что она его оставила одного на несколько минут.

Он прошел еще несколько метров и почувствовал, что на него смотрят. Огляделся — никого. Вдалеке, в конце дорожки, пара старых джентльменов, облокотившихся на забор, разглядывала плантацию зеленых бананов.

С другой стороны подбежали дети, двое, лет семи-восьми. Девочка взвизгнула, показывая куда-то Илье за спину.

Илья обернулся и вздрогнул — из-за пальмы выглядел крупный и очень уродливый слоник со светящимися фасетчатыми глазами и тремя хоботами. Сделан он был хорошо, с фантазией, из цветного латекса и плотной ткани.

— Чего орешь, это же наше последнее чудовище, — сказал мальчик рассудительно. — Африканское. Зовут его... — он подвигал пальцем по брошюре в руке, — Грутсланг. Он волшебный, бла-бла, помесь слона и змеи, бла-бла, а, вот интересное — живет в подгорных пещерах, и от его дыхания на их стенах нарастают алмазы. А если он поцарапается, то там, куда падает кровь, растут рубины...

Слон помахал хоботом, поднял голову с механической плавностью автомата. Девочка, давясь смехом, что-то тихо спросила.

— Ну, наверное, где поссыпят, там эти.. желтые... не помню.

— Турмалин, — предположил Илья. — Или сапфиры тоже желтые бывают.

Дети кивнули нерешительно, не готовые разделить свою незамысловатую шутку со взрослым незнакомцем. На бивне Грутсланга висела маленькая печатка на красном шнурке, мальчик ухватил ее и сделал отметку в своей книжечке.

— Вы тоже отмечайте, — сказал он Илье. — Если все печати соберете, вам на выходе подарят бутылку эля. Или мороженое. Там дальше много этих... существ. Африканские, а в дальнем конце биома — из Южной Америки и с Филиппин.

— Следующий по дорожке — Конгамато, — сказала девочка. — За ящиками со специями. Я его узнала, кстати, в прошлом году у них тут динозавры были, и Конгамато они переделали из птеродактиля. Крылья покрасили ему и в глаза лампочки вставили. Но он клевый.

Детей позвали, они убежали, не оглядываясь. Илья вышел на маленькую площадку, где стоял «корабль специй». Расписные ящики выдвигались, и можно было понюхать, что как пахнет. Илья нюхал шафран под недобрый светящимся взглядом апгрейднутого динозавра и вдруг почувствовал совсем другой запах — знакомых духов и сладкого, манящего молодого тела. Он резко обернулся.

На площадке стояла Йара, с которой они виделись неделю назад, он так ее хотел, но не решился настаивать. Ах да, он же тогда уже купил билеты в «Эдем» и рассказывал ей об этом парке.

Йара удивленно переводила взгляд с Ильи на Конгамато. Ее темная кожа отливалась бронзой, желтое короткое платье ей ужасно шло. Он только собирался что-нибудь сказать, удивиться, что столкнулись так далеко от дома, но тут из джунглей, отдуваясь и вытирая салфеткой потный лоб, вышла Келли.

— Вот ты где, Илья! А я уже весь биом обошла. Там дальше Ананси, робот-паук, страшный, шевелит лапами и жвалами, на Шелоб похож. А в самом конце — восковая фигура Энкантадо, амazonского оборотня. Ой, а тут что за птичка с длинным клювом? Девушка, а можно вас попросить нас с женихом сфотографировать?

Илья снаружи замер, будто окаменел, а внутри весь расплавился от гнева и стыда. А Келли будто ничего и не заметила — сунула Йаре свой айфон, повисла на локте Ильи, по-хозяйски обнимая его за талию. Йара медленно кивнула, облизнула губы, щелкнула их пару раз.

— Вы хорошо вместе смотритесь, — сказала она.

Отдала телефон, направилась в джунгли, к своим амazonским богам и чудовищам, прочь от Ильи, навсегда. Он знал — она оскорблена, теперь трубку не возьмет, на эсэмэски не ответит, гордая. Он стряхнул с себя Келли, бросился за нею.

— Постой, — сказал он в отчаянии, уже понимая, что «нежное» расставание сейчас превратится в «жоское» с тремя восклицательными знаками. — Постой, Йара!

Она развернулась, в зеленых глазах стояли слезы.

— Что? — сказала она. — Что ты мне можешь сейчас сказать? Еще наврать чего-нибудь про свое одиночество и не-прикянное сердце?

— Илья? — задохнулась Келли. — Что происходит?

Илья вдохнул глубоко несколько раз, непроизвольно отступая назад от обеих женщин, пока не укололся спиной о клюв Конгамато.

— Келли, — сказал он, глядя на мелкий гравий дорожки. — Я собирался поговорить с тобою за ужином. О том, что... когда ты уехала на стажировку и я остался один, — он мельком бросил взгляд на Йару: видишь, я не про все врал, — я взглянул на наши отношения по-новому... Я без-

мерно тебе признателен, это были хорошие годы, но я думаю, нам лучше будет расстаться и постараться стать друзьями...

У Келли дрожали оба подбородка, и какая-то часть Ильи находила ее настолько глупой и комичной, что умирала от истерического смеха, подавлять его приходилось с усилием. В груди было горячо и невесомо, будто эта сцена происходила во сне.

— Кто эта женщина? — спросила Келли, кивая на Йару. Та стояла очень прямо, собранная, грациозная, а у Келли уже тушь текла по щекам.

— Это Йара, — сказал Илья. — Мы познакомились недавно в ночном клубе. Йара, это Келли. Мы встречаемся... встречались уже четыре года. Но последний год уже в основном по привычке. А в тебя я влюбился...

Зеленые глаза Йары и серые — Келли смотрели на него не отрываясь.

— Сильно влюбился, очень страстно, — зачем-то добавил Илья. И вдруг не выдержал, расхохотался помимо своей воли, будто смех прорвал какую-то оболочку и потек наружу пузырящимся нескончаемым потоком. — Простите, — сквозь смех проговорил он, чуть не плача, — Келли, послушай...

Келли всхлипнула, не стала слушать — она замахала руками, будто и Илья, и темнокожая девушка были двумя шершнями, собравшимися ее ужалить, повернулась и убежала, спотыкаясь на гравии.

Йара смерила Илью долгим задумчивым взглядом, молча развернулась и ушла по другой дорожке.

Илья сел на дощатый ящик с трафаретной надписью «Плантаны — овощные бананы». Конгамато повернул голову и заклекотал — будто сливная труба засорилась. Илья закрыл лицо руками.

Антестерия

Йара шла по дорожке, кусала губы, пыталась как-то растушевать в сознании безобразную сцену, найти в ней хоть что-то положительное — честность там или благородство.

Ничего не находилось, кроме противного чувства предательства, и будто бы она сама тоже кому-то сделала плохое.

Самое обидное — что Илья ей по-настоящему нравился, она много раз проигрывала в голове его поцелуи, предвкушала, как останется у него ночевать, гадала, будет ли он резок или нежен, может ли он подолгу, стонет ли он или молчит (хотя с нею все обычно стоали).

Йаре казалось, что у них много общего — матери вышли замуж за англичан, когда они оба были подростками, оторвали их от привычных любимых мест, от друзей, привезли на этот хмурый холодный остров, где они оба говорили с акцентом и их родной культурой никто сильно не интересовался.

У большого куста стыдливой мимозы в конце дорожки стояла группа детей, они трогали листья и смеялись, когда те с механической равномерностью сворачивались и уходили от прикосновения. Йара тоже посмотрела, тоже дотронулась. Туп-туп-туп — свернулась веточка, складывая листочки в метелку.

— Йара, — пронесся под деревьями тихий шепот.

Девушка огляделась — дети убежали, только один высокий посетитель стоял у бамбуковой поросли.

— Йара...

Она вдруг вспомнила, как, когда ей было десять лет, девушка взял ее с собой в джунгли, они долго ехали на машине сквозь густеющую зелень, потом тайными тропами шли к Солимойнс, которую те, кто там не живет, называют Амазонкой. Вспомнила густые и странные запахи дождевого леса, пружинистое переплетение корней под ногами, жадную жизнь, кишевшую вокруг, — яростную, завораживающую.

— Стой и слушай, — говорил дед Антонио. — Ты здесь своя, род тупи не прерывался по материнской линии. Лес накормит, Солимойнс напоит, змея не тронет, леопард не прыгнет, пчела не ужалит. Энкантадо выйдут и поклонятся тебе, потому что в семи коленах нашей семьи женщины принимали речное семя и усиливали магию крови. Потому что ты — Йара, госпожа вод. Выйди к реке, дочь моей дочери. Позови.

Воспоминание путалось, было нечетким, потому что произошедшее казалось слишком большим для ее детского восприятия и, ужавшись, чтобы поместиться, смялось и склеилось. Она помнила реку, розовеющую от закатного солнца, дельфинов, поднявшихся над поверхностью, общее ощущение счастья, чуда, укорененности в мире. Через полгода мать увезла её из Манауса в Сальвадор, к океану, и Йара никогда больше не ходила в джунгли.

— Йара... — она оглянулась и вздрогнула, потому что вдруг осознала, что человеческая фигура в конце площадки — не застывший от восторга при виде бамбука посетитель, а восковая статуя, один из фольклорных экспонатов. Она подошла поближе.

«Энкантадо, — сообщала табличка, — речные духи Амазонии, по преданию, живущие в волшебном мире Энканто. В поисках любви человеческих женщин они приходят в наш мир — сначала в виде речных дельфинов, потом превращаясь в людей, но не полностью — шляпа прикрывает дыхательное отверстие, которое так и остается на голове...»

Йара посмотрела в лицо восковому манекену. Он был как живой — с очень белой кожей, чуть розоватой от румянца на высоких скулах, большими серыми глазами, полными губами... Йара улыбнулась, огляделась, не идет ли кто, подняла с головы энкантадо соломенную шляпу и увидела в короткой щеточке темных волос надо лбом круглое отверстие дыхала. Преодолела соблазн проверить анатомическую точность модели в других местах — согласно легенде, энкантадо были оснащены незабываемо. Провела пальцами по губам статуи, изогнутым в легкой полуулыбке, потом, повинувшись странному порыву, прижалась к ним своими.

И вскрикнула — восковые губы дрогнули, глаза моргнули. В их блестящей поверхности она увидела свое растянутое, перевернутое отражение с некрасиво отвисшей челюстью. Йара отскочила назад, споткнулась о веревку ограждения и растянулась на гравии, больно приложившись копчиком. Огляделась, не вставая, — почва вокруг дрожала, растения тянули к ней листья, ветки, корешки. На лице она почувствовала теплый ветер, которому было не-

откуда взяться в закрытом мирке биома. Ветер пах великой рекой джунглей.

— Йара... — прошептал Энкантадо. — Вернись к нам, войди в воду. Семь раз ты принадлежишь нам, любимая. Наш мир ждет, он прекрасен и добр, нет в нем ни тлена, ни смерти, ни страха, ни потерь...

Йара поднялась на ноги и бросилась бежать, обернувшись лишь в самом конце дорожки. Энкантадо стоял, как раньше, недвижный, восковой, шляпа валялась у его ног, глаза смотрели прямо на нее. Дрожа и обнимая себя за плечи, девушка пробежала мимо маленького озера, мимо кустов чили, мимо сладко пахнущего «корабля специй».

— Мисс, вы упали? — спросил ее толстый служитель, подрезавший у выхода ветки кофейного дерева. — У вас руки поцарапаны, кровь. Вам принести аптечку?

Йара помотала головой, выбежала из биома, тяжело дыша.

Ей казалось, что в ней случился необратимый сдвиг, что-то проснулось и никуда теперь не денется, но тут телефон в кармане завибрировал эсэмэской от мамы «Не забудь победать, хорошо покушай!! купи мне меду в их магазине. и мыло! xxx».

Мамина забота была хорошей, привычной, обыкновенной. «Мало ли что почудится от голода и сердечного расстройства», — говорило сообщение от мамы.

Йара тряхнула головой и пошла покупать сэндвич.

В средиземноморском биоме было сухо и прохладно по сравнению с джунглями. В зарослях оливок играла гитара. Вкусно пахло из ресторанчика у входа.

Здесь тоже чувствовалась мощная растительная жизнь, но упорядоченная, спокойная, знающая, что солнца хватит на всех. Холм в центре биома был увит лозой, виноград всех сортов уже начинал вызревать — синие, красные, зеленые гроздья. Свободное от винограда пространство было занято скульптурами — мистерия Диониса в бронзе. Йара жевала багет с ветчиной, рассматривала древнее таинство.

Огромный бык поднялся на задние ноги — Йара всем телом слышала его немой трубный рев. Вокруг, выгиба-

ясь, неистово танцевали женщины — несколько вакханок были очень красивы, остальные — ужасны, с лицами, искашенными безумием и яростью. Чуть в стороне весьма отдаленно напоминающие женщин безумицы разрывали надвое пойманную собаку — одна тянула за передние ноги, другая — за задние. Животное, выгнув голову, кричало в ужасе и муке. Йара слотнула, убрала бутерброд в сумку, побыстрее ушла за холм.

Под кустом с задней стороны быка кто-то сидел, Йара шагнула туда, нагнулась посмотреть и тут же об этом пожалела — это была Келли, невеста Ильи, теперь уже, наверное, бывшая.

Йара хотела тут же уйти, пока та ее не заметила, но замерла — Келли, всхлипывая, держала в руке канцелярский нож и с ужасной методичностью пилила им боковую сторону своей ладони, где уже сочились кровью два глубоких разреза и белела сеточка старых, заживших.

Йара вспомнила свои двенадцать лет и как ее подруга Ана Луиза так сильно влюбилась в нового математика — красивого, горбоносого, с молодыми глазами и седыми висками, что на его уроках резала себе руку половинкой лезвия и тут же прижимала кровь салфеткой.

— Сердце рвется от любви, когда на него смотрю, — шептала она, не фокусируя взгляда на Йаре. — В груди больно, дышать трудно. Рука... отвлекает, не даёт сердцу взорваться.

Келли порезала глубоко, отвела нож, держа руку над плотной желтоватой землей, из которой росли виноградные гроздья, уходящие к бронзовому быку — Дионису. Кровь стекала по коже, капала на землю.

Йара нашла в сумке пачку салфеток, села рядом с Келли, отобрала у нее лезвие — она не сопротивлялась — и взяла ее за руку.

— У тебя очень красивые руки, — сказала она, промокая кровь салфеткой. — А то, что ты делаешь, — ни один мужчина в мире этого не стоит. Даже если он вообще единственный и больше нету.

— Он и есть единственный, — прошептала Келли. — Для меня. Никого больше никогда не было.

Йара достала бутылку воды, промыла девушке руку. Там, где она сама поцарапалась о гравий, кожа тоже кровила, она тоже плеснула из бутылки. Сухая земля тут же впитала воду и кровь, и Йаре показалось, будто дрожь прошла по воздуху вокруг, но все тут же исчезло.

Глядя в никуда и чуть раскачиваясь, Келли рассказала ей, как они с Ильей познакомились на первом курсе Саутгемптонского университета. Она училась на социального работника, он — на инженера.

— Я тогда с парнями вообще не умела разговаривать, — сказала Келли. — Мать меня всегда шпионала сильно, говорила «Да кому ты сдалась». Илье тоже было трудно очень. Он поздновато в универ поступил, и ему не до девушек было, у него был рак кишечника, он с ним с пятнадцати лет сражался, как в Англию переехал, так и стукнуло. Потом выздоровел, но все в юности у него с запозданием пошло. Ну, мы встретились, и так хорошо было вначале, долго хорошо...

Она снова заплакала.

— А теперь он из меня вырос, понял, что не нагулялся. Теперь он сильный и я ему не нужна, ему такая, как ты, нужна, красивая и сильная... А я его одного люблю-у-у. — Она сорвалась на плач, сморщилась, за неимением лезвия сунула в свой порез ноготь и зашипела от боли.

Йара отвела ее руку, снова плеснула из бутылки. И опять ей почудилась дрожь вокруг, когда вода с кровью ушла под лозу.

— Перестань, — сказала она. — Ты — сильная, здоровая, молодая. Мне кажется — ты очень добрая. Разбитое сердце когда-нибудь заживет. Представь, что у тебя есть дочь, и что ты ее ужасно любишь, и что это сейчас случилось с нею, а не с тобой. Ты бы хотела, чтобы она сидела под кустом и причиняла себе боль? Ты нашла бы для нее слова?

Келли задумалась, страдальчески скривилась, потом позволила Йаре помочь ей подняться. Она была тяжелая, пришлось опереться на бедро бронзового быка. Из царипины снова выступила кровь, ладонь мазнула по металлу, а убрав ее, Йара с ужасом увидела, как кровь впитывается в бронзу, уходит без остатка.

— Мне пора, — сказала она. — Мне нехорошо. — Она снова оперлась на быка и тут же отдернула руку.

— Я могу тебя подвезти, — шмыгнула носом Келли.

— Нет-нет, — сказала Йара. — Спасибо. Я сама.

Она дошла до выхода из павильона, обернулась и увидела, что бронзовый бык — Дионис смотрит ей вслед круглыми, совершенно живыми глазами навыкате.

К парковке она бежала быстро, как могла, подгоняя ее слепым, нерассуждающим ужасом, но, завидев свою машину — якорь нормальности, — чуть успокоилась, пошла медленнее, ловя дыхание.

Она вспомнила, что мама просила купить мед. Поморщилась от дурновкусия пластиковых ресниц на фарах желтой «Ауди» и от наклейки на соседнем джипе «от сисек я тащусь». На ветке над машиной сидела белочка, чутко оглядывая окрестности.

Завидев Йару, она замерла, потом заверещала так громко и неожиданно, что Йара подпрыгнула. Огляделась, не веря своим глазам. Десятки белок отовсюду спускались на ветки, усаживались рядом, выбегали из-за кустов, где промышляли, текучими движениями бежали через парковку, спрыгивали на крыши машин. И все они смотрели на нее темными звериными взглядами, чего-то ждали.

Йара добежала до машины, будто за ней гнались голодные зомби. Прыгнула на сиденье, вырулила с парковки, молясь, чтобы не переехать ни одной белки. Гнала домой в таком напряжении, что правую ногу начало сводить, — долетела за три часа. Подружки, с которыми они вместе снимали трехкомнатный дом, еще не вернулись. Йара выпила литр воды из холодильника — зубы стучали о бутылку, — рухнула на кровать в своей комнате и накрылась одеялом с головой.

Ей казалось — она была совсем другим человеком, чем утром, с совсем другим набором надежд и страхов. Что-то у нее сегодня отняли, а чего-то прибавили, только она никак не могла понять, чего.

Запиликал скайп на планшете — из Бразилии звонил дед Антонио. Йара коснулась зеленой кнопки. Дед ничего не говорил несколько минут, смотрел на нее, потирая свой темный подбородок с ямочкой. Йара тоже молчала.

— Приезжай, — сказал дед. — Пришло время, Йара. С того дня, как ты сделала первый вдох, солнце взошло и опустилось над миром семь тысяч семьсот семьдесят семь раз. Тебе пора вернуться домой, пора войти в Солимойнс.

И он нажал на отбой.

Йара поставила планшет на грудь и купила на послезавтра билет Лондон—Манаус, разом исчерпав лимит своей кредитки.

Потом она уснула и увидела во сне белые биомы проекта «Эдем» — в зеленой тени бамбука стоял восковой манекен энкантадо, глядя сквозь ночь прозрачными блестящими глазами. Во втором биоме били бубны, вакханки кружили вокруг гигантского быка в неистовом танце, а на смотровой площадке высоко под куполом, метрах в двадцати от земли, стоял Илья, голый и босой. Он плакал и цеплялся за перила, будто что-то пыталось сбросить его вниз. Йара отчетливо видела слезы на его щеках, побелевшие костяшки пальцев, старые шрамы от операций, уходившие в густые волосы внизу живота.

«Не плачь, — хотела она ему сказать, — я тебя спасу».

Но не успела, провалилась глубже в сон, и там не было Ильи, и вообще этого мира не было.

Афанизмия

В ту минуту, когда Илья сказал свои ужасные слова, а потом рассмеялся страшным смехом, Келли перестала воспринимать происходящее непрерывным потоком, оно стало нарезкой видеоряда, причем сама она к монтажу не допускалась.

Вот она бежит по биому, дыхание рвется в горле, слезы застилают глаза. Дети расступаются, взрослые отводят взгляд — здесь так не принято себя вести. Качает головой мифический африканский слон.

Вот она бредет по дорожке на улице, громко рыдая, до соплей. Весь склон холма над нею сиреневый от лаванды, запах гладит ее по щекам, пытается успокоить, а солнце жарит в затылок, и под мышками мокро.

Вот она стоит и смотрит на огромного бронзового быка, на его напряженный, готовый к бою пенис высоко на животе, длинные мешочки testикул. Ей плохо, очень плохо, так, что физически подташнивает.

Вот она сидит в негустых кустах и режет руку, как делала в детстве, и от этого все остальное отступает, остается только резкая боль в руке, простая и понятная, которую можно перетерпеть и преодолеть.

Вот ее берут за руку, она поднимает глаза. Девчонка немыслимой красоты, эта Йара, или как ее, кожа темно-кофейная, глаза зеленющие, желтое платье в пыли, будто она по земле валялась.

— А если бы это была твоя дочь? — спрашивает она и помогает подняться.

Келли снова бредет куда-то и думает — если бы у нее была дочь, как бы она ее любила, как бы никогда ей не дала в себе усомниться, как бы обо всем с ней откровенно разговаривала. Что бы она ей сейчас сказала?

— Это пройдет, хорошая моя, пройдет. Много ли у вас с Ильей было радости в последние пару лет? Почему тебе сейчас больно — оттого, что он отнял свою любовь, или потому, что теперь надо менять жизнь, открываться новым возможностям, а ты этого боишься и не хочешь?

И, говоря так, придумывая эту юную девочку, которую она бы любила горячо и безусловно, она вдруг поняла, что у девочки — ее собственное лицо, что разговаривает она с собою и что эту любовь сама и чувствует, впервые в жизни, чуть-чуть.

Келли дошла до туалета, пустила в раковину горячую воду и долго плескала себе в лицо. Подняв голову, она встретилась в зеркале со взглядом женщины рядом — немолодой, коротко стриженной.

— Пуркуа плёр? — спросила она, склоняя голову набок.

Французского Келли не знала совсем, хоть и учила его в школе, но мать ей всегда говорила — башка у тебя жестяная, ничего запомнить не можешь, идиотка. Так оно и вышло, по крайней мере с языками. Илья её пытался чуть-чуть русскому научить, особенно в первые, счастливые пару лет.

Она помнила только «спокойной ночи», «люблю», «жопа» и «будь здорова», когда чихнешь.

Француженка продолжала спрашивать, звучала поптичье:

— Чик-чирик-чирик-бойфренд?

Келли кивнула — да, бойфренд.

— Вэнкер! — прошипела француженка нехорошее английское слово.

Келли снова кивнула: угу, еще какой вэнкер.

— Ты больно?

Келли прикрыла глаза рукой. Она не хотела обсуждать, как ей больно, она хотела, чтобы женщина ушла, оставила ее в покое, закрыться в кабинке, поплакать еще, достать запасное лезвие канцелярского ножа из сумки...

Француженка отвела ее руки от лица.

— Лес муха, — сказала она и открыла свою косметичку. — Ун тель жоли филь.

Было очень странно, но приятно — женщина прошлась по ее лицу пуховкой, потом кисточкой что-то растушевала на веках, на скулах...

Келли благодарно улыбнулась.

— Вуаля! — сказала француженка. — Уvre.

Келли открыла глаза и ахнула — она оказалась красивой, с нежным лицом, осунувшимся от страдания, большими глазами, полными губами.

— Мерси, — прошептала она. — Мерси боку.

— Нет плачь, — сказала женщина и поправила Келли волосы. — La vie е lon.

И ушла. Келли кивала, понимая. Да, жизнь длинная.

Боль себе причинять больше не хотелось, потребность отступила.

Она пошла туда, где все случилось, — на площадку с птеродактилем в тропическом биоме.

— Через полчаса закрываемся, — сказал сотрудник у входа.

Келли взглянула на телефон — действительно, в режиме исчезающего времени для нее прошел весь день, было уже почти семь вечера. Восемь неотвеченных звонков и сообщений от Ильи.

— Мне хватит получаса, — сказала она.

Она погуляла по биому, понюхала специи, посмотрела, как растут бананы. Вспомнила, как предвкушала эту поездку в «Эдем», мечтала все здесь увидеть, напитаться красотой и организованной мощью природы. Что ж, у нее было полчаса. Иногда этого достаточно.

Свет уже начинал меркнуть, растения принимали конец дня. Запах и ритм джунглей изменились, напряжение ослабло. Келли, кажется, осталась в биоме единственным посетителем.

Она вышла к восковой статуе очень красивого юноши — энкантадо. Соломенная шляпа лежала у его ног, голова была чуть склонена, в коротких темных волосах виднелось дыхательное отверстие, как у дельфинов. Келли медленно нагнулась, подняла шляпу, нахлобучила ее на голову манекену. И замычала от ужаса, когда холодные гладкие пальцы сжали ее запястья.

— Благодарю, — сказал энкантадо. — Ты очень добра.

Келли шагнула назад, колени подогнулись, она села прямо на гравий, больно задев порезанную руку. Энкантадо сошел с подставки и сел рядом с нею, поддернув хорошо сшитые брюки и скрестив ноги.

— Не бойся, — сказал он.

— Я не боюсь, — к своему удивлению, сказала Келли. — Ты не выглядишь опасным.

— Опасности бывают разными. Есть то, что опасно для тела, есть — для ума, а бывает, что и для сердца. Я опасен для сердца, очень опасен. Так уж я устроен.

— Мое сердце разбито в мелкую крошку, — усмехнулась Келли. — Ему уже хуже не будет.

— Я могу склеить, — прошептал энкантадо, и Келли отчего-то стало очень жарко. — Ты — особенная. И тебя сегодня коснулась Матерь вод, Великая Змея, Йара древнего народа.

— Йара? — удивилась Келли. — Она же просто девчонка из Саутгемптона.

— Она — та, кем родилась, то, что она есть. — Энкантадо пожал плечами. — Йара — Пробудительница, откры-

вающая свою силу. Сегодня полнолуние. Я могу говорить с тобой.

— Только в полнолуние? — уточнила Келли.

Он кивнул, блестя прозрачными глазами.

— Если я стану твоим, то буду приходить к тебе на одну ночь каждую полную луну. У нас будет несколько часов для смеха, веселья и радости. Я буду любить тебя так, что воспоминаний тебе хватит до следующего полнолуния.

— А что ты получишь взамен? — подозрительно спросила Келли.

— Твое тепло, — сказал он и поднял ее лицо за подбородок.

— Твой смех, твои стоны, твою любовь. Я не могу позвать тебя в наш мир — для тех, в ком нет крови тупи, барьер непроницаем. Но я буду приходить к тебе, когда ты позовешь.

Келли потрогала его жесткую прохладную руку под рубашкой. Энкантадо усмехнулся.

— Это — кукла из воска, — сказал он. — С тобою я приму плоть из воды и соли, как твоя. Возьми. — Он протянул ей маленькую серебряную монету. — Брось ее в любую воду, позови меня, и я выйду к тебе. Из воды.

Келли рассмеялась, представляя, как бросает монету в унитаз и Энкантадо, кряхтя и ругаясь по-португальски, начинает вылезать из слива, плечи застревают в сиденье...

Энкантадо склонился к ее лицу и поцеловал в губы. Мир взорвался в голове сверкающим фейерверком, тело рас теклось горячей морской волной, потом снова собралось в Келли, двадцатипятилетнюю сотрудницу мэрии, дочь, сестру, садовода-любителя, велосипедистку, посетительницу курсов «Мир похудения» и секретаря общества «Друзья природы Хэмпшира».

Только теперь она была целой, наконец целой, дыра в груди закрылась, ничего не болело.

— Дорогие посетители, — сказал громкоговоритель из под купола биома. — Наш парк закрывается через десять минут, пожалуйста, пройдите к выходу. Помните — мы всегда ждем вас, мы рады вам в «Эдеме»...

— Позови меня, когда вернешься домой, — сказал Энкантадо. — Я хочу провести с тобою эту ночь, пока на Луне нет тени.

Он поднялся, встал на свое место и застыл, жизнь ушла из глаз. Он был потрясающе красив, так, что насмотреться невозможно.

Келли поправила его шляпу, провела пальцем по губам.

— Я подумаю, — сказала она, убрала монетку в карман и побежала к выходу — легко, ритмично, как бегала в детстве.

не смотри в глаза энкантадо
в них прозрачные струны мира
в них неистовый трепет джунглей
солнце всходит лаская воду
и от счастья смеются дети
о кого же ты вновь полюбишь
если уже смотрела в глаза
энкантадо?

Эпифания

Как трепещут они в необъятной вселенной, как выются и ищут друг друга — эти бесчисленные души, которые исходят из единой великой Души Мира!

Они падают с планеты на планету и оплакивают в бездне забытую отчизну.

Это — твои слезы, Дионис...

О великий Дух, о божественный Освободитель, прими обратно своих детей в лоно неизреченного света.

Орфический отрывок

По красивому билету с золотым тиснением Илью пропустили в стеклянную дверь ночного «Эдема». Он сам не знал, зачем явился на этот поздний ужин.

Может быть, надеялся, что Келли все-таки придет. Хотел попросить прощения, поговорить напоследок. А может быть, просто тупо проголодался до чертиков, а ужин с вином был оплачен заранее.

Днем он забрал свою сумку из гостиницы, взял напрокат велосипед и снял вагончик в караван-парке неподалеку. Комната, спальня, маленькая гостиная с запахом подмышек и лаванды. На пару ночей сойдет. Позвонил и взял отгул на работе. Хотелось побывать одному, в чужом месте, определиться, куда же дальше, чего он по-настоящему хочет. Везде был какой-то тупик, ничто не радовало.

Пять лет назад из постоянной боли казалось — уйдет рак, и все всегда в жизни будет светло и понятно. И вот давно ничего не болит, тело работает — дай бог каждому. И мутно, мутно как-то на душе, никак не сбросить, будто пленка липкая наросла. Чего же он хочет?

— Вы решили, чего хотите? — подошел официант с блокнотом.

Илья кивнул.

— Стейк с грибным соусом. Салат. Чипсы тонкие. Хрен, — и, перекрывая русскую стеснительность (подумают, что жадный) английской рациональностью (уплощено за ужин на двоих), добавил: — И еще раз то же самое.

Официант без удивления кивнул, спросил про вино. Илья не разбирался, велел принести бутылку красного, на взгляд официанта, подходящего к слухаю. На его личный взгляд к слухаю бы подошла бутылка водки, но водку не подавали. Можно было купить и догнаться потом, ночью, в уютном подмышечно-цветочном караванчике, мечтая о Йаре, жалея Келли и свою жизнь непутевую.

Вино принесли, разлили в два бокала, как бы не замечая, что Илья один, будто он ужинал с невидимым товарищем, с чим-то присутствием.

Илья отхлебнул — вино было очень сухим, горьковатым, но вроде годным. Он огляделся.

Сквозь прозрачный купол биома сочилось ночное небо. Полная луна стояла совсем близко — огромная, желтая. Бронзовые фигуры женщин, танцующих вокруг быка, с нижней подсветкой казались почти живыми, как будто вот-вот тронутся с места, продолжат пойманное скульптором движение, ударят в бубны, разорвут ночь криком.

«Эван-эвое, эван-эвое!» — услышал Илья вдалеке. Что это значило, он не знал, но вздрогнул, как от порыва ледяного ветра, сжал виски руками, зажмурился.

А когда открыл глаза, за столом напротив него сидел приятный старик, очень располагающий. Он был одет в костюм по старой английской традиции — со шляпой, жилетом, пиджаком с цветочной метелочкой в петлице, наглаженной рубашкой, выступающими белоснежными манжетами — так тщательно, что казался персонажем костюмированного шоу.

— Добрый вечер, — сказал старик, склоняя голову.

Илья удивленно ответил.

— Моя супруга... задержалась в дамской комнате, — извиняющимся тоном сказал старик. — А я и не знаю, за какой столик садиться. Вижу, ваша дама тоже где-то бродит.

— Моя дама наверняка уже спит, — сказал Илья. — Я один.

— Оиночество — это иногда хорошо, — кивнул старик задумчиво. — Лишь в одиночестве можно попытаться взнудзить свой разум, который очень неохотно ступает за пределы колеи повседневности. Натянув узду, погнать его дальше, выше, выше на холм. Он будет упираться, да... Но только оттуда, с вершины, можно увидеть, узнать на горизонте отблески молний божественного присутствия. Вот вы, юноша, когда-нибудь ощущали в себе бога?

«Религиозный, — понял Илья. — Сейчас начнет бубнить про высокое, а потом свернет на изучение Библии или сайентологию какую-нибудь».

— Нет, — буркнул он. — Я предпочитаю простые земные радости.

— Эээ, — старик, улыбаясь, откинулся на спинку стула. — Понимаю. Плоть к плоти, отражения любви в новых и новых глазах. Сочное отборное мясо. — Он кивнул на стейки, принесенные официантом. — Радости тела, погоня за наслаждением...

Он облизал губы, погладил свою руку другой рукой.

«Гей, — понял Илья, и старик вдруг показался ему несколько женоподобным. — Сейчас начнутся скользкие намеки, потом свернет на мои планы на эту ночь».

Он испугался, ему не хотелось такого сомнительного экспириенса. Старик же с удовольствием рассмеялся, взял со стола бокал.

— Вы позволите попробовать вино? — спросил он и, не дожидаясь ответа, пригубил. Поморщился. — Вам, кажется, пришла в голову мысль, что я желал бы с вами совокупиться? В свое время об этом многие, очень многие мечтали. Хотя вы, не спорю, очень красивый юноша, но у меня на вас другие планы. Выпейте-ка вина.

Илья послушно, как загипнотизированный, отхлебнул.

— «Кровь давно ушла в землю, и там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья», — задумчиво сказал старик на чистом русском языке. — Сегодня полнолуние. Моя лоза выпила кровь Пробудительницы, мир пульсирует древней магией. Разве ты не слышишь, Илья?

Мир замер. Вино во рту у Ильи стало горькой кровью, вкус был ужасный, тут же хлестнувший его память, будто пять лет рака и химиотерапии никогда не кончались. Страшно, знакомо заболел живот.

«Нет, нет, пожалуйста, не рак, я больше не вынесу», — заплакал Илья, сгибаясь пополам от кашля. В глазах у него потемнело, он схватился за грудь, успел мельком удивиться, что никто не бежит к нему на помощь, не кричит «Человеку плохо, человеку плохо!» — ему ведь было так плохо.

И все пропало.

Мир бился ритмом, у ритма было несколько слоев, глубокий тяжелый гул переплетался с легким звонким постуком, с ударами металла по дереву, с быстрыми хлопками ладоней.

Илья открыл глаза. Он лежал там же, где упал, — на досках настила у столика ресторана «Средиземноморская терраса». Ресторан был закрыт, пуст, едой уже даже не пахло. Луна ушла по небу далеко, за полночь.

Илья поднялся и понял, что он совершенно голый и одежда и обувь его исчезли. Было очень тепло, где-то журчала вода. Илья со страхом ощупал себя — вроде бы ничего не болело. Как во сне, он ступил с досок на мелкий гравий дорожки, поморщился — ногам было неприятно.

И тут краем глаза он уловил движение, повернулся и замер в ужасе, зашевелил губами, стараясь проснуться.

Бронзовые женщины танцевали на холме. Они били в бубны, стучали палкой о палку, тяжелые ноги ударяли в землю, выбивая фонтаны пыли. Их лица по-прежнему были неподвижными, страшными, оскаленными масками металлических статуй. Двое из них держали в руках неровно разорванные половинки бронзовой собаки и потрясали ими в воздухе. Передняя половинка скулила в агонии — будто металл скреб по стеклу.

Илья отступил на шаг, наткнулся на столик, тот проехал по полу и опрокинулся со скрежетом и стуком. Вакханки не обратили на звук внимания, они продолжали танцевать свой танец священного безумия, сужая круги вокруг огромного, замершего на задних ногах быка.

Илья побежал. Он бежал, оборачиваясь, чтобы не упустить ни минуты происходящего ужаса. Добежал до дверей, соединявших биом с центром для посетителей, и заколотился в них, как мотылек о стекло. Двери были заперты. Огонек камеры над дверью ровно светился зеленым. Вакханки танцевали, ритм ускорялся.

Илья побежал по дорожке в другую сторону — из биома должно было быть несколько выходов. Он нашел запертую стеклянную дверь с надписью «Для персонала», рядом стояла небольшая жестяная тачка. В отчаянии он схватил ее за ручки, повернул и ударил в стекло — раз, другой, третий. Металл погнулся, но стекло даже не треснуло.

Ему почудились тяжелые шаги на дорожке позади, и Илья дернулся в другую сторону, петляя, как заяц, перепрыгивая через кустики и ветки там, где было невысоко. Огромный куст алоэ расцарапал ему ногу до самого бедра.

Шипя и хромая, Илья добежал до металлической лестницы, ведущей вверх, на смотровую площадку.

Танцовщицы замерли, склонившись перед быком. Илья замер, поставив ногу на ступеньку и вцепившись в перила. Ритм замер, утих, как и его сердце. Кровь сочилась из глубоких царапин, во рту пересохло.

Бум, бум, бум — барабаны забили снова. Вакханки набросились на быка и руками рвали на части полированный

металл. Он расходился со скрипом и рвался с гулким треском. Илья мчался по ступенькам, поглядывая вниз, чтобы не пропустить опасность.

Бронзовый бык был полым. Когда его нутро обнажилось, оттуда, улыбаясь, шагнул человек в легкой накидке из зеленой ткани. Он был молод и хорошо сложен, хотя и не особенно худ и не мускулист. У него были темные волосы до плеч, в руке он держал зеленый жезл, увенчанный крупной шишкой. Этим жезлом он по очереди дотрагивался до вакханок, и они замирали статуями, снова становились неподвижны.

Когда застыли все четырнадцать, человек посмотрел на Илью, улыбнулся и помахал ему рукой. Подывая от ужаса, Илья побежал вверх по лестнице, потому что понял, что этот человек и был стариком, с которым он разговаривал раньше, а также что он и есть самое страшное в этом месте.

— Отче наш, — шептал Илья, задыхаясь. — Отче... на небеси...

Слов молитвы он совсем не помнил. Его шаги гулко отдавались под куполом биома, металл гудел.

— Да святится... имя твое.

— Какое имя? — Илья остановился на секунду, пытаясь поймать дыхание, и юноша в хитоне тут же ступил на площадку рядом с ним. — Скажи мне мое имя, агнец. Назови меня.

— Ди... Дионис, — прошептал Илья. Поднял голову и встретился с нечеловеческим взглядом. Радужки у него не было, вся поверхность глазного яблока сияла зеленой глубиной, как цветущая вода пруда в лучах солнца. — Дионис Загрей.

Прекрасные губы изогнулись в улыбке.

— Значит, все же что-то читал и чему-то учился, — сказал Дионис. — Ты слышал мою музыку. Знаешь, о чем мой танец?

— Безумие, — сказал Илья тихо. — Дикость. Страдание. Бог кивал.

— Не только это, мальчик. Отдаваясь, танцуя со мной, люди становятся свободны. Все кружится и смешивается — небо и земля, звери и люди, жизнь и смерть, боль и наслаждение. Все, что человек видит, слышит, чувствует

и вдыхает, становится мною. Чтобы понять жизнь, как она есть, не нужен рассудок. Разум не может смириться с тем, что все — одно, он осуждает, одобряет, выбирает. Но вселенная едина и полна божественного присутствия — запах могил, роз, экскрементов и морской воды, прогретой солнцем, ледяной ветер, пробирающий до кости, и зной, от которого кости плавятся, самый яркий оргазм и самая острые боль... Приняв мир, как он есть, весь человек наполняется богом. Поэтому мы танцуем. Скажи мне, Илья, что выбираешь ты? Чего ты хочешь?

— Любви, наверное, — пробормотал Илья. — И чтобы не страдать.

Дионис протянул руку и провел горячими пальцами по шрамам от операций, уже много лет полосовавшим живот Ильи от солнечного сплетения до самого паха. Илья задрожал.

— Что такое страдание? — спросил Дионис нежно. — Не есть ли оно лишь заряд энергии, пробегающий по нервам в мозг? Лиса настигает кролика, лиса разрывает кролика, кролик страдает, искорки бегут по проводам, лиса пожирает кролика, жизнь продолжается, страдание исчезает. Его и не было нигде в мире, кроме крохотной замкнутой электрической цепи, да и то лишь мгновение. Оно — энергия, питающая жизнь. Это и есть жизнь, мальчик, — беспрестанно поглощающая и создающая себя же.

— А любовь? — упрямо спросил Илья. В разговоре они как-то незаметно поднялись на самый верх лестницы и стояли теперь на краю площадки, и, осознав это, он очень напрягся и покрепче ухватился за перила.

— Что такое любовь для тебя, мальчик? Что ты видишь за занавесью своих удовольствий? На ней нарисованы груди, губы, животы, лона всех размеров и цветов кожи и написано «любовь». И тебе в голову не придет заглянуть за нее.

Дионис взял Илью за подбородок, будто собирался поцеловать, но лишь поднял его голову вверх и показал на небо.

— Луна уходит, — сказал он. — Кончается священное полнолуние. В эту ночь я всегда беру жертву. Ты станешь

частью меня, Илья, энергия твоего страдания выплеснется в мир, твоя кровь напоит мою лозу.

— Почему я? — закричал Илья, когда неодолимая сила потянула его к самому краю площадки под куполом. До земли было метров двадцать, страх и тошнота взорвались в голове.

— Почему нет? — сказал Дионис. — Зачем так спрашивать? Спрашивал ли ты «почему я?» у клеток, пожиравших твой кишечник? Спрашивала ли «почему я?» каждая из этих клеток, когда фторурацил тек по твоим венам и выжигал то, что они считали жизнью? Спрашивает ли лису кролик, ищет ли объяснения? Или просто принимает волю вселенной, признавая роль, которую играют в жизни боль и смерть? Не разумом, но всем существом?

Илья не чувствовал, как по его щекам катились слезы, но изо всех сил цеплялся за перила, уже понимая, что не удержится. И не удержался, разжал пальцы, перевернулся в воздухе и полетел вниз, в одну страшную, безразмерную секунду, перед концом вспоминая и принимая все, о чем ему говорил мир, — всегда, а не только сейчас.

О чем шептал каждым порывом прохладного ветра, каждым деревом, каждой потерей, каждой лаской, объятием, вкусом пищи во рту, радостью опьянения, любовью в мамином взгляде, скальпелем, рассекающим кожу, дружеским смехом, ослепляющей болью и полетом птиц в небе, так высоко, что и не разобрать, какие, виден лишь рисунок полета, стремительное скольжение, свобода.

За секунду до того, как его тело ударилось о землю, разбиваясь и ломаясь внутри, освобождая Илью от привязки к плоти, — он все-все понял.

И захотел жить, ужасно, до смерти захотел.

Конец

— Нет, не конец, — сказала Йара, не просыпаясь, не отрывая сонного лица от подушки в двух сотнях миль от светящихся в ночи полушарий биомов. — Я не согласна, что так. Пусть будет по моей воле!

И Матерь вод в ней с обманчивой змеиной неторопливостью потянула вверх узкую голову, разворачивая мощные чешуйчатые кольца — такая легко могла бы обвить и утащить под воду крупного быка.

Время остановилось, расслоилось, поймало падающее тело в метре от желтой, глинистой, жадно ожидающей крови почвы. Йара забрала силу полета из-под купола в себя, легко ее заглотив.

Погладила Илью по лицу, замершему в предсмертном ужасе.

— Живи, — сказала она.

И отпустила время, перевернулась на другой бок, почмокала во сне губами и скользнула дальше сквозь кишащие жизнью джунгли, туда, где, подняв над водою длинные морды, в реке пели рассвет розовые дельфины.

Илья ударился о землю несильно, но ощутимо, так что несколько секунд не мог вдохнуть. Потом перевернулся на спину и долго смотрел в черное ночное небо сквозь огромную прозрачную крышу «Эдема».

Улыбался.

Содержание

Роман Злотников Я РЖАЛ!	7
УСТАРЕЛЛЫ	
Эйлин О'Коннор У ЛУКОМОРЬЯ ДУБ ЗЕЛЕНЫЙ	13
Алексей Проворотов ЛАРЕЦ	25
Майк Гелприн, Александр Габриэль ВИРШИТЕЛИ	48
Татьяна Романова МОРЕГ	70
Эльдар Сафин КСЮХА И ЛИХО	97
Марианна Язева СРЕДИ СОСНОВЫХ ИГЛ	113
Игорь Минаков СКАЗКА – ЛОЖЬ	125
Ника Батхен МОКРОЕ ДЕЛО	155
Михаил Ера ТРИ ВОДЫ	173
Сергей Раткевич, Элеонора Раткевич ЗОЛОТАЯ СТРЕЛА И СТАЛЬНАЯ ИГЛА	204
Владимир Венгловский ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ	224

Вук Задунайский	244
ПАМЯТЬ ВОДЫ	244
Вера Камша	
КОГДА КОТЫ БЫЛИ БОСЫМИ	264
Ина Голдин	
ДЖИНН	409
О'Рэйн	
ДОЛГИЙ ДЕНЬ В «ЭДЕМЕ».....	418

Литературно-художественное издание

НОВЫЙ ЖИХАРЬ

**БОГАТЫРИ НЕ МЫ
УСТАРЕЛЛЫ**

Ответственный редактор *И. Минаков*

Редактор *Е. Кондратьева*

Художественный редактор *С. Курбатов*

Технический редактор *О. Куликова*

Компьютерная верстка *Е. Кумшаева*

Корректор *И. Гончарова, М. Смирнова*

ООО «Издательство «Э»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86.

Өндіруші: «Э» АҚБ Баспасы, 123308, Маскеу, Ресей, Зорге кашесі, 1 үй.

Тел. 8 (495) 411-68-86.

Тауар белгісі: «Э»

Қазақстан Республикасында дистрибутор және енім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының екіні «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы к., Домбровский кеш., 3 «а», литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107.

Өттімнің жаһамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы актарат сайты Өндіруші «Э»

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»

Өндірген мемлекет: Ресей

Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 12.09.2016. Формат 84x108¹/32.
Гарнитура «Банниковская». Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,52.
Тираж 2000 экз. Заказ №1253.

В электронном виде книга издательства вы можете
купить на www.litres.ru

ЛитРес:
один клик до книг



Оптовая торговля книгами Издательства «Э»:

142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел.: 411-50-74.

**По вопросам приобретения книг Издательства «Э» зарубежными
оптовыми покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж**

*International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department for their orders.*

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,
в том числе в специальном оформлении, обращаться по тел.:**

+7 (495) 411-68-59, доб. 2261.

Оптовая торговля бумажно-беловыми

и канцелярскими товарами для школы и офиса:

142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс: +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).

Полный ассортимент книг издательства для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел.: (812) 365-46-03/04.

В Нижнем Новгороде: 603094, г. Нижний Новгород, ул. Карпинского, д. 29,
бизнес-парк «Грин Плаза». Тел.: (831) 216-15-91 (92/93/94).

В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», 344023, г. Ростов-на-Дону,
ул. Страны Советов, 44 А. Тел.: (863) 303-62-10.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литер «Е».
Тел.: (846) 269-66-70.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел.: +7 (343) 272-72-01/02/03/04/05/06/07/08.

В Новосибирске: ООО «РДЦ-Новосибирск», Комбинатский пер., д. 3.
Тел.: +7 (383) 289-91-42.

В Киеве: ООО «Форс Украина», г. Киев, пр. Московский, 9 БЦ «Форум».
Тел.: +38-044-2909944.

**Полный ассортимент продукции Издательства «Э»
можно приобрести в магазинах «Новый книжный» и «Читай-город».**

Телефон единой справочной: 8 (800) 444-8-444.
Звонок по России бесплатный.

В Санкт-Петербурге: в магазине «Парк Культуры и Чтения БУКВОЕД»,
Невский пр-т, д.46. Тел.: +7(812)601-0-601, www.bookvoed.ru

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.
Тел.: +7 (495) 745-89-14.

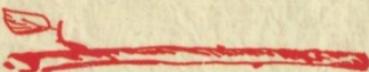


ISBN 978-5-699-91209-4



9 785699 912094





Мелкий бес Недотыкомка, писарь тайного приказа в Кащеевом царстве, сделал ставку на богатыря Ивана-Дурака и едва не поплатился вострой своей головенкой. В те далекие, трудные времена, когда коты еще ходили босыми, принцесса Перепетя отправилась в Разбойничий Лес, совершенно не задумавшись о последствиях. А природного таланта, коим обладал начинающий поэт Элам, оказалось явно недостаточно, чтобы обратить на себя внимание могущественного главы Ордена Виршетворцев...

Впрочем, что мы вам рассказываем. Читайте сами!

Роман Злотников, Вера Камша, Сергей и Элеонора Раткевич, Майк Гелприн и другие друзья, коллеги и ученики замечательного русского писателя Михаила Успенского в сборнике фантастических произведений, посвященных его памяти!

ISBN 978-5-699-91209-4



9 785699 912094 >

